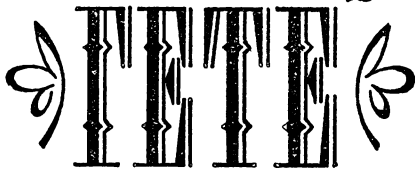






**МОСКВА**  
**«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ**  
**ЛИТЕРАТУРА»**  
**1978**

Иоганн Вольфганг



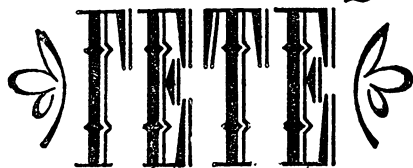
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва

«Художественная литература»

1978

Иоганн Вольфганг



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ШЕСТОЙ

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

*Перевод с немецкого*

Москва  
«Художественная литература»

1978

**Под общей редакцией**  
***А. Анкста и Н. Вильмонта***

**Комментарий**  
***Н. Вильмонта***

**Художник**  
***А. Лепятский***

**Г  $\frac{70304-425}{028(01)-78}$  подписное**

**© Переводы, отмеченные в содержании \*, комментарии. Издательство «Художественная литература», 1978 г.**



**СТРАДАНИЯ  
ЮНОГО  
ВЕРТЕРА**

*Роман*





Я бережно собрал все, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера, предлагаю ее вашему вниманию и думаю, что вы будете мне за это признательны. Вы проникнетесь любовью и уважением к его уму и сердцу и прольете слезы над его участью.

А ты, бедняга, подпавший тому же искушению, почерпни силы в его страданиях, и пусть эта книжка будет тебе другом, если по воле судьбы или по собственной вине ты не найдешь себе друга более близкого.





## КНИГА ПЕРВАЯ

*4 мая 1771 г.*

Как счастлив я, что уехал! Бесценный друг, что такое сердце человеческое? Я так люблю тебя, мы были неразлучны, а теперь расстались, и я радуюсь! Я знаю, ты простишь мне это. Ведь все прочие мои привязанности словно нарочно были созданы для того, чтобы растревожить мне душу. Бедняжка Леонора! И все-таки я тут ни при чем! Моя ли вина, что страсть росла в сердце бедной девушки, пока меня развлекали своенравные прелести ее сестрицы! И все же — совсем ли я тут неповинен? Разве не давал я пищи ее увлечению? Разве не были мне приятны столь искренние выражения чувств, над которыми мы частенько смеялись, хотя ничего смешного в них не было, разве я... Ах, да смеет ли человек судить себя! Но я постараюсь исправиться, обещаю тебе, милый мой друг, что постараюсь, и не буду, по своему обыкновению, терзать себя из-за всякой мелкой неприятности, какую преподносит нам судьба; я буду наслаждаться настоящим, а прошлое пусть останется прошлым. Конечно же, ты прав, мой милый, люди, — кто их знает, почему они так созданы, — люди страдали бы гораздо меньше, если бы не развивали в себе так усердно силу воображения, не припоминали бы без конца прошедшие неприятности, а жили бы безобидным настоящим.

Не откажи в любезности сообщить моей матери, что я добросовестно исполнил ее поручение и вскоре напишу ей об этом. Я побывал у тетки, и она оказалась вовсе не такой мегерой, какой ее у нас изображают. Это жизнерадостная

женщина сангвинического нрава и добрейшей души. Я изложил ей обиды матушки по поводу задержки причитающейся нам доли наследства; тетка привела мне свои основания и доводы и назвала условия, на которых согласна выдать все и даже больше того, на что мы притязаем. Впрочем, я не хочу сейчас распространяться об этом; скажи матушке, что все уладится. Я же, милый мой, лишний раз убедился на этом пустячном деле, что недомолвки и закоренелые предубеждения больше вносят в мир смуты, чем коварство и злоба. Во всяком случае, последние встречаются гораздо реже.

А вообще живется мне здесь отлично. Одиночество — превосходное лекарство для моей души в этом райском краю, и юная пора года щедро согревает мое сердце, которому часто бывает холодно в нашем мире. Каждое дерево, каждый куст распускаются пышным цветом, и хочется быть майским жуком, чтобы плавать в море благоуханий и насыщаться ими.

Город сам по себе мало привлекателен, зато природа повсюду вокруг несказанно прекрасна. Это побудило покойного графа фон М. разбить сад на одном из холмов, расположенных в живописном беспорядке и образующих прелестные долины. Сад совсем простой, и с первых же шагов видно, что планировал его не ученый садовод, а человек чувствительный, искавший для себя радостей уединения. Не раз уже оплакивал я усопшего, сидя в обветшалой беседке, — его, а теперь и моем любимом уголке. Скоро я стану полным хозяином этого сада; садовник успел за несколько дней привязаться ко мне, и жалеть ему об этом не придется.

*10 мая*

Душа моя озарена неземной радостью, как эти чудесные весенние утра, которыми я наслаждаюсь от всего сердца. Я совсем один и блаженствую в здешнем краю, словно созданном для таких, как я. Я так счастлив, мой друг, так упоен ощущением покоя, что искусство мое страдает от этого. Ни одного штриха не мог бы я сделать, а никогда не был таким большим художником, как в эти минуты. Когда от милой моей долины поднимается пар и полдневное солнце стоит над непроницаемой чашей темного леса и лишь редкий луч проскальзывает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, прильнув к земле, вижу тысячи всевозможных былинки и чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что сует между стебельками, наблюдаю эти неисчислимые, непостижимые разновидности червячков и мошек и чувствую

близость всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяние вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой туманится и все вокруг меня и небо над мной запечатлены в моей душе, точно образ возлюбленной, — тогда, дорогой друг, меня часто томит мысль: «Ах! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, запечатлеть отражение моей души, как душа моя — отражение предвечного бога!» Друг мой... Но нет! Мне не под силу это, меня подавляет величие этих явлений.

*12 мая*

Не знаю, то ли обманчивые духи населяют эти места, то ли мое собственное пылкое воображение все кругом превращает в рай. Сейчас же за городком находится источник, и к этому источнику я прикован волшебными чарами, как Мелузина и ее сестры. Спустившись с пригорка, попадаешь прямо к глубокой пещере, куда ведет двадцать ступенек, и там внизу из мраморной скалы бьет прозрачный ключ. Наверху низенькая ограда, замыкающая водоем, кругом роща высоких деревьев, прохладный, тенистый полумрак — во всем этом есть что-то влекущее и таинственное. Каждый день я просиживаю там не меньше часа. И городские девушки приходят туда за водой — простое и нужное дело, царские дочери не гнушались им в старину.

Сидя там, я живо представляю себе патриархальную жизнь: я словно воочию вижу, как все они, наши праотцы, встречали и сватали себе жен у колодца и как вокруг источников и колодцев витали благодетельные духи. Лишь тот не поймет меня, кому не случилось после утомительной прогулки в жаркий летний день насладиться прохладой источника!

*13 мая*

Ты спрашиваешь, прислать ли мне мои книги. Милый друг, ради бога, избавь меня от них! Я не хочу больше, чтобы меня направляли, ободряли, воодушевляли, сердце мое достаточно волнуется само по себе: мне нужна колыбельная песня, а такой, как мой Гомер, второй не найти. Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь; недаром ты не встречал ничего переменчивей, непостоянней моего сердца! Милый друг, тебя ли мне убеждать в этом, когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости!

Потому-то я и лелею свое бедное сердечко, как больное дитя, ему ни в чем нет отказа. Не разглашай этого! Найдутся люди, которые поставят мне это в укор.

15 мая

Простые люди нашего городка уже знают и любят меня, в особенности дети. Я сделал печальное открытие. Вначале, когда я подходил к ним и приветливо расспрашивал о том, о сем, многие думали, будто я хочу посмеяться над ними, и довольно грубо отмахивались от меня. Но я не унывал, только еще живее чувствовал, как справедливо одно давнее мое наблюдение: люди с определенным положением в свете всегда будут чуждаться простонародья, словно боясь унижить себя близостью к нему; а еще встречаются такие легкомысленные и злые озорники, которые для вида снисходят до бедного люда, чтобы только сильнее чваниться перед ним.

Я отлично знаю, что мы неравны и не можем быть равными; однако я утверждаю, что тот, кто считает нужным сторониться так называемой черни из страха уронить свое достоинство, заслуживает не меньшей хулы, чем трус, который прячется от врага, боясь потерпеть поражение.

Недавно пришел я к источнику и увидел, как молоденькая служанка поставила полный кувшин на нижнюю ступеньку, а сама оглядывалась, не идет ли какая-нибудь подружка, чтобы помочь ей поднять кувшин на голову. Я спустился вниз и посмотрел на нее.

— Помочь вам, девушка? — спросил я.

Она вся так и зарделась.

— Что вы, сударь! — возразила она.

— Не церемоньтесь!

Она поправила кружок на голове, и я помог ей. Она поблагодарила и пошла вверх по лестнице.

17 мая

Я завел немало знакомств, но общества по себе еще не нашел. Сам не понимаю, что во мне привлекательного для людей: очень многим я нравлюсь, многим становлюсь дорог, и мне бывает жалко, когда наши пути расходятся. Если ты спросишь, каковы здесь люди, мне придется ответить: «Как везде!» Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить, а если остается у них немножко свободы, они до того пугают-

ся ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Вот оно — назначение человека!

Однако народ здесь очень славный: мне крайне полезно забыться иногда, вместе с другими насладиться радостями, отпущенными людям, просто и чистосердечно пошутить за обильно уставленным столом, кстати устроить катанье, танцы и тому подобное; только не надо при этом вспоминать, что во мне таятся другие, без пользы отмирающие, силы, которые я принужден тщательно скрывать. Увы, как больно сжимается от этого сердце! Но что поделаешь! Быть непонятым — наша доля.

Ах, почему не стало подруги моей юности! Почему мне было суждено узнать ее! Я мог бы сказать: «Глупец! Ты стремишься к тому, чего не сыщешь на земле!» Но ведь у меня была же она, ведь чувствовал я, какое у нее сердце, какая большая душа; с ней я и сам казался себе больше, чем был, потому что был всем тем, чем мог быть. Боже правый! Все силы моей души были в действии, и перед ней, перед моей подругой, полностью раскрывал я чудесную способность своего сердца приобщаться природе. Наши встречи порождали непрерывный обмен тончайшими ощущениями, острейшими мыслями, да такими, что любые их оттенки, любые шутки носили печать гениальности. А теперь! Увы, она была старше меня годами и раньше сошла в могилу. Никогда мне не забыть ее, не забыть ее светлого ума и ангельского всепрощения!

На днях я встретился с неким Ф., общительным молодым человеком удивительно приятной наружности. Он только что вышел из университета, и хоть не считает себя мудрецом, однако думает, что знает больше других. Правда, по всему видно, что учился он прилежно: так или иначе, образование у него порядочное. Прослышав, что я много рисую и владею греческим языком (два необычных явления в здешних местах), он поспешил мне отрекомендоваться и щегольнул множеством познаний от Баттэ до Вуда, от Пила до Винкельмана и уверил меня, что прочел из Зульцеровой «Теории» всю первую часть до конца и что у него есть рукопись Хайне об изучении античности. Я все это принял на веру.

Познакомился я еще с одним превосходным, простым и сердечным человеком, княжеским амтманом. Говорят, душа радуется, когда видишь его вместе с детьми, а у него их девять; особенно превозносят его старшую дочь. Он пригласил меня, и я вскорости побываю у него. Живет он на расстоянии полутора часов отсюда в княжеском охотничьем доме, куда

получил разрешение переселиться после смерти жены, потому что ему слишком тяжело было оставаться в городе на казенной квартире.

Кроме того, мне повстречалось несколько оригинальничаящих глупцов, в которых все невыносимо, а несносней всего их дружеские излияния.

Прощай! Письмо тебе понравится своим чисто повествовательным характером.

*22 мая*

Многим уже казалось, что человеческая жизнь — только сон, меня тоже не покидает это чувство. Я теряю дар речи, Вильгельм, когда наблюдаю, какими тесными пределами ограничены творческие и познавательные силы человека, когда вижу, что всякая деятельность сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь имеющих только одну цель — продлить наше жалкое существование, а успокоенность в иных научных вопросах — всего лишь бессильное смирение фантазеров, которые расписывают стены своей темницы яркими фигурами и привлекательными видами. Я ухожу в себя и открываю целый мир! Но тоже скорее в предчувствиях и смутных вожделениях, чем в живых, полнокровных образах. И все тогда мутится перед моим взором, и я живу, точно во сне улыбаясь миру.

Все учнейшие школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не знают, почему они хотят чего-нибудь; но что взрослые не лучше детей ошупью бродят по земле и тоже не знают, откуда пришли и куда идут, точно так же не видят в своих поступках определенной цели, и что ими так же управляют при помощи печенья, пирожного и розог, — с этим никто не хочет согласиться, а по моему разумению, это вполне очевидно.

Спешу признаться тебе, помня твои взгляды, что почитаю счастливыми тех, кто живет не задумываясь, подобно детям, нянчится со своей куклой, одевает и раздевает ее и умильно ходит вокруг шкафа, куда мама заперла пирожное, а когда доберется до сладенького, то уплетает его за обе щеки и кричит: «Еще!» Счастливые создания! Хорошо живется и тем, кто дает пышные названия своим ничтожным занятиям и даже своим страстишкам и преподносит их роду человеческому как грандиозные подвиги во имя его пользы и процветания.

Благо тому, кто может быть таким! Но если кто в смирении своем понимает, какая всему этому цена, кто видит, как

прилежно всякий благополучный мещанин подстригает свей садик под рай и как терпеливо даже несчастливцев, сгибаясь под бременем, плетется своим путем и все одинаково жаждут хоть на минуту дольше видеть свет нашего солнца,— кто все это понимает, тот молчит и строит свой мир в самом себе и счастлив уже тем, что он человек. И еще тем, что, при всей своей беспомощности, в душе он хранит сладостное чувство свободы и сознание, что может вырваться из этой темницы, когда пожелает.

26 мая

Ты издавна знаешь мою привычку приживаться где-нибудь, находить себе приют в укромном уголке и располагаться там, довольствуясь малым. Я и здесь облюбовал себе такое местечко.

Приблизительно в часе пути от города находится деревушка, называемая Вальхейм<sup>1</sup>. Она очень живописно раскинулась по склону холма, и когда идешь к деревне поверху, пешеходной тропой, перед глазами открывается вид на всю долину. Старуха, хозяйка харчевни, услужливая и расторопная, несмотря на годы, подает вино, пиво, кофе; а что приятнее всего — две липы своими раскидистыми ветвями целиком укрывают небольшую церковную площадь, окруженную со всех сторон крестьянскими домишками, овинами и дворами. Уютнее, укромнее я редко встречал местечко; мне выносят столик и стул из харчевни, и я посиживаю там, попиваю кофе и читаю Гомера.

Первый раз, когда я в ясный полдень случайно очутился под липами, площадь была совсем пустынна. Все работали в поле, только мальчуган лет четырех сидел на земле и обеими ручонками прижимал к груди другого, полугодовалого ребенка, сидевшего у него на коленях, так что старший как будто служил малышу креслом, и хотя черные глазенки его очень задорно поблескивали по сторонам, сидел он не шевелясь.

Меня позабавило это зрелище: я уселся на плуг, напротив них, и с величайшим удовольствием запечатлел эту трогательную сценку. Пририсовал еще ближний плетень, ворота сарая, несколько сломанных колес, все, как оно было расположено на самом деле, и, проработав час, увидел, что у меня получил-

---

<sup>1</sup> Пусть читатель не трудится отыскивать названные здесь места; нам пришлось изменить стоявшие в оригинале подлинные названия. (Прим. автора.)

ся стройный и очень интересный рисунок, к которому я не добавил от себя ровно ничего. Это укрепило меня в намерении впредь ни в чем не отступать от природы. Она одна неисчерпаемо богата, она одна совершенствует большого художника. Много можно сказать в пользу установленных правил, примерно то же, что говорят в похвалу общественному порядку. Человек, воспитанный на правилах, никогда не создаст ничего безвкусного и негодного, как человек, следующий законам и порядкам общежития, никогда не будет несносным соседом или отпетым злодеем. Зато, что бы мне ни говорили, всякие правила убивают ощущение природы и способность правдиво изображать ее! Ты скажешь: «Это слишком резко! Строгие правила только обуздывают, подрезают буйные побег и т. д.».

Привести тебе сравнение, дорогой друг? Тут дело обстоит так же, как с любовью. Представь себе юношу, который всем сердцем привязан к девушке, проводит подле нее целые дни, растрчивает все силы, все состояние, чтобы каждый миг доказывать ей, как он беззаветно ей предан. И вдруг является некий филистер, чиновник, занимающий видную должность, и говорит влюбленному: «Милый юноша! Любить свойственно человеку, но надо любить по-человечески! Умейте распределять свое время: положенные часы посвящайте работе, а часы досуга — любимой девушке. Сосчитайте свое состояние, и на то, что останется от насущных нужд, вам не возбраняется делать ей подарки, только не часто, а так, скажем, ко дню рождения, к именинам и т. д.». Если юноша послушается, из него выйдет дельный молодой человек, и я первый порекомендую всякому государю назначить его в коллегия, но тогда любви его придет конец, а если он художник, то конец и его искусству. Друзья мои! Почему так редко бьет ключ гениальности, так редко разливается полноводным потоком, потрясая наши смущенные души? Милые мои друзья, да потому, что по обоим берегам проживают рассудительные господа, чьи беседки, огороды и клумбы с тюльпанами смыло бы без следа, а по сему они ухитряются заблаговременно предотвращать опасность с помощью отводных каналов и запруд.

*27 мая*

Я вижу, что увлекся сравнениями, ударился в декламацию и забыл тебе досказать, что случилось дальше с ребятами. Часа два просидел я на плуге, погружившись в творческие раздумья, весьма бессвязно изложенные во вчерашнем моем письме. Вдруг в сумерки появляется молодая женщина с кор-



зиной на руке, спешит к детям, которые за все время не шелохнулись, и уже издали кричит: «Молодец, Филипп!» Мне она пожелала доброго вечера, я поблагодарил, поднялся, подошел ближе и спросил, ее ли это дети. Она ответила утвердительно, дала старшему кусок сдобной булки, а малыша взяла на руки и расцеловала с материнской нежностью. «Я велела Филиппу подержать малыша, а сама пошла со старшим в город купить белого хлеба, сахара и глиняную миску для каши. (Все это виднелось в корзинке, с которой упала крышка.) Мне надо сварить Гансу (так звали маленького) супчик на ужин; а старший мой, баловник, поспорил вчера с Филиппом из-за поскребышков каши и разбил миску». Я спросил, где же старший, и не успела она ответить, что он гоняет на лугу гусей, как он прибежал вприпрыжку и принес брату ореховый прутик. Я продолжал расспрашивать женщину и узнал, что она дочь учителя и что муж ее отправился в Швейцарию получать наследство после умершего родственника. «Его хотели обойти, — пояснила она, — даже на письма ему не отвечали, так уж он поехал сам. Только бы с ним не приключилось беды! Что-то ничего о нем не слышно». Я едва отделался от нее, дал каждому из мальчуганов по крейцеру, еще один крейцер дал матери, чтобы она из города принесла маленькому булку к супу, и на этом мы расстались.

Верь мне, бесценный друг, когда чувства мои рвутся наружу, лучше всего их волнение смиряет пример такого существа, которое покорно бредет по тесному кругу своего бытия, перебивается со дня на день, смотрит, как падают листья, и видит в этом только одно — что скоро наступит зима.

С того дня я стал часто бывать в деревушке. Дети совсем ко мне привыкли; когда я пью кофе, им достается сахар, за ужином я уделю им хлеба с маслом и простокваши. В воскресенье они обязательно получают по крейцеру, а если меня нет после обеда, хозяйке харчевни раз навсегда приказано давать им монетки. Дети доверчиво рассказывают мне всякую всячину. Особенно же забавляет меня в них игра страстей, простодушное упорство желаний, когда к ним присоединяются другие деревенские ребяташки. Немало труда стоило мне убедить их мать, что они не беспокоят меня.

*30 мая*

Все, что я недавно говорил о живописи, можно, без сомнения, отнести и к поэзии; тут важно познать совершенное и найти в себе смелость выразить его словами — этим немногим

сказано многое. Сегодня я наблюдал сцену, которую надо просто описать, чтобы получилась чудеснейшая в мире идиллия.

Ах, при чем тут поэзия, сцена, идиллия? Неужели нельзя без ярлыков приобщаться к явлениям природы?

Если ты после такого предисловия ждешь чего-то возвышенного, изысканного, то опять жестоко обманешься; такое сильное впечатление произвел на меня всего лишь крестьянский парень. Я, как всегда, буду плохо рассказывать, а ты, как всегда, найдешь, что я увлекаюсь. Родина этих чудес — снова Вальхейм, все тот же Вальхейм.

Целое общество собралось пить кофе под липами. Мне оно было не по душе, и я, выставив благовидный предлог, устранился от него. Крестьянский парень вышел из ближнего дома и стал починять тот самый плуг, который я срисовал на днях. Юноша понравился мне с виду, и я заговорил с ним, расспросил об его жизни; вскоре мы познакомились и, как всегда выходит у меня с такого рода людьми, даже подружились. Он рассказал мне, что служит в работниках у одной вдовы и она очень хорошо с ним обращается. Он так много говорил о ней и до того ее расхваливал, что я сразу понял — он предан ей телом и душой. По его словам, она женщина уже немолодая, первый муж дурно обращался с ней, и она не хочет больше выходить замуж; из рассказа его совершенно ясно было, что краше ее, милее для него нет никого на свете, что он только и мечтает стать ее избранником и заставить ее позабыть провинности первого мужа, но мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы дать тебе представление о чистоте чувства, о любви и преданности этого человека. Мало того, мне нужен был бы дар величайшего поэта, чтобы охватить и выразительность его жестов, и звучность голоса, и затаенный огонь во взорах. Нет, никакими словами не описать той нежности, которой дышало все его существо: что бы я ни сказал, все выйдет грубо и нескладно. Особенно умилила меня в нем боязнь, что я неверно истолкую их отношения и усомнюсь в ее благонравии. Только в тайниках своей души могу я вновь прочувствовать, как трогательно он говорил о ее осанке, о ее теле, лишенном юной прелести, но властно влекущем и пленительном для него. В жизни своей не видел я, да и не воображал себе неотступного желания, пламенного страстного влечения в такой нетронутой чистоте.

Не сердись, если я признаюсь тебе, что воспоминание о такой искренности и непосредственности чувств потрясает меня до глубины души и образ этой верной и нежной любви по-

всюду преследует меня и сам я словно воспламенен ею, томлюсь и горю.

Постараюсь поскорей увидеть эту женщину, впрочем, если подумать, пожалуй, лучше воздержаться от этого. Лучше видеть ее глазами влюбленного; быть может, собственным моим глазам она предстанет совсем иной, чем рисуется мне сейчас, а зачем портить прекрасное видение?

*16 июня*

Почему я не пишу тебе, спрашиваешь ты, а еще слынешь ученым. Мог бы сам догадаться, что я вполне здоров и даже... словом, я свел знакомство, которое живо затронуло мое сердце... Боюсь сказать, но, кажется, я...

Не знаю, удастся ли мне описать по порядку, каким образом я познакомился с одним из прелестнейших в мире созданий. Я счастлив и доволен, а значит, не гожусь в трезвые повествователи.

Это ангел! Фи, что я! Так каждый говорит про свою милую. И все же я не в состоянии выразить, какое она совершенство и в чем ее совершенство; короче говоря, она полонила мою душу.

Какое сочетание простосердечия и ума, доброты и твердости, душевного спокойствия и живости деятельной натуры! Все эти слова только пошлый вздор, пустая отвлеченная болтовня, не отражающая ни единой черточки ее существа. В другой раз... нет, не в другой, а сейчас, сию минуту расскажу я тебе все! Если не сейчас, я не соберусь никогда. Между нами говоря, у меня уже три раза было поползновение отложить перо, оседлать лошадь и поехать туда. Я с утра дал себе слово остаться дома, а сам каждую минуту подхожу к окну и смотрю, долго ли до вечера...

Я не мог совладать с собой, не удержался и поехал к ней. Теперь я возвратился, буду ужинать хлебом с маслом и писать тебе, Вильгельм. Что за наслаждение для меня видеть ее в кругу восьмерых милых резвых ребятишек, ее братьев и сестер!

Если я буду продолжать в том же роде, ты до конца не поймешь ничего. Слушай же! Сделаю над собой усилие и расскажу все в мельчайших подробностях.

Я писал тебе недавно, что познакомился с амтманом С. и он пригласил меня посетить его уединенную обитель, или, вернее, его маленькое царство. Я пренебрег этим приглашением и, вероятно, так и не побывал бы у него, если бы случай-

но не обнаружил сокровища, спрятанного в этом укромном уголке.

Наша молодежь затеяла устроить загородный бал, в котором я охотно принял участие. Я предложил себя в кавалеры одной славной, милостивой, но, впрочем, бесцветной девушке, и было решено, что я заеду в карете за моей дамой и ее кухней, что по дороге мы захватим Шарлотту С. и вместе отправимся на праздник. «Сейчас вы увидите красавицу», — сказала моя спутница, когда мы широкой лесной просекой подъезжали к охотничьему дому. «Только смотрите не влюбитесь!» — подхватила кухня. «А почему?» — спросил я. «Она уже просватана за очень хорошего человека, — отвечала та, — он сейчас в отсутствии, поехал приводить в порядок свои дела после смерти отца и устраиваться на солидную должность». Эти сведения произвели на меня мало впечатления.

Солнце еще не скрылось за горной грядой, когда мы подъехали к воротам. Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались иссера-белые пухлые облака. Я успокоил их страх мнимонаучными доводами, хотя и сам начал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи.

Я вышел из кареты, и служанка, отворившая ворота, попросила обождать минутку: мамзель Лотхен сейчас будет готова. Я вошел во двор, в глубине которого высилось красивое здание, поднялся на крыльцо, и, когда переступил порог входной двери, передо мной предстало самое прелестное зрелище, какое мне случалось видеть.

В прихожей шестеро детей от одиннадцати до двух лет окружили стройную, среднего роста девушку в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала в руках каравай черного хлеба, отрезала окружающим ее малышам по куску, сообразно их годам и аппетиту, и ласково оделяла каждого, и каждый протягивал ручонку и выкрикивал «спасибо» задолго до того, как хлеб был отрезан, а потом одни весело, вприпрыжку убегали со своим ужином, другие же, те, что помирнее, тихонько шли к воротам посмотреть на чужих людей и на карету, в которой уедет их Лотхен. «Простите, что я затруднила вас и заставила дам дожидаться, — сказала она. — Я занялась одеванием и распоряжениями по дому на время моего отсутствия и забыла накормить детишек, а они желают получить ужин только из моих рук». Я пробормотал какую-то банальную любезность, а сам от всей души восхищался ее обликом, голосом, движениями

и едва успел оправиться от нежиданности, как она убежала в соседнюю комнату за перчатками и веером. Дети держались в сторонке, искоса поглядывая на меня, тогда я решительно направился к младшему, прехорошенькому малышу. Он только собрался отстраниться, как вошла Лотта и сказала: «Луи, дай дяде ручку!» Мальчуган сейчас же послушался, а я не мог удержаться и расцеловал его, несмотря на сопливый носик. «Дяде? — спросил я, подавая ей руку. — Вы считаете меня достойным быть вам родней?» — «Ну, у нас родство обширное, — возразила она с игривой улыбкой, — неужели же вы окажетесь хуже других?» На ходу она поручила сестренке Софи, девочке лет одиннадцати, хорошо надзирать за детьми и поклониться папе, когда он вернется домой с прогулки верхом. Малышам она наказала слушать сестрицу Софи, все равно как ее самое, что почти все они твердо обещали. Только одна белокурая вострушка лет шести возразила: «Нет, это не все равно, Лотхен, тебя мы любим больше!»

Двое старших мальчиков взобрались на козлы, и по моей просьбе она разрешила им прокатиться до леса после того, как они пообещали крепко держаться и не ссориться между собой.

Не успели мы рассесться, не успели дамы поздороваться, оденить новые наряды, а глазное, шляпки друг друга и разобрать по косточкам всех приглашенных, как Лотта велела кучеру остановиться и заставила братьев слезть с козел, причем оба они пожелали на прощание поцеловать ей руку, что старший проделал со всей нежностью пятнадцатилетнего юноши, а младший — с большой живостью и горячностью. Она еще раз передала привет малышам, и мы поехали дальше.

Кузина спросила, прочла ли Лотта книгу, которую она на днях послала ей. «Нет! — отвечала Лотта. — Она мне не понравилась, возьмите ее назад. И прежняя была не лучше». Спросив, что это за книги, я поразился ее ответу<sup>1</sup>. Во всех ее суждениях чувствовалась самобытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице, оно становилось все одухотвореннее и все более прояснялось, потому что она видела, как хорошо я понимаю ее.

«Когда я была помоложе, мне больше всего нравились романы, — говорила она. — Одному богу известно, как приятно

---

<sup>1</sup> Мы вынуждены опустить это место в письме, чтобы не давать повода к дальнейшей обиде, хотя, в сущности, какого писателя может тронуть суждение первой встречной девушки и несложившегося молодого человека? (Прим. автора.)

бывало мне усесться в воскресенье в уголок и всем сердцем переживать радости и невзгоды какой-нибудь мисс Дженни. Не буду отрицать, и сейчас еще такого рода чтение не утратило для меня привлекательности. Я редко могу взяться за книгу, а потому она должна быть мне особенно по вкусу. И мне милее всего тот писатель, у которого я нахожу мой мир, у кого в книге происходит то же, что и вокруг меня, и чей рассказ занимает и трогает меня, как моя собственная домашняя жизнь. Пусть это далеко не райская жизнь, но в ней для меня источник несказанных радостей».

Я постарался скрыть волнение, вызванное этими словами. Правда, надолго моего благоразумия не хватило: когда Лотта мимоходом обронила меткие замечания о «Векфилдском священнике» ...о...<sup>1</sup>. Я не выдержал и высказал ей все, что думал, и лишь после того, как Лотта вовлекла в разговор наших спутниц, заметил, что те все время сидели с отсутствующим видом. Кузина не раз посматривала на меня, насмешливо наморщив носик, но мне это было безразлично.

Речь шла о любви к танцам. «Пусть эта страсть порочна,— сказала Лотта,— сознаюсь вам, что ставлю танцы выше всего. Стоит мне, когда я чем-нибудь озабочена, побренчать на моем расстроенном фортепьяно контрданс, и все мигом происходит».

Как любовался я во время разговора ее черными глазами! Как тянулся душой к выразительным губам, к свежим, цветущим щекам, как, проникаясь смыслом ее речей, я порою не слышал самих слов,— все это ты, зная меня, легко себе представишь. Короче говоря, когда мы подъехали к бальному павильону, я вышел из кареты точно во сне и так замечтался, убаюканный вечерним сумраком, что не слышал музыки, гремевшей нам навстречу сверху, из освещенной залы.

Кавалеры кузины и Лотты — Одран и некий N. N.,— разве упомнишь все имена,— встретили нас у кареты и подхватили своих дам, я тоже повел свою наверх.

Мы переплетались в менуэтах, я приглашал одну даму за другой, и, как назло, самые несносные все медлили поблагодарить и отпустить меня. Лотта и ее кавалер начали танцевать англес, и ты сам поймешь, как было мне приятно, когда ей

---

<sup>1</sup> Здесь также пропущены имена некоторых отечественных писателей. Тот, кого Лотта похвалила, несомненно, угадает это чутьем, прочитав настоящее место в книге, а другим нет нужды знать об этом. (Прим. автора.)

пришлось проделывать фигуру с нами! Надо только посмотреть, как она танцует! Видишь ли, она всем сердцем, всей душой отдается танцу, все движения ее так гармоничны, так беспечны, так непринужденны, как будто в этом для нее все, как будто она больше ни о чем не думает, ничего не чувствует, и, конечно же, в те минуты все остальное не существует для нее.

Я попросил у нее второй контрданс; она обещала мне третий и с очаровательной откровенностью призналась, что до страсти любит танцевать немецкий вальс. «Тут у нас принято, — продолжала она, — чтобы дама танцевала вальс со своим постоянным кавалером. Но мой кавалер прескверно вальсирует и будет мне признателен, если я избавлю его от этого труда. Ваша дама тоже не охотница и не мастерица танцевать вальс, а я заметила еще в англезе, что вы вальсируете превосходно. Так вот, если вам хочется танцевать со мной, ступайте попросите разрешения у моего кавалера, а я пойду к вашей даме». Я согласился, и мы решили, что ее танцор будет между тем занимать мою танцорку.

Танец начался, и мы некоторое время с увлечением выделяли разнообразные фигуры. Как изящно, как легко скользила она! Когда же все пары закружились в вальсе, поднялась суতোлка, потому что мало кто умеет вальсировать. Мы благо-разумно подождали, чтобы наплясались остальные, и когда самые неумелые очистили место, вступили мы еще с одной парой, с Одраном и его дамой, и не посрамили себя. Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувствовал собственного тела. Подумай, Вильгельм, — держать в своих объятиях прелестнейшую девушку, точно вихрь носиться с ней, ничего не видя вокруг и... Однако, сознаюсь тебе, я поклялся мысленно, что никогда, ни за какие блага в мире не позволил бы своей любимой, своей невесте, вальсировать с другим мужчиной. Ты меня, конечно, поймешь!

Мы несколько раз просто прошлись по зале, чтобы отдышаться. Потом Лотта села, и апельсины, с трудом добытые мною, превосходно освежили нас, только каждый ломтик, который она из вежливости уделяла беззастенчивой соседке, был мне словно острый нож в сердце.

Третий англез танцевали мы во второй паре. Когда мы проходили в танце по ряду и я с неизъяснимым упоением держал ее руку, смотрел в ее глаза, откровенно выражавшие искреннейшее, чистейшее удовольствие, мы поравнялись с женщиной, которая раньше еще привлекла мое внимание приятным выражением немолодого лица. Она с улыбкой по-

глядела на Лотту, погрозила пальцем и дважды многозначительно произнесла вдогонку имя Альберта.

«Разрешите узнать, кто такой Альберт?» — спросил я Лотту. Только она собралась ответить, как нам пришлось разлучиться, чтобы проделать длинную восьмую фигуру, а когда мы снова встретились в танце, мне показалось, что лицо у нее стало задумчивым.

«Зачем таиться перед вами? — сказала она, подавая мне руку для променада. — Альберт — хороший человек, с которым я почти что помолвлена». Это известие не было для меня ново (ведь барышни рассказали мне об этом по дороге), но теперь оно прозвучало для меня совсем по-новому, потому что теперь я связывал его с ней, а она за короткий миг стала мне так дорога. Словом, я смутился, растерялся и перепутал пары, так что все смешалось, и только благодаря находчивости Лотты, ее стараниям и усилиям порядок был восстановлен.

Танец еще не кончился, когда молнии, которые давно уже поблескивали на горизонте и которые я упорно называл зарницами, засверкали сильнее, и гром стал заглушать музыку. Три дамы выбежали из цепи танцующих, их кавалеры последовали за ними; все смешалось, музыка смолкла. Когда несчастье или неожиданное потрясение настигают нас посреди удовольствия, вполне естественно, что они действуют сильнее, отчасти уже по контрасту, но главным образом потому, что чувства наши тут особенно обостренны и, значит, мы тем легче поддаемся впечатлениям. Только этой причине могу я приписать нелепые выходы многих женщин. Самая благоразумная уселась в угол спиной к окну и заткнула уши; другая стала перед ней на колени и зарылась головой в ее платье, третья втиснулась между ними и, заливаясь слезами, прижимала к себе своих сестриц. Одни рвались домой; другие совсем не помнили себя, у них не хватало самообладания обуздать дерзость наших юных шалунов, усердно старавшихся перехватить с губ прекрасных страдалиц жалобные мольбы, обращенные к небесам.

Некоторые мужчины отправились вниз выкурить без помехи трубочку, прочие же гости воспользовались счастливой мыслью хозяйки перейти в комнату, где имелись ставни и занавеси. Не успели мы собраться там, как Лотта принялась расставлять стулья в круг и, усадив все общество, предложила затеять игру.

Я видел, как многие уже облизывались и потягивались, предвкушая пикантный фант. «Мы будем играть в счет, — объ-



явила Лотта. — Внимание! Я пойду по кругу справа налево, и вы считайте за мной; каждый должен называть то число, которое придется на него, и так до тысячи, только живо, без задержки, а кто запнется или ошибется — получит пощечину». Зрелище было превеселое. Она пошла по кругу с поднятой рукой. Первый сказал «раз», сосед его — «два», следующий — «три» и так далее. Потом она зашагала быстрее, все быстрее; один ошибся, бац! — пощечина, от смеха спутался другой, опять — бац! — а она шла все быстрее. Я сам получил две оплеухи и с тайной радостью отметил, что они были явно увесистее тех, что доставались другим. Игра закончилась всеобщим смехом и гамом, не дойдя до тысячи.

Парочки уединились; гроза прошла, и я последовал за Лоттой в залу. На ходу она заметила: «Пощечины заставили их забыть и погоду, и все на свете!» Я не нашелся, что ответить. «Я первая струсилась, — продолжала она, — но старалась бодриться, чтобы придать храбрости другим, и сама расхрабрилась».

Мы подошли к окну. Где-то в стороне еще громыхало, благодатный дождь струился на землю, и теплый воздух, насыщенный живительным ароматом, поднимался к нам. Она стояла, облокотясь на подоконник и вглядываясь в окрестности; потом посмотрела на небо, на меня; я увидел, что глаза ее подернулись слезами; она положила руку на мою и произнесла: «Клопшток!» Я сразу же вспомнил великолепную оду, пришедшую ей на ум, и погрузился в поток ощущений, которые она пробудила своим возгласом. Я не выдержал, я склонился и с блаженными слезами поцеловал ее руку. А потом снова взглянул ей в глаза. Великий! Дай бог тебе увидеть благоговейный восторг в этих глазах, а мне никогда не слышать твоего имени из кощунственных уст!

*19 июня*

Не помню, на чем я остановился в прошлый раз. Одно помню, что до постели я добрался в два часа ночи и что если бы я мог болтать с тобой, а не писать, то продержал бы тебя, должно быть, до самого утра.

Я не рассказал еще, что произошло на обратном пути о бала, а сегодня у меня опять мало времени.

Что это был за великолепный восход солнца! Вокруг окропленный дождем лес и освеженные поля! Наши спутницы задремали. Она спросила, не хочется ли мне последовать их примеру, я могу не стесняться ее присутствием. «Пока передо

мной сияют эти глаза, — сказал я, смело глядя на нее, — мне сон не грозит». Оба мы бодрствовали до самых ее ворот, когда служанка потихоньку отворила ей и на ее расспросы ответила, что все благополучно, а отец и малыши еще спят. На этом я расстался с ней, попросив разрешения навестить ее в тот же день. Она разрешила, и я приехал, и с тех пор солнце, месяц и звезды могут преспокойно совершать свой путь, я не знаю, где ночь, где день, я не вижу ничего кругом.

*21 июня*

Я переживаю такие счастливые дни, какие господь берегает для своих святых угодников, и что бы со мной ни случилось, я не посмею сказать, что не познал радостей, чистейших радостей жизни.

Ты представляешь себе мой Вальхейм: там я прочно обосновался, оттуда мне полчаса пути до Лотты, а подле нее я становлюсь сам собой и ощущаю все счастье, доступное человеку.

Думал ли я, избирая Вальхейм целью своих прогулок, что он расположен так близко к небесам! Как часто во время дальних странствий видел я охотничий дом, средоточие всех моих желаний, то с холма, то с равнины над рекой!

Милый Вильгельм, я не раз задумывался над тем, как сильна в человеке жажда бродяжничать, делать новые открытия, как его манят просторы; но наряду с этим в нас живет внутренняя тяга к добровольному ограничению, к тому, чтобы катиться по привычной колее, не оглядываясь по сторонам.

Поразительно, право! Когда я приехал сюда и с пригорка оглядывал долину, — до чего же все вокруг притягивало меня. Вон тот лесок: хорошо бы нырнуть в его тень! И вершина вон той горы: хорошо бы оттуда обозреть всю окрестность! И примыкающие друг к другу холмы и укромные долины: хорошо бы углубиться в них! Я бежал туда и возвращался, не найдя того, на что надеялся. Будущее — та же даль! Необъятная туманность простерта перед нашей душой; ощущения наши теряются в ней, как и взгляды, и ах! как же мы жаждем отдать себя целиком, проникнуться блаженством единого, великого, прекрасного чувства. Но, увы, когда мы достигаем цели, когда «там» становится «тут», все оказывается прежним, и мы снова сознаем свое убожество, свою ограниченность, и душа наша томится по ускользнувшей усладе.

Так неугомнейший бродяга под конец стремится назад, в отчизну, и в своей лачуге, на груди жены, в кругу детей

в заботах об их пропитании находит блаженство, которого тщетно искал по всему свету.

Когда я утром, на заре, отправляюсь в Вальхейм и там, в огороде при харчевне, сам рву для себя сахарный горошек, сажусь, чищу его и попутно читаю Гомера; когда я выбираю на кухоньке горшок, кладу в него масла, накрыв крышкой, ставлю стручки на огонь и подсаживаюсь, чтобы время от времени помешивать их, тогда я очень живо воображаю, как дерзкие женихи Пенелопы убивали, свежевали и жарили быков и свиней. Ничто не вызывает во мне такого тайного и непритворного восхищения, как этот патриархальный быт, и меня радует, когда я могу без натяжки переносить его черты в мое собственное повседневное существование.

Как отратно мне всем сердцем ощущать бесхитростную, безмятежную радость человека, который кладет себе на стол взращенный своими руками кочап капусты и в одно мгновение переживает вновь все хорошее, что связано с ним, — ясное утро, когда сам сажал его, и теплые вечера, когда его поливал и радовался, глядя, как он растет.

*29 июня*

Позавчера сюда из города приезжал лекарь и застал меня на полу среди ребятишек Лотты; одни карабкались по мне, другие меня тормошили, а я их щекотал, и мы дружно кричали во весь голос. Доктор, ученый паяц, который во время разговора непрерывно теребит складки своих манжет и без конца поправляет свое жабо, счел такое поведение недостойным рассудительного человека; это было у него на носу написано. Однако я нимало не смутился, слушал его мудрейшие разглагольствования, а сам наново строил детям карточные домики, которые они успели разрушить. После этого он ходил по городу и возмущался: дети амтмана и так, мол, невоспитанны, а Вертер окончательно разбаловал их.

Да, милый Вильгельм, дети ближе всего моей душе. Наблюдая их, находя в малыше зачатки всех добродетелей, всех сил, какие со временем так понадобятся ему; видя в упрямстве будущую стойкость и твердость характера, в шаловливости — веселый нрав и способность легко скользить над житейскими грозами, — и все это в такой целостности и чистоте! — я не устаю повторять золотые слова Учителя: «Если не обратитесь и не будете как дети!»

И вот, друг мой, хотя они равны нам, хотя они должны служить нам примером, мы обращаемся с ними, как с низшими.

У них не должно быть своей воли! Но ведь у нас-то есть своя воля! Откуда же такая привилегия? Оттого, что мы старше и разумнее! Боже правый, ты с небес видишь лишь только старых детей да малых детей; а сын твой давно уже возвестил, от которых из них тебе больше радости. Они же веруют в него и не слушают его (это тоже не ново), и детей воспитывают по своему образцу, и... прощай, Вильгельм! Довольно пустословить на эту тему.

1 июля

Чем может быть Лотта для больного — это я чувствую на своем собственном злосчастном сердце, а ему хуже приходится, нежели любому страдальцу, изнывающему на одре болезни. Она пробудет несколько дней в городе у одной почтенной женщины, которая, по мнению врачей, безнадежна и в последние минуты хочет видеть подле себя Лотту. На прошлой неделе мы ездили с Лоттой навестить пастора в Ш., местечке, лежащем в стороне, в горах. Туда час пути, и добрались мы около четырех часов. Лотта взяла с собой младшую сестру. Когда мы вошли во двор пастората, осененный двумя высокими ореховыми деревьями, славный старик сидел на скамейке у входа и, едва завидев Лотту, явно оживился, позабыл свою суковатую палку и поднялся навстречу гостье. Она подбежала к нему, усадила его на место, села сама рядом, передала низкий поклон от отца, приласкала противного, чумазого меньшого сынишку пастора, усладу его старости. Посмотрел бы ты, как она занимала старика, как старалась говорить погромче, потому что он туг на ухо, как рассказывала о молодых и крепких людях, умерших невзначай, и о пользе Карлсбада, как одобряла его решение побывать там будущим летом, как уверяла, что он на вид много здоровее, много бодрее, чем в последний раз, когда она видела его. Я тем временем успел отрекомендоваться пасторше. Старик совсем повеселел, и так как я не преминул восхититься красотой ореховых деревьев, дающих такую приятную тень, он, хоть и не без труда, принялся рассказывать их историю. «Кем посажено старое, мы толком не знаем,— сказал он.— Кто говорит — одним, кто — другим священником, а вон тому молодому дереву, что позади, ровно столько лет, сколько моей жене, в октябре стукнет пятьдесят. Отец ее посадил дерево утром, а в тот же день под вечер она родилась. Он был моим предшественником в должности, и до чего ему было любо дерево, даже не выразишь словами, да и мне, конечно, не меньше. Жена моя сидела под

ним на бревне и вязала, когда я двадцать семь лет тому назад бедным студентом впервые вошел сюда во двор». Лотта осведомилась о его дочери: оказалось, она пошла на луг к батракам с господином Шмидтом, старик же продолжал вспоминать, как полюбил его старый священник, а за ним и дочь и как он стал сперва его викарием, а потом преемником.

Рассказ близился к концу, когда из сада появилась пасторская дочка вместе с вышеназванным господином Шмидтом. Она с искренним радушием приветствовала Лотту, и, должен признаться, мне она понравилась. С такой живой и статной брюнеткой неплохо скоротать время в деревне. Ее поклонник (ибо роль господина Шмидта сразу же определилась), благовоспитанный, но неразговорчивый человек, все время помалкивал, как Лотта ни пыталась вовлечь его в беседу. Особенно было мне неприятно, что, судя по выражению лица, необщительность его объяснялась скорее упрямством и дурным характером, нежели ограниченностью ума. В дальнейшем это, к сожалению, вполне подтвердилось. Когда Фредерика во время прогулки пошла рядом с Лоттой, а следовательно, и со мной, лицо ее воздыхателя, и без того смуглое, столь явно потемнело, что Лотта как раз вовремя дернула меня за рукав и дала понять, что я чересчур любезен с Фредерикой. А мне всегда до крайности обидно, если люди докучают друг другу, тем более если молодежь во цвете лет вместо того, чтобы быть восприимчивой ко всяческим радостям, из-за пустяков портит друг другу недолгие светлые дни и слишком поздно понимает, что растраченного не возместить. Это мучило меня, и, когда мы в сумерках вернулись на пасторский двор и, усевшись за стол пить молоко, завели разговор о горестях и радостях жизни, я воспользовался предлогом и произнес горячую речь против дурного расположения духа.

«Люди часто жалуются, что счастливых дней выпадает мало, а тяжелых много,— так начал я,— но, по-моему, это неверно. Если бы мы с открытым сердцем шли навстречу тому хорошему, что уготовано нам богом на каждый день, у нас хватило бы сил снести и беду, когда она приключится».

«Но мы не властны над своими чувствами,— возразила пасторша,— немалую роль играет и тело! Когда человеку неможется, ему всюду не по себе». В этом я согласился с ней. «Значит, надо считать это болезнью,— продолжал я,— и надо искать подходящего лекарства». — «Дельно сказано,— заметила Лотта.— Мне, например, кажется, что многое зависит от нас самих. Я это по себе знаю: когда что-нибудь огорчает меня

и вгоняет в тоску, я вскочу, пробежусь раз-другой по саду, напевая контрдансы, и тоски как не бывало». — «Вот это я и хотел сказать, — подхватил я. — Дурное настроение сродни лени, оно, собственно, одна из ее разновидностей. От природы все мы с ленцой, однако же, если у нас хватает силы встряхнуться, работа начинает спориться, и мы находим в ней истинное удовольствие». Фредерика слушала очень внимательно, а молодой человек возразил мне, что не в нашей власти управлять собой, а тем более своими ощущениями. «Здесь речь идет о неприятных ощущениях, — отвечал я, — а от них всякий рад избавиться, и никто не знает предела своих сил, пока не испытает их. Кто болен, тот уже обойдет всех врачей, согласится на любые жертвы, не откажется от самых горьких лекарств, лишь бы вернуть себе желанное здоровье». Я заметил, что старик пастор напрягает слух, желая принять участие в нашем споре; тогда я возвысил голос и обратил свою речь к нему. «Церковные проповеди направлены против всяческих пороков, — говорил я, — но мне еще не доводилось слышать, чтобы с кафедры громили угрюмый нрав»<sup>1</sup>. — «Пусть этим занимаются городские священники, — возразил он, — у крестьян не бывает плохого расположения духа, впрочем, иногда такая проповедь не помешала бы, хотя бы в назидание моей жене и господину амтману». Все общество рассмеялось, и сам он смеялся от души, пока не закашлялся, что на время прервало наш диспут; затем слово опять взял молодой человек. «Вы называли угрюмый нрав пороком; на мой взгляд, это преувеличено». — «Ничуть, — отвечал я, — разве то, чем портят жизнь себе и своим ближним, не заслуживает такого названия? Мало того что мы не в силах сделать друг друга счастливыми: неужто мы должны еще отнимать друг у друга ту радость, какая изредка выпадает на долю каждого? И назовите мне человека, дурно настроенного, но достаточно мужественного, чтобы скрывать свое настроение, одному страдать от него, не омрачая жизни окружающим. Притом же чаще всего дурное настроение происходит от внутренней досады на собственное несовершенство, от недовольства самим собой, неизбежно связанного с завистью, которую, в свою очередь, разжигает нелепое тщеславие. Видеть счастливых людей, обязанных своим счастьем *не нам*, — вот что несносно». Лотта

---

<sup>1</sup> У нас имеется теперь превосходная проповедь Лафатера на эту тему, между прочим и по поводу книги пророка Ионы. (Прим. автора.)

улыбнулась мне, видя, с каким волнением я говорю, а слезы, блеснувшие в глазах Фредерики, подстрекнули меня продолжать: «Горе тому, кто, пользуясь своей властью над чужим сердцем, лишает его немудреных радостей, зарождающихся в нем самом. Никакое баловство, никакие дары не заменят минуты внутреннего удовольствия, отравленной завистливой неприязнью нашего учителя».

Сердце мое переполнилось в этот миг; воспоминания о том, что было выстрадано когда-то, теснились в груди, и на глаза навернулись слезы.

«Вот что надо изо дня в день твердить себе,— заговорил я.— Одно только можешь ты сделать для друзей: не лишать их радости и приумножать их счастье, разделяя его с ними. Когда их терзает мучительная страсть, когда душа у них потрясена скорбью, способен ли ты дать им хоть каплю облегчения?»

И что же? Когда девушка, чьи лучшие годы отравлены тобой, лежит в полном изнеможении, сраженная последним, страшным недугом, и невидящий взор ее устремлен ввысь, а на бледном лбу проступает смертный пот,— тебе остается лишь стоять у постели, как преступнику, до глубины души ощущать свое бессилие и с мучительной тоской сознавать, что ты отдал бы все силы, лишь бы вдохнуть крупицу бодрости, искру мужества в холодеющее сердце!»

Воспоминание о подобной сцене, пережитой мною, сломило меня, пока я говорил. Я поднес платок к глазам и поспешил покинуть общество, и только голос Лотты, кричавшей мне: «Пора домой!» — отрезвил меня. И как же она бранила меня дорогой: нельзя все принимать так близко к сердцу! Это просто губительно! Надо беречь себя! Ангел мой! Я должен жить ради тебя!

*6 июля*

Она все еще ходит за своей умирающей приятельницей и по-прежнему верна себе: то же прелестное, заботливое создание, которое одним взглядом смягчает муки и дарит счастье. Вчера вечером она отправилась погулять с Марианной и крошкой Мальхен; я знал об этом, встретил ее, и мы пошли вместе. Погуляв часа полтора, мы возвратились в город и остановились у источника, который давно уже мил мне, а теперь стал в тысячу раз милее. Лотта села на каменную ограду, а мы стояли рядом. Я огляделся по сторонам, и ах! как живо вспомнилось мне время, когда сердце мое было так одиноко. «Ми-

мый источник, — сказал я, — с тех пор я ни разу не наслаждался твоей прохладой и даже мимоходом не бросал на тебя беглого взгляда». Я посмотрел вниз и увидел, что Мальхен бережно несет стакан воды. Я взглянул на Лотту и почувствовал, что она для меня значит. Тем временем подошла Мальхен. Марианна хотела взять у нее стакан. «Нет, нет! — воскликнула крошка и ласково добавила: — Отпей ты первая, Лотхен!» Я был до того умилен искренней нежностью ее слов, что не мог сдержать свои чувства, поднял малютку с земли и крепко поцеловал, а она расплакалась и раскричалась. «Вы нехорошо поступили», — заметила Лотта. Я был посрамлен. «Пойдем, Мальхен, — продолжала Лотта, взяла ребенка за руку, и свела вниз по ступенькам. — Скорей, скорей, помойся свежей водицей, ничего и не будет!» А я стоял и смотрел, с каким усердием малютка терла себе щеки мокрыми ручонками, с какой верой в то, что чудотворный источник смоем нечистое прикосновение и спасет ее от угрозы обрасти бородой; Лотта говорила: «Довольно уже!» — а девочка все мылась, верно, считая: чем больше, тем лучше. Уверяю тебя, Вильгельм, зрелище крестин никогда не внушало мне подобного благоговения. Когда же Лотта поднялась наверх, мне хотелось пасть ниц перед ней, как перед пророком, омывшим грехи целого народа.

Вечером я не удержался и от полноты сердца рассказал этот случай одному человеку, которого считал чутким, потому что он неглуп. И попало же мне! Он заявил, что Лотта поступила очень нехорошо, что детей нельзя обманывать; подобные басни дают повод к бесконечным заблуждениям и суевериям, от коих надо заблаговременно оберегать детей. Я вспомнил, что у него в семье неделю назад были крестины, и поэтому промолчал, но в душе остался верен той истине, что мы должны поступать с детьми, как господь поступает с нами, позволяя нам блуждать в блаженных грезах и тем даруя нам наивысшее счастье.

8 июля

Какие мы дети! Как много для нас значит один взгляд! Какие же мы дети!

Мы отправились в Вальхейм. Дамы поехали в экипаже, и во время прогулки мне показалось, что в черных глазах Лотты... Я глупец, не сердись на меня, но если бы ты видел эти глаза! Буду краток, потому что у меня глаза слипаются. Ну, словом, дамы уселись в карету, а мы: молодой В., Зельштадт,



Одран и я стояли у подножки экипажа. Беспечная молодежь весело болтала с дамами. Я ловил взгляд Лотты. Увы, он скользил от одного к другому! Но меня, меня, смиренно стоявшего в стороне, он миновал! Сердце мое шептало ей тысячекратное «прости». А она и не взглянула на меня! Карета тронулась, на глаза мне навернулись слезы. Я смотрел ей вслед и видел, как из окошка высунулась знакомая шляпка, Лотта оглянулась. Ах! На меня ли?

Друг мой, в этой неизвестности я пребываю до сих пор. Единственное мое утешение: может быть, она оглянулась на меня? Может быть!

Покойной ночи! Какое же я дитя!

*10 июля*

Посмотрел бы ты, до чего у меня глупый вид, когда в обществе говорят о ней. А еще когда меня спрашивают, нравится ли мне она! Нравится — терпеть не могу это слово. Кем надо быть, чтобы Лотта нравилась, а не заполняла все чувства, все помыслы! Нравится! Один тут недавно спрашивал меня, нравится ли мне Оссиан!

*11 июля*

Госпоже М. очень плохо. Я молюсь, чтоб господь сохранил ей жизнь, потому что горюю вместе с Лоттой. Мы изредка видимся у моей приятельницы, и сегодня Лотта рассказала мне удивительную историю. Старик М. — мелочной, придирчивый скряга, он всю жизнь тиранил и урезал в расходах свою жену, но она всегда умела как-то выходить из положения. Несколько дней тому назад, когда врач признал ее состояние безнадежным, она позвала к себе мужа (Лотта была при этом) и сказала ему: «Я должна покаяться перед тобой, потому что иначе у тебя после моей смерти будут неприятности и недоумения. Я всегда вела хозяйство насколько могла бережливо и осмотрительно; однако ты простишь мне, что я все эти тридцать лет плутовала. В начале нашего супружества ты назначил ничтожную сумму на стол и другие домашние расходы. Когда хозяйство наше расширилось и прибыль от торговли возросла, ты ни за что не желал соответственно увеличить мое недельное содержание: словом, сам знаешь, как ни широко мы жили, ты заставлял меня обходиться семью гульденами в неделю. Я не перечила, а недостаток еженедельно пополняла из выручки, — ведь никто не подумал бы, что хозяйка станет обкрадывать кассу. Я ничего не промотала и могла бы, не

признавшись, с чистой совестью отойти в вечность, но ведь та, что после меня возьмет в руки хозяйство, сразу же стáнет в тупик, а ты будешь твердить ей, что первая твоя жена умела сводить концы с концами».

Мы поговорили с Лоттой о невероятном ослеплении человека, который не подозревает, что дело нечисто, когда семи гульденов хватает там, где явно расходуется вдвое. Однако я сам встречал людей, которые не удивились бы, если бы у них в доме завелся кувшинчик с не иссякающим по милости пророка маслом.

*13 июля*

Нет, я не оболющаюсь! В ее черных глазах я читаю непритворное участие ко мне и моей судьбе. Да, я чувствую, а в этом я могу поверить моему сердцу... я чувствую, что она, — могу ли, смею ли я выразить райское блаженство этих слов? — что она любит меня... Любит меня! Как это возвышает меня в собственных глазах! Как я... тебе можно в этом признаться, ты поймешь... как я благоговею перед самим собой с тех пор, что она любит меня!

Не знаю, дерзость ли это или верное чутье, только я не вижу себе соперника в сердце Лотты. И все же, когда она говорит о своем женихе, и говорит так тепло, так любовно, я чувствую себя человеком, которого лишили всех почестей и чинов, у которого отобрали шпагу.

*16 июля*

Ах, какой трепет пробегает у меня по жилам, когда пальцы наши соприкоснутся невзначай или нога моя под столом встретит ее ножку! Я отшатываюсь, как от огня, но тайная сила влечет меня обратно — и голова идет кругом! А она в невинности своей, в простодушии своем не чувствует, как мне мучительны эти мелкие вольности! Когда во время беседы она кладет руку на мою, и, увлекшись спором, придвигается ко мне ближе, и ее божественное дыхание достигает моих губ, — тогда мне кажется, будто я тону, захлестнутый ураганом. Но если когда-нибудь я употреблю во зло эту ангельскую доверчивость и... ты понимаешь меня, Вильгельм! Нет, сердце мое не до такой степени порочно. Конечно, оно слабо, очень слабо. А разве это не пагубный порок?

Она для меня святыня. Всякое вожделение смолкает в ее присутствии. Я сам не свой возле нее, каждая частица души моей потрясена. У нее есть одна излюбленная мелодия, кото-

рую она божественно играет на фортепьяно, — так просто, с таким чувством! Первая же нота этой песенки исцеляет меня от грусти, тревоги и хандры.

Я без труда верю всему, что издавна говорилось о волшебной силе музыки. До чего трогает меня безыскусный напев! И до чего кстати умеет она сыграть его, как раз когда мне впору пустить себе пулю в лоб! Смятение и мрак моей души рассеиваются, и я опять дышу вольнее.

*18 июля*

Вильгельм, что нам мир без любви! То же, что волшебный фонарь без света. Едва ты вставишь в него лампочку, как яркие картины запестреют на белой стене! И пусть это будет только мимолетный мираж, все равно, мы, точно дети, радуемся, глядя на него и восторгаемся чудесными видениями. Сегодня мне не удалось повидать Лотту: докучные гости задержали меня. Что было делать? Я послал к ней слугу, чтобы иметь возле себя человека, побывавшего близ нее. С каким нетерпением я его ждал, с какой радостью встретил! Если бы мне не было стыдно, я притянул бы к себе его голову и поцеловал.

Говорят, что бононский камень, если положить его на солнце, впитывает в себя солнечные лучи, а потом некоторое время светится в темноте. Чем-то подобным был для меня мой слуга. Оттого, что ее глаза останавливались на его лице, баках, на пуговицах ливреи, на воротнике плаща, — все это стало для меня такой святыней, такой ценностью! В тот миг я не уступил бы его и за тысячу талеров. В его присутствии мне было так отрадно. Упаси тебя бог смеяться над этим! Вильгельм, мираж ли то, что дает нам отраду?

*19 июля*

«Я увижу ее! — восклицаю я утром, просыпаясь и весело приветствуя яркое солнце. — Я увижу ее!» Других желаний у меня нет на целый день. Все, все поглощается этой надеждой.

*20 июля*

Я еще отнюдь не решил послушаться вас и поехать с посланником в \*\*\*. Мне не очень-то по нутру иметь над собой начальство, а тут еще все мы знаем, что и человек-то он дрянной. Ты пишешь, что матушка хотела бы определить меня к делу. Меня это рассмешило. Разве сейчас я бездельничаю? И не все ли равно в конце концов, что перебирать: горох или

чечевицу. Все на свете самообман, и глуп тот, кто в угоду другим, а не по собственному призванию и тяготению трудится ради денег, почестей или чего-нибудь еще.

*24 июля*

Так как ты очень печешься о том, чтобы я не забросил рисования, я предпочел обойти этот вопрос, чем признаться тебе, сколь мало мною сделано за последнее время.

Никогда не был я так счастлив, никогда моя любовь к природе, к малейшей песчинке или былинке не была такой всеобъемлющей и проникновенной; и тем не менее,— не знаю, как бы это выразить,— мой изобразительный дар так слаб, а все так зыбко и туманно перед моим духовным взором, что я не могу запечатлеть ни одного очертания; мне кажется, будь у меня под рукой глина или воск, я бы сумел что-нибудь создать. Если это не пройдет, я достану глины и буду лепить — пусть выйдут хоть пирожки!

Трижды принимался я за портрет Лотты и трижды осрамился; это мне тем досаднее, что прежде я весьма успешно схватывал сходство. Тогда я сделал ее силуэт, и этим мне придется удовлетвориться.

*25 июля*

Хорошо, милая Лотта, я все добуду и доставлю; давайте мне побольше поручений и как можно чаще! Об одном только прошу вас: не посыпайте песком адресованных мне писем. Сегодня я сразу же поднес записочку к губам, и у меня захрустело на зубах.

*26 июля*

Я не раз уже давал себе слово пореже видаться с ней. Но попробуй-ка сдержи слово! Каждый день я не могу устоять перед искушением и свято обещаю пропустить завтрашний день.

А когда наступает завтрашний день, я неизменно нахожу веский предлог и не успеваю оглянуться, как я уже там. Либо она скажет с вечера:

«Завтра вы, конечно, придете?» Как же после этого остаться дома? Либо даст мне поручение, и я считаю, что приятней самому принести ответ; а то день выдастся уж очень хороший, и я отправляюсь в Вальхейм, а оттуда до нее всего подчас ходьбы. На таком близком расстоянии сила притяжения слишком велика,— раз, и я там! Бабушка моя знала

сказку про магнитную гору: когда корабли близко подплывали к ней, они теряли все железные части, гвозди перелетали на гору, и несчастные моряки гибли среди рушившихся досок.

30 июля

Приехал Альберт, и мне надо удалиться. Пусть он будет лучшим, благороднейшим из людей и я сочту себя во всех отношениях ниже его, тем не менее нестерпимо видеть его обладателем столько совершенств. Обладателем! Одним словом, Вильгельм, жених приехал. Он милый, славный, и необходимо с ним ладить. По счастью, я не был при встрече! Это надорвало бы мне душу. Надо сказать, он настолько деликатен, что еще ни разу не поцеловал Лотту в моем присутствии. Воздай ему за это господь! Его стоит полюбить за то, что он умеет уважать такую девушку. Ко мне он доброжелателен, и я подозреваю, что это больше влияние Лотты, чем личная симпатия; на это женщины мастерицы, и они правы: им же выгоднее, чтобы два дыхателя ладили между собой, только это редко случается.

Однако же Альберт вполне заслуживает уважения. Его сдержанность резко отличается от моего беспокойного нрава, который я не умею скрывать. Он способен чувствовать и понимает, какое сокровище Лотта. По-видимому, он не склонен к мрачным настроениям, а ты знаешь, что этот порок мне всего ненавистнее в людях.

Он считает меня человеком незаурядным, а моя привязанность к Лотте и восхищение каждым ее поступком увеличивают его торжество, и он тем сильнее любит ее. Не могу поручиться, что он не донимает ее порой мелкой ревностью; во всяком случае, на его месте я бы вряд ли уберегся от этого демона.

Как бы там ни было, но радость, которую я находил в обществе Лотты, для меня кончена. Что это — глупость или самообольщение? К чему названия? От этого дело не изменится! Все, что я знаю теперь, я знал еще до приезда Альберта, знал, что не имею права домогаться ее, и не домогался. Конечно, поскольку можно не стремиться к обладанию таким совершенством; а теперь, видите ли, дурачок удивляется, что явился соперник и забрал у него любимую девушку.

Я стискиваю зубы и смеюсь над собственным несчастьем, но вдвойне, втройне смеялся бы над тем, кто сказал бы, что я должен смириться, и раз иначе быть не может... ах, избавьте меня от этих болванов! Я бегаю по лесам, а когда прихожу

к Лотте, и с ней в беседке сидит Альберт, и мне там не место, тогда я начинаю шалить и дурачиться, придумывая разные шутки и проказы.

«Ради бога! Умоляю вас, без вчерашних сцен! — сказала мне Лотта. — Ваша веселость страшна». Между нами говоря, я улучаю время, когда он занят, миг — и я там, и невыразимо счастлив, если застаю ее одну.

*8 августа*

Бог с тобой, милый Вильгельм! Я вовсе не имел в виду тебя, когда называл несносными людей, требующих от нас покорности неизбежной судьбе. Мне и в голову не приходило, что ты можешь разделять их мнение. Но, в сущности, ты прав. Только вот что, друг мой! На свете редко приходится решать, либо — да, либо — нет! Чувства и поступки так же многообразны, как разновидности носов между орлиным и вздернутым. Поэтому не сердись, если я, признав все твои доводы, тем не менее попытаюсь найти лазейку между «да» и «нет».

Ты говоришь: «Либо у тебя есть надежда добиться Лотты, либо нет. Так! В первом случае старайся увенчать свои желания; в противном случае возьми себя в руки, попытайся избавиться от злополучного чувства, которое измучает тебя вконец!» Легко сказать, милый друг, но только лишь сказать...

А если перед тобой несчастный, которого медленно и неотвратно ведет к смерти изнурительная болезнь, можешь ты потребовать, чтобы он ударом кинжала сразу пресек свои мучения? Ведь недуг, истощая все силы, отнимает и мужество избавиться от него.

Конечно, ты мог бы в ответ привести другое сравнение: всякий предпочтет отдать на отсечение руку, чем слабостью и нерешительностью поставить под угрозу самую свою жизнь. Пожалуй! Но на этом перестанем донимать друг друга сравнениями. Довольно!

Да, Вильгельм, у меня бывают минуты такого мужества, когда я готов вскочить, все стряхнуть с себя и бежать, вот только не знаю — куда.

*Вечером*

Сегодня мне попался в руки мой дневник, который я бросил с некоторых пор, и меня поразило, как сознательно я, шаг за шагом, шел на это, как ясно видел всегда свое состояние и тем не менее поступал не лучше ребенка, и теперь еще ясно вижу все, но даже не собираюсь образумиться.

10 августа

Я мог бы вести чудесную, радостную жизнь, не будь я глупцом. Обстоятельства складываются на редкость счастливо для меня. Увы! Верно говорят, что счастье наше в нас самих. Я считаюсь своим в прекраснейшей из семей, старик любит меня, как сына, малыши, как отца, а Лотта... И вдобавок добрейший Альберт, который никогда не омрачает моего счастья сварливыми выходками, а, наоборот, окружает меня сердечной дружбой и дорожит мною больше, чем кем-нибудь на свете после Лотты! Любо послушать, Вильгельм, как мы во время прогулки беседуем друг с другом о Лотте. На свете не найдешь ничего смешнее этого положения, только мне от него часто хочется плакать.

Он мне рассказывает о том, как почтенная матушка Лотты на смертном одре завещала ей хозяйство и детей, а ему поручила Лотту; как с той поры Лотта совсем переродилась: в хлопотах по дому и в житейских заботах она стала настоящей матерью: каждый миг ее дня заполнен деятельной любовью и трудом, и тем не менее природная веселость и жизнерадостность никогда ее не покидают! Я иду рядом с ним, рву придорожные цветы, бережно собираю их в букет и... бросаю в протекающий ручеек, а потом слежу, как они медленно плывут по течению. Не помню, писал ли я тебе, что Альберт останется здесь и получит службу с приличным содержанием от двора, где к нему весьма благоволят. Я не встречал людей, равных ему по расторопности и усердию в работе.

12 августа

Бесспорно, лучше Альберта нет никого на свете. Вчера у нас с ним произошла удивительная сцена. Я пришел к нему проститься, потому что мне взбрело на ум отправиться верхом в горы, откуда я и пишу тебе сейчас; и вот, когда я шагал назад и вперед по комнате, мне попались на глаза его пистолеты. «Одолжи мне на дорогу пистолеты», — попросил я. «Сделай милость, — отвечал он. — Но потрудись сам зарядить их; у меня они висят только для украшения». Я снял один из пистолетов, а он продолжал: «С тех пор как предусмотрительность моя сыграла со мной злую шутку, я их и в руки не беру». Я полюбопытствовал узнать, как было дело, и вот что он рассказал: «Около трех месяцев жил я в деревне у приятеля, держал при себе пару незаряженных карманных пистолетов и спал спокойно. Однажды в дождливый день сижу я,

скучаю, и бог весть почему мне приходит в голову: а вдруг на нас нападут, вдруг нам понадобятся пистолеты, вдруг... словом, ты знаешь, как это бывает. Я сейчас же велел слуге почистить и зарядить их; а он давай балагурить с девушками, пугать их, а шомпол еще не был вынут, пистолет выстрелил невзначай, шомпол угодил одной девушке в правую руку и раздробил большой палец. Мне пришлось выслушать немало нареканий и вдобавок заплатить за лечение. С тех пор я воздерживаюсь заряжать оружие. Вот она — предусмотрительность! Опасности не предугадаешь, сердечный друг! Впрочем...» Надо тебе сказать, что я очень люблю его, пока он не примется за свои «впрочем». Само собой понятно, что из каждого правила есть исключения. Но он до того добросовестен, что, высказав какое-нибудь, на его взгляд, опрометчивое, непроверенное общее суждение, тут же засыплет тебя оговорками, сомнениями, возражениями, пока от сути дела ничего не останется. На этот раз он тоже залез в какие-то дебри; под конец я совсем перестал слушать и шутки ради внезапным жестом прижал дуло пистолета ко лбу над правым глазом. «Фу! К чему это?» — сказал Альберт, отнимая у меня пистолет. «Да ведь он не заряжен», — возразил я. «Все равно, это ни к чему, — сердито перебил он. — Даже представить себе не могу, как это человек способен дойти до такого безумия, чтобы застрелиться; самая мысль противна мне». — «Странный вы народ, — вырвалось у меня. — Для всего у вас готовы определения: то безумно, то умно, это хорошо, то плохо! А какой во всем этом смысл? Разве вы вникли во внутренние причины данного поступка? Можете вы с точностью проследить ход событий, которые привели, должны были привести к нему? Если бы вы взяли на себя этот труд, ваши суждения не были бы так опрометчивы».

«Согласись, — заметил Альберт, — что некоторые поступки всегда безнравственны, из каких бы побуждений они ни были совершены».

Пожав плечами, я согласился с ним. «Однако, друг мой, — продолжал я, — здесь тоже возможны исключения. Конечно, воровство всегда безнравственно; однако же человек, идущий на грабеж, чтобы спасти себя и свою семью от неминуемой голодной смерти, пожалуй, заслуживает скорее жалости, нежели кары. А кто бросит камень в супруга, в справедливом гневе казнящего неверную жену и ее недостойного соблазнителя? Или в девушку, которая губит себя, в безудержном порыве предавшись минутному упоению любви. Даже закон-



ники наши, хладнокровные педанты, смягчаются при этом и воздерживаются от наказания».

«Это другое дело,— возразил Альберт.— Ибо человек, увлекаемый страстями, теряет способность рассуждать, и на него смотрят как на пьяного или помешанного».

«Ах вы, разумники! — с улыбкой произнес я.— Страсть! Опьянение! Помешательство! А вы, благонравные люди, стоите невозмутимо и безучастно в сторонке и хулите пьяниц, презираете безумцев и проходите мимо, подобно священнику, и, подобно фарисею, благодарите господа, что он не создал вас подобными одному из них. Я не раз бывал пьян, в страстях своих всегда доходил до грани безумия и не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо в меру своего разума я постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, нечто с виду недостижимое, издавна объявляют пьяными и помешанными. Но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на мало-мальски смелый, честный, непредусмотрительный поступок, непременно кричат: «Да он пьян! Да он рехнулся!» Стыдитесь, вы, трезвые люди, стыдитесь, мудрецы!»

«Очередная твоя блажь,— сказал Альберт.— Вечно ты перехватываешь через край, а тут уж ты кругом не прав,— речь ведь идет о самоубийстве, и ты сравниваешь его с великими деяниями, когда на самом деле это несомненная слабость: куда легче умереть, чем стойко сносить мученическую жизнь».

Я готов был оборвать разговор, потому что мне несноснее всего слушать ничтожные прописные истины, когда сам я говорю от полноты сердца. Однако я сдержался, ибо не раз уж слышал их и возмущался ими, и с живостью возразил ему: «Ты это именуешь слабостью? Сделай одолжение, не суди по внешним обстоятельствам. Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи — неужто ты назовешь его слабым? А если у человека пожар в доме и он под влиянием испуга напряжет все силы и с легкостью будет таскать тяжести, которые в обычном состоянии и с места бы не сдвинул; и если другой, возмущенный обидой, схватится с шестерыми и одолеет их — что ж, по-твоему, оба они слабые люди? А раз напряжение — сила, почему же, добрейший друг, перенапряжение должно быть ее противоположностью?» Альберт посмотрел на меня и сказал:

«Не сердись, но твои примеры, по-моему, тут ни при чем».

«Допустим, — согласился я. — Мне уж не раз ставили на вид, что мои рассуждения часто граничат с нелепидей. Попробуем как-нибудь иначе представить себе, каково должно быть на душе у человека, который решился сбросить обычно столь приятное бремя жизни; ибо мы имеем право по совести судить лишь о том, что прочувствовали сами. Человеческой природе положен определенный предел, — продолжал я. — Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет. Значит, вопрос не в том, силен ли он или слаб, а может ли он претерпеть меру своих страданий, все равно душевных или физических, и, по моему, так же дико говорить: тот трус, кто лишает себя жизни, — как называть трусом человека, умирающего от злокачественной лихорадки».

«Это парадоксально. До крайности парадоксально!» — вскричал Альберт. «Не в такой мере, как тебе кажется, — возразил я. — Ведь ты согласен, что мы считаем смертельной болезнью такое состояние, когда силы человеческой природы отчасти истощены, отчасти настолько подорваны, что поднять их и какой-нибудь благодетельной встряской восстановить нормальное течение жизни нет возможности. А теперь, мой друг, перенесем это в духовную сферу. Посмотри на человека с его замкнутым внутренним миром: как действуют на него впечатления, как навязчивые мысли пускают в нем корни, пока все растущая страсть не лишит его всякого самообладания и не доведет до гибели».

Тщетно будет хладнокровный, разумный приятель анализировать состояние несчастного, тщетно будет увещевать его! Так человек здоровый, стоящий у постели больного, не волеет в него ни капли своих сил».

Для Альберта это были слишком отвлеченные разговоры. Тогда я напомнил ему о девушке, которую недавно вытащили мертвой из воды, и вновь рассказал ее историю:

«Милое юное создание, выросшее в тесном кругу домашних обязанностей, повседневных будничных трудов, не знавшее других развлечений, как только надеть исподволь приобретенный воскресный наряд и пойти погулять по городу с подругами, да еще в большой праздник поплясать немножко, а главное, с живейшим интересом посудачить часок-другой с соседкой о какой-нибудь ссоре или сплетне; но вот в пылкой душе ее пробуждаются иные, затаенные желания, а лесть мужчин только поощряет их, прежние радости становятся для нее пресны, и, наконец, она встречает человека, к которому ее

неудержимо влечет неизведанное чувство; все ее надежды устремляются к нему, она забывает окружающий мир, ничего не слышит, не видит, не чувствует, кроме него, и рвется к нему, единственному. Не искушенная пустыми утешами суетного тщеславия, она прямо стремится к цели: принадлежать ему, в нерушимом союзе обрести то счастье, которого ей недостает, вкусить сразу все радости, по которым она томилась. Многократные обещания подкрепляют ее надежды, дерзкие ласки разжигают ее страсть, подчиняют ее душу; она ходит как в чаду, предвкушая все земные радости, она возбуждена до предела, наконец она раскрывает объятия навстречу своим желаниям, и... возлюбленный бросает ее. В оцепенении, в беспомощности стоит она над пропастью; вокруг сплошной мрак; ни надежды, ни утешения, ни проблеска! Ведь она покинута любимым, а в нем была вся ее жизнь. Она не видит ни божьего мира вокруг, ни тех, кто может заменить ей утрату, она чувствует себя одинокой, покинутой всем миром и, задыхаясь в ужасной сердечной муке, очертя голову бросается вниз, чтобы потопить свои страдания в обступившей ее со всех сторон смерти. Видишь ли, Альберт, это история многих людей. И скажи, разве нет в ней сходства с болезнью? Природа не может найти выход из запутанного лабиринта противоречивых сил, и человек умирает. Горе тому, кто будет смотреть на все это и скажет: «Глупая! Стоило ей выждать, чтобы время оказало свое действие, и отчаяние бы улеглось, нашелся бы другой, который бы ее утешил». Это все равно, что сказать: «Глупец! Умирает от горячки. Стоило ему подождать, чтобы силы его восстановились, соки в организме очистились, волнение в крови улеглось: все бы тогда наладилось, он жил бы и по сей день».

Альберту и это сравнение показалось недостаточно убедительным, он начал что-то возражать, между прочим, что я привел в пример глупую девчонку; а как можно оправдать человека разумного, не столь ограниченного, с широким кругозором, это ему непонятно. «Друг мой! — вскричал я. — Человек всегда останется человеком, и та крупица разума, которой он, быть может, владеет, почти или вовсе не имеет значения, когда свирепствует страсть и ему становится тесно в рамках человеческой природы. Тем более... Ну, об этом в другой раз», — сказал я и схватился за шляпу. Сердце у меня было переполнено! И мы разошлись, так и не поняв друг друга. На этом свете люди редко понимают друг друга.

15 августа

Ясно одно: на свете лишь сила любви делает человека желанным. Я вижу это по Лотте, ей жалко было бы потерять меня, а дети только и ждут, чтобы я приходил всякий день. Сегодня отправился туда настраивать Лотте фортепьяно, но так и не выбрал для этого времени, потому что дети неотступно требовали от меня сказки и Лотта сама пожелала, чтобы я исполнил их просьбу. Я покормил их ужином, от меня они принимают его почти так же охотно, как от Лотты, а потом рассказал любимую их сказочку о принцессе, которой прислуживали руки. Уверяю тебя, я сам при этом многому учусь: их впечатления поражают меня неожиданностью. Зачастую мне приходится выдумывать какую-нибудь подробность, и если в следующий раз я забываю ее, они сейчас же говорят, что в прошлый раз было иначе, и теперь уж я стараюсь без малейшего изменения бубнить все подряд нараспев. Из этого я вынес урок, что вторым, даже улучшенным в художественном смысле, изданием своего произведения писатель неизбежно вредит книге. Мы очень податливы на первое впечатление и готовы поверить всему самому неправдоподобному, оно сразу же прочно внедряется в нас, и горе тому, кто сделает попытку вытравить или искоренить его!

18 августа

Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий?

Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением и, точно жестокий демон, преследует меня на всех путях. Бывало, я со скалы оглядывал всю цветущую долину, от реки до дальних холмов, и видел, как все вокруг растет, как жизнь там бьет ключом; бывало, я смотрел на горы, от подножия до вершины одетые высокими, густыми деревьями, и на многообразные извивы долин под сенью чудесных лесов и видел, как тихая река струится меж шуршащих камышей и отражает легкие облака, гонимые по небу слабым вечерним ветерком; бывало, я слышал птичий гомон, оживлявший лес, и миллионные рои мошек весело плясали в алом луче заходящего солнца, и последний зыбкий блик выманивал из травы гудящего жука; а стрекотание и возня вокруг привлекали мои взоры к земле, и мох, добывающий себе пищу в голой скале подо мной, и ку-

старник, растущий по сухому, песчаному косогору, открывали мне кипучую, сокровенную священную жизнь природы; все, все заключал я тогда в мое трепетное сердце, чувствовал себя словно божеством посреди этого буйного изобилия, и величественные образы безбрежного мира жили, все одушевляя во мне! Исполинские горы обступали меня, пропасти открывались подо мною, потоки свергались вниз, у ног моих бежали реки, и слышны были голоса лесов и гор! И я видел их, все эти непостижимые силы, взаимодействующие и создающие в недрах земли, а на земле и в поднебесье копошатся бесчисленные племена разнородных созданий, все, все населено многоликими существами, а люди прячутся, сбившись в кучу, по своим домишкам и воображают, будто они царят над всем миром! Жалкий глупец, ты все умаляешь, потому что сам ты так мал! От неприступных вершин, через пустыни, где не ступала ничья нога, до краев неведомого океана веет дух извечного творца и радуется каждой песчинке, которая внемлет ему и живет. Ах, как часто в то время стремился я унести на крыльях журавля, пролетавшего мимо, к берегам необозримого моря, из пенистой чаши вездесущего испить головокружительное счастье жизни и на миг один приобщиться в меру ограниченных сил моей души к блаженству того, кто все создает в себе и из себя!

Знаешь, брат, одно воспоминание о таких часах отрадно мне. Даже старание воскресить те невыразимые чувства и высказать их возвышает мою душу, чтобы вслед за тем я вдвойне ощутил весь ужас моего положения.

Передо мной словно поднялась завеса, и зрелище бесконечной жизни превратилось для меня в бездну вечно отверстой могилы. Можешь ли ты сказать: «Это есть»,— когда все проходит, когда все проносится с быстротой урагана, почти никогда не исчерпав все силы своего бытия, смывается потоком и гибнет, увы, разбившись о скалы? Нет мгновения, которое не пожирало бы тебя и твоих близких, нет мгновения, когда бы ты не был, пусть против воли, разрушителем! Безобиднейшая прогулка стоит жизни тысячам жалких червячков; один шаг сокрушает постройки, кропотливо возведенные муравьями, и топчет в прах целый мирок. О нет, не великие, исключительные всемирные бедствия трогают меня, не потопа, смывающие ваши деревни, не землетрясения, поглощающие ваши города: я не могу примириться с разрушительной силой, сокрытой во всей природе и ничего не создавшей такого, что не истребляло бы своего соседа или самого себя,

И я мечусь в страхе. Вокруг меня животворящие силы неба и земли. А я не вижу ничего, кроме всепожирающего и все перемалывающего чудовища.

*21 августа*

Напрасно простираю я к ней объятия, очнувшись утром от тяжких снов, напрасно иду ее ночью в своей постели, когда в счастливом и невинном сновидении мне пригрезится, будто я сижу возле нее на лугу и осыпаю поделуями ее руку. Когда же я тянусь к ней, еще одурманенный дремотой, и вдруг просыпаюсь,— поток слез исторгается из моего стесненного сердца, и я плачу безутешно, предчувствуя мрачное будущее.

*22 августа*

Это поистине несчастье, Вильгельм! Мои деятельные силы разладились, и я пребываю в какой-то тревожной апатии, не могу сидеть сложа руки, но и делать ничего не могу. У меня больше нет ни творческого воображения, ни любви к природе, и книги противны мне. Когда мы потеряли себя, все для нас потеряно... Право же, иногда мне хочется быть поденщиком, чтобы, проснувшись утром, иметь на предстоящий день хоть какую-то цель, стремление, надежду. Часто, глядя, как Альберт сидит, зарывшись по уши в деловые бумаги, я завидую ему и, кажется, был бы рад поменяться с ним. Сколько раз уж было у меня поползновение написать тебе и министру и ходатайствовать о месте при посольстве, в чем, по твоим уверениям, мне не было бы отказано. Я и сам в этом уверен: министр с давних пор ко мне расположен и давно уже настаивал, чтобы я занимался каким-нибудь делом! Я ношусь с этой мыслью некоторое время. А потом, как подумаю хорошенько да вспомню басню о коне, который, прискучив свободой, добровольно дал себя оседлать и загнать до полусмерти,— тут уж я совсем не знаю, как быть! Милый друг, что, если только тягостная душевная тревога вынуждает меня жаждать перемен и все равно повсюду будет преследовать меня?

*28 августа*

Без сомнения, будь моя болезнь исцелима, только эти люди могли бы вылечить ее. Сегодня день моего рождения. Рано утром я получаю сверточек от Альберта. Раскрываю его и прежде всего нахожу один из розовых бантов, которые были на Лотте, когда мы познакомились и которые я не раз просил у нее. К этому были приложены две книжечки в двенадцатую

долю листа — маленький Гомер в ветштейновском издании, которое я давно искал, чтобы не таскать с собой на прогулку эрнестовские фолианты. Видишь, как они угадывают мои желания и спешат оказать мелкие дружеские услуги, в тысячу раз более ценные, нежели пышные дары, которые тешат тщеславие даятеля и унижают нас. Я без конца целую этот бант, вдыхая воспоминание о счастье, которым наполнили меня те недолгие, блаженные, невозвратимые дни. Так уж водится, Вильгельм, и я не ропщу; цветы жизни одна лишь видимость. Сколько из них облетает, не оставив следа! Плоды дают лишь немногие, и еще меньше созревает этих плодов! А все-таки их бывает достаточно, и что же... брат мой, неужто мы презрим, оставим без внимания зрелые плоды, дадим им сгнить, не вкусив их!

Прощай! Лето великолепное! Часто я взбираюсь на деревья в плодовом саду у Лотты и длинным шестом снимаю с верхушки спелые груши, а Лотта стоит внизу и принимает их у меня.

### *30 августа*

Несчастный! Ужели я так глуп? Ужели продолжаю обманывать себя? К чему приведет эта буйная, буйная страсть? Я молюсь ей одной, воображение вызывает передо мной лишь ее образ, все на свете существует для меня лишь в соединении с ней. Сколько счастливых минут при этом переживаю я, но в конце концов мне приходится покинуть ее! Ах, Вильгельм! Если бы ты знал, куда порой влечет меня сердце!

Когда я посижу у нее часа два-три, наслаждаясь ее красотой, грацией, чудесным смыслом ее слов, чувства мои мало-помалу достигают высшего напряжения, в глазах темнеет, я почти не слышу, что-то сжимает мне горло убийственной хваткой, а сердце болезненными ударами стремится дать выход чувствам и лишь усиливает их смятение, — Вильгельм, в такие минуты я не помню себя. И если порой грусть не берет верх и Лотта не отказывает мне в скудном утешении выплакать мою тоску, склоняясь над ее рукой, — тогда я рвусь прочь на простор. Тогда я бегаю по полям, и лучшая моя отрада — одолеть крутой подъем, проложить тропинку в непроходимой чаще, продираясь сквозь терновник, напарываясь на шипы. После этого мне становится легче, чуть-чуть легче. Иногда от усталости и жажды я падаю в пути, иногда глубокой ночью при свете полной луны я сажусь в глухом лесу на согнувшийся сук, чтобы дать немножко отдыха израненным ногам, а по-

том перед рассветом забываюсь томительным полусном! — Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, власяница и вериги были бы теперь блаженством для моей души. Прощай! Я не вижу иного конца этим терзаниям, кроме могилы!

*3 сентября*

Мне надо уехать! Благодарю тебя, Вильгельм, за то, что ты принял за меня решение и положил конец моим колебаниям. Две недели ношусь я с мыслью, что мне надо ее покинуть. Надо уехать. Она опять гостит в городе у подруги. И Альберт... и... мне надо уехать!

*10 сентября*

Что это была за ночь! Теперь я все способен снести, Вильгельм. Я никогда больше ее не увижу! Ах, если бы мог я броситься тебе на шею, друг мой, чтобы в слезах умиления излить все чувства, теснящие грудь! А вместо этого я сижу тут, с трудом переводя дух, стараюсь успокоиться и жду утра, — лошадей подадут на рассвете.

Ах, она спит спокойно и не подозревает, что никогда больше не увидится со мной. У меня хватило силы оторваться от нее, не выдав своих намерений в двухчасовой беседе. И какой беседе, боже правый!

Альберт обещал мне сейчас же после ужина сойти в сад вместе с Лоттой. Я стоял на террасе под большими каштанами и провожал взглядом солнце, в последний раз на моих глазах заходившее над милой долиной, над тихой рекой.

Сколько раз стоял я здесь с нею, созерцая то же чудесное зрелище, а теперь... Я шагал взад и вперед по моей любимой аллее. Тайственная симпатическая сила часто привлекала меня сюда еще до встречи с Лоттой, и как же мы обрадовались, когда в начале знакомства обнаружили обоюдное влечение к этому уголку, поистине одному из самых романтических, какие когда-либо были созданы рукой человека.

Вообрази себе: сперва между каштановыми деревьями открывается широкая перспектива. Впрочем, я, кажется, уже не раз описывал тебе, как высокие стены буков мало-помалу сдвигаются и как аллея от примыкающего к ней боскета становится еще темнее и заканчивается замкнутым со всех сторон уголком, в котором всегда веет ужасом одиночества. Помню как сейчас, какой трепет охватил меня, когда я впервые попал сюда в летний полдень: тайное предчувствие подсказывало мне, сколько блаженства и боли будет здесь пережито.



С полчаса предавался я мучительным и сладостным думам о разлуке и грядущей встрече, когда услышал, что они поднимаются на террасу. Я бросился им навстречу, весь дрожа, схватил руку Лотты и прильнул к ней губами. Едва мы очутились наверху, как из-за поросшего кустарником холма вошла луна; болтая о том, о сем, мы незаметно приблизились к сумрачной беседке. Лотта вошла и села на скамью, Альберт сел рядом, я тоже, но от внутренней тревоги не мог усидеть на месте, вскочил, постоял перед ними, прошелся взад и вперед, сел снова; состояние было тягостное. Она обратила наше внимание на залитую лунным светом террасу в конце буковой аллеи — великолепное зрелище, тем более поразительное, что нас обступала полная тьма. Мы помолчали, а немного погодя она заговорила снова:

«Когда я гуляю при лунном свете, передо мной всегда неизменно встает воспоминание о дорогих покойниках, и ощущение смерти и того, что будет за ней, охватывает меня. Мы не исчезнем,— продолжала она проникновенным голосом.— Но свидимся ли мы вновь, Вертер? Узнаем ли друг друга? Что вы предчувствуете, что скажете вы?»

«Лотта,— произнес я, протягивая ей руку, и глаза у меня наполнились слезами.— Мы свидимся! Свидимся и здесь и там!» Я не мог говорить, Вильгельм, и надо же было, чтобы она спросила меня об этом, когда душу мне томила мысль о разлуке!

«Знают ли о нас дорогие усопшие,— вновь заговорила она,— чувствуют ли, с какой любовью вспоминаем мы их, когда нам хорошо? Образ моей матери всегда витает передо мной, когда я тихим вечером сижу среди ее детей, моих детей, и они теснятся вокруг меня, как теснились вокруг нее. И когда я со слезами грусти поднимаю глаза к небу, мечтая, чтобы она на миг заглянула сюда и увидела, как я держу данное в час ее кончины слово быть матерью ее детям, о, с каким волнением восклицаю я тогда: «Прости мне, любимая, если я не могу всецело заменить им тебя! Ведь я все делаю, что в моих силах; кормлю и одеваю и, что важнее всего, люблю и лелею их! Если бы ты видела наше согласие, родимая, святая, ты возблагодарила и восславила бы господу, которого в горьких слезах молила перед кончиной о счастье своих детей!»

Так говорила она,— ах, Вильгельм, кто перескажет то, что она говорила! Как может холодное, мертвое слово передать божественное цветение души! Альберт ласково прервал ее:

«Это слишком тревожит вас, милая Лотта! Я знаю, вы склонны предаваться такого рода размышлениям, но, пожалуйста, не надо...» — «Ах, Альберт, — возразила она, — я знаю, ты не забудешь тех вечеров, когда папа бывал в отъезде, а мы отсылали малышей спать и сидели втроем за круглым столиком. Ты часто приносил с собой хорошую книгу, но очень редко заглядывал в нее, потому что ценнее всего на свете было общение с этой светлой душой, с этой прекрасной, нежной, жизнерадостной и неутомимой женщиной! Бог видел мои слезы, когда я ночью падала ниц перед ним с мольбой, чтобы он сделал меня похожей на нее».

«Лотта! — вскричал я, бросаясь перед ней на колени и орошая слезами ее руку. — Лотта! Благословение господне и дух матери твоей почит на тебе!» — «Если бы только вы знали ее! — сказала она, пожимая мне руку, — она была достойна знакомства с вами!» У меня захватило дух — никогда еще не удостоивался я такой лестной, такой высокой похвалы. А она продолжала: «И этой женщине суждено было скончаться во цвете лет, когда младшему сыну ее не было и полугода. Болела она недолго и была спокойна и покорна, только скорбела душой за детей, в особенности за маленького. Перед самым концом она сказала мне: «Позови их!» И когда я привела малышей, ничего не понимавших, и тех, что постарше, растерявшихся от горя, они обступили ее кровать, а она воздела руки и помолилась за них и поцеловала каждого, а потом отослала детей и сказала мне: «Будь им матерью!» Я поклялась ей в этом. «Ты обещаешь им материнское сердце и материнское око. Это много, дочь моя. В свое время я не раз видела по твоим благодарным слезам, что ты чувствуешь, как это много. Замени же мать твоим братьям и сестрам, а отцу верностью и преданностью замени жену! Будь ему утешением!» Она спросила о нем. Он вышел из дому, чтобы скрыть от нас свою нестерпимую скорбь; он не мог владеть собой. Ты был тогда в комнате, Альберт. Она спросила, чьи это шаги, и позвала тебя. Потом она посмотрела на тебя и на меня утешенным, успокоенным взглядом, говорившим, что мы будем счастливы, будем счастливы друг с другом». Тут Альберт бросился на шею Лотте и, целуя ее, воскликнул: «Мы счастливы и будем счастливы!» Даже спокойный Альберт потерял самообладание, а я всёем не помнил себя.

«Вертер! — обратилась она ко мне. — И подумать, что такой женщине суждено было умереть! Господи, откуда берутся силы видеть, как от нас уносят самое дорогое, что есть в жизни»

ни, и только дети по-настоящему остро ощущают это, не даром они долго еще жаловались, что черные люди унесли их маму!»

Она поднялась, а я, взволнованный и потрясенный, не двинулся с места и держал ее руку. «Пойдемте! — сказала она. — Пора!» Она хотела отнять руку, но я крепче сжал ее. «Мы свидимся друг с другом! — воскликнул я. — Мы найдем, мы узнаем друг друга в любом облике! Я ухожу, ухожу добровольно, — продолжал я, — и все же, если бы мне надо было сказать: «навсегда», у меня не хватило бы сил. Прощай, Лотта! Прощай, Альберт! Мы еще свидимся!» — «Завтра, надо полагать», — шутя заметила она. Что я почувствовал от этого «завтра»! Увы! Знала бы она, отнимая свою руку... Они пошли по аллее, залитой лунным светом, я стоял и смотрел им вслед, потом бросился на траву, наплакался вволю, вскочил, выбежал на край террасы и увидел еще, как внизу в тени высоких лип мелькнуло у калитки ее белое платье; я протянул руки, и оно исчезло.



## КНИГА ВТОРАЯ

*20 октября 1771 г.*

Вчера мы прибыли сюда. Посланник нездоров и поэтому несколько дней не выйдет из дому. Все бы ничего, будь он покладистее. Я чувствую, чувствую, что судьба готовит мне суровые испытания. Но не будем унывать! При беспечном нраве все легко! Беспечный нрав? Даже смешно, как из-под моего пера вышли эти слова. Ах, немножко больше беспечности, и я был бы счастливейшим из смертных. Что же это, в самом деле? Другие в невозмутимом самодовольстве кичатся передо мной своими ничтожными силенками и талантами, а я отчаиваюсь в своих силах и дарованиях? Боже всеблагий, оделивший меня так щедро, почему не удержал ты половину и не дал мне взамен самоуверенности и невзыскательности?

Ничего, ничего, все наладится. Ты совершенно прав, мой милый. С тех пор как я целые дни провожу на людях и вижу их делишки и повадки, я стал гораздо снисходительнее к себе. Раз уж мы так созданы, что все примеряем к себе и себя ко всему,— значит, радость и горе зависят от того, что нас окружает, и ничего нет опаснее одиночества. Воображение наше, по природе своей стремящееся подняться над миром, вскормленное фантастическими образами поэзии, рисует себе ряд людей, стоящих неизмеримо выше нас, и все, кроме нас, кажется нам необыкновенным, всякий другой человек представляется нам совершенством. И это вполне естественно. Мы на каждом шагу чувствуем, как много нам недостает, и часто видим у другого человека то, чего лишены сами, приписывая

ему свои собственные качества, с несокрушимым душевным спокойствием в придачу. И вот счастливое порождение нашей фантазии готово. Зато когда мы неуверенно и кропотливо с трудом пробиваемся вперед, то нередко обнаруживаем, что, спотыкаясь и плутая, мы забрались дальше, чем другие, плывя на всех парусах, и тут, поравнявшись с другими или даже опередив их, испытываем чувство подлинного самоутверждения.

*26 ноября*

Я начинаю кое-как осваиваться здесь. Самое главное, что дела достаточно; а кроме того, меня развлекает пестрое зрелище разнообразных людей, новых, разнородных типов. Я познакомился с графом К. и что ни день, то все сильнее почитаю его: это большой, светлый ум, но отнюдь не засушенный обширными познаниями; в его обхождении чувствуется столько ласкового дружелюбия! У меня было к нему деловое поручение, и он сразу принял во мне участие, с первых же слов увидев, что мы понимаем друг друга и что не с каждым можно так говорить, как со мной. Я, со своей стороны, глубоко тронут его приветливым и простым обращением. Право же, самая лучшая, самая чистая радость на свете — слушать откровенные излияния большой души.

*24 декабря*

Посланник сильно досаждал мне; я этого ожидал. Такого педантичного дурака еще не видел мир. Все он делает строго по порядку, придирчив, как старая дева, и вечно недоволен собой, а потому и на него ничем не угодишь. У меня работа спорится, и пишу я сразу набело. А он способен возратить мне бумагу и сказать: «Недурно, но просмотрите-ка еще раз, — всегда можно найти более удачное выражение и более правильный оборот». Тут уж я прихожу в бешенство. Ни одного «и», ни одного союза он тебе не уступит и яро ополчается против инверсий, которые нет-нет да проскользнут у меня. Фразу ему надо строить на строго определенный лад, иначе он ничего не поймет. Горе иметь дело с таким человеком! Единственное мое утешение — дружба графа К. На днях он вполне откровенно высказал мне свое недовольство медлительностью и педантизмом моего посланника. «Такие люди только осложняют жизнь себе и другим. Но ничего не поделаешь, — добавил он. — Приходится мириться, как путешественнику, которому надо перешагнуть через гору: не будь горы, дорога была бы много удобнее и короче, но раз она есть, необходимо одолеть ее!»

Старик мой чувствует, что граф оказывает мне предпочтение перед ним, и это его злит; он пользуется любым случаем дурно отзываться при мне о графе: я, разумеется, не даю ему спуска, отчего положение только осложняется. Вчера я окончательно возмущился, потому что он попутно затронул и меня самого. Для светского обихода граф, мол, вполне на месте; и работает с легкостью, и пером владеет бойко, но глубокой ученостью он не отличается, как и все литераторы. Выражение его лица при этом ясно говорило: «Ловко я тебя поддел?» Но меня это ничуть не тронуло; я презираю людей, которые могут так думать и так себя вести. Я дал ему довольно резкий отпор, сказав, что граф заслуживает всяческого уважения как по своему характеру, так и по своим познаниям. «Мне не доводилось видеть человека,— сказал я,— которому посчастливилось бы в такой степени расширить свой кругозор, распространить свою любознательность на разнообразнейшие предметы и остаться столь же деятельным в повседневной жизни». Для мозгов старика это была китайская грамота, и я поспешил откланяться, чтобы окончательно не выйти из себя от какого-нибудь нового абсурда.

И в этом повинны вы все, из-за ваших уговоров и разглаговольствований о пользе труда впрягся я в это ярмо! Труд! Да тот, кто сажает картофель и возит в город зерно на продажу, делает куда больше меня; если я не прав, я готов еще десять лет проработать на галере, к которой прикован сейчас.

А это блистательное убожество, а скука в обществе мерзких людишек, кишаших вокруг! Какая борьба мелких честолюбий; все только и смотрят, только и следят, как бы обскакать друг друга хотя бы на полшага; дряннейшие и подлеящие страсти в самом неприкрытом виде. Одна особа, например, похваляется перед первым встречным своей знатностью и своими именами, так что каждый неизбежно думает: вот дура! Превозносит невесть как свое захудалое дворянство и великолепие своих поместий. А хуже всего вот что: особа эта — дочь местного писаря. Право же, не могу я понять людей, которым не совестно срамиться таким вопиющим образом.

Поистине я с каждым днем убеждаюсь все более, мой друг, что глупо судить о других по себе. У меня столько хлопот с самим собой, и сердце мое так строптиво, что мне мало дела до других, только бы им не было дела до меня.

Больше всего бесят меня пресловутые общественные отношения. Я сам не хуже других знаю, как важно различие сословий, как много выгод приносит оно мне самому; пусть толь-

ко оно не служит мне препятствием, когда на моем пути встречается хоть немножко радости, хоть искра счастья. Недавно я познакомился на прогулке с некоей девицей фон Б., милым созданием, сохранившим много естественности в этом чопорном кругу. Мы разговорились и понравились друг другу, а на прощание я попросил разрешения посетить ее. Она так чисто-сердечно дала его, что я едва дождался подходящего случая отправиться к ней. Она не живет здесь постоянно, а только гостит у тетки. Старуха с первого взгляда не понравилась мне. Я оказывал ей всяческое внимание, в разговоре обращался преимущественно к ней, и уже спустя полчаса мне было ясно то, в чем позднее призналась и сама девица, а именно: что милейшая тетушка, не имея в преклонных своих годах ни порядочного состояния, ни ума, не имея никакой опоры, кроме внушительного ряда предков, отгородилась, точно стеной, своим аристократизмом и не знает иной улады, как взирать с высоты своего величия поверх бюргерских голов. В молодости она, говорят, была хороша собой, прожигала жизнь, не одного несчастного юношу довела до отчаяния своим своеобразием, а в зрелые годы всецело подчинилась отставному вояке, который на условиях полной покорности и за приличное вознаграждение согласился скоротать с ней ее медный век вплоть до самой своей смерти. Теперь для нее наступил одинокий железный век, и никто бы не нарушал ее одиночества, не будь так мила ее племянница.

*8 января 1772 г.*

Что это за люди, у которых все в жизни основано на этикете и целыми годами все помыслы и стремления направлены к тому, чтобы подняться на одну ступень выше! Можно подумать, что у них нет других занятий: наоборот, работы накапливается вороха, именно потому, что мелкие дразги задерживают выполнение крупных дел. На прошлой неделе во время катания на санях вышла ссора, и все удовольствие было испорчено.

Глупцы, как они не видят, что место не имеет значения и тот, кто сидит на первом месте, редко играет первую роль! Разве мало королей, которыми управляет их министр, мало министров, которыми управляет их секретарь? И кого считать первым? Того, по-моему, кто насквозь видит других и обладает достаточной властью или достаточно хитер, чтобы употребить их силы и страсти на осуществление своих замыслов.

20 января

Я принужден писать вам, милая Лотта, из убогой каморки на крестьянском постоялом дворе, где мне пришлось укрыться от непогоды. С тех пор как я маюсь в этом скверном городишке Д., посреди чуждых, глубоко чуждых моему сердцу людей, меня ни разу, ни одного разу не потянуло написать вам; а здесь, в этой лачуге, вдали от всех, в полном уединении, когда снег и град неистово стучат в мое оконце, здесь первая моя мысль была о вас. Едва я вошел, как образ ваш предстал передо мной, воспоминапия о вас, о Лотта, так благоговейно, так трепетно возникли во мне. Боже правый, первый счастливый миг за столько времени!

Если бы вы видели меня, дорогая, в этом водовороте развлечений! Как иссушена моя душа! Ни одной минуты полноты чувств, ни одного счастливого часа! Ничего! Ничего! Я словно нахожусь в кукольном театре, смотрю, как движутся передо мной человечки и лошадки, и часто думаю: не оптический ли это обман? Я тоже играю на этом театре, вернее, мною играют как марионеткой, порой хватаю соседа за деревянную руку и отшатываюсь в ужасе. С вечера я предполагаю полюбоваться на восход солнца, но не могу подняться с постели, днем я намереваюсь насладиться лунным светом — и не выхожу из комнаты. Мне и самому непонятно, почему я встаю, почему ложусь спать.

Нет бродила, поднимавшего во мне жизненную энергию; исчезли чары, отгонявшие от меня сон глубокой почью, пробуждавшие меня ранним утром.

Одно-единственное существо, достойное называться женщиной, остановило здесь мое внимание, некая девица фон Б.; ее можно бы отдаленно сравнить с вами, но кто же равен вам? «Ого, — скажете вы, — он наловчился делать комплименты!» Тут есть доля правды. С некоторых пор я крайне любезен, потому что другим мне быть нельзя, весьма остер и, по мнению дам, лучше всех умею тонко польстить. «И солгать», — добавьте вы; без этого не обойдешься, вы понимаете? Однако я говорил о девице Б. Голубые глаза ее отражают чувствительность души. Высокое положение ей только в тягость и не дает ни малейшего удовлетворения. Она рвется прочь от этой суеты, и мы целыми часами мечтаем об идиллической сельской жизни, — ах! и о вас! Как часто вынуждена она превозносить вас! Нет, не вынуждена, она делает это добровольно, с интересом слушает мои рассказы о вас, любит вас.



Ах, как бы мне хотелось сидеть у ваших ног в милой, уютной комнатке, и чтобы наши дорогие малыши возились вокруг меня, и чтобы я привлек и утихомирил их страшной сказкой, если бы они, по-вашему, чересчур расшумелись.

Солнце необычайно красиво заходит над сверкающей снегами долиной, буря прорвалась, а я... я должен возвращаться в свою клетку.

Прощайте! Альберт с вами? И что же?.. Господь да простит мне этот вопрос!

*8 февраля*

Уже неделю у нас стоит отвратительная погода, и меня это только радует; с тех пор как я здесь, не было ни одного погожего дня, которого бы мне кто-нибудь не испортил и не отравил. А теперь, когда льет дождь, когда метет, морозит, тает, я думаю: что ж, дома будет не хуже, чем на улице, и наоборот — и мне становится легче. Когда солнце встает утром и обещает ясный день, я не могу удержаться, чтобы не воскликнуть: вот божий дар, который они постараются отнять друг у друга! Они все отнимают друг у друга! Здоровье, доброе имя, радость, покой! И чаще всего по недомыслию, тупости и ограниченности, а послушать их, — так с наилучшими намерениями. Иногда я готов на коленях молить их не раздражать с такой яростью собственные внутренности.

*17 февраля*

Боюсь, что мы с моим посланником недолго будем терпеть друг друга. Это положительно несносный старик. Его способы работы и ведения дел настолько смехотворны, что я принужден перечить ему и часто делаю по-своему, на что он, понятно, обижается.

Кончилось тем, что он пожаловался на меня при дворе, и министр выразил мне порицание, очень мягкое, но все же порицание, и я уже собрался подавать в отставку, как вдруг получил от него приватное письмо<sup>1</sup>, такое письмо, перед мудрым, возвышенным и благородным содержанием которого я мог только преклониться. Как он выговаривает мне за чрезмерную обидчивость и, отдавая должное юношескому задору, проглядывающему в моих сумасбродных идеях о полезной

---

<sup>1</sup> Из уважения к этой почтенной личности упомянутое письмо, а также другое, о котором речь пойдет дальше, изъяты из настоящего архива и не будут опубликованы, ибо такую дерзость вряд ли могла бы извинить даже горячая признательность читателей. (Прим. автора.)

деятельности, о влиянии на других и вмешательстве в важные дела, пытается не искоренить их, а лишь смягчить и направить по тому пути, где они найдут себе верное применение и окажут плодотворное действие! Понятно, что это на целую неделю ободрило и умиротворило меня.

Большая вещь — душевное спокойствие и довольство собой. Только б не было, милый друг, это сокровище столь же хрупким, сколь оно ценно и прекрасно!

*20 февраля*

Благослови вас господь, мои дорогие, и даруй вам все те радости, которых он лишает меня.

Спасибо тебе, Альберт, за то, что ты обманул меня! Я ждал известия о дне вашей свадьбы и решил в тот самый день торжественно снять со стены силуэт Лотты и спрятать его среди всяких бумаг. Теперь вы уже супружеская чета, а портрет все еще на стене! Пусть там и остается! А почему бы и нет? Я знаю, я тоже с вами, не в ущерб тебе живу в сердце Лотты, занимаю там второе место, и хочу, и должен сохранить его. О, я с ума бы сошел, если бы она могла забыть... Альберт, эта мысль для меня — ад, Альберт, прощай! Прощай, небесный ангел! Прощай, Лотта!

*15 марта*

У меня была неприятность, из-за которой мне придется уехать отсюда: от досады я скрежещу зубами! Теперь уж эту дьявольскую историю ничем не исправишь, а виноваты в ней вы одни, вы же меня подстрекали, погоняли и заставляли взять место, которое было не по мне. Вот теперь получили и вы и я! А чтобы ты не говорил как всегда, будто мои сумасбродные фантазии всему виной, изволь, сударь, выслушать подробный рассказ, изложенный с точностью и беспристрастием летописца.

Граф фон К. любит и отличает меня: это дело известное, я тебе об этом говорил уже сотни раз. Так вот вчера был я приглашен к обеду, а как раз в этот день по вечерам у него собираются знатные кавалеры и дамы; я об этом обществе никогда не помышлял, а потому понятия не имел, что нам, подначальным, там не место. Отлично. Я отобедал у графа; встав из-за стола, мы прогуливались взад и вперед по большой зале, я беседовал с ним, потом к нам присоединился полковник Б., и так наступил час съезда гостей. Мне и в голову ничего не приходит, как вдруг появляются высокородная госпожа фон С. с супругом и свежевылупившейся плоскогрудой гусыней-дочкой в аккуратном корсетике и en passant на ари-

стократический манер таращат глаза и раздувают ноздри, а так как эта порода глубоко противна мне, я сразу же собрался откланяться и только ждал, чтобы граф избавился от их несносной болтовни, но тут вошла моя приятельница фрейлейн Б. При виде ее мне, как всегда, сделалось немножко веселее на душе, я не ушел и встал позади ее кресла и только через некоторое время заметил, что она говорит со мной менее непринужденно, чем обычно, и как-то смущена. Это меня поразило. «Неужто и она такая же, как все?» — подумал я в обиде, и решил уйти, и все-таки остался, потому что не хотел этому верить, искал ей оправдания, и ждал от нее приветливого слова, и... кто его знает, почему еще. Тем временем гости съезжались. Барон Ф. во всей амуниции из коронационной поры Франца I, гофрат Р., которого здесь титулуют *in qualitate* господином фон Р., с глухой супругой и другие, не исключая и оборвыша И., подправляющего свой устарелый гардероб повомодными заплатами. Гости валят толпой, я беседую кое с кем из знакомых, все отвечают крайне лаконически. Я ничего не понимал... и занимался исключительно моей приятельницей Б. Я не видел, что женщины шушукались между собой на другом конце залы, что потом стали перешептываться и мужчины, что госпожа фон С. говорила с графом (все это рассказала мне впоследствии фрейлейн Б.), после чего граф направился ко мне и увлек меня в амбразуру окна.

«Ведь вам известны наши дикие нравы,— сказал он.— Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием. Я ни в коем случае не хотел бы...»

«Ваше превосходительство,— перебил я,— простите меня, ради бога; мне давно следовало догадаться самому, но, я знаю, вы извините мою оплошность... Я сразу же собрался откланяться, но некий злой гений удержал меня»,— добавил я с улыбкой, отвешивая поклон. Граф сжал мне руки с горячностью, которой было сказано все. Я незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал в М. посмотреть с холма на закат солнца и почитать из моего любимого Гомера великолепную песнь о том, как Улисс был гостем радушного свинопаса. И все было отлично.

Возвращаюсь я вечером к ужину; в трактире осталось очень мало посетителей; они играли в кости на углу стола, откинув скатерть. Вдруг появляется добрейший Аделин, увидев меня, снимает шляпу, подходит ко мне и спрашивает шепотом: «У тебя была неприятность?» — «У меня?...» — говорю я. «Да как же, граф выставил тебя вон». — «Черт с ним и со

всеми, я рад был очутиться на свежем воздухе», — ответил я. «Хорошо, что ты так легко принимаешь это. Одно мне досадно: об этом уже толкуют повсюду». Тут только эта история задела меня за живое. Мне казалось, что всякий, кто приходил к столу и смотрел на меня, только потому на меня и смотрит. И я злился.

А уже сегодня, куда я ни пойду, всюду меня жалеют, завистники же мои, по слухам, торжествуют и говорят: «Вот до чего доводит заносчивость, когда люди кичатся своим ничтожным умишком и считают, что им все дозволено», — и тому подобный подлый вздор. От всего этого впору всадить себе в сердце нож. Что бы ни толковали о независимости, а хотел бы я видеть человека, который спокойно слушал бы, как бездельники, имея против него козырь, судачат о нем; если их болтовня пустая, тогда, конечно, можно пренебречь ею.

*16 марта*

Все взялись меня бесить. Сегодня я встретил фрейлейн Б. на бульваре и не мог удержаться, чтобы не заговорить с ней, и как только мы немного отделились от общества, выразил ей мою обиду на тогдашнее ее поведение. «Ах, Вертер, — задумчивым тоном сказала она, — можно ли так истолковывать мое замешательство, зная мою душу! Что я выстрадала из-за вас с той минуты, как вошла в залу! Я все предвидела и сотни раз порывалась предупредить вас. Я знала, что эти особы С. и Т. со своими мужьями скорее уедут, чем потерпят ваше общество; я знала, что граф не может ссориться с ними. А теперь сколько шуму!» — «Что вы, фрейлейн?» — спросил я, скрывая испуг, — мне вспомнилось все, о чем рассказывал третьего дня Аделин, и меня точно кипятком обдало в этот миг. «Чего мне это стоило!» — сказала добрая девушка, и слезы выступили у нее на глазах. Я не мог больше владеть собой, я готов был броситься к ее ногам. «Объясните же!» — вскричал я. Слезы заструились у нее по щекам; я был вне себя; она отерла слезы, не скрывая их. «Вы ведь знаете мою тетуську, — заговорила она, — тетуська тоже была там, и какими же глазами смотрела она на происходящее! Вертер, вчера вечером и нынче утром мне пришлось вытерпеть целую проповедь из-за моего знакомства с вами, пришлось слушать, как вас порочат, унижают, и нельзя было по-настоящему вступить за вас».

Каждое слово, точно острый нож, вонзалось мне в сердце. Она не чувствовала, насколько милосерднее было бы скрыть все это от меня, а вдобавок еще присовокупила, что теперь

сплетням не будет конца и определенного сорта люди не перестанут торжествовать и злорадствовать, считая, что я по заслугам наказан за свою заносчивость, за презрение к ближним.

Ах, Вильгельм, каково было мне слушать эти слова, сказанные тоном искреннейшего участия! Я был подавлен, и до сих пор во мне кипит ярость. Я хотел, чтобы кто-нибудь осмелился открыто бросить мне упрек, тогда я проткнул бы наглеца своей шпагой; вид крови успокоил бы меня. Ах, я сотни раз хватался за нож, чтобы облегчить душу; рассказывают, что существует такая благородная порода коней, которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы легче было дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят. Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу.

*24 марта*

Я подал двору прошение об отставке и надеюсь получить ее, а вам придется простить мне, что я не испросил на то вашего дозволения. Я во что бы то ни стало хочу уехать и знаю наизусть все доводы, которые вы будете приводить, чтобы заставить меня остаться, а потому... как-нибудь поделикатнее сообщите это матушке! Я ничем не могу ей помочь, мне самому не сладко! Конечно, ей должно быть обидно, что блистательная карьера сына, метившего со временем в тайные советники и посланники, так резко оборвалась и сверчок вернулся на свой шесток. Делайте что хотите, придумывайте, при каких условиях мне можно и должно было остаться! Все равно я ухожу. А чтобы вы знали, куда я направляюсь, сообщаю вам, что здесь находится князь, который весьма ценит мое общество; услыхав о моем намерении, он пригласил меня провести в его владениях лучшую весеннюю пору. По его словам, я буду там предоставлен самому себе, и так как мы с ним до известной степени сходимся во взглядах, я решил рискнуть и поехать к нему.

*Post scriptum 19 апреля*

Благодарю тебя за обе весточки. Я не отвечал на них и не отсылал своего письма, пока не пришла моя отставка; я боялся, что матушка обратится к министру и помешает моим планам. Но теперь все кончено, отставка получена. Не стану рассказывать вам, как неохотно мне ее дали и что мне пишет министр,— вы опять ударились бы в lamentации. Наследный принц прислал мне на прощание двадцать пять дукатов с запиской, растрогавшей меня до слез; таким образом, мне не нужно денег, о которых я на днях просил матушку.

5 мая

Завтра я отсюда уезжаю, а так как родина моя находится в шести милях от проезжей дороги, я хочу повидать родные места, вспомнить далекие дни блаженных мечтаний. Я войду в те самые ворота, через которые матушка выехала со мной, когда после смерти отца решила покинуть наш милый уютный уголок и запереться в своем несносном городе. Прощай, Вильгельм! Я буду сообщать тебе о моем путешествии.

9 мая

Я совершил паломничество в родные края с благоговением истого пилигрима и при этом испытал самые неожиданные чувства. Подле большой липы, на расстоянии четверти часа от города по дороге в С., я велел остановиться, вышел и отправил почтовых лошадей, чтобы, идя пешком, вволю насладиться воспоминаниями. И вот я стоял под липой, которая в детстве была целью и пределом моих прогулок. Какая перемена! Тогда, в счастливом неведении, я рвался в незнакомый мне мир, где чаял найти столько пищи для сердца, столько радостей, насытить и умиротворить мою алчущую, мятущуюся душу. Теперь, мой друг, я возвратился из дальнего мира с тяжким бременем несбывшихся надежд и разрушенных намерений! Я видел перед собой горный кряж, столько раз бывший средоточием моих стремлений. Когда-то я часами просиживал под липой и рвался туда и жаждал слиться душой с лесами и долинами, являвшимися моим взорам в такой заманчивой дымке; а когда наступало время возвращаться домой, с какой неохотой покидал я излюбленное место! Я направился к городу, приветствуя старые, издавна знакомые загородные павильоны; новые были мне противны, как и все прочие перемены, происшедшие с тех пор. Я вошел в ворота и сразу почувствовал себя дома. Милый друг, не стану вдаваться в подробности; то, что было для меня так отрадно, в рассказе выйдет скучным. Я решил поселиться на площади, рядом с нашим прежним домом. Мимоходом я заметил, что школа, где муштровала нас славная старуха, превращена в мелочную лавочку. Мне припомнилось, сколько тревог, огорчений, недоумений и страхов пережил я в этой каморке. На каждом шагу попадалось мне что-нибудь примечательное. Ни один паломник ко святым местам не встретит на своем пути столько священных воспоминаний, и душа его вряд ли проникнется таким благоговейным трепетом. Приведу один пример из тысячи: я прошел вниз по течению реки до знакомой усадьбы.

Это был когда-то мой обычный путь; отсюда мы, мальчишки, учились швырять в воду плоские камни так, чтобы они давали в воде побольше рикошетов. Мне живо припомнилось, как я, бывало, стоял и смотрел на реку, мысленно предвосхищая ее путь, рисуя себе всякие чудеса о тех краях, куда она течет, и хотя воображение мое быстро иссякало, я стремился все дальше, все дальше и, наконец, совсем терялся в созерцании невидимых далей. Вот видишь ли, мой милый, так же ограничены в своем кругозоре и так же счастливы были наши исполины-праотцы! Как простодушны их чувства и творения! Когда Улисс говорит о безбрежном море и беспредельной земле, это звучит так правдиво, человечно, искренне, наивно и таинственно. Что мне в том, если я ныне за любым школьником могу повторить, что земля кругла? Человеку нужно немного земли, чтобы благоденствовать на ней, и еще меньше, чтобы в ней покоемся.

А теперь я водворился здесь, в княжеском охотничьем замке. С хозяином его вполне можно ужиться: он человек простодушный и обходительный. Только его окружают странные люди, я никак не могу понять их. Едва ли они жулики, но и на честных людей не похожи. Иногда они кажутся мне честными, однако верить им я все же не могу. Досадно мне еще, что князь часто говорит о предметах, о которых знает понаслышке или по книгам, и при этом смотрит на них с чужой точки зрения. Он и во мне ценит больше ум и дарования, чем сердце, хотя оно — единственная моя гордость, оно одно источник всего, всей силы, всех радостей и страданий. Ведь то, что я знаю, узнать может всякий, а сердце такое лишь у меня.

*25 мая*

У меня был один замысел, о котором я решил не писать вам, пока он не осуществится. Теперь уж все равно, раз из него ничего не вышло. Я хотел идти на войну; это была моя давняя мечта. Главным образом из-за этого я и поехал сюда с князем, так как он генерал Н-ской службы. Во время одной из прогулок он всячески меня разубеждал, и только в том случае, если бы это было страстное влечение, а не прихоть, мог бы я не внять его доводам.

*11 июля*

Говори что хочешь, а я не могу оставаться здесь дольше. Что мне делать у князя? Я начинаю скучать. Князь обходится со мной как нельзя лучше, и все же я не на своем месте.

В сущности, у нас нет ничего общего. Ему нельзя отказать в уме, но уме весьма заурядном; его общество занимает меня не больше, чем чтение умело написанной книги. Пробуду здесь еще неделю, а затем опять пушусь в странствия. Удачнее всего я занимался здесь рисованием. Князь чувствует искусство и чувствовал бы еще больше, если бы не замкнулся в кругу плоских научных понятий и самой избитой терминологии. Случается, я скрежещу зубами, когда со всем жаром воображения открываю ему природу и искусство, а он, думая блеснуть, вдруг изрекает какую-нибудь прописную истину!

*16 июля*

Да, я только странник, только скиталец на земле! А чем вы лучше?

*18 июля*

Куда я собрался? Откроюсь тебе по секрету. Еще две недели мне придется пробыть здесь, а затем я надумал посетить н-ские рудники, но дело вовсе не в рудниках. Я хочу быть поближе к Лотте — вот и все. Я смеюсь над собственным сердцем... и потворствую ему.

*29 июля*

Нет, все хорошо! Все отлично! Мне быть ее мужем! О господи боже, меня сотворивший, если бы ты даровал мне это счастье, вся жизнь моя была бы непрерывной молитвой. Я не ропщу, прости мне эти слезы, прости мне тщетные мечты! Ей быть моей женой! Если бы я заключил в свои объятия прекраснейшее создание на земле...

Я содрогаюсь всем телом, Вильгельм, когда Альберт обнимает ее стройный стан.

Сказать ли правду? А почему бы не сказать, Вильгельм? Со мной она была бы счастливей, чем с ним! Такой человек, как он, не способен удовлетворить все запросы ее сердца. В нем нет чуткости... Как бы это объяснить? Он не способен всем сердцем откликнуться, ну, скажем, на то место любимой книги, где наши с Лоттой сердца бьются согласно; и в сотне других случаев, когда нам приходится выражать свои чувства по поводу поведения третьего лица. Зато, милый Вильгельм, он любит ее всей душой, а такая любовь заслуживает всяческой награды!

Докучный посетитель прервал меня. Слезы мои высохли. Я отвлекся. Прощай, мой милый!



*4 августа*

Это не только мой удел. Всем людям изменяют надежды, всех обманывают ожидания. Я навестил мою знакомую в домике под липой. Старший мальчуган выбежал мне на встречу; его радостный возглас привлек и мать. Она казалась подавленной, и первые слова ее были: «Вот горе-то, милый барин, мой Ганс помер!» Это был младший из детей. Я онемел. «А муж мой, — продолжала она, — воротился из Швейцарии ни с чем. Добрые люди помогли, а иначе ему пришлось бы побираться дорогой; и вернулся больной, в лихорадке». Я не знал, что сказать ей, и дал мальчику какую-то мелочь; она попросила меня принять в подарок несколько яблок, я взял их и покинул место печальных воспоминаний.

*21 августа*

Во мне поминутно происходят какие-то перемены. Порой жизнь снова хочет улыбнуться мне, — увы, лишь на миг! Когда я забудусь в мечтах, у меня против воли возникает мысль: что, если бы Альберт умер? Тогда бы я и она... И я гонюсь за этой химерой, пока она не приводит меня к безднам, от которых я отступаю с содроганием.

Я выхожу за город тем самым путем, по которому впервые вез Лотту на танцы, — все тогда было по-иному! И все, все миновало! Ни намека на прежнее, ни тени тех чувств, которыми тогда билось мое сердце. То же должен испытывать дух умершего, ~~с~~ возвращаясь на развалины сгоревшего замка, который он, будучи владетельным князем в расцвете сил воздвиг и украсил всеми дарами роскоши, а умирая, с упованием завещал своему любимому сыну.

*3 сентября*

Порой мне непонятно, как может и смеет другой любить ее, когда я так безраздельно, так глубоко, так полно ее люблю, ничего не знаю, не ведаю и не имею, кроме нее!

*4 сентября*

Да, ничего не поделаешь! Как природа клонится к осени, так и во мне и вокруг меня наступает осень. Листья мои блекнут, а с соседних деревьев листья уже облетели. Кажется, я писал тебе вскоре после приезда об одном крестьянском парне? Теперь я снова осведомился о нем в Вальхейме; мне ответили, что его прогнали с места и больше никто ничего не слы-

шал о нем. Вчера я встретил его невзначай по дороге в другое село; я заговорил с ним, и он рассказал мне свою историю, которая особенно тронула меня, как ты без труда поймешь из моего пересказа. Впрочем, к чему это? Отчего не храню я про себя то, что меня мучит и оскорбляет? Зачем огорчаю тебя? Зачем постоянно даю тебе повод жалеть и бранить меня? Ну, все равно! Быть может, и это мой удел.

С тихой грустью, в которой чувствовалась некоторая робость, парень сперва только отвечал на мои вопросы; но очень скоро, осмелев, как будто опомнившись и освоившись со мной, он покаялся мне в своих проступках и пожаловался на свои беды. Как бы мне хотелось, друг мой, представить на твой суд каждое его слово!

Он признался мне, и даже с увлечением, упиваясь радостью воспоминаний, рассказал, что страсть его к хозяйке росла день ото дня, что под конец он не знал, что делает, что говорит, не знал, куда себя девать. Не мог ни есть, ни пить, ни спать; кусок застревал у него в горле; он делал не то, что надо; а что ему поручали, забывал сделать; как будто бес какой вселился в него; и вот однажды, зная, что она пошла на чердак, он пошел, или, вернее, его потянуло за ней следом. Она не стала слушать его мольбы, тогда он решил овладеть ею силой; он сам не помнит, что с ним случилось, и призывает бога в свидетели, что намерения его всегда были честные и ничего он так не желал, как обвенчаться с ней и прожить вместе весь век. Рассказав это, он вдруг стал запинаться, как будто хотел сказать еще что-то и боялся говорить начистоту; наконец он мне поведал, все еще смущаясь, что она разрешала ему кое-какие вольности и допускала между ними некоторую близость. Он прервал себя два-три раза и снова клялся и божился, что вовсе не хочет, как он выразился, очернить ее, он любит и уважает ее по-прежнему, и такие слова никогда не сошли бы у него с языка, если бы он не хотел мне доказать, что не совсем уж он выродок и сумасшедший. И тут, любезный друг, я опять завожу свою старую песню, которую не устану твердить. Если бы я мог изобразить тебе этого парня таким, как он стоял передо мной, каким стоит до сих пор! Если бы я мог найти настоящие слова, чтобы ты почувствовал, как трогает, как должна трогать меня его участь! Но довольно об этом! Ты знаешь мою собственную участь, знаешь меня самого и потому без труда поймешь, что именно влечет меня ко всем несчастным, а к этому в особенности.

Перечитывая письмо, я заметил, что забыл досказать ко-

нец моей истории; впрочем, он и так ясен. Хозяйка стала сопротивляться. На помощь подросел ее брат, а тот давно уже выживал моего знакомого, боясь, как бы из-за вторичного замужества сестры от его детей не ускользнуло богатое наследство, на которое они рассчитывают, потому что сама она бездетна; братец прямо вытолкнул его из дома и так раззвонил об этом повсюду, что хозяйка, если бы и захотела, не могла бы взять его обратно. Теперь она наняла нового работника; из-за него она, говорят, тоже ссорится с братом, и все в один голос твердят, что она решила выйти за него,— этого уж, сказал мой знакомец, он никак не потерпит.

Все, что я тебе рассказываю, ничуть не преувеличено и не смягчено, наоборот, по-моему, я ослабил, очень ослабил и огрубил рассказ, потому что излагал его языком общепринятой морали.

Значит, такая любовь, такая верность, такая страсть вовсе не поэтический вымысел; она живет, она существует в нетронутой чистоте среди того класса людей, которых мы называем необразованными и грубыми. А мы от нашей образованности потеряли образ человеческий! Прощу тебя, читай мой рассказ с благоговением! Я сегодня весь как-то притих, записывая его; ты видишь по письму, что я не черкаю и не мараю, как обычно. Читай, дорогой мой, и думай, что такова же история твоего друга! Да, так было и так будет со мной, а у меня и вполнину нет мужества и решительности того бедного горемыки, с которым я даже не смею себя равнять.

*5 сентября*

Она написала своему мужу записочку в деревню, где он находится по делам. Записка начиналась: «Дорогой, любимый, возвращайся как можно скорее! Жду тебя с несказанной радостью». Тут как раз явился один приятель и сообщил, что по некоторым причинам мужу придется задержаться. Записка не была отослана, а вечером попала мне в руки. Я прочел ее и улыбнулся; она спросила, чему я улыбаюсь. «Воображение — поистине дар богов! — вскричал я.— Я на миг вообразил, будто это написано мне». Она прервала разговор, он явно был ей неприятен, я замолчал тоже.

*6 сентября*

Долго я не решался сбросить тот простой синий фрак, в котором танцевал с Лоттой; но под конец он стал совсем неприличным. Тогда я заказал новый, такой же точно, с такими

же отворотами и обшлагами, и к нему опять желтые панталоны и жилет.

Все же он не так мне приятен. Не знаю... может быть, со временем я полюблю и его.

*12 сентября*

Она уезжала на несколько дней за Альбертом. Сегодня я вошел к ней в комнату; она поднялась мне навстречу, и я с невыразимой радостью поцеловал ее руку. С зеркала вспорхнула и села к ней на плечо канарейка. «Новый друг! — сказала она и приманила птичку к себе на руку. — Я купила ее для моих малышей. Посмотрите, какая прелесть! Когда я даю ей хлеба, она машет крылышками и премило клюет. И целует меня, смотрите!» Она подставила птичке губы, и та прильнула так нежно к милым устам, словно ощущала всю полноту счастья, которое было ей дано.

«Пусть поцелует и вас», — сказала она и протянула мне канарейку. Клювик проделал путь от ее губ к моим, и когда он щипнул их, на меня повеяло предчувствием сладостного упоения.

«В ее поцелуе есть доля алчности, — заметил я. — Она ищет пропитания, и пустая ласка не удовлетворяет ее».

«Она ест у меня изо рта», — сказала Лотта и протянула ей несколько крошек, зажав их между губами, на которых сияла улыбка невинно-участливой любви. Я отвернулся. Зачем она это делает? Зачем раздражает мое воображение картинами неземной чистоты и радости, зачем будит мое сердце от сна, в который погружает его порой равнодушие к жизни? Впрочем, что я? Она так мне верит! Она знает, как я люблю ее!

*15 сентября*

Меня бесит, Вильгельм, когда я вижу людей, не умеющих ценить и беречь то, что еще есть хорошего на земле. Ты, конечно, помнишь ореховые деревья, под которыми мы сидели с Лоттой у славного ш-ского пастора, великолепные ореховые деревья, всегда доставляющие мне истинное наслаждение. Какой уют, какую прохладу давали они пасторской усадьбе, какие они были ветвистые! И сколько с ними связано воспоминаний о почтенных священнослужителях, посадивших их в давно минувшие годы! Школьный учитель слышал от своего деда имя одного из них и не раз его поминал: прекрасный, говорят, был человек, и я свято чтил его память под сенью.

этих деревьев. Поверишь ли, учитель со слезами на глазах говорил вчера о том, что их срубили. Срубили! Я вне себя от бешенства! Я способен прикончить того мерзавца, который нанес им первый удар. Если бы у меня во дворе росли такие деревья и одно из них погибло от старости, я бы горевал всей душой, а чему мне теперь приходится быть свидетелем! Одно только отрадно, дорогой друг! Есть еще человеческие чувства! Все село ропщет, и, надо надеяться, пасторша ощутит на масле, яйцах и прочих приношениях, какую рану она нанесла своему приходу. Ибо зачинщица всему она, жена нового пастора (наш старик уже умер). Хилое, хворое создание, имеющее веские причины относиться неприязненно к миру, потому что она-то никому не внушает приязни. Она глупа, а мнит себя ученой, говорит о пересмотре канона, ратует за новомодное морально-критическое преобразование христианства, пожимает плечами по поводу лафатеровских фантазий, а сама так больна, что не в состоянии радоваться божьему миру. Только такая тварь и могла срубить мои ореховые деревья. Подумай, я никак не могу прийти в себя!.. От палых листьев у нее, видишь ли, грязно и сыро во дворе, деревья заслоняют ей свет, а когда поспевают орехи, мальчишки сбивают их камнями, и это действует ей на нервы, это мешает ее глубоким размышлениям, мешает взвешивать сравнительные достоинства Кенникота, Землера и Михаэлиса. Видя недовольство обитателей села и в особенности стариков, я спросил их: «Как же вы это потерпели?» — «У нас, когда староста чего захочет, против его воли не пойдешь». А все-таки есть на свете справедливость! Пастору самому несладко приходится от жениных причуд, так он решил хоть извлечь из них прибыль и поделиться ею со старостой. Об этом проведала палата и заявила: «Руки прочь!» (Она издавна предъявляла права на ту часть пасторской усадьбы, где стояли деревья) — и продала их с торгов. И вот они лежат. Ах, будь я государем, я бы показал всем им — пасторше, старосте и палате... Государем! Да будь я государем, разве трогали б меня деревья в моей стране!

*10 октября*

Едва я загляну в ее черные глаза, как мне уже хорошо. И понимаешь, что мне досадно,— Альберт, по-видимому, не так счастлив, как он... надеялся, а я... был бы счастлив, если бы... Я не люблю многоточий, но тут иначе выразиться не могу и выражаюсь, по-моему, достаточно понятно,

*12 октября*

Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера. В какой мир вводит меня этот великан! Блуждать по равнине, когда кругом бушует буря и с клубами тумана, при тусклом свете луны, гонит души предков, слушать с гор сквозь рев лесного потока приглушенные стоны духов из темных пещер и горестные сетования девушки над четырьмя замшелыми, поросшими травой камнями, под которыми покоится павший герой, ее возлюбленный! И вот я вижу его, седого странствующего барда, он ищет на обширной равнине следы от шагов своих предков, но, увы, находит лишь их могилы и, стелая, поднимает взор к милой вечерней звезде, что закатывается в бурное море, и в душе героя оживают минувшие времена, когда благосклонный луч светил бесстрашным в опасности и месяц озарял их увитый цветами победоносный корабль; я читаю глубокую скорбь на его челе, я вижу, как, изнывая в одиночестве, бредет к могиле последний из великих, как впивает все новые, мучительно-жгучие радости от бесплотного присутствия родных теней и, глядя на холодную землю, на высокую колышущуюся траву, восклицает: «Придет, придет тот странник, что знал меня в моей красе, и спросит он: где же певец, прекрасный сын Фингала? Стопы его попирают мою могилу, и тщетно меня он ищет на земле». И тут, о друг, мне хочется, подобно благородному оруженосцу, обнажить меч, разом освободить моего господина от мучительных судорог медленного умирания и послать вслед освобожденному полубогу собственную душу.

*19 октября*

Ах, какая пустота, какая мучительная пустота у меня в груди! Часто мне кажется, если бы я мог хоть раз, один только раз прижать ее к сердцу, вся пустота была бы заполнена.

*26 октября*

Да, мне ясно, дорогой мой, мне ясно и с каждым днем все яснее, что жизнь одного человека значит мало, почти ничего не значит. К Лотте пришла подруга, а я ушел в соседнюю комнату достать книгу, но читать не мог и взялся за перо. Мне был слышен их тихий разговор; они рассказывали друг другу какие-то незначительные истории, городские новости: эта выходит замуж, та больна, очень больна. У нее сухой кашель, а лицо — кожа да кости, и с ней часто бывают обмороки. «Я за ее жизнь дорого не дам», — говорила гостья. «Н. Н. тоже плох», — заметила Лотта. «Он весь распух», — подхватила та. И мое воображение перенесло меня к постели страдальцев;

я видел, с какой неохотой уходят они из жизни, как они... ах, Вильгельм!.. А мои дамочки говорили об этом, как обычно говорят о смерти постороннего. И когда я оглядываюсь и вижу эту комнату и повсюду платья Лотты и бумаги Альберта и вещи, с которыми я так свыкся, даже с этой чернильницей, я говорю себе: «Что ты значишь для этого дома! Рассуди здраво. Друзья чтут тебя! Они видят от тебя столько радостей, и сам ты как будто не мог бы жить без них; и все же — уйди ты, покинь их круг, ощутили бы они, и надолго ли ощутили, пустоту в своей жизни от разлуки с тобой? Надолго ли?» Ах, такова бренность человека, что даже там, где он по-настоящему утверждает свое бытие, где создается единственно верное впечатление от его присутствия,— в памяти и в душе его близких, даже и там суждено ему угаснуть, исчезнуть — и так быстро!

*27 октября*

Часто мне хочется разорвать себе грудь и размозжить голову оттого, что люди так мало способны дать друг другу. Увы, если во мне самом нет любви, радости, восторга и жара, другой не подарит мне их, и, будь мое сердце полно блаженства, я не сделаю счастливым того, кто стоит передо мной, бесчувственный и бессильный.

*Вечером*

Мне так много дано, но чувство к ней поглощает все; мне так много дано, но без нее нет для меня ничего на свете.

*30 октября*

Сотни раз был я готов броситься ей на шею. Один бог ведает, легко ли видеть, как перед глазами мелькает столько прелести, и не иметь права схватить ее. Ведь человек по природе своей захватчик! Хватают же дети все, что им вздумается? А я?

*3 ноября*

Бог свидетель, как часто ложусь я в постель с желанием, а порой и с надеждой никогда не проснуться; утром я открываю глаза, вижу солнце и впадаю в тоску. Хорошо бы обладать вздорным характером и сваливать вину на погоду, на третье лицо, на неудавшееся предприятие! Тогда несносное бремя досады тяготело бы на мне лишь вполовину. А я, увы, слишком ясно понимаю, что вся вина во мне самом,—впрочем, какая там вина! Все равно, во мне самом источник всяческих мучений, как прежде был источник всяческого блаженства.

Ведь я все тот же, но раньше я упивался всей полнотой ощущений, на каждом шагу открывал рай, и сердце имел достаточно вместительное, чтобы любовно объять целый мир. А теперь мое сердце умерло! Оно больше не источает восторгов, глаза мои сухи, чувства не омыты отрадными слезами, и потому тревожно хмурится чело. Я страдаю жестоко, ибо я утратил то, что было единственным блаженством моей жизни, исчезла священная животворная сила, которая помогала мне созидать вокруг меня миры! Теперь я смотрю в окно и вижу, как солнце разрывает туман над дальними холмами и озаряет тихие долины, а мирная река, извиваясь, бежит ко мне между оголенными ивами, и что же? — Эта дивная природа мертва для меня, точно прилизанная картинка; и вся окружающая красота не в силах перекачать у меня из сердца в мозг хоть каплю воодушевления, и я стою перед лицом божьим, точно иссякший колодезь, точно рассохшаяся бадья! Сколько раз падал я ниц и молил господа даровать мне слезы, как землешаец молит даровать дождь, когда небо так беспощадно, а земля истомилась от жажды. Но, увы! Я знаю, бог дает дождь и ведро не по нашим исступленным мольбам, и недаром терзает меня память о тех блаженных временах, когда я терпеливо ждал, чтобы дух его снизошел на меня, и всем признательным сердцем моим принимал благодать, изливаемую им на меня!

*8 ноября*

Она укоряла меня за невоздержанность, но как же ласково и бережно! А невоздержанность моя в том, что я иногда соблазнюсь стаканом вина и выпью целую бутылку.

«Не делайте этого! — сказала она. — Постарайтесь думать о Лотте!» — «Думать! Неужто вам надо приказывать мне это, — возразил я. — Думаю я или не думаю — все равно вы всегда стоите перед моим духовным взором. Сегодня я сидел на том месте, где вы недавно выходили из кареты...»

Она перевела разговор, чтобы прекратить мои излияния. Любезный друг, я погиб! Она вертит мною как хочет!

*15 ноября*

Благодарю тебя, Вильгельм, за сердечное участие, за доброжелательный совет и прошу лишь об одном — не тревожься. Дай мне перетерпеть! Как я ни измучен, у меня останется силы выстоять. Я чту религию, ты знаешь это; я понимаю, что многим павшим духом она служит опорой, многим отчаяв-



шимся — утешением. Но может ли, должна ли она быть этим для каждого? Оглянись на мир, и ты увидишь, что тысячам людей религия, будь то католическая или протестантская, помощью не была и не будет, — так почему она должна помочь мне? Ведь говорит же сын божий, что те лишь пребудут с ним, кого дал ему отец! А что, если я не дан ему? Что, если, как подсказывает мне сердце, отец хочет меня оставить себе? Прошу тебя, не истолкуй этого ложно, не усмотри глумления в искренних словах моих! Ведь я раскрываю перед тобой всю душу; а иначе мне лучше было бы молчать, ибо я вообще неохотно говорю о том, что всякий знает не больше моего. Выстрадать всю положенную ему меру, испить всю чашу до дна — таков удел человека. И если господу, сошедшему с небес, горька была чаша на человеческих его устах, зачем же мне проявлять гордыню и притворяться, будто для меня она сладка? И зачем мне стыдиться в тот страшный миг, когда в существо мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее, точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг гибнет, и мир рушится вместе со мной? И как же загнанному, обессилевшему, неудержимо скатывающемуся вниз созданию не возопить из самых недр тщетно рвущихся на волю сил: «Боже мой! боже мой! Для чего ты меня оставил?» И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег тот, кто свивает небо, как свиток?

*21 ноября*

Она не видит, не понимает, что сама готовит смертельную отраву для меня и для себя: и я с упоением пью до дна кубок, который она протягивает мне на мою погибель. Отчего она часто... часто ли?.. Пусть не часто, но иногда смотрит на меня приветливым взглядом, отчего так благосклонно принимает невольные проявления моего чувства, отчего на лице ее написано сострадание к моим мукам?

Вчера она, прощаясь, протянула мне руку и сказала: «До свидания, милый Вертер!» Милый Вертер! В первый раз назвала она меня милым, и я затрепетал. Сотни раз повторял я про себя эти слова, а вечером, ложась спать и болтая всякую всячину сам с собой, сказал внезапно: «Покойной ночи, милый Вертер!» — и даже сам потом посмеялся над собой.

*22 ноября*

Я не могу молиться: «Оставь мне ее!» — хоть мне и кажется часто, что она моя. Я не могу молиться: «Дай мне

ее!» — она принадлежит другому. Я мудрствую над своими страданиями; если бы я не обуздывал себя, сравнениям и сопоставлениям не было бы конца.

*24 ноября*

Она чувствует, как я страдаю. Сегодня взгляд ее проник мне глубоко в сердце. Я застал ее одну; я не говорил ни слова, а она смотрела на меня. И я видел уже не пленительную красоту ее, не сияние светлого ума; все это исчезло для меня. Я был заморожен куда более прекрасным взглядом, исполненным сердечного участия, нежнейшего сострадания. Почему нельзя мне было упасть к ее ногам? Почему нельзя было броситься ей на шею и ответить градом поцелуев? Она нашла себе прибежище у фортепьяно и заиграла, напевая нежным голосом, тихим, как вздох. Никогда еще не были так пленительны ее губы, казалось, они, приоткрываясь, жадно впитывают сладостные звуки инструмента, и лишь нежнейший отголосок слетает с этих чистых уст. Ах, разве можно выразить его! Я не устоял; склонившись, дал я клятву: «Никогда не дерзну я поцеловать вас, уста, осененные небесными духами!» И все же... понимаешь ты, передо мной точно какая-то грань... Мне надо ее перешагнуть... вкусить блаженство... а потом, после падения, искупить грех! Полно, грех ли?

*26 ноября*

Порой я говорю себе: «Твоя участь беспримерна!» — и называю других счастливыми. Еще никто не терпел таких мучений! Потом начну читать поэта древности, и мне чудится, будто я заглядываю в собственное сердце. Как я страдаю! Ах, неужто люди бывали так же несчастливы до меня?

*30 ноября*

Нет, нет, мне не суждено прийти в себя. На каждом шагу я сталкиваюсь с явлениями, которые выводят меня из равновесия. И сегодня! О, рок! О, люди!

Я шел по берегу; время было обеденное, но есть мне не хотелось. Кругом ви души, сырой вечерний ветер дул с гор, и серые дождевые тучи заволакивали долину. Издалека завидел я человека в поношенном зеленом платье: он карабкался по скалам и, должно быть, искал целебные травы. Когда я подошел ближе и он обернулся на шум моих шагов, я увидел выразительное, открытое и простодушное лицо, главную черту которого составляла покорная печаль; черные волосы его были заколоты в две букли, а сзади заплетены в толстую косицу, свисавшую на спину. Судя по одежде, это был человек

низкого звания, и я решил, что он не обидится, если я поинтересуюсь его занятием, а потому спросил его, что он ищет. «Я ищу цветы,— отвечал он с глубоким вздохом.— Только нет их нигде». — «Да, время года неподходящее», — заметил я, улыбнувшись. «Их много, всяких цветов», — сказал он, спускаясь ко мне. — У меня в саду цветут розы и жимолость двух сортов; одну подарил мне отец, она растет, как сорная трава; второй день ищу ее и не могу найти. Тут на воле всегда водятся цветы: желтые, голубые, красные, а у полевой гвоздички такие красивые цветики. Только вот найти ни одного не могу». Я почувал что-то неладное и спросил осторожно: «А на что вам цветы?» Лицо его передернулось странной, судорожной усмешкой. «Смотрите, только не выдайте меня», — сказал он, прикладывая палец к губам. — Я обещал букет моей милой». — «Дело хорошее», — заметил я. «Ну, у нее и без того всего много, она богата», — пояснил он. «И все-таки ей дорог ваш букет!» — подхватил я. «У нее и драгоценные камни, и корона есть», — продолжал он. «Как же ее зовут?» — «Вот если бы генеральные штаты заплатили мне, — перебил он, — я бы зажил по-другому. Да, были и у меня хорошие времена! А теперь что я? Пропавший человек? Теперь мне...» Поднятый к небесам увлажненный взгляд был достаточно красноречив. «Значит, прежде вы были счастливы?» — спросил я. «Лучшего счастья мне не надо! — ответил он. — Я жил, как рыба в воде, привольно, весело, легко!»

На дороге показалась старуха. «Генрих! — крикнула она. — Генрих, где ты запропастился? Мы тебя ищем, ищем! Иди обедать!» — «Это ваш сын?» — спросил я, подходя к ней. «Да, батюшка, мой горемычный сын! — ответила она. — Тяжкий крест послал мне господь». — «Давно он такой?» — спросил я. «Такой он с полгода. Слава богу, стал тихим, а то год буйным был: его держали связанным в сумасшедшем доме; теперь он никому зла не причиняет — все толкует про королей да государей. А какой был хороший, скромный человек. Он красиво писал, бумаги переписывал и мне помогал кормиться; потом вдруг загрустил, заболел горячкой, впал в буйство, а теперь, видите, какой стал... Знали б вы, батюшка...» Я остановил поток ее красноречия вопросом: «А что это были за времена, когда он, по его словам, жил так счастливо и привольно?» — «Вот глупенький-то! — воскликнула она с жалостливой улыбкой. — Это он хвалит те времена, когда был без памяти, сидел в сумасшедшем доме и себя не помнил». Ее слова меня как громом поразили, я сунул ей монету и поспешил уйти.

«Вот когда ты был счастлив,— воскликнул я, торопливо шагая по направлению к городу,— вот когда жил привольно, как рыба в воде! Боже правый! Неужто ты судил счастье только не вошедшим в разум или вновь утратившим его! Бедняга, а как я-то завидую твоему безумию и губительному помрачению чувств! Ты бродишь зимой с надеждой нарвать букет твоей королеве! И горюешь, что не нашел цветов, и не понимаешь, почему ты их не нашел.— А я — я брожу без надежды и без цели и ни с чем возвращаюсь домой. Ты мечтаешь, как бы ты зажил, если бы генеральные штаты заплатили тебе. Счастлив ты, что можешь приписать свое злосчастье земным препонам! Ты не чувствуешь, не понимаешь, что в твоём сокрушенном сердце, в твоём смятенном уме — причина всех горестей, и ни один король на свете не поможет тебе.

Будь проклят тот, кто посмеется над страдальцем, устремляющимся к отдаленному источнику, который лишь усугубит его болезнь и сделает мучительнее последние часы; будь проклят тот, кто возгордится перед несчастным, совершающим паломничество ко гробу господню, чтобы спастись от угрызений совести и утишить сердечную скорбь! Каждый шаг, который ранит ноги на непроторенной тропе, способен пролить каплю утешения в измученную душу, и после каждого трудного дня пути куда легче спится ночью. А вы, суесловы, смеете, нежась на перинах, называть это безумием! Безумие! О господи! Ты видишь мои слезы! Зачем же ты, и без того сотворивший человека нищим, дал ему еще братьев, отнимающих у него последние крохи, последнее упование, которое он полагает на тебя, на тебя, вселюбящий. Ибо, уповая на целебный корень, на сок винограда, мы уповаем на тебя, на то, что все нас окружающее ты наделил целебной и благотворной силой, в которой мы нуждаемся ежечасно. Отец мой, неведомый мне! Отец, раньше заполнявший всю мою душу и ныне отвративший от меня свой лик! Призови меня к себе! Нарушь молчание. Молчанием своим ты не остановишь меня. Какой бы человек, какой отец стал гневаться, если бы к нему неожиданно воротился сын и бросился ему на грудь, восклицая: «Я вернулся, отец мой! Не гневайся, что я прервал странствие, которое, по воле твоей, мне надлежало претерпеть дольше! Повсюду в мире все едино: страда и труд, награда и радость. Но что мне в них? Мне хорошо лишь там, где ты, и перед лицом твоим хочу я страдать и наслаждаться». Неужели же ты, всеблагий небесный отец наш, отверг бы сына своего?

*1 декабря*

Вильгельм! Человек, о котором я писал тебе, тот счастливый несчастливцев, служил писцом у отца Лотты, и любовь к ней, которую он питал, таил, но не мог скрыть, за что и был уволен, свела его с ума. Почувствуй из этих сухих слов, как меня потрясла его история, когда Альберт рассказал мне ее так же равнодушно, как, возможно, ты будешь читать о ней.

*4 декабря*

Послушай, пойми меня, я погибший человек, я не в силах более терпеть! Сегодня я сидел у нее... я сидел, а она играла на фортепьяно разные мелодии, и в игре ее была вся глубина чувства. Вся, вся! Как это передать? Сестренка ее наряжала куклу на моем колене. У меня в глазах стояли слезы. Я нагнулся и увидел ее обручальное кольцо. Слезы брызнули из глаз моих. И сразу же она перешла на ту знакомую, старую мелодию, полную неземной нежности, и в душу мне пахнуло покоем, и вспомнилось прошедшее, те дни, когда я впервые слышал эту песню, а дальше началась мрачная полоса тоски, разбитых надежд, и потом... Я вскочил и зашагал по комнате. Я задыхался от нахлынувших чувств. «Ради бога!—вскричал я, в бурном порыве бросаясь к ней.— Ради бога, перестаньте!» Она остановилась и пристально посмотрела на меня. «Вертер! — сказала она с улыбкой, проникшей мне в душу.— Вертер, вы очень больны; даже самые любимые блюда противны вам. Уходите! И, прошу вас, успокойтесь!» Я оторвался от нее и... господи! Ты видишь мою муку, ты положишь ей конец.

*6 декабря*

Ах, этот образ, он преследует меня! Во сне и наяву теснится он в мою душу! Едва я сомкну веки, как тут, вот тут, под черепом, где сосредоточено внутреннее зрение, встают передо мной ее черные глаза. Как бы это объяснить тебе? Только я закрою глаза — они уже тут! Как море, как бездна, открываются они передо мной, во мне, заполняют все мои чувства, весь мозг.

Чего стоит человек, этот хваленый полубог! Именно там, где силы всего нужнее ему, они ему изменяют. И когда он окрылен восторгом или погружен в скорбь, что-то останавливает его и возвращает к трезвому, холодному сознанию именно в тот миг, когда он мечтал раствориться в бесконечности.



## ОТ ИЗДАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ

Как искренне желал я, чтобы о последних знаменательных днях жизни нашего друга сохранилось достаточно его собственных свидетельств и мне не потребовалось бы перемежать рассказом оставленные им письма.

Я почел своим долгом подробно расспросить тех, кто мог быть точно осведомлен об его истории; история эта очень проста, и рассказчики согласны между собой во всем, кроме отдельных мелочей; только относительно характеров действующих лиц мнения расходятся и оценки различны.

Нам остается лишь добросовестно пересказать все, что возможно было узнать путем сугубых стараний, присовокупить письма, оставленные усопшим, не пренебрегать ни малейшей из найденных записочек, памятуя о том, как трудно вскрыть истинные причины каждого поступка, когда речь идет о людях незаурядных.

Тоска и досада все глубже укоренялись в душе Вертера и, переплетаясь между собой, мало-помалу завладели всем его существом. Душевное равновесие его было окончательно нарушено. Лихорадочное возбуждение потрясало весь его организм и оказывало на него губительное действие, доводя до полного изнеможения, с которым он боролся еще отчаяннее, чем со всеми прежними напастями. Сердечная тревога подтачивала все прочие духовные силы его: живость, остроту ума; он стал несносен в обществе, несчастье делало его тем несправедливее, чем несчастнее он был. Так, по крайней

мере, говорят приятели Альберта: они утверждают, что Вертер неправильно судил поведение этого порядочного и положительного человека, достигшего долгожданного счастья и желавшего сохранить это счастье на будущее, тогда как сам Вертер в один день поглощал все, что ему было дано, и к вечеру оставался ни с чем. Альберт, говорят его приятели, ничуть не переменялся за такой короткий срок, он был все тем же, каким с самого начала его знал, ценил и уважал Вертер. Он превыше всего любил Лотту, гордился ею и хотел, чтобы все почитали ее прекраснейшим созданием на земле. Можно ли судить его за то, что ему нестерпима была и тень подозрения, что он не желал ни на миг и ни с кем, даже в самом невинном смысле, делить свое бесценное сокровище? Правда, приятели признают, что он часто покидал комнату жены, когда Вертер сидел у нее, но отнюдь не по злобе и не из ненависти к другу, а потому, что чувствовал, как тягостно тому его присутствие.

Отец Лотты захворал и не мог выходить из дому; он послал за Лоттой экипаж, и она поехала к нему. Стоял прекрасный зимний день, первый снег толстым слоем покрывал всю местность.

Вертер на следующее утро отправился туда же, чтобы проводить Лотту домой, если Альберт не придет за ней.

Ясная погода не могла развеселить его, тяжкий гнет лежал на его душе. Он приучился видеть только мрачные картины, и мысли его были одна беспросветнее другой.

Сам он был вечно не в ладу с собою и у других видел только беспокойство и разлад, он боялся, что нарушил доброе согласие между Альбертом и его женой, корил за это себя, но втайне возмущался мужем.

Дорогой мысли его вернулись к этому предмету. «Нет,— повторял он про себя с затаенной яростью,— какое там сердечное, ласковое, любовное, участливое отношение, какая там невозмутимая, нерушимая верность! Пресыщение и равнодушие — вот оно что! Всякое ничтожное дело привлекает его больше, чем милая, прелестная жена. Разве он ценит свое счастье? Разве чтит ее, как она того заслуживает? Она принадлежит ему, ну да, принадлежит... я это знаю, как знаю многое другое; хоть я и свыкся как будто с этой мыслью, она еще сведет меня с ума, она доконает меня. А разве дружба ко мне выдержала испытание? Нет, в самой моей привязанности к Лотте он видит посягательство на свои права, в моем внимании к ней усматривает безмолвный укор. Я чувствую, я

знаю достоверно, ему неприятно меня видеть, он хочет, чтобы я уехал, мое присутствие тяготит его».

Не раз Вертер замедлял свой стремительный шаг, не раз останавливался и, казалось, думал повернуть назад, но тем не менее продолжал путь и так, размышляя и разговаривая сам с собой, как бы помимо воли добрался до охотничьего дома.

Он вошел, осведомился о старике и Лотте, заметил волнение в доме. Старший мальчик сказал ему, что в селении, в Вальхейме, случилось несчастье: убили одного крестьянина! Это известие не привлекло его внимания. Он вошел в комнату и застал Лотту в разгар спора с отцом: старик желал, невзирая на болезнь, самолично отправиться на место преступления. Преступник еще не был обнаружен, убитого нашли утром на пороге дома, имелись кое-какие подозрения: покойный служил в работниках у одной вдовы, которая держала раньше другого работника и не добром рассталась с ним.

Услышав эти слова, Вертер стремительно вскочил. «Быть не может! — воскликнул он. — Я сейчас же, сию минуту бегу туда». Он поспешил в Вальхейм, воспоминания оживали перед ним, он ни минуты не сомневался, что убийство совершил тот самый парень, который не раз беседовал с ним и так стал ему близок.

Ему пришлось пройти под липами, чтобы добраться до харчевни, куда отнесли тело, и вид любимого уголка на этот раз ужаснул его. Порог, где так часто играли соседские дети, был запачкан кровью. Любовь и верность — лучшие человеческие чувства — привели к насилию и убийству. Могучие деревья стояли оголенные и заиндевевшие, с пышной живой изгороди, поднимавшейся над низенькой церковной оградой, облетела листва, и сквозь сучья виднелись покрытые снегом могильные плиты.

Едва он подошел к харчевне, перед которой собралось все село, как поднялся шум. Издалека показалась кучка вооруженных людей, и в толпе закричали, что ведут убийцу. Вертер стал смотреть вместе со всеми и убедился в своей правоте. Убийца был тот самый работник, который так любил свою хозяйку-вдову. Бедный малый бродил по окрестностям, полный затаенной злобы и тихого отчаяния, и еще недавно повстречался ему.

«Что ты сделал, несчастный!» — крикнул Вертер, бросаясь к арестованному. Тот посмотрел на него задумчиво, помолчал и наконец отчеканил невозмутимым тоном:



«Не бывать ей ни с кем и с ней никому не бывать!» Его ввели в харчевню, а Вертер поспешил прочь.

Это страшное, жестокое впечатление произвело в нем полный переворот, на миг стряхнуло с него грусть, уныние, тупую покорность. Жалость властно захватила его, он решил во что бы то ни стало спасти того человека. Он так понимал всю глубину его страдания, так искренне оправдывал его даже в убийстве, так входил в его положение, что твердо рассчитывал внушить свои чувства и другим. Ему не терпелось встать на защиту несчастного, пламенные речи просились с его губ, он спешил в охотничий дом и по дороге уже приводил вполголоса все те доводы, с которыми выступит перед амтманом.

Войдя в комнату, он застал там Альберта и на миг растерялся, но вскоре снова овладел собой и поспешил изложить амтману свое мнение. Хотя Вертер с величайшей искренностью, горячностью и страстностью говорил все то, что может сказать человек в оправдание человека, старик покачивал головой, — как и следовало ожидать, ничуть не тронутый его словами. Наоборот, он прервал нашего приятеля, стал резко возражать ему и порицать за то, что он берет под защиту убийцу. Затем указал, что таким путем недолго упразднить все законы и подорвать устои государства, и в заключение добавил, что не может взять на себя ответственность в подобном деле, а должен дать ему надлежащий законный ход.

Вертер все еще не сдавался, он просил, чтобы амтман хотя бы посмотрел сквозь пальцы, если арестованному помогут бежать. Амтман не согласился и на это. Наконец, в разговор вмешался Альберт и тоже встал на сторону старика. Вертер оказался в меньшинстве и, глубоко удрученный, отправился домой, после того как амтман несколько раз повторил: «Ему нет спасения!»

Как сильно он был потрясен этими словами, видно из записочки, найденной среди его бумаг и относящейся, очевидно, к тому же дню:

«Тебе нет спасения, несчастный! Я вижу, что нам нет спасения».

Все, что Альберт напоследок в присутствии амтмана говорил о деле арестованного, до крайности возмутило Вертера: ему почудился в этом выпад против него самого, и хотя по зрелом размышлении он разумом понял, что оба его собеседника правы, у него все же было такое чувство, что, допустив и признав их правоту, он отречется от своей внутренней сущности.

Среди бумаг его мы нашли записку, которая касается этого вопроса и, пожалуй, исчерпывающе выражает его отношение к Альберту:

«Сколько бы я ни говорил и ни повторял себе, какой он честный и добрый,—ничего не могу с собой поделать,—меня от него с души воротит; я не в силах быть справедливым».

Вечер был теплый, начало таять, и потому Лотта с Альбертом отправились домой пешком. Дорогой она то и дело оглядывалась, как будто искала Вертера. Альберт заговорил о нем, порицая его и все же отдавая должное его достоинствам. Попутно он коснулся его несчастной страсти и заметил, что хорошо было бы удалить его.

— Я желаю этого также ради нас с тобой,—сказал он,—и прошу тебя, постарайся изменить характер его отношений к тебе, не поощряй его частых визитов. Это всем бросается в глаза. Я знаю, что уже пошли пересуды.

Лотта промолчала; Альберта, по-видимому, задело ее молчание, во всяком случае, он с тех пор не упоминал при ней о Вертере, когда же упоминала она сама, он либо обрывал разговор, либо переводил его на другую тему.

Безуспешная попытка спасти несчастного была последней вспышкой угасающего огня; с тех пор Вертер еще глубже погрузился в тоску и бездействие и чуть не дошел до иступления, когда услышал, что его думают вызвать свидетелем против обвиняемого, который решил теперь все отрицать.

Он мысленно перебирал свои промахи на служебном поприще, припомнил и неприятность, постигшую его, когда он состоял при посольстве, а заодно и все, в чем он когда-нибудь не успел, чем был обижен. Во всем этом он находил оправдание своей праздности, не видел для себя никакого исхода, считал себя неспособным к повседневным житейским трудам, и так, отдавшись этому своеобразному течению мыслей и своей всепоглощающей страсти, проводя время в однообразном и безрадостном общении с милой и любимой женщиной, тревожа ее покой, расшатывая свои собственные силы, без смысла и надежды растрачивая их, он неудержимо приближался к печальному концу.

О его смятении и муках, о том, как, не зная покоя, метался он из стороны в сторону, как опустылела ему жизнь, красноречиво свидетельствуют несколько оставшихся после него писем, которые мы решили привести здесь.

12 декабря

Дорогой Вильгельм, я сейчас уподобился тем несчастным, о которых говорили, что они одержимы злым духом. Временами что-то находит на меня: не тоска, не страсть, а что-то непонятное бушует внутри, грозит разорвать грудь, перехватывает дыхание! Горе мне, горе! В такие минуты я пускаюсь бродить посреди жуткого, в эту неприветную пору, ночного ландшафта.

Вчера вечером меня потянуло из дому. Внезапно наступила оттепель, мне сказали, что река вышла из берегов, все ручьи вздулись и затопили милую мою долину вплоть до Вальхейма. Ночью, после одиннадцати, побежал я туда. Страшно смотреть сверху с утеса, как бурлят при лунном свете стремительные потоки, заливая все вокруг; рощи, поля и луга, и вся обширная долина — сплошное море, бушующее под рев ветра! А когда луна выплывала из черных туч и передо мной грозно и величаво сверкал и гремел бурный поток, тогда я весь трепетал и рвался куда-то! Стоя над пропастью, я простирал руки, и меня влекло вниз! Вниз! Ах, какое блаженство сбросить туда вниз мои муки, мои страдания! Умчаться вместе с волнами! Увы! Я не мог сдвинуться с места, не мог покончить разом со всеми муками! Я чувствую, срок мой еще не вышел! Ах, Вильгельм! Я без раздумья отдал бы свое бытие за то, чтобы вместе с ветром разгонять тучи, обуздывать водные потоки. О, неужто узнику когда-нибудь выпадет в удел это блаженство?

С какой грустью смотрел я вниз, отыскивая глазами местечко под ивой, где мы с Лоттой после прогулки отдыхали от зноя, я едва узнал иву, все кругом тоже было затоплено, Вильгельм! «А луга и все окрестности охотничьего дома! — думал я. — Как, должно быть, пострадала от этого потопа наша беседка!» И прошлое солнечным лучом согрело мне душу, как пленника — сон о стадах, лугах и почестях! А я стоял! Я не браню себя, у меня достанет мужества умереть. Но лучше бы... И вот я сижу, как старая нищенка, которая собирает щепки под заборами и выпрашивает корки хлеба у дверей, чтобы хоть немного продлить и скрасить свое жалкое, безрадостное существование.

14 декабря

Друг мой, что же это такое? Я боюсь самого себя. Неужто любовь моя к ней не была всегда благоговейнейшей, чистойшей братской любовью? Неужто в душе моей таились пре-

ступные желания? Не смею отрицать... К тому же эти сны! О, как правы были люди, когда приписывали внутренние противоречия влиянию враждебных сил! Сегодня ночью — страшно сознаться — я держал ее в объятиях, прижимал к своей груди и осыпал поделуями ее губы, лепетавшие слова любви, взор мой тонул в ее затуманенном негой взоре! Господи! Неужто я преступен оттого, что для меня блаженство — со всей полнотой вновь переживать те жгучие радости? Лотта! Лотта! Я погибший человек! Ум мой мутится, уже неделю я сам не свой, глаза полны слез. Мне повсюду одинаково плохо и одинаково хорошо. Я ничего не хочу, ничего не прошу. Мне лучше уйти совсем.

Решение покинуть мир все сильнее укреплялось в душе Вертера в ту пору, чему способствовали и разные обстоятельства. С самого возвращения к Лотте это было последним его прибежищем, последней надеждой; однако он дал себе слово, что это не будет шальной и необдуманной шаг, он совершит его с ясным сознанием, с твердой и спокойной решимостью.

Его сомнения, его внутренняя борьба раскрываются в записи без числа, составлявшей, по-видимому, начало письма к Вильгельму и найденное среди его бумаг.

«Ее присутствие, ее участь, ее сострадание к моей участи только и могут еще исторгнуть слезы из моего испепеленного сердца.

Поднять завесу и скрыться за ней! Вот и все! К чему же мешкать и колебаться? Потому, что мы не знаем, каково там, за этой завесой? И потому, что возврата оттуда нет? И еще потому, что нам свойственно предполагать хаос и тьму там, где все для нас неизвестность».

Мало-помалу он освоился и сроднился с печальной мыслью, и намерение его утвердилось бесповоротно, о чем свидетельствует нижеследующее двусмысленное письмо его к другу.

*20 декабря.*

Только твое любящее сердце, Вильгельм, могло так откликнуться на мои слова. Да, ты прав: мне лучше уйти. Предложение твое возвратиться к вам не совсем улыбается мне; во всяком случае, я намерен сделать небольшой крюк, тем более что мы ожидаем длительных морозов и хороших дорог. Мне

очень приятно, что ты собираешься приехать за мной; повремени только недельки две и дождись письма с дальнейшими моими планами. Нельзя срывать плод, пока он не созрел. А за две недели многое решится. Матушке моей передай, чтобы молилась за своего сына и простила все огорчения, какие я причинил ей. Такова уж моя доля — огорчать тех, кому я обязан дарить радость. Прощай, бесценный друг! Да будет с тобою благословение господне! Прощай!

Что происходило тем временем в душе Лотты, каковы были ее чувства к мужу и к несчастному ее другу, этого мы не держаем передать словами, но, зная ее натуру, можем понять многое, а чистая женская душа, заглянув в ее душу, пособолезнует ей.

Известно одно — она приняла твердое решение сделать все возможное, чтобы удалил Вертера, и медлила, лишь щадя его из сердечного дружеского участия, ибо знала, какой это будет для него тяжкой, почти что невыполнимой жертвой. Однако обстоятельства все настойчивее требовали от нее решительных действий; правда, муж брал пример с нее и не затрагивал этого вопроса, но тем важнее было ей на деле доказать, что своими помыслами она достойна его.

В тот самый день, когда Вертер написал только что приведенное письмо к другу, в воскресенье перед рождеством, он вечером пошел к Лотте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, которые приготовила к празднику своим младшим братьям и сестрам. Он заговорил о том, как обрадуются малыши, и припомнил те времена, когда неожиданно запахнутые двери и зрелище нарядной елки с восковыми свечами, сластями и яблоками приводило его в невыразимый восторг.

— Вы тоже получите подарочек, если будете умницей, — сказала Лотта, скрывая свое замешательство под милой улыбкой. — Вам достанется витая свечка и еще кое-что.

— А что, по-вашему, значит быть умницей? — вскричал он. — Лотта, дорогая! Каким мне быть, как себя вести?

— В четверг вечером — сочельник, придут дети и отец тоже, и каждый получит свое. Приходите и вы тогда, не раньше. — Вертер опешил. — Прошу вас, послушайте меня, — продолжала она, — иначе нельзя, пощадите мой покой, так не может, не может продолжаться.

Он отвел от нее взгляд и зашагал по комнате, повторяя сквозь зубы: «Так не может продолжаться!» Лотта почувство-

вала, в какое ужасное состояние привели его сказанные ею слова, и пыталась отвлечь его посторонними вопросами, но тщетно.

— Нет, Лотта, — вскричал он, — больше я вас не увижу!

— Да почему же? — запротестовала она. — Вы можете и должны видаться с нами, Вертер, только будьте благоразумны. Ах, зачем вы родились таким порывистым, зачем так страстно и упорно увлекаетесь всем, за что бы ни брались? Прошу вас, — повторила она, взяв его за руку, — будьте благоразумны! Сколько разнообразных наслаждений дарят вам ваши знания, ваши способности, ваш ум! Будьте же мужчиной! Отрешитесь от своей несчастной привязанности к той, кто может лишь жалеть вас. — Он заскрежетал зубами и мрачно посмотрел на нее. Она продолжала, не отпуская его руки: — На одно мгновение отрезвитесь, Вертер. Разве вы не чувствуете, что сами себя обманываете и умышленно ведете к гибели? На что вам я, Вертер, именно я, собственность другого? На что вам это? Ох, боюсь я, боюсь, не потому ли так сильно ваше желание, что я для вас недоступна?

Он выдернул свою руку и устремил на нее негодующий взгляд.

— Умно, — произнес он, — очень умно! Это, должно быть, мнение Альберта? Тонко! Очень тонко!

— Так всякий бы рассудил, — ответила она. — Неужто во всем мире не найдется девушки вам по сердцу? Превозможите себя, поищите, и, клянусь вам, вы ее найдете; меня уже давно пугает то, что вы за последнее время замкнулись в таком тесном кругу, это страшно и для вас и для нас. Превозможите же себя. Путешествие непременно рассеет вас! Ищите, найдите предмет, достойный вашей любви, а тогда возвращайтесь, и мы будем вместе наслаждаться благами истинной дружбы.

— Это стоило бы напечатать, — заметил он с холодной усмешкой, — и рекомендовать всем гувернерам. Милая Лотта! Потерпите еще немножко, не трогайте меня, и все образуется!

— С одним условием, Вертер, вы придете не раньше сочельника!

Он не успел ответить, как вошел Альберт. Они холодно поздоровались и принялись в смущении шагать взад и вперед по комнате. Вертер попытался завести незначительный разговор, но безуспешно. Альберт сделал ту же попытку, затем спросил жену о каких-то поручениях и, услышав, что они еще не выполнены, ответил ей, как показалось Вертеру, холодно и даже резко. Вертер хотел уйти и не решался, мешкал до

восьми часов, меж тем как его досада и злоба все возрастали; наконец, когда был накрыт ужин, он взялся за трость и шляпу. Альберт пригласил его остаться, но он усмотрел в этом пустую любезность, холодно поблагодарил и удалился.

Вернувшись домой, он взял свечу из рук слуги, который хотел посветить ему, один вошел в комнату и громко зарыдал; потом гневно говорил сам с собой, метался из угла в угол и, наконец, бросился одетый на кровать, где и нашел его слуга, когда около одиннадцати отважился войти и спросить, не снять ли с барина сапоги. На это он согласился, но запретил слуге входить завтра в комнату, пока он не позовет.

Утром в понедельник, 21 декабря он написал Лотте ниже следующее письмо, после его смерти найденное запечатанным у него на письменном столе и врученное ей; оно писалось с перерывами, что явствует из самих обстоятельств, и я тоже помещаю его здесь по частям.

«Лотта, все решено, я должен умереть и пишу тебе об этом спокойно, без романтической экзальтации, в утро того дня, когда последний раз увижу тебя. В то время как ты, любимая, будешь читать эти строки, холодная могила уже укроет бранные останки мятущегося мученика, которому в последние мгновения жизни нет большей отрады, как беседовать с тобой. Я провел страшную и, увы, благодетельную ночь. За эту ночь окрепло и определилось мое решение — умереть! Вчера, когда я оторвался от тебя, все чувства мои были возмущены, все разом прихлынуло к сердцу, и от безнадежного, безрадостного моего прозябания подле тебя на меня повеяло смертным холодом! Я едва добрался до своей комнаты, не помня себя бросился на колени, и ты, о боже, даровал мне последнюю усладу горчайших слез! Тысячи намерений, тысячи надежд теснились в душе, но под конец прочно и безраздельно утвердилась последняя, единственная мысль: я должен умереть! Я лег спать, а сегодня утром в ясном спокойствии пробуждения та же мысль твердо и прочно живет в моем сердце: я должен умереть! Это вовсе не отчаяние, это уверенность, что я выстрадал свое и жертвую собой ради тебя. Да, Лотта, к чему скрывать? Один из нас троих должен уйти, и уйду я! О любимая, мое растерзанное сердце не раз язвила жестокая мысль — убить твоего мужа!.. Тебя!.. Себя!.. Да будет так! Когда ясным летним вечером ты взойдешь на гору, вспомни тогда обо мне, о том, как часто поднимался я вверх по долине, а потом взгляни на кладбище, на мою могилку, где

ветер в лучах заката колышет высокую траву... Я был спокоен, когда начал писать, а теперь все так живо встает передо мной, и я плачу, точно дитя...»

Часов около десяти Вертер кликнул слугу и, пока одевался, сказал ему, что намерен на днях уехать, а потому надо вычистить платье и приготовить все в дорогу; кроме того, приказал затребовать отовсюду счета, собрать одолженные им книги, а беднякам, которым он оказывал помощь еженедельно, раздать пособие на два месяца вперед.

Он велел принести обед к себе в комнату и прямо из-за стола отправился к амтману, но не застал его дома. Задумчиво бродил он по саду, словно хотел на прощание взвалить на себя весь груз горьких воспоминаний.

Дети вскоре нарушили его одиночество, они бегали за ним, висли на нем, рассказывали наперебой: когда пройдет завтра, и послезавтра, и еще один день, тогда они поедут к Лотте на елку и получают подарки; при этом они расписывали всяческие чудеса, какие им сулило их нехитрое воображение.

— Завтра! И послезавтра, и еще один день! — вскричал он, нежно расцеловал их всех и хотел уйти, но тут самый младший потянулся что-то сказать ему на ушко и выдал ему тайну: старшие братья написали красивые новогодние поздравления — вот такие большущие! Одно для папы, одно для Альберта и Лотты, и для господина Вертера тоже написали; и преподнесут их утром на Новый год. Это было выше его сил, он сунул каждому по монетке, передал поклон отцу, вскочил на лошадь и, едва удерживая слезы, уехал.

Около пяти часов он возвратился домой и приказал горничной позаботиться, чтобы камин топился до ночи. Слуге он велел уложить в самый низ сундука книги и белье, а платье зашить. После этого он, должно быть, написал следующие строки своего последнего письма к Лотте.

«Ты не ожидаешь меня! Ты думаешь, я послушаюсь и не увижусь с тобой до сочельника! Нет, Лотта! Сегодня или никогда. В сочельник ты, дрожа, будешь держать в руках это письмо и оросишь его своими бесценными слезами. Так надо, так будет! О, как покойно мне оттого, что я решился!»

С Лоттой между тем происходило что-то странное. После разговора с Вертером она почувствовала, как тяжело будет ей с ним расстаться и как он будет страдать, покидая ее.



При Альберте она вскользь упомянула, что Вертер не придет до сочельника, и Альберт отправился верхом по соседству к одному должностному лицу, с которым у него были дела, и собирался там заночевать.

И вот она сидела одна, никого из братьев и сестер не было с ней, она сидела в тихой задумчивости, размышляя о своем положении. Она навеки связана с человеком, чью любовь и верность она знает, кому сама предана душой, чья положительность и постоянство словно созданы для того, чтобы честная женщина строила на них счастье своей жизни; она понимала, чем он всегда будет для нее и для ее детей. И в то же время Вертер так стал ей дорог, с первой минуты знакомства так ярко сказалось их духовное сродство, а длительное общение с ним и многое из пережитого вместе оставило в ее сердце неизгладимый след. Всем, что волновало ее чувства и мысли, она привыкла делиться с Вертером и после его отъезда неизменно ощутила бы зияющую пустоту. О, какое счастье было бы превратить его сейчас в брата или женить на одной из своих подруг, какое счастье было бы вновь наладить его отношения с Альбертом!

Она перебрала мысленно всех подруг и в каждой видела какой-нибудь недостаток, ни одной не находила, достойной его.

В итоге этих размышлений она впервые до глубины души почувствовала, если не осознала вполне, что самое ее заветное, затаенное желание — сохранить его для себя. Но наряду с этим понимала, что не может, не смеет сохранить его; невозмутимая ясность ее прекрасной души, которую ничто не могло замутить, теперь омрачилась тоской оттого, что пути к счастью ей закрыты. На сердце навалился гнет, и взор заволкло туманом.

Время подошло к половине седьмого, когда она услышала шаги на лестнице и тотчас узнала походку и голос Вертера, осведомлявшегося о ней; сердце у нее забилося, пожалуй, впервые при его появлении. Она предпочла бы сказать, что ее нет дома, но тут он вошел, и она встретила его растерянным и возмущенным возгласом. «Вы не сдержали слова!» — «Я ничего не обещал», — был его ответ. «Так могли бы хоть внять моей просьбе, — возразила она, — ведь я просила ради нас обоих, ради нашего покоя».

Она плохо понимала, что говорит, и не больше понимала, что делает, когда послала за кем-то из подруг, лишь бы ей не быть наедине с Вертером. Он достал принесенные с собой

книги и спросил о каких-то других, а она попеременно желала, чтобы подруги пришли и чтобы не приходили. Горничная вернулась с известием, что обе приглашенные прийти не могут.

Она хотела было распорядиться, чтобы горничная сидела с работой в соседней комнате; потом передумала. Вертер шагал из угла в угол, она подошла к фортепьяно и начала играть менуэт, но поминутно сбивалась. Наконец она овладела собой и с беспечным видом села возле Вертера, когда он занял обычное свое место на диване.

— У вас нечего почитать? — Оказалось, что нет. — В ящике моего стола лежит ваш перевод песен Оссиана, я еще его не читала, все надеялась услышать в вашем чтении, но это до сих пор почему-то не получалось.

Он улыбнулся, пошел за тетрадью, но, когда взял ее в руки, его охватила дрожь и на глаза набежали слезы, когда он заглянул в нее. Он сел и стал читать.

— «Звезда вечерних сумерек, ты давно горюшь на закате, твой лучистый лик выходит из-за туч, и гордо плывешь ты к своим холмам. Чего ты ищешь на равнине? Утих буйный ветер; издалека доносится рокот потока, и волны шумят у подножия дальних утесов; рой вечерних мошек, жужжа, кружится над полем. Чего же ты ищешь, прекрасное светило? Но, улыбнувшись, ты уходишь, и радостно играют вокруг тебя волны, лаская золото твоих волос. Прощай, спокойный луч! Явись, прекрасный свет великой души Оссиана!

И вот он является во всей своей мощи. Я вижу ушедших из жизни друзей, они собрались на Лоре, как в дни, давно минувшие. Фингал подобен туманному столбу; и с ним его герои, а там и барды песнопений: седой Уллин! И статный Рино! Альпин, пленительный певец! И ты, скорбящая Минона! Как же изменились вы, друзья, с тех пор что отшумели пиры на Сельме, когда мы состязались в песнях, подражая весенним ветеркам, колеблющим на холме тихонько шелестящую траву.

Тут вышла Минона, сияя красотой; взор ее был потуплен, и слезы стояли на глазах, а косы струились тяжелыми волнами, их развевал ветер, дующий с гор. И омрачились души героев, едва зазвучал ее волшебный голос, ибо не раз видели они могильный склеп Сальгара и мрачное жилище белой Кольмы, сладкоголосой Кольмы, покинутой на холме; Сальгар обещал ей прийти; но тьма сгустилась вокруг, Слушайте голос Кольмы, одиноко сидящей на холме.

Ночь! И я одна, забытая в бурю на холме. Ветер свищет в ущельях. Поток стремится вниз с утеса. А я забыта в бурю на холме, и негде мне укрыться от дождя.

Выйди, месяц, из-за туч! Явитесь, звезды ночи! Пусть ваш свет укажет мне дорогу туда, где мой любимый отдыхает от трудов охоты, лежит с ним рядом спущенный лук, и усталые псы окружают его! А я сижу здесь одна на утесе, и под ним бурлит поток. Поток ревет, и буря бушует, и мне не слышен голос любимого.

Зачем же медлит мой Сальгар? Забыл, что дал он мне слово? Вот дерево, и вот утес, а рядом бурлит поток! Ты обещал прийти, когда настанет ночь; неужели заблудился, мой Сальгар? Я хотела бежать с тобой, покинуть гордых отца и брата! Давно роды наши враждуют, но мы не можем быть врагами, о Сальгар!

Замолкни на мгновенье, о ветер! Утихни на мгновенье, поток! Пусть голос мой звучит в долине, чтобы путник услышал меня! Сальгар, я тебя зову! Вот утес, вот дерево! Сальгар! Возлюбленный! И я здесь; что же ты медлишь прийти?

Взошла луна, в долине блестит поток, и камни скал сереют по склонам холма; но нет и нет Сальгара, собаки лаем не возвещают о нем. Я сижу здесь одна.

А кто ж те двое, что лежат внизу, в долине? Мой брат? Мой милый? Откликнитесь, друзья! Они не отвечают. Страх стеснил мне сердце! Увы, они убиты! Мечи их окровавлены в бою! О брат мой, брат! Зачем убил ты моего Сальгара? О мой Сальгар! Зачем ты убил моего брата? Я вас обоих так любила! Ты был прекрасен среди тысяч у холма! Он был грозен в сражении. Ответьте мне! Откликнитесь на голос мой, любимые! Увы! Они молчат, молчат навеки! И грудь их холодна, как грудь земли!

С уступов этого холма, с вершины, где воеет буря, отвечайте мне, духи мертвых! Говорите, я не испугаюсь! Куда ушли вы на покой? Где вас искать, в каких горных пещерах? Ни отзова в вое ветра, ни шепота в дыхании бури.

Я сижу в тоске, я жду в слезах, когда настанет утро. Ройте могилу, друзья усопших, но не засыпайте ее, пока я не приду. Жизнь ускользает от меня, как сон, зачем мне оставаться среди живых? Здесь я буду жить с друзьями, у потока, близ гремящих скал. Когда стемнеет на холме и над равниной засвищет ветер, мой дух восстанет в дыхании ветра

и будет оплакивать смерть друзей. Охотник в шалаше услышит меня, и устрашится, и будет пленен моим голосом, так сладко буду я петь о моих друзьях, равно мною любимых!

Так ты пела, Минона, кроткая, стыдливая дочь Тормана. И мы рыдали над Кольмой, и омрачались наши души.

Тут с арфой вышел Уллин и спел нам песнь Альпина. Ласково звучал голос Альпина, а Рино душой подобен был огненной стреле. Но тесный гроб стал им жилищем, и голоса их отзвучали в Сельме.

Однажды Уллин вернулся с охоты, когда герои были еще живы, и услышал, как состязаются они в пень на холме. Их песни были нежны, но печальны. Они оплакивали смерть Морара, первого в ряду героев. Его душа была, как душа Фингала, а меч — как меч Оскара, но он пал, и отец его сокрушался, и полны слез были глаза его сестры, полны слез глаза Миноны, сестры могучего Морара.

Как только зазвучала песнь Уллина, Минона скрылась, точно месяц на закате, когда, предвидя непогоду, он прячет за тучу свой прекрасный лик. И вместе с Уллином я ударил по струнам арфы, вторя песне скорби.

## Р и н о

Ненастье миновало, сияет яркий полдень, рассеяв сумрак туч. Изменчивое солнце неверными лучами озаряет холм. Весь алый, бежит по долине горный ручей. Ручей, как сладок твой рокот! Но слаще мне слышится голос. То голос Альпина, он скорбит об умершем. Голова его склонилась под бременем лет, глаза покраснели от слез. Альпин! Дивный певец! Зачем ты один на безмолвном холме? Зачем ты стонешь, как ветер в чаще леса, как волна у дальних берегов?

## А л ь п и н

Я плачу, Рино, об усопшем, и мой голос взывает к обитателям могил. Как ты величав на холме, как прекрасен среди сынов равнины, но ты падешь подобно Морару, и слезы прольются на твоей могиле. Холмы забудут о тебе, и твой спущенный лук будет лежать под сводами пещеры.

Ты был резв, Морар, как олень на холме, и страшен, как зарницы в темном небе. Твой гнев был грозой, твой меч сверкал в бою, подобно молниям над равниной, голос твой гремел, как лесной поток после дождей, как гром за дальни-

ми холмами. Многих сразила рука твоя, испепелило пламя твоего гнева. Когда же ты возвращался после битвы, твой голос звучал так мирно! Твой лик был ясен, как солнце после бури, как месяц в безмолвии ночи, а душа спокойна, точно озеро, когда утихли порывы ветра.

Тесно теперь твое жилище! Мрачен тот край, где ты обитаешь! Тремя шагами могу я измерить могилу того, кто был некогда так велик! Четыре камня, увенчанные мхом,— вот единственная о тебе память! Дерево без листьев да шуршащая под ветром высокая трава укажут охотнику могилу героя Морара. Нет у тебя матери, чтобы плакать над тобой, нет девушки, чтобы пролить слезы любви. Умерла родившая тебя, погибла дочь Морглана.

Кто там опирается на посох? Кто это, чьи кудри побелели от старости, а глаза красны от слез? Это твой отец, Морар, отец единственного сына. Он слышал, как ты прославился в битве, как рассеялись перед тобой враги, он слышал, как восхваляли тебя. Увы, о твоих ранах не слышал он. Плачь, плачь, отец Морара, твой сын услышит тебя. Сон мертвецов глубок, изголовьем им служит прах. Твой голос не достигнет его, твой зов его не пробудит. О, когда же настанет утро для обитателей могил и спящий услышит: «Проснись!»

Прости, благороднейший из смертных, воин-победитель. Не быть тебе больше на бранном поле, не озарять дремучего леса сверканьем клинка. Ты не оставил сына, но имя твое сохранится в песне, и грядущие века услышат о тебе, услышат о тебе, услышат о Мораре, павшем в битве.

Громки были рыдания героев, но всего громче надрывный стон Армина. Ему вспомнилась смерть сына, погибшего в расцвете юных лет. Подле героя сидел Кармор, властитель шумного Галмала. Он спросил:

— Зачем так горестны рыданья Армина? О чем тут плакать? На то и песни, чтобы трогать и тешить душу. Они подобны легкому туману, который, поднимаясь с озера в долину, окропляет цветы живительной росой; но стоит подняться солнцу, и туман растает без следа. О чем ты сокрушаешься, Армин, владыка Гормы, омытой волнами?

— Да, я сокрушаюсь! И велика скорбь моя! Кармор, ты не утратил сына, не утратил цветущей дочери; храбрый Кольгар жив, и жива прекрасная Аннира. Ветви твоего дома цветут, о Кармор. А наш род окончится с Армином. Мрачно твое ложе, о Даура! И глубок могильный сон. Когда же ты про-

снешься и вновь зазвучит твое пенье, твой пленительный голос? Дуй, дуй, осенний ветер! Бушуй над мрачной равниной! Реви, лесной поток! Буря, шуми вершинами дубов! Плыви, о месяц, пусть между обрывками туч мелькнет твой бледный лик! Напомни мне о той жестокой ночи, когда погибли мои дети, пал могучий Ариндаль, угасла милая Даура.

Даура, дочь моя, ты была прекрасна! Прекрасна, как месяц над холмами Фуры, бела, как первый снег, нежна, как веяние ветерка. Туго натягивал ты свой лук, Ариндаль, и в битве метко метал копьё свое, взор твой был как мгла над морем, а щит сверкал, подобно молниям в грозу!

Армар, прославленный в битвах, явился снискать любовь Дауры. Она противилась недолго, и друзья предрекали им счастье. Эрат, сын Одгала, затаил вражду, ибо рукой Армара был сражен его брат. Он пришел в обличье моряка. На волнах, покачиваясь, красовался его челнок, кудри его серебрились, и суровое чело было спокойно.

— Прекраснейшая дева,— сказал он,— пленительная дочь Армина, у ближних скал, на взморье, где на деревьях рдеют плоды, там Армар ждет Дауру; я прислан перевезти его милую через бушующие волны.

Даура последовала за ним и стала звать Армара; только голос скал был ей ответом.

— Армар, мой милый, мой любимый, зачем ты пугаешь меня? Откликнись, откликнись, сын Арната! Тебя зовет Даура!

Вероломный Эрат, смеясь, скрылся на суше. Девушка, возвысив голос, стала звать отца и брата:

— Ариндаль! Армин! Неужели никто не спасет Дауру!

Зов ее донесся через море. Ариндаль, мой сын, сбежал с холма; он был грозен в охотничьих доспехах, в руках держал лук, в колчане у бедра гремели стрелы, пять иссера-черных догов скакали вокруг него. На берегу он увидел злодея Эрата, схватил его и привязал к дубу, крепко стиснув ему бедра. Стоны связанного огласили воздух.

Ариндаль пустился в море на своем челне, чтобы привезти Дауру. Но тут явился гневный Армар, он спустил стрелу с темно-серым опереньем; звеня, взвилась она и впилась тебе в сердце, о Ариндаль, мой сын! Вместо злодея Эрата погиб ты, твой челн пригнало к скалам. Ты упал на них и умер.

Несчастливая Даура, у ног твоих текла кровь брата.

Волны разбили челн. Армар бросился спасти свою Дауру или умереть. Порыв ветра налетел с холма, взмыл волны, и пловец навеки исчез под водой.

А я стоял один на утесе, окруженном морем, и слушал стоны дочери. Громко, неумолчно звала она, но отец не мог ее спасти. Всю ночь я слышал ее вопли, а ветер выл, и о скалы хлестал дождь. Перед рассветом голос Дауры стал слабеть. Она утихла, как вечерний ветерок в траве, растущей по утесу, угасла под бременем скорбей, оставила Армина одного! Погиб мой оплот в битвах, исчезла моя гордость, лучшая среди дев.

Когда бушуют бури с гор и вздымает волны северный ветер, я сижу на гулком берегу, не отводя очей от той страшной скалы. Месяц на закате порой озаряет тени моих детей, смутными призраками бродят они в печальном единении...»

Из глаз Лотты хлынули слезы, давая исход ее тоске, и прервали чтение Вертера. Он отшвырнул тетрадь, схватил ее руку и заплакал горькими слезами. Лотта оперлась на другую руку и закрыла глаза носовым платком. Оба были глубоко потрясены. Страшную участь героев песнопения они ощущали как собственное свое горе, ощущали его вместе, и слезы их лились согласно. Губы и глаза Вертера жгли Лотте руку. Ей стало страшно, она хотела уйти, но скорбь и жалость сковали ее, придавили свинцовой тяжестью. Она перевела дух и сквозь рыдания попросила его, неземным голосом попросила его читать дальше. Вертер весь дрожал, сердце его разрывалось, он поднял листок и, задыхаясь, стал читать:

— «Зачем же ты будишь меня, о вейяне весны? Ты ластисься и говоришь: «Я окроплю росой небес!» Но близок для меня час увяданья. Близка та буря, что оборвет мои листья. А завтра он придет, придет тот странник, который знал меня в моей красе. Повсюду будет он искать меня взглядом и не найдет меня...»

Смысл этих слов всей своей силой обрушился на несчастного Вертера. В глубоком отчаянии бросился он к ногам Лотты, схватил ее руки, приложил их к своим глазам, ко лбу, и у нее в душе мелькнуло смутное предчувствие его страшного решения. Сознание ее помутилось, она сжала его руки, прижала к своей груди, в порыве сострадания склонилась над ним, и их пылающие щеки соприкоснулись. Все вокруг перестало существовать. Он стиснул ее в объятиях и покрыл неистовыми поделуями ее трепетные лепечущие губы.

— Вертер! — крикнула она сдавленным голосом, отворачиваясь от него, — Вертер! — и беспомощным движением

попыталась отстранить его. — Вертер! — повторила она тоном благородной решимости.

Он не стал противиться, разжал объятия и, не помня себя, упал к ее ногам. Она выпрямилась и в мучительном смятении, теряясь между любовью и гневом, выговорила:

— Это не повторится, вы больше не увидите меня, Вертер! — И, бросив на страдальца взгляд, исполненный любви, выбежала в соседнюю комнату и заперлась на ключ.

Вертер простирал ей вслед руки, но не посмел удержать ее. С полчаса лежал он на полу, склонясь головой на диван, пока какой-то шорох не привел его в чувство. Это горничная пришла накрывать на стол. Он принялся шагать по комнате, а когда снова остался один, подошел к двери кабинета и тихонько позвал:

— Лотта, Лотта! Одно словечко! На прощание! — Она молчала. Он ждал, и молил, и снова ждал; потом крикнул: — Прощай, Лотта! Прощай навеки! — и бросился прочь.

Он добрал до городских ворот. Сторожа знали его и пропустили без разговоров. Шел мокрый снег, а он лишь около одиннадцати часов снова постучался у ворот. Когда он воротился домой, слуга его заметил, что барин потерял шляпу. Однако не осмелился ничего сказать, раздевая его. Вся одежда промокла насквозь. Впоследствии шляпу нашли на уступе холма, обращенном к долине; непостижимо уму, как ухитрился он в темную, дождливую ночь взобраться туда, не сорвавшись.

Он лег в постель и проспал долго. Слуга застал его за столом, когда утром, на его зов, принес кофе. Вот что приписал он к письму Лотте:

«Итак, в последний раз, в последний раз раскрываю я глаза. Увы, им более не суждено увидеть солнце, тусклый туманный день застлал его. Печалься же, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный кончает свои дни. Лотта, только со смутным сном можно, пожалуй, сравнить то чувство, когда приходится сказать себе: это мое последнее утро. Последнее! Лотта, мне непонятно слово — последнее! Сейчас я полон сил, а завтра буду лежать, простертый и неподвижный, на земле. Умереть! Что это значит? Видишь ли, мы фантазируем, когда говорим о смерти. Я не раз видел, как умирают люди. Но человек так ограничен по своей природе, что ему не дано постигнуть начало и конец своего бытия. Сейчас еще свой, твой! Да, твой, любимая! А через миг... оторван, разлучен...



И что, если — навеки! Нет, Лотта, нет... как я могу исчезнуть? Как можешь ты исчезнуть? Ведь мы же существуем! Исчезнуть? Что это значит? Опять только слово, только пустой звук, невнятный моей душе... Умер, Лотта! Зарыт в холодную землю, где так тесно, так темно! У меня была подруга, она была для меня всем в пору моей несмелой юности. Она умерла, я провожал ее прах и стоял у могилы, когда опускали гроб, и веревки, шурша, выскользнули из-под него и поднялись наверх, а потом посыпались комья с первой лопаты и глухо застучали о страшный ящик, все глуше, глуше и совсем засыпали его! Я бросился на землю возле могилы, я был испуган, поражен, подавлен, потрясен до глубины души, и все же я не знал, что это было, что это будет — смерть, могила! Непонятные слова!

Ах, прости, прости меня! Мне надо было умереть вчера, в тот миг! Ангел мой! Впервые, впервые без малейшего сомнения огнем прошло до самых недр моей души блаженное сознание: она любит, любит меня! И сейчас еще на губах моих горит священный пламень, которым пылали твои уста, и согревает мне сердце неведомым блаженством. Прости меня, прости! О, я знал, что ты любишь меня, знал с первого же задушевного взгляда, с первого пожатия руки, и все же, когда я уходил, а Альберт оставался возле тебя, я вновь отчаивался и томился мучительным сомнением.

Помнишь, ты прислала мне цветы, когда в том несносном обществе мы не могли перемолвиться хотя бы словом или пожать друг другу руку? Полночи простоял я перед ними на коленях, — ведь они были для меня залогом твоей любви. Но, увы, эти впечатления изгладились, как в душе верующего мало-помалу угасает сознание милости господней, щедро ниспосланной ему в явных и священных знамениях.

Все проходит, но и вечность не охладит тот живительный пламень, который я выпил вчера с твоих губ и неизменно ощущаю в себе! Она меня любит! Мои руки обнимали ее, мои губы трепетали на ее губах, шепча из уст в уста бессвязные слова. Она моя! Да, Лотта, ты моя навеки.

Пусть Альберт твой муж! Что мне в том? Он муж лишь в здешнем мире, и, значит, в здешнем мире грех, что я люблю тебя и жажду вырвать из его объятий и прижать к себе. Грех? Согласен, и я себя караю за него; во всем его неземном блаженстве вкусил я этот грех, впитал с ним жизненную силу и крепость. И с этого мгновения ты моя, моя, о Лотта! Я ухожу первый! Ухожу к отцу моему, к отцу твоему. Ему я поведаю

свое горе, и он утешит меня, пока не придешь ты, и тогда я поспешу тебе навстречу и обниму тебя, и так в объятиях друг друга пребудем мы навеки перед лицом предвечного.

Я не грежу, не заблуждаюсь! На пороге смерти мне все становится яснее. Мы не исчезнем! Мы свидимся! Увидим твою мать! Я увижу, узнаю ее и перед ней, перед твоей матерью, твоим двойником, открою свою душу».

Около одиннадцати Вертер спросил своего слугу, вернулся ли Альберт. Слуга ответил, что вернулся, он сам видел, как прохаживали его лошадь. Тогда барин дал ему незапечатанную записочку такого содержания:

«Не одолжите ли вы мне для предстоящего путешествия свои пистолеты? Желаю вам долго здравствовать!»

Милая Лотта плохо спала эту ночь; то, чего она ждала со страхом, разрешилось, и разрешилось так, как она не могла ни предвидеть, ни ожидать. Кровь ее обычно текла ровно и безмятежно, теперь же была в лихорадочном возбуждении, и тысячи противоречивых чувств смущали ее чистую душу. Не огонь ли объятий Вертера горел в ее груди? Или же гнев на его дерзость? А может быть, она негодовала, сравнивая настоящее свое состояние с ушедшими днями невозмутимой и простодушной невинности и беспечной уверенности в себе? Каково будет ей встретиться с мужем? Рассказать ему о происшествии, в котором ей нечего скрывать и все же так трудно признаться? Оба они слишком долго молчали, и теперь ей первой придется нарушить молчание и в самую неподходящую минуту поразить мужа столь неожиданной исповедью. Уже самое известие о приходе Вертера будет ему неприятно, а тут еще это неожиданное потрясение! Смеет ли она надеяться, что муж надлежащим образом, без малейшего предубеждения, примет случившееся? Смеет ли она желать, чтобы он заглянул ей в душу? Но, с другой стороны, как ей хитрить с человеком, перед которым душа ее всегда была открыта и чиста, как хрустальный сосуд, с человеком, от которого она никогда не скрывала и не умела скрывать свои чувства? Эти противоречивые ощущения смущали и тревожили ее, а мысли то и дело возвращались к Вертеру, — он был потерян для нее, она же не могла оставить его, но, увы, должна была предоставить самому себе, а он, теряя ее, терял все.

Она сама не сознавала, как тяжело сказывалась на ней теперь преграда, выросшая между нею и мужем! Из-за какой-

то скрытой розни у них, разумных, порядочных людей, начались недомолвки, каждый все больше убеждался в своей правоте и неправоте другого, отношения так обострялись и усложнялись, что под конец, в самую решительную минуту, от которой зависело все, узел уже невозможно было развязать. Если бы в порыве счастливой откровенности согласие их восстановилось, если бы между ними ожила взаимная снисходительная любовь и растопила их сердца, друг наш, пожалуй, был бы спасен...

К этому примешалось еще одно особое обстоятельство. Как мы знаем из писем Вертера, он никогда не скрывал, что стремится уйти из жизни. Альберт постоянно спорил с ним, и между собой супруги тоже иногда толковали об этом. Альберт был ярым противником такого конца и с раздражением, несвойственным его натуре, утверждал не раз, что имеет веские причины сомневаться в серьезности подобного намерения; он даже отпускал по этому поводу шутки и внушил свое неверие Лотте.

Отчасти это успокаивало ее, когда она представляла себе горестную картину, но в то же время мешало ей поделиться с мужем мучившими ее сейчас опасениями.

Когда Альберт возвратился, Лотта в смущении поспешила ему навстречу, он был мрачен, дело его не удалось, потому что сосед оказался несговорчивым и мелочным человеком. Плохая дорога только усугубила его досаду.

Он спросил, все ли благополучно, и она поторопилась сообщить, что вчера вечером приходил Вертер. Он спросил, нет ли писем, и услышал в ответ, что письмо и несколько пакетов лежат у него в комнате. Он пошел туда, и Лотта осталась одна. Встреча с мужем, которого она любила и почитала, внесла перемену в ее чувства. Ей стало спокойнее на душе при мысли о его благородстве, его любви и доброте, ее потянуло к нему, она взяла свою работу и, как бывало, пошла за ним в кабинет. Он был занят делом, распечатывал и просматривал пакеты. Содержание некоторых из них было, видимо, не из приятных. Она о чем-то спросила его, он ответил кратко, подошел к конторке и стал писать.

Так они пробыли друг подле друга около часа, и на душе у Лотты становилось все тяжелее. Она чувствовала, что, будь он даже в наилучшем расположении духа, ей не под силу открыть ему то, что ее угнетает; на нее напала тоска, тем более мучительная, что она пыталась овладеть собой, сдерживать слезы.

Появление слуги Вертера до крайности взволновало ее. Он вручил Альберту записку, и тот спокойно повернулся к жене со словами:

— Дай, пожалуйста, пистолеты. Пожелай ему счастливого пути,— добавил он, обращаясь к слуге.

Ее точно громом поразило, она поднялась шатаясь, голова у нее шла кругом, с трудом добрела она до стены, дрожащими руками сняла пистолеты, смахнула с них пыль, но помедлила отдать их и промешкала бы еще долго, если бы вопросительный взгляд Альберта не поторопил ее. Не в силах вымолвить ни слова, она протянула слуге роковое оружие, а когда тот ушел, собрала свою работу и в несказанной тревоге поспешила к себе в спальню. Воображение пророчило ей всякие ужасы. Минутами она готова была броситься к ногам мужа и открыть ему то, что произошло, свою вину, свои страхи. И тут же понимала бесполезность такого шага; меньше всего могла она рассчитывать, что муж послушается ее и пойдет к Вертеру. Перед обедом явилась добрая приятельница с намерением о чем-то спросить и сейчас же уйти, однако осталась и оживила беседу за столом; поневоле надо было сделать над собой усилие, говорить, рассказывать и хоть немного забыться.

Слуга принес Вертеру пистолеты, и тот взял их с восторгом, когда услышал, что их дала сама Лотта. Он велел принести вина и хлеба, отправил слугу обедать и принялся за письмо.

«Они были в твоих руках, ты стирала с них пыль, я осыпаю их поцелуями,— ведь ты прикасалась к ним. И ты, небесный ангел, покровительствуешь моему решению! Ты, Лотта, протягиваешь мне оружие, из твоих рук хотел я принять смерть и вот теперь принимаю ее. Я подробно расспросил слугу. Ты дрожала, отдавая пистолеты, и не сказала мне «прости»! Горе мне, горе, не сказала «прости»! Неужто твое сердце закрылось для меня из-за того мгновения, что навеки связало нас с тобой? Пройдут тысячелетия, Лотта, но не сотрут его следа! Я знаю, чувствую — не можешь ты ненавидеть того, кто так страстно тебя любит».

После обеда он приказал слуге запаковать все окончательно, порвал много бумаг и вышел из дому, чтобы уплатить мелкие долги. Потом вернулся, снова вышел и, невзирая на дождь, отправился за город в графский парк, побродил по окрестностям, вернулся под вечер и сел писать.

«Вильгельм, я в последний раз видел поле, лес и небо. Прощай и ты! Дорогая матушка, простите меня! Будь ей утешением, Вильгельм! Благослови вас господь! Дела мои в порядке. Прощайте! До нового, радостного свидания!»

«Я плохо отблагодарил тебя, Альберт, но ты простишь мне. Я нарушил мир твоей семьи, я посеял недоверие между вами. Теперь я положу этому конец. Прощай! О, пусть смерть моя принесет вам счастье! Альберт, Альберт, дай счастье этому ангелу! И да пребудет благодать господня над тобой».

Весь вечер он разбирал бумаги, многое порвал и бросил в камин, запечатал несколько пакетов и написал на них адрес Вильгельма. Они содержали небольшие заметки, отрывочные мысли, кое-что из этого я видел; в десять часов он велел подбросить дров в камин и принести бутылку вина, после чего отошел спать своего слугу, каморка которого, как и хозяйские комнаты, выходила на задний двор. Слуга лег, не раздеваясь, чтобы поспеть вовремя: барин сказал ему, что почтовых лошадей подадут к шести часам.

*«После одиннадцати.»*

Все тихо вокруг меня, и душа моя покойна. Благодарю тебя, господи, что ты даровал мне в эти последние мгновения столько тепла и силы.

Я подхожу к окну, дорогая, смотрю и вижу сквозь грозные, стремительно несущиеся облака одиночные светила вечных небес! Вы не упадете! О нет! Предвечный хранит в своем лоне и вас и меня. Я увидел звезды Большой Медведицы, самого милого из всех созвездий. Когда я по вечерам уходил от тебя, оно сияло прямо над твоими воротами. В каком упоении смотрел я, бывало, на него! Часто я простирал к нему руки, видя в нем знамение и священный символ своего блаженства! И еще... Ах, Лотта, все, все напоминает здесь о тебе! Ты повсюду вокруг меня! Я, как ненасытное дитя, собирал все мелочи, которых касалась ты, моя святыня!

Завещаю тебе милый силуэт и прошу бережно хранить его. Тысячи раз я целовал его, тысячи раз кивал ему в знак привета, когда уходил или возвращался домой.

Я написал твоему отцу и просил его позаботиться о моем прахе. На дальнем краю кладбища в сторону поля растут две липы. Под ними хочу я покоем. Он сделает это по дружбе. Попроси его за меня. Я не собираюсь навязывать благочести-

вым христианам посмертное соседство злосчастного страдальца. Ах, мне хотелось, чтобы вы похоронили меня у дороги или в уединенной долине, чтобы священник и левит, благословясь, прошли мимо могильного камня, а самаритянин пролил над ним слезу.

Пора, Лотта! Без содрогания беру я страшный холодный кубок, чтобы выпить из него смертельный хмель! Ты подала мне его, и я пью без колебаний. Весь, весь до дна! Так вот как исполнились желания и надежды моей жизни! Холодный и бесчувственный, стучусь я в железные ворота смерти!

О, если бы мне даровано было счастье умереть за тебя! Пожертвовать собой за тебя, Лотта! Я радостно, я доблестно бы умер, когда бы мог воскресить покой и довольство твоей жизни. Но увы! Лишь немногим славным дано пролить свою кровь за близких и смертью своей вдохнуть в друзей обновленную, стократную жизнь.

Я хочу, чтобы меня похоронили в этой одежде, она освящена твоим прокосновением; я просил о том же твоего отца. Моя душа витает над гробом. Не позволяй осматривать мои карманы. Вот этот розовый бант был на твоей груди, когда я впервые увидел тебя среди твоих детей, расцелуй их за меня и расскажи об участи несчастного их друга. Милые мои! Они и сейчас окружают меня! Ах, как я потянулся к тебе, с первой же минуты не мог я оторваться от тебя! Пусть этот бант положат со мной в могилу. Ты мне подарила его в день рождения! Ах, как жадно вкушал я все эти радости! Не думал я, что сюда приведет меня мой путь!..

Будь спокойна, молю тебя, будь спокойна!..

Они заряжены... Бьет полночь! Да будет так! Лотта, прощай! Прощай, Лотта!..»

Один из соседей увидел вспышку пороха и услышал звук выстрела; но все стихло, и он успокоился.

В шесть часов поутру входит слуга со свечой. Он видит своего барина на полу, видит пистолет и кровь. Он зовет, трогает его; ответа нет, раздается только хрипение. Он бежит за лекарем, за Альбертом.

Лотта слышит звонок, ее охватывает дрожь. Она будит мужа, оба встают; захлебываясь от слез, слуга сообщает о происшедшем, Лотта без чувств падает к ногам Альберта.

Когда врач явился к несчастному, он застал его на полу в безнадежном состоянии, пульс еще бился, но все тело было парализовано. Он прострелил себе голову над правым

глазом, мозг брызнул наружу. Ему открыли жилу в руке, кровь потекла, он все еще дышал.

Судя по тому, что на спинке кресла была кровь, стрелял он, сидя за столом, а потом соскользнул на пол и бился в судорогах возле кресла. Он лежал, обессиленный, на спине, головой к окну, одетый, в сапогах, в синем фраке и желтом жилете. Весь дом, вся улица, весь город были в волнении. Пришел Альберт. Вертера уже положили на кровать и перевязали ему голову. Лицо у него было как у мертвого, он не шевелился. В легких еще раздавался ужасный хрип, то слабев, то усиливаясь; конец был близок.

Бутылка вина была едва почата, на столе лежала раскрытой «Эмилия Галотти».

Не берусь описать потрясение Альберта и горе Лотты.

Старик амтман примчался верхом, едва получив известие, и с горькими слезами целовал умирающего. Вслед за ним пришли старшие его сыновья; в сильнейшей скорби упали они на колени возле постели, а самый старший, любимец Вертера, прильнул к его губам и не отрывался, пока он не испустил дух; тогда мальчика пришлось оттащить силой. Скончался Вертер в двенадцать часов дня. Присутствие амтмана и принятые им меры умиротворили умы. По его распоряжению Вертера похоронили около двенадцати часов ночи на том месте, которое он сам для себя выбрал. Старик с сыновьями шли за гробом, Альберт идти не мог — жизнь Лотты была в опасности. Гроб несли мастеравые. Никто из духовенства не сопровождал его.



ПИСЬМА  
ИЗ  
ШВЕЙЦАРИИ







Когда несколько лет тому назад нам передавали копии нижеследующих писем, нас уверяли, что они найдены в бумагах Вертера, и утверждали, что он еще до знакомства своего с Лоттой побывал в Швейцарии. Оригиналов мы никогда не видели, да, впрочем, мы ни в какой степени и не хотим превосхищать чувства и суждения читателя: ибо как бы там ни было, но он не сможет остаться безучастным, пробежав эти немногие листы.



## ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Как тошно мне от моих описаний, когда я их перечитываю! Только твой совет, твой призыв, твой приказ могут меня на то подвигнуть. Да и сам я прочитал столько описаний этих предметов, прежде чем их увидел. Но разве дали они мне образ или какое-нибудь понятие? Напрасно трудилось мое воображение, пытаюсь создать их, напрасно мой дух старался что-либо при этом помыслить. Вот я стою и созерцаю эти чудеса, и что же со мной? Я не мыслю ничего, и так хочется при этом что-либо помыслить или почувствовать. Это прекрасное настоящее волнует меня до самой глубины, побуждает меня к деятельности, но что могу я делать, что делаю я? И вот я сажусь, и пишу, и описываю. Так в добрый час, вы, описанья! Обманывайте моего друга, заставьте его поверить, что я делаю что-то, а он что-то видит и читает.

Как? Швейцарцы свободны? Свободны эти зажиточные граждане в запертых городах? Свободны эти жалкие бедняги, ютящиеся по отвесам и скалам? На чем только человека не проведешь! Особенно на такой старой, заспиртованной басне. Они однажды освободились от тирании и на мгновение могли возомнить себя свободными, но вот солнышко создало им из падали поработителя путем странного перерождения целый рой маленьких тиранов; а они все рассказывают старую басню, и до изнеможения слушаешь все одно и то же: они, мол,

некогда отвоевали себе свободу и остались свободными. Вот они сидят за своими стенами, плененные собственными привычками и законами, собственными кумушкиными сплетнями и пошлостями, да и там, наруже, на скалах, тоже стоит поговорить о свободе, когда полгода, как сурок, сидишь закопанный в снегу.

Фу, что за вид у эдакого создания рук человеческих, у эдакого жалкого, вскормленного и придавленного нуждой создания рук человеческих, у эдакого черного городишка, у эдакой кучки из дранки и камней в окружении великой и прекрасной природы! Большие куски кремня и других камней на крышах, — только бы буря не снесла унылую кровлю у них над головой и всю эту грязь, весь этот навоз! И удивленных безумцев! — Где только не встречаешься с людьми, хочется тотчас же бежать от них, от их унылых созданий.

В том, мой друг, что в человеке столько духовных задатков, которые в жизни не могут развиваться, которые указуют на лучшее будущее, на гармоническое существование, — в этом мы с тобой согласны, но и от другой моей фантазии я тоже не могу отказаться, хотя ты и не раз уже объявлял меня мечтателем. Мы ощущаем в себе также и смутное предчувствие телесных задатков, от развития которых мы в этой жизни должны отказаться: так, я уверен, обстоит дело с полетом. Как и прежде уже облака манили меня уйти с ними в чужие страны, когда они высоко проплывали над моей головой, так и теперь я часто нахожусь в опасности, что они меня возьмут с собой, проходя мимо меня, когда я стою на верхушке скалы. Какую я ощущаю в себе жажду броситься в бесконечное воздушное пространство, парить над страшными пропастями и снижаться на неприступную скалу. С каким вожделением я все глубже и глубже вдыхаю, когда орел в темной, синей глубине подо мною парит над скалами и лесами, когда он в обществе самки в нежном согласии чертит большие круги вокруг той вершины, которой он доверил свое гнездо и своих птенцов. Неужто я обречен всего лишь взползть на высоты, лепиться к высочайшей скале, как к самой плоской низменности, и, с трудом достигнув своей цели, боязливо цепляться, содрогаясь перед возвращением и трепеща перед паденьем?

С какими все-таки странными особенностями рождаемся мы на свет! Какое неопределенное стремление действует в нас! Как своеобразно противоборство воображения и телесных настроений! Странности моей ранней молодости возникают вновь. Когда я иду по длинной дороге куда глаза глядят и размахиваю рукой, я иногда вдруг хватаю что-то, как будто дротик, я мечу его — не знаю в кого, не знаю во что; а потом вдруг навстречу мне летит стрела и пронзает мне сердце; я ударяю рукой в грудь и ощущаю неизъяснимую сладость, и вскоре — я снова в своем естественном состоянии. Откуда это явление? Что означает оно и почему оно повторяется всегда с совершенно теми же образами, теми же телодвижениями, теми же ощущениями?

Опять говорят мне, что люди, которые видели меня в пути, очень мало мною довольны. Охотно этому верю, ибо никто из них ничем и не содействовал моему довольству. Откуда я знаю, в чем тут дело! Почему общество меня гнетет, почему мне неловко от вежливости, почему то, что они мне говорят, меня не интересует, а то, что они мне показывают, мне либо безразлично, либо действует на меня совершенно иначе. Стоит мне увидеть нарисованный или написанный ландшафт, как во мне возникает беспокойство, которое не выразишь. Пальцы ног начинают вздрагивать в башмаке, как бы стремясь схватить землю, пальцы рук судорожно шевелятся, я кусаю губы и — приятно то или нет — стараюсь бежать от общества, я бросаюсь на самое неудобное сиденье, но лицом к лицу перед великолепной природой, я пытаюсь схватить ее глазами, пронзить ее и, лицедея ее, заполняю каракулями листочек, который ничего не изображает и все же остается для меня бесконечно ценным, потому что напоминает мне о счастливом миге, о его блаженстве, добытом этими неумелыми упражнениями. Что же это такое, это своеобразное стремление от искусства к природе и обратно — от природы к искусству? Если это указывает на художника, почему мне не хватает упорства? Если же это меня зовет к наслаждению, почему я не могу его ухватить? Нам как-то на днях прислали корзину с плодами; я был восхищен, как небесным виденьем: такое богатство, такая полнота, такое многообразие и вместе родственность! Я не мог себя заставить сорвать ягоду, надломить персик или фигу. Конечно, такое наслаждение глаза и внутреннего чувства выше, достойнее человека, оно, быть мо-

жет, — цель природы, в то время как алчущие и жаждущие люди мнят, что природа расточает себя в чудесах ради их пёба. Фердинанд вошел и застал меня за моими размышлениями, он со мною согласился и сказал затем, улыбаясь и глубоко вздохнув: «Да, мы не достойны разрушать эти чудесные произведения природы, поистине — это было бы жаль! Позволь мне послать их моей возлюбленной». Как приятно мне было, когда уносили корзину! Как любил я Фердинанда! Как благодарен я был ему за то чувство, которое он возбудил во мне, за те возможности, которые он открыл передо мной! Да, мы должны знать прекрасное, мы должны с восхищением его созерцать и стараться возвыситься до него, до его природы; и, чтобы достигнуть этого, мы должны оставаться бескорыстными, мы не должны присваивать себе его, — нет, лучше делиться им, приносить его в жертву тем, кто нам мил и дорог.

Чего только не мудрят с нами смолоду наши воспитатели! Мы должны отделаться то от одного недостатка, то от другого, а между тем каждый из этих недостатков почти всегда — один из многих органов, при помощи которых человек пробивает себе дорогу через жизнь. Чем только не донимают мальчика, в котором разглядели хотя бы искорку тщеславия! Но что за жалкое создание человек, отделавшийся от всякого тщеславия! Я сейчас скажу тебе, как я дошел до этого заключения: третьего дня к нам присоединился молодой человек, который мне и Фердинанду был до чрезвычайности противен. Его слабые стороны были настолько выпячены наружу, пустота его была настолько очевидна, его забота о внешности настолько бросалась в глаза, мы сами считали его настолько ниже себя, и — всюду его принимали лучше, чем нас. В довершение своих глупостей, он носил красный атласный жилет, который около шеи был скроен так, что имел вид орденской ленты. Мы не могли скрыть своих насмешек над этой нелепостью. Он все сносил терпеливо, выгадывая на этом все, что мог, и, вероятно, про себя над нами издевался. Ибо хозяин и хозяйка, кучер, слуга и горничные, даже некоторые из приезжих, обманутые внешним блеском, попадались на удочку, обращались с ним вежливей, чем с нами, ему подавали первому, и мы видели, что, к величайшему нашему унижению, все девицы в доме больше всего заглядывались на него. В конце концов нам пришлось поровну расплачиваться по счету, разросшемся благодаря его аристократическим замашкам. Кто же из нас остался в дураках? Уж конечно, не он!

Есть что-то прекрасное и душеспасительное в аллегориях и приветственных изречениях, которые попадают на здешних печках. Вот тебе рисунок одной из этих назидательных картинок, который мне особенно пришелся по душе. Лошадь, задней ногой привязанная к столбу, пасется около него, насколько это ей позволяет веревка. Внизу подписано: «Дозволь мне принять свою смиренную долю пропитанья». Таков, пожалуй, скоро буду и я, когда вернусь домой, и, подобно лошади на мельнице, буду, следуя высшей воле, исполнять свой долг и взамен, подобно лошади на этой печке, получать строго отмеренное содержание. Да, я вернусь, но то, что меня ожидает, стоило того, чтобы взбираться на эти горные кручи, чтобы бродить по этим долинам, чтобы видеть это синее небо, видеть, что существует природа, которая зиждется на вечной, немой необходимости, которая ни в чем не нуждается, которая бесчувственна и божественна, в то время как мы в местечках и городах должны бороться за свои жалкие нужды, и вместе с тем все подчиняем смутному произволу, именуемому нами свободой.

Да, я взобрался на Фурку, на Готтард! Эти возвышенные, несравненные картины природы будут всегда стоять перед моим духовным взором. Да, я читал римскую историю, чтобы при сравнении живей почувствовать, какой я жалкий заморыш.

Никогда еще не было для меня так ясно, как за последние дни, что я и в ограничениях мог бы быть счастливым, столь же счастливым, как и всякий другой, если бы я только знал какое-нибудь живое дело, но не остающееся на завтрашний день, требующее в момент его исполнения прилежания и точности, но не предусмотрительности и осторожности. Каждый ремесленник кажется мне самым счастливым человеком; то, что он должен делать,— назначено, то, что он может сделать,— решено заранее; он никогда не размышляет над тем, что от него требуют, он работает, не думая, без напряжения и спешки, но с прилежанием и любовью, как птица над гнездом, как пчела над сотами; он только на одну ступень выше животного и вместе с тем — цельный человек. Как я завидую гончару за его кругом, столяру за его станком!

Мне не нравится земледелие, это первое и необходимое занятие человека мне противно; человек обезьянничает с природы, которая разбрасывает свои семена всюду, а тут он хочет производить именно на этом особом поле именно этот особый плод. Не тут-то было: сорная трава растет без удержу, холод и сырость вредят посевам и град уничтожает их. Бедный земледелец ждет целый год, гадая, какие ему за облаками выпадут карты, выиграет ли он по своим ставкам или проиграет. Такое неверное, двусмысленное состояние, вероятно, вполне соответствует природе человека, свойственно нам, не знающим, в своей тупости и глухоте, ни откуда мы, ни куда мы идем. Поэтому мы, вероятно, и миримся с тем, что вверяем случаю свои старания, — ведь имеет же пастор повод, когда дела совсем плохи, поминать своих богов и связывать грехи своего прихода с природными явлениями.

Итак, мне не в чем больше упрекать Фердинанда! И я дождался милого приключения. Приключения? Зачем употребляю я это глупое слово? Разве это приключение, когда нежная тяга влечет человека к человеку? Наша повседневная жизнь, наши ложные отношения — вот это приключения, вот это чудовищные злоключения, и все-таки они нам кажутся такими же знакомыми, такими же родственными, как дядюшки и тетушки.

Мы были приняты в дом господина Тюду и чувствовали себя в этой семье очень счастливыми: богатые, открытые, добрые, живые люди, которые вместе со своими детьми беззаботно и пристойно наслаждались счастьем дня, своим достатком и чудесным местоположением. Нам, молодым людям, не пришлось ради старших пожертвовать собою за игорным столом, как это случается в стольких чопорных домах. Напротив, старшие, отец, мать и тетушки, присоединились к нам, в то время как мы предлагали маленькие игры, в которых переплетаются случай, находчивость и остроумие. Элеора (уж, так и быть, приходится мне ее назвать), вторая дочь, — образ ее вечно будет передо мной, — стройное, нежное сложение, чистота ее облика, светлый взор, бледность, которая в деушках этого возраста скорее привлекает, чем отталкивает, ибо она указывает на излечимый недуг, в целом — невыразимо милое существо. Она оказалась веселой и живой, и с нею было так хорошо. Вскоре, — нет, я не ошибусь, если скажу тотчас, — тотчас, в первый же вечер она при-



близилась ко мне, села со мной рядом, и когда нас разлучала игра, все же находила способ оказаться со мной вместе. Я был весел и беспечен: путешествие, прекрасная погода, местность — все пастроило меня на безусловное, я бы даже сказал, повышенное веселье; я воспринимал его от каждого и каждого им заражал. Даже Фердинанд, казалось, на миг забыл о своей красавице. Мы уже исчерпали себя во всевозможных играх, пока наконец не дошли до «свадьбы», которая как игра в достаточной степени забавна. Записки с именами мужчин и женщин бросают в две шляпы и таким образом заключают браки, попарно вытягивая записки. На каждую пару кто-нибудь из присутствующих по очереди сочиняет стихотворение. Все присутствующие: отец, мать и тетушки — должны были отправиться в шляпы, за ними все значительные лица, знакомые нам в их кругу, а также, дабы увеличить число кандидатов, мы туда же набросали самых знаменитых представителей политического и литературного мира. Игра началась, и тотчас же было извлечено несколько значительных пар. Со стихами попевали не все. Она, Фердинанд, я и одна из тетушек, которая пишет очень милые французские стихи, вскоре поделили между собой весь секретариат. Остроты были по большей части хороши и стихи спосны; в особенности ее стихи обладали естественностью, которая отличала их от всех других удачными оборотами, без особого, однако, остроумия, шутливостью без издевательства и с добрым отношением к каждому. Отец смеялся от души и сиял от радости, когда приходилось признать, что стихи его дочери можно поставить вровень с нашими. Наше безмерное одобрение приводило его в восторг, мы же хвалили так, как восхищаются неожиданным, как восхищаются в тех случаях, когда мы подкуплены автором. Наконец выпал и мой жребий, и небо почтило меня высокой честью: это была не кто иная, как русская императрица, которую мне вытянули в качестве подруги жизни. Все смеялись от души, и Элеонора заявила, что для столь высокого сожительства все общество должно постараться. Старались все. Несколько перьев были уже изгрызены. Она кончила первой, но захотела читать последней. У матери и одной из тетушек не вышло ничего, и хотя отец написал несколько бесцеремонно, Фердинанд не без ехидства, а тетушка очень сдержанно, можно было сквозь все это уловить их дружеское и доброжелательное ко мне отношение. Наконец пришла ее очередь. Она глубоко затаила дыхание, беззаботность и непринужденность сразу ее покину-

ли, она не прочитала, а только прошептала написанное и положила листок передо мной к остальным. Я был удивлен, испуган: так раскрывается цветок любви в своей величайшей красе и скромности! У меня было на душе так, словно целая весна вдруг осыпала меня своими цветами. Все замолчали. Фердинанд не потерял присутствия духа, он воскликнул: «Прекрасно! Он так же не заслужил этого стихотворения, как и императорской короны». — «Если бы мы только его поняли», — сказал отец. Потребовал, чтобы я его прочитал еще раз. Взоры мои все время покоились на драгоценных словах, меня охватил трепет с головы до ног. Фердинанд заметил мое замешательство, взял у меня лист и прочитал. Едва он успел кончить, как она уже вытянула следующий жребий. Игра продолжалась недолго, и нас позвали к столу.

Говорить или не говорить? Хорошо ли скрывать что-либо от тебя, которому я столько говорю, которому я все говорю? Могу ли я скрыть от тебя нечто значительное, в то время как занимаю тебя столькими мелочами, которые, конечно, никому неохота читать, кроме тебя, питающего ко мне столь великое и удивительное пристрастие; или же мне все-таки об этом умолчать потому, что это могло бы дать тебе ложное, дурное обо мне представление? Нет! Ты знаешь меня лучше, чем я сам, ты сумеешь правильно оценить и то, чего ты от меня и не ожидаешь, даже если бы я мог это совершить, ты меня не пощадишь, если я заслуживаю порицания, ты меня поведешь и направишь, если мои страхи отвлекут меня от пути истинного.

Моя радость, мой восторг перед произведениями искусства, когда они правдивы, когда они — непосредственные одухотворенные глаголы самой природы, доставляют огромное удовольствие каждому собирателю, каждому любителю. Те же, что называют себя знатоками, не всегда разделяют мое мнение; но ведь мне-то нет дела до их знаний, когда я счастлив. Разве живая природа со всей своей живостью не впечатлевается в нашем глазу, разве картины ее не закреплены в прочных образах перед моим взором, разве образы эти не становятся краше, разве они не ликуют, когда встречаются с образами искусства, украшенными человеческим духом? На этом, признаюсь тебе, зиждется до сей поры моя любовь к природе, моя склонность к искусству, почему я и видел в природе столько красоты, столько блеска и столько очарования, по-

чему и попытки художника с ней сравняться, самые несовершенные попытки, увлекали меня почти с такой силой, как и совершенство самого прообраза. Одухотворенные, прочувствованные произведения искусства — вот что меня восхищает. Зато для меня совершенно невыносимы те холодные существа, которые замыкаются в ограниченный круг определенной, скудной манеры и робкой кропотливости. Ты видишь, таким образом, что моя радость, мое расположение могли до сей поры относиться лишь к таким произведениям искусства, природные образцы которых мне были знакомы и которые я мог сравнить с собственным моим опытом. Деревенские виды со всем тем, что их оживляет, цветы и плоды, готические церкви, портрет, непосредственно схваченный с природы, — все это мог я познавать, чувствовать и, если хочешь, обо всем этом мог до известной степени судить. Честный М. радовался душевному моему складу и подшучивал надо мной, нисколько меня этим не задевая. Ведь кругозор его в этой области настолько шире моего, да и я охотнее слышу поучительную насмешку, чем бесплодную похвалу. Он заметил себе то, что прежде всего мне бросалось в глаза, и, после того как мы ближе с ним познакомились, уже не скрывал от меня, что в восхищавших меня предметах, может быть, заложено немало ценного, которое мне откроется лишь со временем. Пусть это так, и куда бы в сторону еще ни увлекало меня мое перо, я все же должен перейти к тому делу, которое я хотя и неохотно, но хочу тебе доверить. Смогут ли твои мысли последовать за мной в этот привольный и пестрый мир? Будут ли все отношения и обстоятельства достаточно ясны твоему воображению? И будешь ли ты столь же снисходительным к отсутствующему другу, каким ты бывал в моем присутствии?

После того как мой друг по искусству узнал меня ближе, после того как он счел меня достойным постепенно знакомиться все с лучшими и лучшими произведениями, он притащил, с достаточно таинственным видом, ящик, который, когда его открыли, обнаружил написанную во весь рост Даная, принимающую золотой дождь в свое лоно. Я был поражен роскошным телосложением, красотой расположения и позы, величественной нежностью и одухотворенностью столь чувственного предмета, и все же я только созерцал. Все это не возбуждало во мне восторга, радости, невыразимого блаженства. Мой друг, который перечислял мне целый ряд достоинств этой картины, из-за собственного восторга не замечал моей холодности и радовался случаю разъяснить мне преимущества

картины. Вид ее меня не осчастливил, он меня обеспокоил. «В чем же тут дело? — говорил я сам себе. — В каком же особом положении находимся мы, люди, ограниченные своей будничной жизнью?» Мшистая скала, водопад надолго приковывают мой взор, я знаю их наизусть; впадины и выпуклости, свет и тень, цвет, полутона и рефлексy — все предстает моему духовному оку, и лишь только я этого пожелаю, все снова столь же живо возникает передо мною благодаря счастливой способности воспроизведения. Но здесь, перед величайшим созданием природы, — перед человеческим телом, созерцая связь и согласованность его сложения, я получаю только самое общее понятие, которое, в сущности, и непонятно. Мое воображение не может представить себе это чудное строение с достаточной ясностью, а когда оно мне явлено в искусстве, я не в силах ни что-либо при этом почувствовать, ни судить об этой картине. Нет! Я не хочу дольше пребывать в тупом состоянии, я хочу запечатлеть в себе образ человека так, как во мне запечатлены образы виноградных гроздей и персиков.

Я заставил Фердинанда выкупаться в озере. Как чудесно сложен мой друг! Какая равномерность всех частей! Какая полнота формы, какой юношеский блеск! Сколько пользы получил я от того, что обогатил свое воображение этим совершенным образом человеческой природы! Отныне я буду населять леса, луга и горы столь же прекрасными образами; его я вижу в образе Адониса, преследующего вепря, его же — в образе Нарцисса, любующегося своим отражением в ручье.

Однако мне еще недостает Венеры, его удерживающей, Венеры, оплакивающей его смерть, прекрасной Эхо, бросающей, прежде чем исчезнуть, последний взгляд на похолодевшего юношу. Я твердо решил, чего бы это мне ни стоило, увидеть девушку в природном состоянии, так же, как я увидел своего друга. Мы приехали в Женеву. «Неужели, — думал я, — нет в этом большом городе девушек, которые за известную цену отдаются мужчине! И неужели не найдется среди них ни одной, которая обладала бы достаточной красотой и готовностью, чтобы доставить праздник моим глазам?» Я стал нащупывать почву, заговорив с наемным слугой, который, однако, лишь медленно и осмотрительно шел мне навстречу. Конечно, я ему не выдал своего намерения; пускай он думает обо мне что хочет, — ведь приятнее же показаться кому-нибудь порочным, чем смешным. Он повел меня вечером к старой женщине. Она приняла меня с большой осторожностью и сомнениями: всюду, говорила она, в особенности же

в Женеве, опасно оказывать услуги молодежи. Я тотчас же объяснил ей, какого рода услугу я от нее требую. Я удачно сочинил целую историю, и мы как ни в чем не бывало разговаривали. Я, мол, художник, рисовал ландшафты, которые я отныне хочу возвысить до ландшафтов героических фигурами прекрасных нимф. Я говорил ей удивительнейшие вещи, которых ей, вероятно, ввек не приходилось слышать. Она на это качала головой и уверяла: трудно мне, дескать, угодить. Честная девушка нелегко на это согласится, это мне обойдется недешево, ну, там видно будет. «Как,— воскликнул я,— честная девушка отдается за сходную цену чужому мужчине?» — «Еще бы!» — «И не хочет явиться обнаженной перед моими глазами?» — «Отнюдь! На это требуется большая решимость». — «Даже если она прекрасна?» — «Даже тогда. Одним словом, посмотрю, что я смогу для вас сделать. Вы — скромный, хорошенький молодой человек, для которого стоит постараться».

Она потрепала меня по плечу и по щекам: «Да,— воскликнула она,— художник! Видно, так и есть, ибо вы недостаточно стары и знатны, чтобы нуждаться в такого рода сценах». Она назначила мне прийти на следующий день, и мы на этом расстались.

Я не могу не пойти сегодня с Фердинандом в одно большое общество, а вечером меня ожидает мое приключение. Какой же это будет контраст! Я заранее знаю это проклятое общество, где старые женщины требуют, чтобы с ними играли, молодые, чтобы с ними любезничали, где сверх того нужно выслушивать ученого, оказывать почтение духовной особе, уступать место дворянину, где столько свечей, и дай бог, чтобы они освещали хотя бы одну сносную фигуру, которая к тому же спрятана за варварским нарядом. Неужели мне придется говорить по-французски, на чужом языке? А это всегда, как ни вертись, значит быть смешным, потому что на чужом языке можно выражать только пошлости, только грубые оттенки и к тому же запинаясь и заикаясь. Ибо чем отличается дурак от остроумного человека, как не тем, что последний умеет быстро, живо и самобытно подхватить все, что есть неуловимого, нежного и вместе с тем уместного в настоящем мгновении, и умеет это выражать с легкостью, в то время как первый, совершенно так же, как мы это делаем, говоря на иностранном языке, принужден всякий раз довольствоваться-

ся общепринятыми, стереотипными оборотами. Сегодня я в течение нескольких часов спокойно буду выносить все дешевые остроты в предвидении той необычной сцены, которая меня ожидает.

Приключение мое сейчас уже позади, оно удалось всецело согласно моим желаниям, свыше моих желаний, и все-таки я не знаю, радоваться ли мне этому или себя за это порицать. Разве мы не созданы для чистого созерцания красоты, для того, чтобы бескорыстно творить добро? Не бойся ничего и выслушай меня. Мне не в чем себя упрекать; то, что я видел, не вывело меня из равновесия, но мое воображение распалено, моя кровь горит. О, если бы только я уже стоял перед ледяными громадами, чтобы снова остыть! Я украдкой бежал из общества и, завернувшись в плащ, не без волнения прокрался к старухе. «Где же ваша папка?» — воскликнула она. — «Я на этот раз ее не захватил. Я собираюсь нынче штудировать одними глазами». — «Вам, верно, хорошо платят за ваши работы, раз вы можете позволить себе такие дорогие этюды. Сегодня вы дешево не отделаетесь. Девушка требует, а мне за мои старания вы уж меньше не дадите. (Ты простишь мне, если я умалчиваю о цене.) Зато и услуги получите вы такие, какие вы только можете пожелать. Надеюсь, вы похвалите меня за мои заботы: такого пиршества для глаз вам еще отведывать не приходилось, а... прикосновения — даром».

Тут она меня ввела в маленькую очень мило меблированную комнату; пол был покрыт чистым ковром, в каком-то подобии ниши стояла очень опрятная кровать, в головах ее — туалет с большим зеркалом, а в ногах — тумбочка с канделябром, в котором горели три прекрасных, светлых свечи. И на туалете горели две свечи. Потухший камин успел прогреть всю комнату. Старуха предложила мне кресло у камина против кровати и удалилась. Прошло немного времени, и из противоположной двери вышла большая, чудесно сложенная, красивая женщина. Одежда ее ничем не отличалась от обычной. Она как будто меня не замечала, сбросила черный капот и села за туалет. Она сняла с головы большой чепец, закрывавший ей лицо; обнаружили прекрасные, правильные черты, темно-русые густые волосы рассыпались по плечам большими волнами. Она начала раздеваться. Что за диковинное ощущение, когда спали одна одежда за другой, и природа, освобожденная от чуждых покровов, явилась мне как

чужая и произвела на меня почти что, я бы сказал, жуткое впечатление! Ах, мой друг, не так ли обстоит дело с нашими мнениями, нашими предрассудками, обычаями, законами и прихотями? Разве мы не пугаемся, когда лишаемся чего-либо из этого чуждого, ненужного, ложного окружения и когда та или иная часть нашей истинной природы должна предстать обнаженной? Мы содрогаемся, нам стыдно, а между тем мы не чувствуем ни малейшего отвращения перед тем, чтобы самыми странными и нелепыми способами самих себя искажать, подчиняясь внешнему насилию. Признаться ли тебе? Но я точно так же растерялся при виде этого чудесного тела, когда спали последние покровы, как, может быть, растерялся бы наш друг Л., если бы он по велению свыше сделался предводителем моговков. Что мы видим в женщинах? Какие женщины нам нравятся и как путаем мы все понятия! Маленькая туфелька нам нравится, и мы уже кричим: «Что за прелестная ножка!» Мы заметили в узком корсаже нечто элегантное, и мы уже расхваливаем прекрасную талию.

Я описываю тебе свои размышления потому, что словами не могу описать тебе всю последовательность очаровательных картин, которыми прекрасная девушка так прилично и так мило дала мне налюбоваться. Как естественно каждое движение следовало за другим, и все же какими продуманными они мне казались! Она была прелестна, пока раздевалась, она была прекрасна, изумительно прекрасна, когда упала последняя одежда. Она стояла так, как Минерва могла стоять перед Парисом, она скромно взошла на свое ложе, обнаженная, она пыталась предаться сну в разных положениях, наконец она как будто задремала. Некоторое время она оставалась в очаровательном положении, я мог только дивиться и любоваться. Наконец ее как будто стал тревожить страстный сон, она глубоко вздыхала, порывисто меняла положения, лепетала имя возлюбленного и как будто простирала к нему свои руки. «Приди!» — воскликнула она наконец внятным голосом. — Приди, мой друг, в мои объятия, или я на самом деле засну». Тут она схватила шелковое стеганое одеяло, натянула его на себя, и из-под него выглянуло милейшее личико.



**РАЗГОВОРЫ  
НЕМЕЦКИХ  
БЕЖЕНЦЕВ**







В те злосчастные дни, что имели столь печальные последствия для Германии, для Европы, да и всего остального мира,— когда в наше отечество сквозь оплошно оставленный зазор вторглась французская армия,— некое знатное семейство покинуло свои владения в пограничной области и переправилось на другой берег Рейна, дабы спастись от притеснений, грозивших всем именитым людям, коим вменялось в преступление, что они благодарно чтут память предков и пользуются благами, каковые каждый заботливый отец хочет предоставить своим детям и внукам.

Баронесса фон Ц., вдова средних лет, показала себя и теперь, во время бегства, к утешению ее детей, родных и близких, столь же решительной и деятельной, какой ее всегда знали дома. Многосторонне образованная и умудренная превратностями судьбы, она слыла примерной матерью семейства, и для ее подвижного ума всякое занятие было в отраду. Она стремилась быть полезной многим и благодаря обширному знакомству располагала такою возможностью. Теперь баронессе неожиданно пришлось стать предводительницей небольшого каравана, но она сумела справиться и с этой ролью,— заботилась о своих спутниках и старалась поддержать в них ту искру веселья, что нет-нет да и вспыхивает даже среди всех тревог и лишений. И в самом деле: хорошее настроение было не редкостью у наших беженцев, ибо неожиданные происшествия, непривычная обстановка давали их стесненным душам немало пищи для шуток и смеха.

При поспешном бегстве в поведении каждого замечалась своя особенность. Один поддался ложному страху, преждевременным опасениям, другой суетился по-пустому, и все случаи, когда кто-то оказался не в меру прыток, а кто излишне мешкотен, любое проявление слабости — будь то вялость или торопливость — давало впоследствии повод для взаимных издевок и насмешек, отчего печальное путешествие часто протекало веселее, чем в былые времена иные намеренно увеселительные прогулки.

Ибо подобно тому, как на представлении комедии мы, бывает, подолгу серьезно глядим на сцену, не смеясь нарочито веселым трюкам, и, напротив того, сразу же раздражаемся хохотом, когда в трагедии происходит нечто неподобающее, так в действительной жизни несчастье, выводящее людей из равновесия, обычно сопровождается комичными подробностями, которые вызывают смех нередко тут же, на месте, и уж непременно потом.

Особенно доставалось Луизе, старшей дочери баронессы, — живой, вспыльчивой и, в хорошее время, властной девице, утверждали, будто она при первых же признаках опасности совсем потеряла голову и в рассеянности, витая мыслями где-то далеко, принялась упаковывать наименее полезные вещи и будто бы даже приняла старого слугу за своего жениха.

Она защищалась, как могла, и не желала лишь терпеть никаких шуток, задевавших ее возлюбленного: ей и без того немало страданий причиняла мысль, что в армии союзников он каждодневно подвергается опасности и что заключение столь желанного брака из-за всеобщего неурействия свершится не так скоро, а быть может, и никогда.

Ее старший брат Фридрих, решительный молодой человек, последовательно и точно исполнял все, что предписывала мать; он сопровождал поезд верхом и был одновременно курьером, каретником и проводником. Учитель младшего, подающего надежды сына, весьма образованный человек, составлял общество баронессе в карете; кузен Карл вместе со старым священником, давним другом семьи, без которого она уже не могла обходиться, и с двумя родственницами — одной постарше, другой помоложе, ехал в следующем экипаже. Горничные и камердинеры следовали сзади в колясках; замыкали поезд несколько тяжело груженных возов, не раз отстававших в пути.

Нетрудно себе представить, что и все-то путешественники неохотно покинули свой кров, а уж кузен Карл уезжал

с того берега Рейна с особенным неудовольствием; но не потому, что оставлял там возлюбленную, хотя это легче всего было бы предположить по его молодости, приятной наружности и пылкому нраву; дело обстояло иначе: он дал увлечь себя ослепительной красавице, каковая под именем Свободы сперва тайно, а затем и явно снискала себе стольких поклонников; весьма дурно обошедшаяся с одними, она с тем большею горячностью почиталась другими.

Подобно тому как все любящие бывают ослеплены своею страстью, так же случилось и с кузенем Карлом. Положение в обществе, благополучие, сложившиеся отношения — все обращается в ничто, меж тем как возделенный предмет становится единственным, становится всем. Родители, близкие и друзья делаются для нас чужими, и мы почитаем своим то, что всецело занимает нас, делая чужим все остальное.

Кузен Карл со всем пылом предался своему увлечению и не скрывал его в разговорах. Он полагал, что тем свободнее может высказывать эти взгляды, что он дворянин и, хоть и второй сын в семье, со временем унаследует значительное состояние. Как раз те имения, что в будущем должны были отойти к Карлу, оказались теперь в руках врага, хозяйничавшего там не лучшим образом. Несмотря на это, Карл не мог питать вражду к нации, которая сулила миру столько благ и чей образ мыслей он оценивал по публичным речам и высказываниям отдельных ее представителей. Он нередко портил хорошее настроение всей компании, на какое она бывала еще способна, неумеренно восхваляя все, и доброе и злое, что происходило у французов, не скрывая удовлетворения их успехами, чем особенно выводил из себя остальных, ощущавших свои страдания еще болезненнее из-за злорадства их друга и родственника.

У Фридриха уже не раз происходила размолвка с Карлом, а в последнее время он и вовсе избегал с ним вступать в какие-либо разговоры. Баронессе искусным образом удавалось принуждать его к сдержанности, хотя бы только на время. Больше всех его донимала Луиза, так как она, пусть зачастую и несправедливо, брала под сомнение его ум и характер. Домашний учитель про себя признавал его правоту, священник про себя не признавал его правым, а горничные, которые находили его наружность обворожительной, а его щедрость достойной уважения, слушали его речи весьма охотно, ибо его убеждения, как они полагали, давали им право с чистой со-

вестью поднимать на него свои милые глазки, которые они до сего времени скромно опускали долу.

Потребности дня, дорожные злключения, неудобства ночлега обычно вынуждали путешественников заботиться лишь о насущных нуждах, но большое число немецких и французских беженцев, коих они встречали повсюду и чье поведение и судьба были весьма несхожи, невольно наводили их на размышления о том, сколь многое побуждает человека в такие времена вооружиться всеми своими добродетелями, особенно же добродетелью непредвзятости и терпимости.

Однажды баронесса заметила, что в такие моменты всеобщего бедствия и смятения яснее, чем когда-либо, можно увидеть, как невежественны люди во всех отношениях.

— Гражданское устройство,— говорила она,— напоминает корабль, который призван перевозить большое число людей, старых и малых, больных и здоровых, через гибельные воды, даже во время бури, но лишь в ту минуту, когда корабль терпит крушение, обнаруживается, кто умеет плавать; в таких обстоятельствах нередко идут ко дну и наилучшие пловцы. В большинстве случаев мы видим, как беженцы таскают с собой в своих скитаниях присущие им недостатки и дурацкие привычки, и этому изумляемся. Но подобно тому, как путешествующего англичанина во всех частях света неизменно сопровождает его чайник, так и остальной массе человечества повсюду сопутствуют гордые притязания, тщеславие, неумеренность, нетерпение, себялюбие, кривизна суждений, желание коварно учинить подвох своему ближнему. Человек легкомысленный радуется бегству, словно увеселительной прогулке, избалованный требует, чтобы и в этом нищенском его состоянии все было к его услугам. Сколь редко доводится нам встретить воплощение чистой добродетели в человеке, который воистину стремится жить и жертвовать собою для других.

Покамест делались те или иные знакомства, дававшие повод для подобных размышлений, миновала зима. Счастье снова вернулось к немецкому оружию, французов снова оттеснили на другой берег Рейна. Франкфурт был освобожден, а Майнц взят в кольцо.

В надежде на дальнейшие успехи победоносного оружия и желая вновь вступить во владение частью своей собственности, означенное семейство отправилось в принадлежавшее ему и весьма живописно расположенное имение на правом берегу Рейна.

Как же воспряли они духом, вновь увидев под своими окнами воды могучей реки, как рады были вновь заглянуть во все уголки милого дома, как тепло приветствовали старых знакомцев — мебель, картины и всевозможную утварь; как дорога была им каждая мелочь — все, что они считали уже потерянным, и как окрепли их надежды, найти в один прекрасный день все в прежнем виде и по ту сторону Рейна.

Но лишь только в окрестности разнеслась весть о прибытии баронессы, как все ее знакомые, друзья и слуги поспешили к ней, дабы поделиться с нею пережитым, поведать о событиях последних месяцев, а заодно испросить совета и помощи в разных делах.

Теснимая всеми этими гостями, баронесса была приятнейшим образом удивлена, когда к ней пожаловал с семейством тайный советник фон С., человек, для которого деятельность с юных лет стала насущной потребностью; человек, облеченный доверием своего государя и заслуженно им пользовавшийся. Он твердо придерживался определенных принципов и обо многих вещах имел собственное суждение. Неукоснительно точный в речах и поступках, он требовал такой же точности от других. Последовательное поведение представлялось ему наивысшей добродетелью.

Его государь, его страна, да и он сам немало пострадали от нашествия французов; он на себе испытал произвол нации, беспрестанно взывавшей к закону, и деспотические замашки тех, кто без конца разглагольствовал о свободе. Он убедился, что и в этом случае толпа оставалась верна себе, восторженно принимая слово за дело, видимость обладания за самое обладание. Последствия проигранной кампании, равно как и последствия распространившихся взглядов и убеждений, не укрылись от его пронизательного взора, хотя нельзя отрицать и того, что многое он видел глазами ипохондрика и о многом судил предвзято.

Его жена, подруга детских лет баронессы, после стольких невзгод обрела в объятиях приятельницы покой и отдохновение. Они вместе росли, вместе воспитывались, — у них не было тайн друг от друга. Первые девические увлечения, треволнения супружеской жизни: радости, заботы и горести материнства — все, все привыкли они поверять друг другу, будь то устно или в письмах; сношения между ними никогда не прерывались. Только сумятица последних месяцев помешала им по-прежнему обмениваться новостями. Тем живее протекали их нынешние беседы, тем больше хотелось им поведать

друг другу, между тем как дочери тайной советницы проводили время в обществе Луизы, находя его все более приятным для себя.

К несчастью, наслаждение чарующей природой тех мест нередко нарушалось грохотом пушек, доносившимся издалека то более, то менее явственно, в зависимости от направления ветра. Столь же неизбежными, как канонада, были, при множестве притекавших сюда новостей, разговоры о политике, сразу нарушавшие приятное настроение общества, ибо различные точки зрения и мнения высказывались их сторонниками с чрезвычайной горячностью. И подобно тому, как неумеренные люди не могут воздержаться от вина и тяжелой пищи, хотя и знают по опыту, что тотчас же поплатятся за это приступом дурноты, так и многие члены нашего общества не могли в этом случае себя обуздать, а поддавались neodолжимо побуждению причинить боль другим, тем самым, в конечном итоге, уговоря неприятные минуты и самим себе.

Легко себе представить, что тайный советник возглавлял партию, приверженную старой системе, а Карл выступал от имени противной, ожидавшей от предстоящих нововведений исцеления прежних нездоровых порядков.

Поначалу беседа велась еще с достаточной сдержанностью, особенно потому, что баронесса, тактично вступая в разговор, умела удерживать в равновесии обе стороны; однако с приближением критической поры, когда блокада Майнца грозила вот-вот перейти в осаду и люди все более тревожились о судьбе этого прекрасного города и остававшихся в нем жителей, все стали высказывать свои мнения с необузданным пылом. Чаще всего предметом общего разговора служили остававшиеся в Майнце клубисты, и каждый выражал надежду на их скорое наказание или освобождение — в зависимости от того, порицал или одобрял он их действия.

К числу первых принадлежал тайный советник, чьи доводы вконец рассердили Карла, когда тот решительно отказал этим людям в уме и обвинил их в полном незнании света и самих себя.

— В каком же ослеплении надобно пребывать, — воскликнул он однажды в послеобеденный час, когда беседа становилась все более оживленной, — чтобы вообразить, будто сия чудовищная нация, которая ныне среди величайшей смуты воюет против самой себя, нация, которая и в спокойные времена не способна ценить никого, кроме себя одной, соблаго-

волит бросить на них сочувственный взгляд! Их будут рассматривать как орудия, будут некоторое время ими пользоваться, а в конце концов выбросят за ненадобностью или же, в лучшем случае, — забудут об их существовании. О, как они заблуждаются, ежели полагают, будто французы когда-либо примут их в свою семью!

Тому, кто велик и могуществен, ничто не кажется столь смешным, как притязания малого и ничтожного, который в ослеплении безумия, в неведении самого себя, своих сил и своего положения тщится с ним равняться. И неужто вы полагаете, что великая нация, после того как она была взыскана таким счастьем в войне, станет менее гордой и надменной, нежели любой победивший монарх?

Ведь многие из тех, кто ныне разгуливает с шарфом муниципального чиновника, станут проклинать этот маскарад, когда с ними, навязавшими своим соотечественникам новые мерзкие порядки, подло обойдутся при этих новых порядках те, на кого они возлагали все свои надежды. Да, мне представляется весьма вероятным, что при сдаче города, каковая теперь уж недолго заставит себя ждать, подобных людей выдадут нашим или оставят на произвол судьбы. И пусть они получают по заслугам, пусть испытают все унижение, коего достойны, сколь беспристрастно я бы их ни судил.

— Беспристрастно! — воскликнул Карл. — Как хотелось бы мне никогда более не слышать этого слова! Ну можно ли так огульно осуждать этих людей? Правда, они не посвятили себя с юных лет тому, чтобы в рамках укоренившегося порядка приносить пользу себе и другим привилегированным лицам. Правда, они не занимали немногих пригодных для жилья комнат старого здания, где могли бы проводить свою жизнь в неге и холе; скорее они испытывали все неудобства заброшенной части вашего государственного дворца; испытывали с тем большей остротой, что принуждены были сами влачить там свои дни в бедности и утеснении; они не могли считать за благо то, к чему были приучены смолоду, подкупленные механической легкостью привычных занятий; правда, им приходилось лишь исподтишка наблюдать ограниченность, нерасторопность, неумение, небрежность, коими ваши государственные мужи все еще надеются снискать себе почет; правда, они лишь втайне могли мечтать о том, чтобы труд и наслаждение распределялись более равномерно! И кто же осмелится отрицать, что среди них найдется по меньшей мере десяток благомыслящих и дельных людей, которые хоть и не в силах до-



биться лучшего в настоящий момент, все же имеют счастье своим посредничеством смягчать зло и способствовать грядущему благу; и коль скоро там есть подобные люди, то как не пожалеть о них, когда близится миг, который, быть может, унесет с собой все их надежды!

Тайный советник в ответ на это не без горечи пошутил насчет молодых людей, склонных идеализировать тот или иной предмет; Карл же не пощадил тех, кто способен мыслить лишь по устаревшим шаблонам и, не задумываясь, отбрасывать все, что под них не подходит.

Каждый новый довод незамедлительно вызывал ответный, отчего спор постепенно разгорался, и обе стороны не преминули высказать все то, чему на протяжении последних лет суждено было расстроить не одну добрую компанию.

Тщетно баронесса пыталась установить если и не мир, то хотя бы перемирие; даже тайной советнице, которая благодаря своему обаянию обрела некоторую власть над душою Карла, не удалось на него воздействовать, тем менее, что ее супруг продолжал без промаха метать стрелы в неискушенное юношество и насмехаться над склонностью детей играть с огнем, с коим они не умеют управляться.

Карл, который во гневе себя не помнил, не удержался от признания, что он желает всяческого успеха французскому оружию и призывает каждого немца положить конец былому рабству; что он убежден — французская нация сумеет оценить благородных немцев, ставших на ее сторону; она будет смотреть на них и обращаться с ними, как с равными, и не только не принесет их в жертву и не бросит на произвол судьбы, а, напротив того, осыплет почестями, наградами и залогами своего доверия.

Тайный советник возразил на это: смешно думать, что французы хоть на миг — при капитуляции или сходных обстоятельствах — задумаются об их участи; скорее всего эти люди попадут в руки союзников, и он надеется увидеть их всех повешенными.

Этой угрозы Карл не вынес и вскричал: а он надеется на то, что гильотина и в Германии найдет себе обильную жатву и не минует ни одной преступной головы. К этому он прибавил несколько очень резких упреков, задевавших самого тайного советника и во всех смыслах для него оскорбительных.

— По-видимому, — сказал тайный советник, — мне придется покинуть общество, где перестали чтить все то, что прежде считалось достойным уважения. Мне горестно созна-

вать, что я изгнан вторично, и на сей раз — соотечественником, но я убедился, что от него меньше можно ждать пощады, нежели от самих французов; я вижу в этом подтверждение старой истины: лучше попасть в руки к туркам, чем к ренегатам.

С этими словами он встал и вышел из комнаты; его супруга последовала за ним; все молчали. Баронесса в немногих, но резких словах выразила свое неудовольствие; Карл мерял шагами залу. Тайная советница воротилась в слезах и сообщила, что ее супруг велел укладывать вещи и послал за лошадьми. Баронесса пошла к нему, надеясь его уговорить. Барышни тем временем плакали и целовались на прощанье, крайне опечаленные тем, что они вынуждены столь быстро и неожиданно расстаться.

Баронесса вернулась ни с чем. Стали понемногу собирать вещи, принадлежавшие гостям. Печальные минуты разлуки и прощания глубоко тронули всех. С последними картонами и ларцами, вынесенными из дома, всякая надежда пропала. Привели лошадей, и слезы полились рекой.

Карета отъехала, и баронесса поглядела ей вслед: в глазах ее стояли слезы. Она отошла от окна и села за пьяды. Все притихли, всем было не по себе. Особенное беспокойство выказывал Карл, — он сидел в углу, листая книгу, но то и дело бросал поверх книги взгляд на тетку. Наконец он встал, взял шпагу и как будто собрался уходить, однако, дойдя до дверей, повернул назад, подошел к пьядам и с благородной сдержанностью сказал:

— Я оскорбил вас, милая тетушка, и причинил вам огорчение; простите великодушно мою несдержанность. Я сознаю свою ошибку и глубоко в ней раскаиваюсь.

— Простить-то я тебя прошу и зла на тебя держать не стану, потому что человек ты добрый и благородный, но ты уже не в силах исправить то, что испортил. По твоей вине я вновь лишилась общества подруги, которую впервые увидела после долгой разлуки, — само несчастье свело нас вместе, и рядом с нею я порой забывала обо всех тех бедах, что нам пришлось и, быть может, придется еще претерпеть. Принужденная долгие годы скитаться вдали от дома, она едва успела немного отдохнуть в кругу любимых старых друзей, в покойной квартире, среди прелестной природы, и вот она снова должна идти в изгнание, а наше общество, таким образом, лишается интереснейшего собеседника в лице ее супруга, ибо, каковы бы ни были его чудачества, человек он прекрасный и

честный и к тому же — настоящий кладезь всевозможных знаний о людях и о жизни, о событиях и обстоятельствах, коими он умеет так ненавязчиво, так приятно и занимательно делиться с другими. Вот скольких удовольствий лишил ты нас своею горячностью; чем можешь ты возместить эту потерю?

Карл. Пощадите меня, дорогая тетушка, я и без того живо чувствую свою ошибку, не рисуйте мне столь отчетливо ее последствия.

Баронесса. Наоборот: чем отчетливее ты будешь их видеть, тем лучше для тебя. Здесь речь не о пощаде; суть в том, сумеешь ли ты справиться с собой. Ведь ты уже не в первый раз совершаешь подобную ошибку и, видимо, не в последний. О люди! Неужели бедствия, согнавшие вас под одну крышу, в одну тесную хижину, не научат вас наконец быть терпимыми друг к другу? Разве мало тех ужасных событий, что так неудержимо надвигаются на вас и ваших близких? Отчего не можете вы сделать над собою усилия и вести себя сдержанно и благоразумно с теми, кто, в сущности, ничего от вас не требует, ничего не отнимает? Неужели ваш нрав должен проявлять себя столь же слепо и неудержимо, столь же разрушительно, как события мировой истории, как грозы и другие стихийные бедствия?

Карл ничего не отвечал на это, а домашний учитель отошел от окна, у которого все время стоял, и, приблизившись к баронессе, сказал:

— Он исправится, этот случай должен послужить ему, да и всем нам, предостережением. Мы будем каждодневно проверять себя, держа перед глазами причиненную вам боль, и постараемся доказать, что умеем властвовать собой.

Баронесса. Как легко удается мужчинам себя утешить, особенно в этом пункте! Слово «власть» имеет для них такую приятность, а желание властвовать собой звучит так благородно. Они говорят об этом с величайшим удовольствием и хотят заставить нас поверить, будто и впрямь намерены этого добиться, но желала бы я хоть раз в своей жизни увидеть мужчину, способного владеть собой даже в самом пустячном деле!

Когда им что-либо безразлично, они прикидываются очень суровыми, словно им трудно без этого обойтись, а уж чего им страстно хочется, то они умеют представить себе и другим как нечто превосходное, необходимое, обязательное и неизбеж-

ное. Я не знаю ни одного из вас, кто был бы способен отказаться хотя бы от самой малости.

Учитель. Вы редко бываете несправедливы, и я еще никогда не видел вас во власти такой досады, такого негодования, как в эту минуту.

Баронесса. Уж мне-то этого негодования стыдиться нечего. Стоит мне только подумать о моей подруге, о том, как она едет в наемной карете по тряским дорогам, со слезами вспоминая о грубо нарушенном гостеприимстве,— и я готова всем сердцем вознегодовать на вас всех.

Учитель. Я и при более тяжких несчастиях не видел вас такой взволнованной и гневной, как сейчас.

Баронесса. Малое несчастье, когда оно следует за большими, переполняет чашу; да ведь и утрата подруги — несчастье отнюдь не малое.

Учитель. Успокойтесь и доверьтесь нам — мы непременно исправимся и сделаем все возможное, дабы угодить вам.

Баронесса. Ничуть не бывало: ни одному из вас уже не снискать моего доверия, но отныне я буду требовать от вас повиновения, у себя в доме я намерена приказывать.

— Да, требуйте, приказывайте нам! — вскричал Карл. — И впредь вам не придется жаловаться на наше непослушание.

— Ну, уж чрезмерно строга к вам я не буду, — с улыбкой возразила баронесса, взявши себя в руки, — мне не доставляет никакого удовольствия приказывать, в особенности таким свободомыслящим людям, как вы, но я хотела бы дать вам один совет и присовокупить к нему просьбу.

Учитель. И то и другое будет для нас законом.

Баронесса. Было бы глупо с моей стороны пытаться отвлечь в сторону тот интерес, что вызывают у каждого великие события, ныне совершающиеся в мире, события, жертвами коих, к несчастью, мы уже стали. Я не могу изменить взгляды, которые складываются у того или иного человека соответственно его образу мыслей и затем укореняются, развиваются, продолжая определять его поведение; столь же глупо и жестоко было бы требовать, чтобы он их не высказывал. Но одного я вправе ожидать от членов кружка, в котором живу, — что единомышленники будут держаться заодно и проводить время за приятной беседой, когда один говорит то, что другой уже подумал про себя. В своей комнате, на прогулке, в любом месте, где бы ни встретились эти люди, пусть они вволю изливают друг другу свои чувства, подхва-

тывают то или иное мнение, упиваются пылкостью своих убеждений. Но в обществе, дети мои, не забывайте о том, сколь многим, дорогим и сокровенным, приходилось нам жертвовать и прежде ради светских приличий, еще до того, как возникли споры об этих предметах, и что пока существует мир, каждому придется ради светских приличий держать себя в рамках, хотя бы внешне. Итак, не во имя добродетели, а во имя самой обычной вежливости призываю я вас оказывать мне и остальным ту учтивость, которую вы — не будет преувеличением сказать — с малолетства привыкли оказывать первому встречному.

— Вообще я не понимаю, — продолжала баронесса, — что с нами случилось? Куда исчезло вдруг наше светское воспитание? Как мы, бывало, остерегались в обществе затронуть тему, которая могла бы оказаться неприятна тому или другому из присутствующих!

Протестант перед лицом католика избегал насмеяться над церковным обрядом; самый ревностный католик в присутствии протестанта никогда бы не обмолвился о том, что старая религия дает более надежную гарантию вечного блаженства.

Никто не стал бы хвалиться своими детьми в присутствии матери, потерявшей сына, и всякий чувствовал себя сконфуженным, ежели у него ненароком вырывалось неосторожное слово. Каждый, кто находился поблизости, старался загладить промах, — а что делаем мы ныне? Разве не поступаем мы как раз наоборот? Мы старательно выискиваем любой повод, дабы произнести нечто такое, что разозлит другого и выведет его из себя. О дети, друзья мои! Вернитесь же снова к прежним нашим привычкам. Нам довелось испытать уже немало горя, и, быть может, дым, что мы вдыхаем днем, и зарево, что видим ночью, предвещают нам близкую потерю наших жилищ и оставленного нами имущества. Так не будем же с таким ожесточением обсуждать эти новости в обществе, не будем частым повторением вслух еще глубже запечатлеть в душе то, что и само по себе причиняет нам довольно страданий в тиши.

Когда умер ваш отец, разве давали вы мне тем или иным образом, словами или знаками, вновь почувствовать горечь этой невозполнимой утраты? Разве не старались вы убрать с моих глаз все, что могло мне напомнить его в те горестные дни, и своей любовью, своей ненавязчивой заботой и услужливостью смягчить боль утраты и поскорее залечить рану?

Разве не нужен нам теперь именно этот светский такт, который нередко действует вернее, чем неуклюжая помощь, пусть с самыми лучшими намерениями, — теперь, когда не одного или двоих среди массы счастливых вдруг поражает несчастный случай и его горе вскорости тонет в благополучии остальных, а когда среди неисчислимого множества несчастных только немногие в силу своих природных свойств или благоприобретенного умения наслаждаются случайным или искусственным удовольствием?

Карл. Вы уже достаточно отчитали нас, милая тетушка, не хотите ли снова протянуть нам руку?

Баронесса. Вот она, с условием, что отныне вы позволите ей вами управлять. Объявим амнистию! В такие времена чем быстрее люди решаются на примирение, тем лучше.

В этот миг в гостиную вошли другие женщины, успевшие уже хорошенько выплакаться после отъезда гостей и теперь избегавшие смотреть на Карла.

— Подойдите сюда, дети! — воскликнула баронесса. — У нас здесь состоялся серьезный разговор, и, как я надеюсь, он поможет нам восстановить мир и согласие, а также снова ввести тот хороший тон, которого нам долгое время недоставало. Быть может, никогда еще мы так не нуждались в том, чтобы сплотиться теснее и постараться рассеяться, хотя бы на несколько часов в день. Условимся же, что каждый раз, когда мы соберемся здесь вместе, всякие разговоры на злобу дня будут воспрещены. Как давно уже не вели мы поучительных и одушевляющих бесед, как давно не рассказывал ты нам, милый Карл, о дальних странах и царствах, об их устройстве, жителях, обычаях и нравах, которые тебе так хорошо известны. Как давно уже не вещала вашими устами (так обратилась она к учителю) древняя и новая история и мы не слышали сравнительных описаний столетий и лиц! Где те прелестные, изящные стихи, что, бывало, так часто, к усладе общества, извлекались из записных книжек наших юных дам? Куда девались непринужденные философские размышления? Неужели у вас совсем пропала охота приносить, как прежде, с прогулок то примечательный камень, то какое-нибудь неизвестное — по крайней мере нам — растение или причудливое насекомое, что раньше всегда подавало нам повод предаться возвышенным мыслям о взаимосвязи всех существ? Пусть все эти беседы, некогда возникавшие сами собой, теперь снова войдут у нас в обычай по принятому нами уговору, постановлению, закону; употребите все свои силы, чтобы эти беседы

были поучительными, полезными и, в особенности, занимательными,— это понадобится нам, быть может, еще больше, чем теперь, ежели все окончательно пойдет прахом. Дети мои, обещайте мне это!

Они горячо обещали ей сдержать уговор.

— А теперь ступайте: сегодня чудесный вечер, пусть каждый насладится им, как ему благоугодно, а за ужином дайте впервые за долгое время вновь насладимся плодами дружеской беседы.

Все понемногу разошлись; только фрейлейн Луиза осталась сидеть возле матери; у нее все не проходила досада на то, что ее разлучили с подружкой, и она весьма резко отказала Карлу, приглашавшему ее на прогулку. Мать и дочь уже некоторое время молча сидели рядом, когда в гостиную вошел священник, только что возвратившийся с долгой прогулки и потому не подозревавший о том, что произошло в доме. Он положил шляпу и трость, сел в кресло и хотел было что-то рассказать, однако Луиза, делая вид, будто продолжает разговор с матерью, сразу же перебила его:

— Все-таки для некоторых лиц только что принятый нами закон окажется весьма неудобным. Ведь и в прежнее время, когда мы живали в имении, нам подчас не хватало тем для разговоров, ибо это не то что в городе, где можно сегодня оклеветать бедную девушку, завтра набросить тень на молодого человека; однако до сих пор мы находили отдушину, рассказывая забавные анекдоты про ту или другую великую нацию, высмеивая как немцев, так и французов и объявляя то одного, то другого якобинцем или клубистом. Но если и этот источник будет закрыт, то кое-кто из нашего кружка станет немым.

— Этот выпад, милая барышня, по-видимому, нацелен в меня?— с улыбкой начал старик священник.— Ну да вы знаете, что я почитаю себя счастливым, когда меня время от времени приносят в жертву остальной компании. Ибо хотя вы, несомненно, в каждой беседе делаете честь вашей прекрасной воспитательнице и всякий находит вас обворожительной, любезной и милой, в вас тем не менее сидит этаким бесенок, с которым вы не всегда можете совладать, и за малейшее насилие, каковое вы над ним чините, вы, похоже, вознаграждаете его за мой счет. Скажите мне, милостивая государыня,— обратился он к баронессе,— что произошло в мое отсутствие? И какие это разговоры отныне запрещены в нашем кружке?

Баронесса поведала ему обо всем случившемся. Он внимательно ее выслушал и заметил:

— Да ведь и при таком порядке некоторые лица найдут возможность развлекать наше общество, и, пожалуй, даже лучше, нежели в других обстоятельствах.

— Посмотрим,— сказала Луиза.

— В этом законе,— продолжал священник,— нет ничего тягостного для человека, который умеет занимать себя сам; напротив того, ему будет приятно, что отныне он может поделиться с окружающими тем, что до сих пор делал словно бы украдкой. Ибо не в укор вам будь сказано, барышня, но кто же создает сплетников, соглядатаев и клеветников, как не само общество? Редко доводилось мне видеть, чтобы чтение книги или рассказ об интересных предметах, способные затронуть ум и сердце, в той же мере захватили бы внимание слушателей, так же пробудили бы их душевные силы, как иная ошеломительная новость, в особенности, если она принижает какого-нибудь соотечественника или соотечественницу. Спросите себя, спросите других — что придает интерес событию? Не его важность, не влияние, которое оно оказывает, а его новизна. Только новое обыкновенно представляется важным, потому что оно вызывает изумление само по себе и на мгновение возбуждает нашу фантазию, наши чувства едва задевает, а ум и вовсе оставляет в покое. Каждый человек способен совершенно без ущерба для себя принять живейшее участие во всем, что ново, и поскольку цепь новостей все время переключает его внимание с одного предмета на другой, то для толпы ничто не может быть более желанным, чем подобный повод для вечного рассеяния и подобная возможность дать выход своей злобе и своему коварству — всегда удобно, всегда по-новому.

— Ну вот,— воскликнула Луиза,— похоже, вы везде сумеете найти: прежде от вас доставалось только отдельным лицам, теперь уж должен расплачиваться весь род людской!

— Я не требую от вас, чтобы вы когда-либо стали ко мне справедливы,— возразил старик,— но одно я вам должен сказать: все мы, зависящие от общества, вынуждены с ним считаться и сообразоваться, более того, мы скорее можем себе позволить в обществе нечто неподобающее, чем то, что будет ему в тягость, а для него нет на свете ничего тягостнее, нежели призыв к размышлению и созерцанию. Всего, что направлено к этой цели, следует избегать, и только в тиши, на-



едине с собой, предаваться этому занятию, каковое запрещено во всяком публичном собрании.

— Сами вы в тиши небось осушили не одну бутылку вина и не один часок соснули среди бела дня,— перебила его Луиза.

— Я никогда не придавал особого значения своим занятиям,— продолжал священник,— ибо мне ведомо, что в сравнении с другими людьми я изрядный лентяй, но между тем я собрал неплохую коллекцию, каковая, быть может, именно теперь могла бы доставить немало приятных часов нашему обществу при его нынешнем настроении.

— Что же это за коллекция? — спросила баронесса.

— Конечно, не что иное, как скандальная хроника,— вставила Луиза.

— Вы ошибаетесь,— сказал старик.

— Увидим,— ответила Луиза.

— Дай же ему договорить,— произнесла баронесса.— И вообще оставь привычку резко и недружественно нападать на человека, даже если он, шутки ради, и готов стерпеть эти нападки. У нас нет причин потакать таящемуся в нас злонаправию, хотя бы и в шутку. Объясните мне, мой друг, из чего состоит ваша коллекция? Сгодится ли она для нашего развлечения? Давно ли вы начали ее собирать? Почему мы до сего времени ничего о ней не слышали?

— Я вам представляю полный отчет,— отвечал старик.— Я уже давно живу на свете и всегда старался присмотреться к тому, что случается с тем или иным человеком. Я не нахожу в себе ни сил, ни решимости для обозрения всеобщей истории, а отдельные мировые события сбивают меня с толку; однако среди многочисленных историй из частной жизни, правдивых и ложных, которые обсуждаются в обществе или рассказываются друг другу на ухо, попадают иногда такие, что обладают более истинной и чистой прелестью, нежели прелесть новизны. Одни способны развлечь нас благодаря остроумному повороту; другие на какие-то мгновенья открывают нам человеческую натуру и ее сокровенные глубины, а иные потешают нас забавными дурачествами. Из большого числа подобных историй, что в обыденной жизни тешат наше внимание и нашу злобу и столь же обыкновенны, как и люди, с которыми они приключаются и которые их рассказывают, я отобрал те, что, на мой взгляд, особенно характерны, что занимают и трогают мой ум, мою душу и, когда я мысленно возвращаюсь к ним, дарят мне минуты спокойной и незамутненной радости.

— Мне очень любопытно,— сказала баронесса,— услышать, какого рода эти ваши истории и о чем в них, собственно, идет речь.

— Вы легко можете догадаться, что о судебных процессах и семейных распрях речь в них пойдет не часто. Дела такого рода большею частью интересуют лишь тех, кому они отравляют жизнь.

Луиза. А о чем же эти истории?

Старик. В них обыкновенно рассказывается,— не стану этого отрицать,— о тех чувствах, что связывают или разделяют мужчин и женщин, делают их счастливыми или несчастными, но чаще смущают и путают, нежели просветляют.

Луиза. Вот оно что! Значит, вы намереваетесь преподнести нам в качестве изысканного развлечения набор непристойных анекдотов? Простите мне, мама, это замечание, но оно напрашивается само собой, а ведь надо же говорить правду.

Старик. Надеюсь, вы не найдете в моей коллекции ничего такого, что я мог бы назвать непристойным.

Луиза. А что вы обозначаете этим словом?

Старик. Непристойные речи, непристойные рассказы для меня непереносимы. Ибо они представляют нам вещи низменные, не стоящие внимания и обсуждения, как нечто необыкновенное, нечто притягательное, и вместо того, чтобы приятно занять наш ум, возбуждают нечистые желания. Они скрывают от наших глаз то, что надо либо видеть без всяких покровов, либо не видеть вовсе.

Луиза. Я вас не понимаю. Вы ведь все же постараетесь изложить нам ваши истории поизящней? Неужели мы позволим оскорбить наш слух пошлыми анекдотами? Или у нас здесь будет школа, где наставляют юных девиц и вы еще потребуете за это благодарности?

Старик. Ни то, ни другое. Ибо, во-первых, ничего нового для себя вы не узнаете, в особенности потому, что, как я с некоторых пор замечаю, вы никогда не пропускаете неизвестных статей в ученых журналах.

Луиза. Вы позволяете себе колкости.

Старик. Вы — невеста, и потому я вам не ставлю этого в упрек. Я только хотел вам показать, что и у меня найдутся стрелы, которые я при случае могу в вас пустить.

Баронесса. Я уже поняла, к чему вы клоните, объясните ей тоже.

**Старик.** Для этого мне пришлось бы лишь повторить то, что я уже сказал в начале нашего разговора, но что-то не похоже, чтобы у мадемуазель Луизы было желание прислушаться к моим словам.

**Луиза.** При чем тут желание или нежелание и все эти разглагольствования? Как бы на это дело ни смотреть, эти ваши истории наверняка окажутся просто скандальными, с той или иной точки зрения, вот и все.

**Старик.** Должен ли я повторять, милая барышня, что благомыслящему человеку может показаться скандальным лишь то, в чем он усмотрит злобу, высокомерие, стремление вредить ближним, нежелание помочь, так что ему и глядеть-то на это не захочется; напротив того, небольшие прегрешения и недостатки он находит забавными, особенно же его привлекают истории, где он видит хорошего человека в некотором противоречии с самим собой, со своими желаниями и намерениями, где упоенные собою глупцы бывают посрамлены, поставлены на место или обмануты, где всякого рода наглость наказывается случайным или естественным образом, где планы, желания и надежды либо исполняются не вдруг, нарушаются и вовсе идут прахом, либо неожиданно оказываются близки к осуществлению и в самом деле осуществляются. Охотнее всего он устремляет свой бесстрастный взор туда, где случай играет с человеческой слабостью и несовершенством, и ни одному из его героев, чьи истории он сохраняет в памяти, не приходится опасаться порицания или ждать похвалы.

**Баронесса.** Такое предисловие вызывает желание поскорее услышать что-нибудь на пробу. А я и не знала, что в нашей жизни (а ведь большую часть ее мы провели среди *одного и того же* круга) случалось много такого, что можно было бы включить в подобную коллекцию.

**Старик.** Конечно, многое зависит от наблюдателя и от того, что он сумеет извлечь из того или иного случая, но не стану отрицать: кое-что я позаимствовал из старых книг и преданий. Быть может, вам даже будет приятно встретить давних знакомцев в новом обличье. Но именно это дает мне преимущество, коим я отнюдь не намерен поступиться: ни к одной из моих историй не следует подбирать ключ!

**Луиза.** Но вы же не запретите нам узнавать наших друзей и соседей и, если нам вздумается, разгадать загадку?

**Старик.** Вовсе нет. Однако вы, со своей стороны, позвольте мне тогда вытащить старинный фолиант и доказать

вам, что история эта случилась или была сочинена за много столетий до нас. Равным образом вы позволите мне молча усмехнуться, если примете за старую сказку какую-либо историю, случившуюся в непосредственной близости от нас, но в том виде, в каком она рассказана, нами не узnanную.

**Луиза.** С вами не сговоришься. Будет гораздо лучше, если на сегодняшний вечер мы заключим мир и вы быстренько расскажете нам одну из ваших историй на пробу.

**Старик.** Позвольте мне вас не послушаться. Это удовольствие я приберегу до того времени, когда все общество будет в сборе. Нельзя лишать его хотя бы части моего запаса, и скажу вам наперед: все, что я могу вам предложить, само по себе никакой ценности не имеет. Однако если общество пожелает немного отдохнуть после серьезной беседы, если оно, уже насытившись отменной духовной пищей, начнет озираться в поисках десерта, вот тут-то я и подспею со своими историями, и мне хотелось бы, чтобы они пришлись всем по вкусу.

**Баронесса.** Придется нам, стало быть, потерпеть до завтра.

**Луиза.** Я с большим нетерпением жду, что он нам преподнесет.

**Старик.** С большим нетерпением, мадемуазель, ждать не следует, ибо оно редко бывает вознаграждено.

Вечером после ужина баронесса сразу ушла к себе, но остальные не расходились, обсуждая только что доставленные новости и распространившиеся слухи. Как обычно бывает в такие моменты, никто не знал, чему верить, а чему нет.

Старый друг дома по этому случаю заметил:

— По-моему, самое удобное — поверить в то, что нам приятно, без обиняков отбросить то, что было бы неприятно, да и вообще счесть истинным то, что могло бы таковым быть.

Кто-то заметил, что люди обыкновенно так и поступают, и разговор постепенно свернул на решительную склонность нашей природы верить в чудеса. Заговорили о романических ужасах, о призраках, и когда старик пообещал вскоре рассказать несколько занятых историй такого рода, Луиза попросила его:

— Вы были бы очень любезны, если б именно сейчас, когда у нас есть на то настроение, рассказали какую-нибудь историю, мы бы ее выслушали со вниманием и были бы вам весьма благодарны.

Не заставляя долго себя упрашивать, священник начал рассказ следующими словами:

— В бытность мою в Неаполе там случилась одна история, вызвавшая много толков, но судили о ней по-разному. Одни утверждали, что она полностью вымышлена, другие, что сама история правдива, но речь в ней идет о ловком обмане. Среди тех, кто придерживался второго мнения, тоже не было единомышленников, они спорили о том, кто же мог быть обманщик. Третьи говорили: еще вовсе не доказано, что духовно одаренные натуры не могут влиять на тела и стихии, и не следует всякое чудесное происшествие считать непременно обманом и ложью. Ну, а вот и сама история.

Некая певица по имени Антонелли была в то время любимицей неаполитанской публики. Находилась она в расцвете лет, красоты, таланта, — словом, обладала всем тем, чем только может женщина очаровать и увлечь толпу, а также прельстить и осчастливить избранный круг друзей. Нельзя сказать, чтобы она была нечувствительна к похвалам и к любви, однако, по натуре своей благоразумная и умеренная, она умела насладиться и тем и другим, не теряя власти над собой, каковая была ей столь необходима в ее положении. Все молодые, знатные и богатые люди увивались вокруг нее, но она принимала у себя лишь немногих и, хотя при выборе любовников полагалась больше всего на свои глаза и сердце, тем не менее в каждом из этих маленьких приключений выказывала столь твердый, решительный характер, что это располагало бы к ней самого сурового наблюдателя. Я имел возможность видеть ее в течение некоторого времени, так как был близок с одним из тех, кого она разыскала своей милостью.

Шли годы; ей довелось узнать многих мужчин, в их число немало фатов, людей слабых и ненадежных. По ее наблюдениям выходило, что любовник, который в известном смысле становится для женщины всем, чаще всего оказывается совершенно никчемным, когда ей особенно требуется поддержка, — в житейских треволнениях, в домашних неурядицах, при необходимости быстрого решения; а бывает и так, что он просто вредит своей возлюбленной, ибо думает только о себе и из себялюбия почитает за благо дать ей самый дурной совет и толкнуть на опаснейший шаг.

До сего времени при всех ее любовных связях ум ее оставался праздным, однако и он требовал себе пищи. Она хотела наконец-то завести себе друга, и едва лишь ощутила такую потребность, как среди людей, старавшихся с нею сблизиться, объявился некий молодой человек, на которого она возложила

свои надежды, и он, по-видимому, во всех отношениях этого заслуживал.

Это был генуэзец, коего в то время привели в Неаполь важные дела его торгового дома. Обладая от природы незаурядными способностями, он получил самое заботливое воспитание. Познания его были весьма обширны, ум, равно как и тело, развиты до совершенства, поведение же могло бы служить образцом — то было поведение человека, который ни на миг не забывается, но постоянно забывает себя ради других. Торговый гений его родного города отметил его своею печатью: все, что бы он ни затевал, он делал с большим размахом. Однако положение его было далеко не блестяще: его торговый дом пустился в некие сомнительные спекуляции и был теперь втянут в опаснейшие процессы. С течением времени дела его все более запутывались, и гнетущая забота придавала ему налет грусти, который очень шел к нему, а прекрасную девушку воодушевлял искать его дружбы, ибо, как она полагала, и ему тоже нужна была подруга.

Доселе он видел ее лишь на людях, от случая к случаю: ныне же, по его первому слову, она открыла перед ним двери своего дома, более того, настоятельно приглашала его к себе, и он не преминул воспользоваться ее приглашением.

Красавица не замедлила выказать ему свое доверие и открыться в своих желаниях. Он был этим удивлен и обрадован. Она же настойчиво просила его оставаться всегда ее другом, не притязая на роль любовника. Она поведала ему, что как раз сейчас находится в некотором затруднении, он же, располагая обширными знакомствами, мог бы дать ей наилучший совет и предпринять наискорейшие шаги ей на пользу. Он, со своей стороны, посвятил ее в свое положение, и поскольку она умела развеселить и утешить его и в ее присутствии у него возникали мысли, которые в ином случае не могли бы сложиться так быстро, она тоже в некотором роде стала его советчицей, и вскоре между ними упрочилась дружба, основанная на высочайшем обоюдном уважении и благороднейшей потребности.

К несчастью, однако, соглашаясь на какое-либо условие, люди не всегда думают о том, насколько оно выполнимо.

Он обещал оставаться ей только другом, не притязая на роль любовника, но не мог не признаться себе в том, что повсюду встречает поклонников певицы, удостоенных ее милостью, и что они ему глубоко противны, даже невыносимы,

Особенно больно бывал он задет, если его подруга весело потешалась над добрыми и злыми качествами одного из этих людей и как будто бы знала наперечет все недостатки своего избранника, но иногда в тот же вечер, словно бы в насмешку над своим почитаемым другом, покоилась в объятиях недостойного.

По счастью или несчастью, но вскорости случилось так, что сердце девушки оказалось свободным. Ее друг, к своему удовольствию, это заметил и попытался убедить ее в том, что освободившееся место подобает ему более, нежели кому-нибудь другому. Она склонила слух к его мольбам, однако не без внутреннего протеста. «Боюсь,— говорила она,— что из-за своей уступчивости я потеряю самое ценное, что есть в мире,— друга». Ее предсказание сбылось: прошло совсем немного времени, что он состоял при ней в этом двойном качестве, как его капризы начали становиться все более и более тягостными; как друг он притязал на все ее уважение, как любовник — на всю ее нежность, а как умный и любезный человек не желал обходиться без ее общества. Это, однако, было отнюдь не по праву живой и общительной девушке; она не испытывала склонности к самопожертвованию и не имела желания признавать за кем бы то ни было исключительные права на нее. По этой причине она постаралась самым деликатным образом поемногу сократить его визиты, видаться с ним реже и дала ему понять, что ни за какие блага в мире не намерена поступиться своей свободой.

Едва он это заметил, как почувствовал, что на него обрушилось величайшее несчастье, но, к сожалению, то была не единственная постигшая его беда: его домашние дела принимали самый скверный оборот. Он корил себя за то, что с юных лет считал свое состояние неиссякаемым источником и забросил свои торговые дела ради того, чтобы путешествовать и разыгрывать из себя в свете человека более знатного и богатого, нежели это позволяли ему его рождение и его доходы. Процессы, на которые он возлагал все свои надежды, тянулись долго и требовали больших затрат. Ему пришлось по этим делам несколько раз ездить в Палермо, и во время последней его поездки умная девушка приняла меры, чтобы изменить распорядок своей жизни и поемногу отдалить его от себя. Вернувшись, он нашел ее на другой квартире, гораздо дальше от его собственной, и увидел, что маркиз де С., имевший в то время большую власть над публичными увеселениями и зрелищами, запросто бывает у его возлюбленной.

Это окончательно сломило его, и он тяжело захворал. Когда известие о его болезни достигло его подруги, она поспешила к нему, окружила его заботами, вверила попечению надежных слуг и, поскольку от нее не укрылось, что состояние его финансов оставляет желать лучшего, предоставила ему изрядную сумму денег, могущую на ближайшее время удовлетворить его нужды.

Своим дерзким посягательством на ее свободу друг и так уже много потерял в ее глазах; но по мере того, как ее нежность к нему остывала, взгляд ее становился все зорче и под конец сделанное ею открытие, что в собственных своих делах он поступал весьма опрометчиво, внушило ей не самое благоприятное представление о его уме и характере. Он между тем вовсе не замечал свершившейся в ней перемены; напротив того: ее заботы о его здоровье, терпение, с каким она по целым дням просиживала у его постели, казались ему скорее признаками любви и дружбы, нежели сострадания, и он надеялся по выздоровлении снова вступить в свои права.

Как глубоко он заблуждался! По мере того как к нему возвращалось здоровье и восстанавливались силы, ее расположение и доверие к прежнему другу словно таяли, и казалось, будто теперь он ей настолько же немил, насколько раньше был приятен. К тому же незаметно для него самого характер его за время этих перипетий ожесточился и сделался невыносимым; вину за свои беды, кои он навлек на себя сам, он перелагал на других, а себя ни в чем не винил. Себя он почитал безвинно преследуемым, оскорбленным, несчастным человеком и надеялся, что совершенная преданность его подруги вознаградит его за все горести и страдания.

С этими требованиями он и приступил к возлюбленной в первый же день, как только опять смог выйти на улицу и явиться к ней в дом.

Он хотел от нее ни много ни мало: чтобы она всецело принадлежала ему, рассталась с прочими друзьями и знакомыми, оставила сцену и стала бы жить с ним одним и ради него одного. Она доказывала ему невозможность исполнить его требования, доказывала вначале шутливо, потом серьезно и под конец была вынуждена открыть ему горестную истину, что с их прежними отношениями покончено. Он покинул ее, и больше они никогда не видались.

Он прожил еще несколько лет в очень узком кругу, вернее сказать, в обществе одной старой благочестивой дамы, жившей с ним в одном доме на небольшую ренту. К этому вре-



мени он выиграл один процесс, а вскоре за тем и второй; однако здоровье его было подорвано, а счастье утрачено навсегда. Довольно было самого пустячного повода, чтобы его снова свалила тяжелая болезнь; врач предсказал ему близкую смерть. Он безропотно выслушал приговор, лишь выразил желание еще раз увидеть свою прекрасную подругу и послал к ней того самого слугу, который в счастливые времена, бывало, не раз приносил ему благоприятный ответ. Он обращался к ней с просьбой — она отказала. Он послал к ней слугу во второй раз, заклиная ее прийти, — она упорствовала. Наконец, — был уже поздний вечер, — он послал к ней в третий раз; она была взволнована и поверила мне свое смущение, ибо я как раз в тот вечер ужинал у нее вместе с маркизом и еще несколькими друзьями. Я посоветовал ей, даже просил ее воздать другу эту последнюю дань любви; она как будто бы колебалась, однако, по некотором размышлении, решилась и отослала слугу с окончательным отказом; больше он не возвращался.

После ужина мы сидели за столом, продолжая дружески беседовать; все были оживлены и в приподнятом настроении. Примерно около полуночи где-то рядом с нами вдруг раздался крик — жалобный, пронзительный, тревожный и долго не смолкавший. Мы вздрогнули, переглянулись и стали озираться по сторонам, пытаясь угадать, что за этим последует. Крик, исходивший откуда-то из середины комнаты, казалось, замирал в ее стенах. Маркиз вскочил и подбежал к окну, а мы бросились к нашей красавице, лежавшей в глубоком обмороке. С трудом удалось нам привести ее в чувство. Едва лишь она открыла глаза, как пылкий ревнивый итальянец припался осыпать ее жесточайшими упреками. «Если уж вы уславливаетесь с вашими друзьями о сигналах, — сказал он, — то позаботьтесь хотя бы о том, чтобы они были не такими громкими и резкими». Она отвечала ему со свойственной ей пахочивостью, что поскольку она имеет право во всякое время принимать у себя кого ей заблагорассудится, то едва ли стала бы предварять столь сладостные минуты такими заунывными и страшными звуками.

И поистине, в этом крике было нечто донельзя жуткое. В ушах у нас еще звенели его протяжные, гулкие отзвуки, отдаваясь во всех членах. Красавица была бледна, черты ее исказились, казалось, она все еще близка к обмороку; нам пришлось просидеть возле нее почти всю ночь. Голоса больше не было слышно. На следующий вечер то же общество собралось снова, не в столь веселом настроении, как накануне, но

в довольно-таки благодушном, — и в тот же час раздался тот же непереносимый, ужасающий крик.

Мы между тем строили бесчисленные предположения о природе этого крика, о том, откуда он исходит, и просто терялись в догадках. Что тут долго распространяться? Всякий раз, когда она ужинала дома, крик раздавался, иногда громче, иногда тише, но, как утверждали, неизменно в одно и то же время. В Неаполе только и разговору было, что об этом происшествии. Вся челядь в доме, все друзья и знакомые живейшим образом его обсуждали, даже полиция дали знать. К дому были приставлены соглядатаи и сыщики. Тем, кто стоял на улице, казалось, что звук доносится откуда-то издалека, в комнатах же он слышался совсем близко. Когда она ужинала в гостях, голос молчал, но стоило ей остаться у себя, как он раздавался снова.

Однако и вне дома она не вполне была избавлена от этого злого провожатого. Ее красота и прелесть открыли перед нею двери самых знатных домов. Благодаря приятным манерам, она везде была желанной гостьей, и вот, чтобы избавиться от этого наваждения, она взяла за привычку проводить все вечера в гостях.

Как-то вечером один человек почтенного возраста и положения отвозит ее домой в своем экипаже. И вот в тот миг, когда она прощается с ним у дверей своего дома, между ним и ею вдруг раздается крик, и этого человека, которому история сия была известна ничуть не хуже, чем тысяче его сограждан, вносят в карету едва живого.

В другой раз некий молодой тенор, к которому она питала расположение, однажды вечером отправляется с нею в город навестить их общую приятельницу. Он слышал разговоры об этом странном феномене, но, будучи человеком жизнерадостным, считал подобное чудо едва ли возможным. По дороге они говорят об этой истории. «Я бы тоже хотел, — сказал он, — услышать голос вашего незримого спутника, вызовите его, ведь нас с вами двое, и нам нечего бояться». Уж не знаю, что ее толкнуло на это — легкомыслие или отвага, но только она вызвала духа, и в тот же миг в карете раздавался громopodobный глас и, прозвучав три раза подряд, с жалобным отзвуком затих. Оба были найдены без чувств в карете возле дома их общей знакомой, и лишь с большим трудом удалось привести их в чувство и узнать, что же такое с ними приключилось.

Красавица не сразу оправилась после этого случая. Испуг, поражающий ее снова и снова, отразился на ее здоровье, и ка-

залось, что крикливый призрак на время дал ей передышку, а поскольку его долго не было слышно, она даже возымела надежду, что избавилась от него навсегда. Но не тут-то было.

По окончании карнавала артистка затеяла в сопровождении одной из своих подруг и горничной увеселительную прогулку. Она намеревалась погостить в одном загородном имении, но так как ночь застала их в дороге, к тому же в экипаже случилась какая-то поломка, им пришлось заночевать на захудалом постоялом дворе, где они постарались расположиться поудобнее.

Подруга уже легла спать, а горничная, зажегши ночник, хотела было прилечь возле своей госпожи, как той вздумалось вдруг пошутить: «Мы здесь, можно сказать, на краю света, да и погода прескверная, так неужто он и тут нас найдет?» В тот же миг он подал голос, страшнее и громче, чем когда бы то ни было. Подруга решила, что в комнате не иначе, как разверзся ад, выскочила из постели и, в чем была, кинулась вниз по лестнице, переполошив весь дом. Никто в ту ночь не сомкнул глаз. Но зато это был последний случай, когда слышался голос. Однако, к несчастью, непрошенный гость стал отныне возвещать о своем присутствии еще более неприятным образом.

Некоторое время он не причинял беспокойства, как вдруг однажды вечером, в обычный час, когда она сидела за ужином со своими гостями, снаружи кто-то словно выстрелил в окно — из ружья или из хорошо заряженного пистолета. Выстрел слышали все, и все видели вспышку, но, внимательно осмотрев окно, не нашли на нем ни малейших повреждений. Тем не менее все присутствующие были очень обеспокоены происшедшим, — они полагали, что кто-то покушается на жизнь красавицы. Поспешили в полицию, обследовали соседние дома, но, не обнаружив ничего подозрительного, поставили там снизу доверху стражу. Тщательно обыскали также дом, где жила она сама, на улице расставили сыщиков.

Но все эти меры предосторожности оказались напрасными. Три месяца подряд в один и тот же час гремел выстрел в одно и то же окно, не повреждая стекла, и, что особенно примечательно, всегда незадолго до полуночи: дело в том, что в Неаполе живут по итальянскому времени, и полночь там особого значения не имеет.

Постепенно все привыкли к этому странному явлению, так же, как к предшествующему, и не ставили в укор привидению эти его безвредные выходки. Случалось даже, что

выстрел нисколько не пугал собравшееся общество, не мешая ему продолжать беседу.

В один прекрасный вечер, пришедший на смену очень жаркому дню, красавица, позабыв, который час, растворила то самое окно и об руку с маркизом вышла на балкон.

Не успели они простоять там и несколько минут, как промеж них грянул выстрел, с силою отбросивший их обратно в комнату, где они без чувств повалились на пол. Когда они пришли в себя, то оба почувствовали боль, — он на левой, она на правой щеке, — как будто бы от сильной пощечины, но поскольку других повреждений у них не обнаружили, то это происшествие дало повод для всевозможных шуток.

С того дня выстрелов в доме больше не слышали, и певица вообразила, будто избавилась наконец от своего преследователя, но однажды вечером, когда она вместе с другой дамой ехала в коляске, ее снова сильнейшим образом испугало одно неожиданное приключение.

Путь их вел через Кьяйю, где когда-то жил ее умерший возлюбленный. Ярко светила луна. Дама, сидевшая с нею рядом, спросила: «Вот, кажется, дом, где умер господин \*\*\*\*?» — «Сколько помню, это должен быть один из тех двух домов», — отвечала красавица, и в тот же миг из одного дома раздался выстрел, ударивший в коляску. Кучеру показалось, что пуля угодила прямо в него, и он погнался вскачь. Когда они приехали на место, обеих женщин вынесли из коляски замертво.

Но этот испуг был и последним. Незримый преследователь изменил свою методу: несколько вечеров спустя под окнами красавицы раздались громкие рукоплескания. Прославленная певица, артистка, она, разумеется, была более привычна к таким звукам. В самих звуках ничего пугающего не было, они легко могли исходить от какого-нибудь ее поклонника, и она не придавала им значения. Однако ее друзья были более осторожны и, как в прошлый раз, выставили на улице посты. Те слышали звуки, но, сколько ни глядели, никого увидеть не могли, и многие уже надеялись, что вскоре все эти таинственные явления совершенно прекратятся.

Через некоторое время пропали и эти звуки, сменившись куда более приятными. Нельзя сказать, чтобы они были и впрямь мелодичны, но зато необычайно нежны и ласковы. У самых внимательных наблюдателей создавалось впечатление, будто музыка эта, рождаясь где-то за углом, на ближайшем перекрестке, несется по воздушным волнам прямо к окну

певицы и там нежнейшим образом тает. Казалось, будто какой-то небесный дух пожелал очаровательной прелюдией возвестить мелодию, которую собирался исполнить. Наконец и эти звуки пропали и больше не возобновлялись; к тому времени сия удивительная история тянулась уже почти что полтора года.

Когда рассказчик на минуту умолк, слушатели стали высказывать свои суждения и сомнения касательно этой истории, — правдива ли она, да и может ли быть правдива?

Старик утверждал, что она несомненно правдива, коль скоро вызвала у них такой живой интерес, ибо для выдуманной истории она недостаточно искусна. Кто-то заметил: странно, почему никто не поинтересовался, что за человек был умерший друг певицы и при каких обстоятельствах он умер, — ведь это могло бы многое прояснить в данной истории.

— Это не преминули сделать, — ответил старик. — Я и сам после первого же странного явления отправился к нему в дом, исполненный любопытства, и под благовидным предлогом посетил ту даму, которая вплоть до его кончины пеклась о нем с поистине материнской нежностью. Она поведала мне, что ее друг питал необыкновенно сильную страсть к известной особе и в последние месяцы жизни только о ней и говорил, изображая ее то ангелом, то дьяволом.

Когда болезнь окончательно одолела его, он ничего не желал так страстно, как еще раз увидеть ее перед смертью, — возможно, в надежде вынудить у нее хоть одно нежное слово, признак раскаяния или какое-либо другое доказательство любви и преданности. Тем ужаснее был для него ее непреклонный отказ, и, несомненно, ее последнее решительное «нет» ускорило его кончину. В отчаянии он воскликнул: «Теперь ей ничто не поможет! Она избегает меня, но и после моей смерти я не дам ей покоя!» В таком ожесточении покинул он сию юдоль, а нам довелось воочию убедиться, что человек может сдержать свое слово и за гробом.

Собеседники принялись снова судить да рядить об этой истории. Под конец братец Фриц сказал:

— У меня есть одно подозрение, но я не стану его высказывать, пока еще раз не восстановлю в памяти все обстоятельства и как следует не проверю свои выкладки.

Когда же к нему со всех сторон приступили с просьбами, то он, пытаясь уйти от ответа, нашел лазейку, предложив, в свою очередь, рассказать историю, каковая, правда, по занимательности уступает предыдущей, но тоже такого рода, что ей никогда не могли дать удовлетворительного объяснения.

— У одного моего друга, достойного дворянина, жившего с семьей в старинном замке, воспитывалась сирота, и когда она подросла и достигла четырнадцатилетнего возраста, то была приставлена к хозяйке дома, чтобы во всем ей прислуживать. Ею были вполне довольны, да и она, казалось, не желала ничего лучшего, как только вниманием и преданностью изъяснить признательность своим благодетелям. Она была недурна собой, и нашлось несколько молодых людей, желавших присвататься к ней. Ее воспитатели полагали, что вряд ли кто-либо из этих женихов мог бы составить счастье девушки, да и она сама не выражала ни малейшего желания изменить свое положение.

Однажды домочадцы заметили, что когда девушка ходит по дому, занимаясь своими делами, под ногами у нее то здесь, то там раздается какой-то стук. Вначале это сочли простым совпадением, но поскольку стук не прекращался, сопровождая ее почти на каждом шагу, она стала бояться и не решалась выйти из комнаты своей госпожи, ибо только там ее не преследовал этот стук.

Его мог слышать всякий, кто шел с нею рядом или стоял поблизости. Поначалу это курьезное обстоятельство служило поводом для шуток, но в конце концов сделалось для всех неприятным. Хозяин дома, человек пытливого ума, принялся сам его расследовать. Стук слышался не прежде, чем девушка делала шаг, но не в тот миг, когда она ставила ногу, а лишь когда поднимала ее, чтобы ступить. Однако удары иногда раздавались неравномерно и были особенно сильны, когда она пересекала одну из больших зал.

Однажды отец семейства зачем-то призвал в дом рабочих и, когда стук сделался особенно громким, приказал им разорвать пол в том месте, где она только что ступала. Под полом ничего не обнаружили, не считая того, что оттуда выскочило несколько больших крыс, и охота за ними наделала в доме много шума.

Возмущенный всей этой историей и поднявшейся в доме кутерьмой, хозяин решил прибегнуть к суровой мере: он снял

со стены самый большой свой хлыст и поклялся, что забьет девушку до смерти, если стук послышится еще хоть раз. С того дня она невозбранно расхаживала по всему дому и стука никто больше не слышал.

— Из чего ясно видно,— вмешалась Луиза,— что милая девочка сама и была своим собственным привидением: по какой-то причине она придумала себе эту забаву и потешалась над своими господами.

— Ничего подобного,— возразил Фриц,— те, кто приписывал это явление неведомому духу, полагали, что это дух-хранитель, и хотя он желал, чтобы девушка покинула этот дом, он не мог допустить, чтобы ей причинили зло. Другие поняли это более прозаично и считали, что один из ее поклонников был настолько искусен и ловок, что сумел вызвать эти звуки, дабы выманить девушку из дома и залучить в свои объятия. Как бы то ни было, милая девушка прямо истаяла от этого наваждения и стала похожа на печальный призрак, тогда как прежде была цветущей и жизнерадостной, а среди обитателей дома — самой веселой. Но и такое похудание может быть объяснено совершенно по-разному.

— Жаль,— заметил Карл,— что подобные случаи недостаточно пристально исследуются, и, обсуждая события, которые нас столь живо интересуют, мы колеблемся между различными предположениями, ибо подробности, коими сопровождаются подобные чудеса, вовремя не были подмечены.

— Если бы это вообще было доступно исследованию,— сказал старик,— и в ту минуту, когда случается подобное происшествие, удавалось бы уловить все его моменты, ведь самое важное, чтобы от нашего внимания не ускользнуло ничто такое, за чем может скрываться обман и заблуждение. Разве можем мы разгадать приемы фокусника, хотя и знаем, что он нас водит за нос?

Не успел он договорить, как из угла комнаты вдруг послышался сильный треск. Все вздрогнули, а Карл шутя спросил:

— Надеюсь, это не подает голос чей-то умирающий любовник?

Он тотчас пожалел о своих словах, потому что Луиза побледнела и призналась, что трепещет за жизнь своего жениха.

Чтобы отвлечь ее от этих мыслей, Фриц взял свечу и подошел к стоявшему в углу бюро. Его выпуклую крышку наискось прорезала трещина; итак, происхождение звука было

ясно; и все же всем показалось странным, что это бюро — одно из лучших изделий Рёнтгена, простояв столько лет на одном месте, именно в этот миг почему-то треснуло. Его часто восхваляли и показывали гостям как образец превосходной и необыкновенно прочной столярной работы, и вдруг оно ни с того ни с сего треснуло, хотя в воздухе не ощущалось ни малейшей перемены.

— Ну-ка, — сказал Карл, — выясним сначала это обстоятельство и взглянем на барометр.

Ртутный столбик стоял на том же уровне, что и все последние дни, да и термометр показывал понижение не более обычного в часы, когда день сменяется ночью.

— Жаль, — воскликнул он, — что под рукой у нас нет гигрометра; именно этот инструмент был бы нам сейчас нужнее всего!

— Похоже на то, — заметил старик, — что всякий раз, когда мы хотим поставить опыт с духами, у нас под рукой не оказывается необходимейших инструментов.

Их рассуждения прервал поспешно вошедший слуга, который сообщил, что на небе виднеется яркое зарево, но не ясно, где горит — в городе или в его окрестностях.

Поскольку недавнее происшествие сделало всех более чувствительными к страху, то это известие поразило присутствующих больше, нежели могло бы поразить в другое время. Фриц поспешил в бельведер, где помещалось большое горизонтальное стекло, на которое была нанесена подробная карта страны, так, чтобы при ее помощи можно было даже ночью с точностью определить местоположение того или иного города. Прочие остались в гостиной, взволнованные и озабоченные.

Фриц вернулся и сказал:

— Я не могу вас обрадовать. Ибо скорее всего горит не в городе, а в имении нашей тетушки. Я точно определил направление и уверен, что не ошибся.

Все стали сетовать, что сгорит такой красивый дом, и принялись исчислять убытки.

— Мне, между прочим, пришла в голову удивительная мысль, — сказал Фриц, — которая, по крайней мере, успокоит нас касательно странного явления с нашим бюро. Прежде всего надо точно заметить себе момент, когда мы услышали треск.

Они отсчитали время назад, — видимо, это произошло около половины двенадцатого.

— А теперь можете смеяться надо мною, ежели вам угодно, — продолжал Фриц, — только я расскажу вам о своих до-



гадках. Вам известно, что много лет тому назад матушка подарила нашей тете похожее, даже, можно сказать, совершенно такое же бюро. Обе вещи с великим тщанием изготовлены в *одно и то же* время, из *одного и того же* дерева, *одним и тем же* мастером; обе до сего времени прекрасно сохранились, но я готов биться об заклад, что в эту минуту вместе с загородным домом нашей тетушки гибнет в огне и второе бюро, и его брат-близнец при этом тоже чувствует боль. Завтра я сам отправлюсь туда, чтобы на месте по возможности уяснить себе этот странный факт.

На самом ли деле у Фридриха составилось такое мнение, или эту мысль подсказало ему желание успокоить сестру — мы решать не будем; довольно того, что общество воспользовалось поводом поговорить о неоспоримых тайных симпатиях и под конец нашло весьма вероятным существование таковых между предметами, сделанными из *одного* дерева, между произведениями, созданными *одним* художником. Они пришли к единодушному мнению, что и такие феномены могут быть причислены к явлениям природы, как и некоторые другие, вполне осязаемые и все же необъяснимые.

— Мне вообще кажется, — сказал Карл, — что всякий феномен, в равной мере, как и всякий факт, интересен сам по себе. Кто их объясняет или соотносит с другими происшествиями, делает это, собственно, лишь для забавы, а нас водит за нос, как естествоиспытатель и сочинитель историй. Однако отдельно взятое действие или происшествие интересно отнюдь не потому, что оно объяснимо или правдоподобно, а потому, что оно истинно. Если около полуночи пламя поглотило тетушкино бюро, то странное растрескивание нашего в то же самое время для нас — истинное происшествие, пусть оно даже будет вполне объяснимо и соотносится с чем угодно.

Хотя была уже глубокая ночь, никто и не думал идти спать, и Карл вызвался, в свою очередь, рассказать историю, ничуть не менее интересную оттого, что ее, пожалуй, легче объяснить и понять, чем предыдущие.

— Ее рассказывает в своих мемуарах маршал де Бассомпьер, — добавил он, — я позволю себе говорить от его лица.

«На протяжении пяти или шести месяцев я замечал, что всякий раз, как случалось мне проходить по Малому мосту (Новый мост был в то время еще не построен), одна пригожая лавочница, чье заведение было особенно приметно благодаря

вывеске с двумя ангелами, по несколько раз низко и учтиво мне кланялась и глядела вслед до тех пор, пока я не скроюсь из глаз. Такое ее поведение меня поразило, и я тоже стал обращать на нее внимание и учтиво отвечать на ее поклоны. Однажды я возвращался верхом из Фонтенбло в Париж, и когда въехал на Малый мост, она вышла из своей лавки и, глядя, как я проезжаю мимо, громко сказала: «Ваша служанка, сударь!» Я ответил на ее приветствие и потом, оглянувшись несколько раз, увидел, что она перегнулась вперед, чтобы как можно дольше не терять меня из виду.

Меня сопровождали слуга и почтальон, коих я намеревался в тот же вечер отослать назад, в Фонтенбло, с письмами к нескольким дамам. По моему приказанию слуга спешился и зашел к молодой женщине, дабы передать ей от моего имени, что я заметил ее неизменное желание видеть и привечать меня, а ежели ей угодно познакомиться со мною поближе, я готов встретиться с нею там, где она пожелает.

Она отвечала слуге, что для нее не может быть вести приятнее и что она охотно придет туда, куда я укажу, но лишь с одним условием — что ей будет дозволено провести ночь под *одним* одеялом со мною.

Я принял это предложение и спросил слугу, не знает ли он такого места, где мы могли бы с нею сойтись? Он отвечал, что отведет ее к известной сводне, но советует мне, поскольку то здесь, то там все еще объявляется чума, приказать доставить туда матрацы, одеяла и простыни из моего дома. Я согласился, а он пообещал мне приготовить хорошую постель.

Вечером я отправился в назначенное место и застал там прехорошенькую женщину лет двадцати в изящном ночном чепчике, тонкой рубашке и короткой нижней юбке из зеленой шерстяной материи, поверх всего этого у нее было накинуто нечто вроде пеньюара, а ноги были обуты в домашние туфли. Понравилась она мне сверх всякой меры, но когда я вздумал позволить себе кое-какие вольности, с большим достоинством меня остановила и пожелала поскорее очутиться со мною между двумя простынями. Я исполнил ее желание и должен признаться, что никогда не знал женщины более прелестной и ни одна не доставляла мне подобного наслаждения. На другое утро я спросил ее, нельзя ли нам будет увидеться еще раз, ибо я уезжаю только в воскресенье, а мы провели с нею ночь с четверга на пятницу.

Она отвечала, что еще более страстно желает этого, чем я, но ежели я не смогу остаться в Париже на все воскресенье,

то для нее это будет невозможно, ибо она могла бы увидаться со мною снова лишь в ночь с воскресенья на понедельник. Когда я стал с нею спорить, она сказала: «Сейчас вы, должно быть, пресытились мною и в воскресенье непременно хотите ехать, однако вы скоро опять вспомните обо мне и, конечно, задержитесь еще на день, чтобы провести со мною ночь».

Уговорить меня оказалось не трудно, и я пообещал ей остаться на воскресенье и в ночь на понедельник вновь прийти в то же место. На это она отвечала: «Мне, государь мой, весьма хорошо известно, что ради вас я пришла в постыдный дом, но я сделала это по доброй воле, — мое желание встретиться с вами было столь непреодолимо, что я согласилась бы на любые условия. Только страсть к вам привела меня в это ужасное место, но я почитала бы себя продажной девкой, ежели бы позволила себе прийти сюда во второй раз. Умереть мне мучительной смертью, ежели я принадлежала кому-нибудь, кроме моего мужа и вас, и когда-либо буду принадлежать! Но чего не сделаешь ради того, кого любишь, да еще если это Бассомпьер! Ради него пришла я в этот дом — ради человека, чье присутствие облагораживает даже это место. Но коль скоро вы желаете увидаться со мною еще раз, я приму вас у своей тетки».

Она со всею возможной точностью описала мне дом и продолжала: «Я буду ждать вас с десяти часов до полуночи, и даже еще позже, дверь будет не заперта. Сначала вы попадете в недлинный коридор, — не мешкайте там, ибо в него выходит дверь теткиной комнаты. Затем вы натолкнетесь на лестницу, каковая приведет вас во второй этаж, где я приму вас в свои объятия».

Я уладил свои дела, отослал вперед людей с вещами и с нетерпением стал ждать ночи, когда мне вновь предстояло увидеть пригожую бабенку. В десять часов я был уже на условленном месте. Тотчас же нашел я дверь, которую мне указала красотка, однако она была на запоре, а во всем доме горел свет, который время от времени вспыхивал ярким пламенем. Я принялся нетерпеливо стучать, чтобы дать знать о своем приходе, но услышал лишь мужской голос, спрашивавший, кто это стучит. Я отошел от дома и стал прохаживаться взад-вперед по улицам. В конце концов нетерпение вновь погнало меня к той двери. Я нашел ее открытой и, вбежав в коридор, бросился вверх по лестнице. Но каково же было мое удивление, когда я увидел в комнате нескольких мужчин, сжигавших в камине соломенные тюфяки, а при све-

те пламени, озарявшем комнату, два распростертых на столе нагих тела. Я поспешно ретировался и у выхода столкнулся с двумя могильщиками, которые спросили меня, что мне здесь надобно. Я выхватил шпагу, дабы не подпустить их к себе, и, порядком взволнованный сим странным зрелищем, воротился домой. Дома я незамедлительно выпил три-четыре стакана вина — средство против чумного поветрия, которое в Германии почитается весьма надежным, и, проведя спокойную ночь, наутро отправился в путь, в Лотарингию.

Все усилия, какие я прилагал по возвращении, дабы что-то узнать о судьбе той женщины, были тщетны. Я поехал даже на Малый мост, к лавке с двумя ангелами, но люди, снимавшие ее теперь, не знали, кто сидел в ней раньше.

Это приключение произошло у меня с особой низкого звания, но, поверьте, не окончилось оно столь неприятным образом, оно бы осталось в моей памяти как одно из самых увлекательных, и я всегда с тоской вспоминал об этой хорошенькой женщине».

— И эту загадку,— добавил Фриц,— тоже совсем нелегко разгадать. Ибо остается неясным, то ли эта милая женщина умерла в том доме от чумы вместе с другими, то ли не пришла туда лишь по этой причине.

— Будь она жива,— возразил Карл,— она непременно ждала бы своего возлюбленного на улице, и никакая опасность не помешала бы ей снова с ним встретиться. Боюсь все же, что одним из лежавших на столе мертвых тел была она.

— Замолчите! — воскликнула Луиза.— Что за страшная история! Хороша будет ночь, ежели мы уляжемся спать с такими картинками в воображении!

— Мне пришла на память еще одна история,— сказал Карл,— но гораздо более приятная, ее рассказывает Бассомпьер об одном из своих предков.

Одна красивая женщина, страстно любившая его предка, каждый понедельник приходила к нему в летний павильон, где он проводил с нею ночь, жене же своей он всякий раз говорил, что отправляется на охоту.

Два года подряд встречались они таким образом, пока жена однажды не возымела подозрения и не прокралась в павильон, где и застала своего супруга мирно спящим на постели рядом с красавицей. У нее не достало воли и мужества их раз-

будить, но она сняла с головы накидку и прикрыла ею ноги спящих.

Когда женщина проснулась и увидела у себя на ногах накидку, она громко вскрикнула, разрыдалась и начала причитать, что теперь уж ей вовек не видать своего возлюбленного и что она не посмеет подойти к нему ближе, чем на сотню миль. И она покинула его навсегда, вручив ему три вещи для трех его законных дочерей: маленькую мерку для фруктов, кольцо и кубок, наказав обращаться с ее дарами как можно более бережно. Их бережно хранили, и потомки этих трех дочерей полагали, что обладанию этими вещами они обязаны многими счастливыми событиями своей жизни.

— Ну уж это скорее похоже на сказку о прекрасной Мелузине и другие волшебные истории в том же роде, — заметила Луиза.

— И тем не менее, — возразил Фридрих, — в нашем доме сохранилось сходное предание и такой же талисман.

— Что же это за предание? — спросил Карл.

— Это тайна, — отвечал Фридрих, — только старший сын имеет право быть посвящен в нее при жизни отца, а после его смерти вступить во владение сокровищем.

— Значит, его хранишь ты? — спросила Луиза.

— Я и так уже сказал слишком много, — заявил Фридрих, зажигая свечу, чтобы пойти к себе.

За завтраком все семейство, по обыкновению, собралось вокруг стола; затем баронесса снова села за пядьцы. После наступившего ненадолго молчания старый друг дома, священник, заговорил с чуть заметной улыбкой.

— Редко случается, чтобы певцы, поэты и рассказчики, обещавшие доставить развлечение обществу, делали это вовремя; чаще всего они заставляют себя упрашивать, когда им надлежало бы сделать это по доброй воле, и становятся навязчивы, когда их вовсе не желают слушать. Я надеюсь составить исключение из этого правила и потому спрашиваю вас: готовы ли вы сейчас послушать какую-нибудь историю?

— С превеликой охотой, — отвечала баронесса, — я полагаю, что остальные тоже не прочь. Однако ежели вы намерены предложить нам какую-либо историю на пробу, то я должна вам сказать, какие рассказы мне не по вкусу. Мне не доставляют никакого удовольствия рассказы, где, по образцу «Тысячи и одной ночи», одно событие вплетается в другое, интерес

к одному происшествию вытесняется интересом к другому; где рассказчик считает себя обязанным подогревать любопытство слушателей, каковое он имел неосторожность возбудить, то и дело прерывая свой рассказ, и вместо того чтобы занять их внимание разумной последовательностью фактов, напрягает его до предела затейливыми и недостойными уловками. Всяческого порицания заслуживает, на мой взгляд, стремление превращать истории, составляющие единое поэтическое целое, в некие рапсодические загадки и таким образом способствовать порче вкуса. Выбор темы для рассказа я оставляю всецело на ваше усмотрение, но пусть, по крайней мере, его форма докажет нам, что мы находимся в хорошем обществе. Предложите нам для начала историю с небольшим числом лиц и событий, складно сочиненную и обдуманную, правдоподобную, естественную и не слишком низменную; пусть действия в ней будут ровно столько, сколько необходимо, да и правоучения — не более того; это должна быть история, которая не стоит неподвижно, не топчется на месте, но и не летит сломя голову; история, в которой люди являются нам такими, какими мы хотели бы их видеть: не совершенными, но добрыми, не исключительными, но интересными и приятными. Пусть ваша история будет занимательна, пока вы ее рассказываете, оставит у нас чувство удовлетворения, когда вы ее окончите, и заронит в нас желание время от времени над нею призадуматься.

— Не знай я вас так хорошо, милостивая государыня, — ответил священник, — я мог бы вообразить, что этими высокими и строгими требованиями вы вознамерились совершенно обесценить мой товар еще до того, как я успею показать вам какой-либо его образчик. Как трудно удовлетворить ваш спрос при таком мериле! Даже в настоящую минуту, — продолжал он, немного подумав, — вы принуждаете меня отложить рассказ, который я было наметил, до другого раза, но не знаю, не сделаю ли я второпях промашку, если с места в карьер примусь рассказывать одну старую историю, которая, правда, всегда первой приходит мне на ум.

В одном приморском городе Италии жил некогда купец, с юных лет отличавшийся умом и деловитостью. Был он к тому же и отличным мореходом и нажил большие богатства тем, что сам водил корабли в Александрию, где закупал или выменивал ценные товары, которые затем с выгодой перепро-

давал у себя дома или отправлял дальше, в северные страны Еврспы. Состояние его год от году все росло, тем более что в торговле он находил для себя наивысшую радость, и у него совсем не оставалось времени для дорогостоящих развлечений. Так в неустанной деятельности дожил он до пятидесяти лет, почти не ведая тех шумных удовольствий, коими услаждают себя мирные граждане; столь же мало, при всех достоинствах его соотечественниц, привлекал его и прекрасный пол, если не считать того, что он превосходно изучил женскую страсть к нарядам и украшениям и умел при случае с выгодой ею пользоваться.

Можно представить себе, сколь мало был он подготовлен к той перемене, которой суждено было совершиться в его душе, когда однажды его тяжело груженное судно бросило якорь в порту его родного города, и не в какой-либо обычный день, а в день ежегодного праздника, посвященного детям.

После богослужения мальчики и девочки высыпали на улицы, обряженные в самые разнообразные костюмы, — они выступали в процессиях или ватагой носились по городу, чтобы затем собраться на большом лугу и принять участие во всевозможных играх, где они могли показать свое искусство и ловкость и в честном состязании завоевать установленные для этого скромные призы.

Вначале наш моряк испытывал удовольствие, присутствуя на этом празднике, однако чем дольше он наблюдал безудержное веселье детей и восторг родителей и видел стольких людей, чьи лица освещала радость настоящего и приятнейшая из всех надежд на будущее, тем отчетливее сознавал он, обращаясь мыслями к самому себе, свое крайнее одиночество. Впервые ему стало неуютно в пустых покоях его большого дома, и он принялся винить во всем самого себя.

«О я, несчастный! Для чего так поздно открылись у меня глаза? Для чего только к старости распознал я те блага, кои единственно делают человека счастливым? Столько трудов, столько пережитых опасностей — что принесли они мне? Да, мои подвалы ломятся от товаров, сундуки полны благородных металлов, а шкафы — сокровищ и драгоценных украшений, но душу мою все эти богатства не могут ни возвеселить, ни насытить. Чем больше я их накапливаю, тем больше требуют они себе подобных: одна драгоценность тянет за собою другую, одна золотая монета — вторую. Они не признают во мне своего повелителя, а наперерыв кричат: «Ступай скорее, неси еще, чтобы нашего полку прибыло!» Золото радуется только

золоту, драгоценные камни — таким же камням. Так они помыкали мною в течение всей моей жизни, и слишком поздно я понял, что все это богатство не приносит мне радости. Увы! Лишь теперь, когда я уже в годах, начинаю я задумываться и говорю себе: ты не пользуешься этими сокровищами, да и после тебя некому будет ими пользоваться! Разве ты хоть раз надел эти уборы на любимую женщину? Дал их в приданое за любимой дочерью? Помог сыну привлечь и привязать к себе сердце достойной девушки? Нет, никогда! Из всего твоего достояния ты, в сущности, не владел ничем и никто из твоих, а все, что ты с такими муками скопил, после твоей смерти пустит по ветру какой-нибудь повеса.

О, сколь не похожи на меня те счастливые родители, что сегодня вечером соберут возле себя за столом своих детей, будут хвалить их за ловкость и побуждать к хорошим поступкам! Какую радостью светились их глаза и какими надеждами цветет для них настоящее! Ну а я, я сам разве не вправе питать еще какую-нибудь надежду? Разве я уже немощный старец?

Разве нельзя наверстать упущенное, пока моя жизнь еще не клонится к закату? Нет, в моем возрасте вовсе не безрасудно помышлять о сватовстве; при таком богатстве я могу взять за себя достойную женщину и сделать ее счастливой, а если мне доведется обзавестись детьми, то эти поздние плоды принесут мне больше улады, нежели тем, кому небо дарует их слишком рано, так что нередко они оказываются в тягость и только вносят в жизнь смятение».

Едва он таким образом утвердился в своем намерении, как призвал к себе двух своих друзей-моряков и рассказал им обо всем. Эти его помощники, привыкшие всегда ему угождать, и на сей раз не подвели и тут же пустились на поиски самых молодых и красивых девушек в городе. Ибо раз уж их патрон пожелал заполучить этот товар, надобно было отыскать и доставить ему самый что ни на есть лучший.

Он и сам, как и его посланцы, не терял времени даром. Он ходил, расспрашивал, смотрел и слушал и вскоре нашел то, что искал, в лице девушки, в то время заслуженно слышней первой красавицей в городе, — она была шестнадцати лет от роду, хорошо сложена, воспитанна, и ее приятная наружность и нрав, казалось, сулили ему счастье.

После недолго длившихся переговоров, обеспечивших красавице самое выгодное положение как при жизни мужа, так и после его смерти, справили свадьбу с величайшей широтой



и пышностью, и с того дня наш купец впервые почувствовал себя истинным хозяином и обладателем своих богатств. Теперь он с радостью облакал прекрасное тело жены в самые красивые и роскошные материи; драгоценности совсем по-другому сверкали на груди и в волосах его возлюбленной, нежели прежде в ларцах, а кольца становились поистине бесценными благодаря руке, на которой они красовались.

И вот отныне он казался себе богаче прежнего, оттого что богатства словно ожили и умножились, найдя себе применение. Почти год прожили супруги в полнейшем согласии, и наш купец как будто бы навсегда променял свою тягу к деятельному и подвижному существованию на мирный уют домашнего очага. Однако старые привычки так скоро не искоренишь, и уж коли мы с юных лет избрали себе какое-то направление, то можем лишь на время от него отклониться, но не пресечь его навсегда.

Так и наш купец, видя, как другие отплывают на кораблях или входят в гавань, вновь ощущал в себе зов прежней своей страсти и даже дома, рядом с женой, испытывал иногда беспокойство и неудовлетворенность. Это желание постепенно крепло в нем и под конец вылилось в такую тоску, что он почувствовал себя до крайности несчастным и на самом деле захворал.

«Что же теперь со мной будет? — сказал он себе однажды. — Теперь-то придется мне узнать, сколь безрассудно под старость менять привычный уклад своей жизни. Как можем мы изгнать из своих мыслей, да и из самого своего тела, те чувства и стремления, что всегда владели нами? И на кого я похож теперь, я, любивший прежде воду, как рыба, а вольный воздух, как птица, а ныне сидящий взаперти со всеми своими богатствами и с венцом всех сокровищ — моей юной красавицей женой? Вместо того чтобы, как я надеялся, обрести счастье и насладиться своим богатством, я чувствую, что, ничего не приобретая вновь, словно бы все теряю. Несправедливо называют безумцами людей, которые неутомимой деятельностью стремятся умножить свои богатства, ибо деятельность — это и есть счастье, и для того, кто способен ощутить радость нескончаемого стремления, богатство ничего не стоит. Без дела я чувствую себя несчастным, без движения — больным, и ежели я не приму какого-то решения, то вскоре окажусь на пороге смерти.

Правда, оставлять в одиночестве молодую прелестную жену — дело рискованное. Разве это порядочно — добиваться

руки очаровательной и пылкой девушки, а спустя короткое время оставить ее одну, во власти скуки, неудовлетворенных чувств и желаний? Разве не прогуливаются уже теперь под моими окнами разряженные молодые люди? Разве не пытаются они уже теперь, в церкви или в саду, обратить на себя внимание моей женушки? Что же начнется тут, когда я уеду? Могу ли я верить в то, что моя жена чудом спасется? Нет, безрассудно было бы полагать, что в ее возрасте, при ее красоте она станет воздерживаться от любовных утех.

Стоит мне уехать, и по возвращении я узнаю, что утратил любовь жены, а вместе с ее верностью — честь своего дома».

Оттого что он некоторое время терзал себя подобными мыслями и сомнениями, болезненное состояние, в коем он пребывал, до крайности ухудшилось. Его жена, родные и друзья были в отчаянии, не догадываясь о причине его болезни. В конце концов он еще раз призвал на помощь свой разум и, поразмыслив, воскликнул: «Безумец! Терпишь такие страдания, чтобы уберечь жену, которую ты все равно, если болезнь твоя не пойдет на убыль, после смерти оставишь другому. Разве не лучше и не разумнее будет ради сохранения собственной жизни рискнуть тем, что считается самым дорогим сокровищем женщины? Сколь многим мужчинам не удастся даже присутствием своим предотвратить потерю этого сокровища, и они покорно обходятся без того, что не могли сберечь. Неужели у меня не останется мужества самому отказаться от этого блага, раз от моего решения зависит, буду я жить или умру?»

Дойдя до этой мысли, он воспрял духом и велел позвать своих друзей-моряков. Им он приказал зафрахтовать, как обычно, судно и держать все наготове, чтобы при благоприятном ветре можно было сразу выйти в море. Жене своей он сказал следующее:

«Не удивляйся, заметив в доме суету, по которой можно заключить, что я собираюсь в отъезд. И пусть тебя не печалит, когда я признаюсь тебе, что снова намерен отправиться за море. Я люблю тебя по-прежнему и буду неизменно любить до конца своих дней. Я умею ценить то счастье, какое познал с тобою, но я буду ощущать его еще полнее, если мне не придется столь часто втайне упрекать себя в бездеятельности и лени. Во мне просыпается прежняя страсть, и старая привычка вновь берет надо мною верх. Позволь мне снова побывать на александрийском базаре, который я теперь буду обходить с большим рвением, ибо я надеюсь приобрести там для тебя самые дорогие ткани и самые редкостные драгоцен-

ности. Я оставляю тебя хозяйкой всех моих товаров и всего моего достояния, пользуйся им и коротай время с твоими родными и близкими. Срок нашей разлуки минует быстро, и мы встретимся опять с еще большею радостью».

Проливая слезы, любезная супруга осыпала его нежнейшими упреками; заверила, что без него ей не знать ни одного светлого часа, но раз уж она не может его удержать и не вправе стеснять его свободу, то умоляет почаще вспоминать о ней, находясь вдали от дома.

Поговорив с женой о некоторых своих торговых и домашних делах, он, после недолгого молчания, сказал:

«У меня есть еще кое-что на сердце, и позволь мне быть с тобой откровенным, только я самым искренним образом тебя прошу не счесть мои слова за обиду, а увидеть и в самой моей тревоге вернейшее доказательство моей любви».

«Я догадываюсь, — отвечала красавица, — ты тревожишься за меня, ибо, как заведено у мужчин, считаешь наш пол слабым и беспомощным. Ты знал меня всегда молодой и веселой, а потому полагаешь, что в твое отсутствие я окажусь легкомысленной и поддамся соблазну. Я не порицаю тебя за подобный образ мыслей, так как он свойствен мужчинам, но я лучше знаю свое сердце и смею тебя заверить, что на меня не так-то легко сделать впечатление, и никакое впечатление не может воздействовать на меня столь сильно, чтобы совратить с пути, коим я шла до сих пор, — с пути любви и долга. Не тревожься: по возвращении ты найдешь свою жену такой же верной и нежной, какую находил ее по вечерам, когда после недолгой отлучки вновь возвращался в мои объятия».

«Я верю в искренность твоих чувств, — отвечал ей супруг, — и прошу тебя сохранять их и впредь. Но давай подумаем и о крайних случаях, почему бы нам с тобой их не предусмотреть? Ты знаешь, как сильно притягиваешь к себе своей красотой и грацией взоры молодых людей нашего города, в мое отсутствие они будут осаждать тебя еще настойчивей, всеми способами будут они пытаться приблизиться и даже понравиться тебе. Не всегда образ твоего супруга будет отгонять их от твоих дверей и твоего сердца, как ныне отгоняет его присутствие. Ты доброе и благородное дитя, но природа заявляет о себе требовательно и властно, ее притязания все время борются с нашим рассудком и обыкновенно одерживают над ним победу. Не перебивай меня. В мое отсутствие, даже сохраняя мне верность в душе, ты, несомненно, будешь испытывать вождеделение, которым женщина привлекает к себе

мужчину и которое влечет ее к нему. Какое-то время я буду составлять предмет твоих желаний, но кто знает, как сложатся обстоятельства, какой подвернется случай, и вот в действительности другой пожнет то, что в твоём воображении предназначалось мне. Имей терпение, прошу тебя, и выслушай меня.

Ежели случится такая оказия, хоть ты и отрицаешь ее возможность, а я отнюдь не стремлюсь ускорить,— когда ты не сможешь больше обходиться без общества мужчины и без утех любви, то обещай мне одно: что ты не выберешь моим заместителем кого-либо из этих вертопрахов, которые при всей своей привлекательности еще более опасны для чести женщины, чем для ее добродетели. Больше из тщеславия, нежели по влечению сердца, готовы они увиваться вокруг каждой, и для них нет ничего проще, чем бросить одну ради другой. Ежели ты почувствуешь склонность завести себе друга, то поиди человека, который был бы достоин этого имени и своею скромностью и молчанием умел бы упрочить радости любви благодетельной тайной».

Тут молодая женщина не могла больше скрывать обиду, которую до сих пор сдерживала, и слезы брызнули у нее из глаз.

«Что бы ты обо мне ни думал,— вскричала она, бросаясь ему на шею,— все же ничто мне так не чуждо, как преступление, каковое ты, видимо, считаешь неизбежным. Пусть земля разверзнется и поглотит меня и пусть я буду лишена всякой надежды на вечное блаженство, каковое сулит нам столь радостное продолжение нашего существования, если у меня хоть когда-нибудь возникнет и самая мысль о прелюбодеянии! Очисти свою душу от недоверия и оставь мне лишь незамутненную надежду вскорости вновь заключить тебя в мои объятия!»

Успокоив, как только мог, жену, наш купец на другое утро сел на корабль; плавание его было благополучным, и вскоре он прибыл в Александрию.

Тем временем жена его жила, наслаждаясь всеми благами и удобствами, кои дарует большое богатство, однако весьма уединенно и обыкновенно не виделась ни с кем, кроме своих родных и близких; меж тем как торговые дела мужа вели его верные слуги, сама она занимала большой дом и, расхаживая по его роскошно убранным комнатам, ежедневно с любовью и удовольствием вспоминала своего мужа.

Но, как ни скромно она держалась и как ни уединенно жила, молодые люди в городе не теряли времени даром. Они

не упустили случая пройтись взад-вперед под ее окнами, а по вечерам старались привлечь ее внимание музыкой и пением. Прекрасная отшельница вначале находила эти домогательства докучными и тягостными, однако вскоре к ним привыкла и в долгие вечера с превеликим удовольствием внимала серенадам, не заботясь о том, кто их исполняет, и нередко у нее при этом вырывался вздох тоски по уехавшему супругу.

Вместо того чтобы ее поклонники, как она надеялась, устав от напрасных трудов, понемногу отказывались от своих притязаний, они, напротив того, умножали свои усилия и запасались терпением. Теперь ей было уже нетрудно узнать одни и те же голоса и музыкальные инструменты, повторяющиеся из вечера в вечер мелодии, и она не могла больше сдерживать своего любопытства, выяснить, кто же эти незнакомцы, и особенно, кто самые упорные из них. Могла же она для времяпрепровождения проявить такой интерес.

Поэтому она стала время от времени сквозь занавески и неплотно прикрытые ставни поглядывать на улицу, примечать прохожих, и в особенности мужчин, которые дольше других не спускали глаз с ее окон. Это были большею частью хорошо одетые молодые люди, однако в их поведении, да и во всем их облике замечалось столько же легкомыслия, сколько тщеславия. Похоже было на то, что своим пребыванием возле дома красавицы им больше хочется привлечь внимание к себе, нежели выказать ей свое восхищение.

«В самом деле,— с улыбкой говорила она себе время от времени,— у моего мужа явилась неглупая мысль! Условие, при котором он позволяет мне завести любовника, исключает всех тех, что сейчас увиваются вокруг меня и вполне могли бы мне понравиться. Он прекрасно знает, что ум, скромность и неразговорчивость — суть свойства более спокойного возраста, и хотя разум наш воздает им должное, они не могут ни всколыхнуть наше воображение, ни затронуть наши чувства. Что касается тех, кто осаждают мой дом своими учтивостями, то я уверена, что они не вызывают доверия, а тех, кого я могла бы удостоить своим доверием, я ни в малейшей степени не нахожу привлекательными».

Убаюкивая себя этими мыслями, она все смелее предавалась удовольствию внимать музыке и глядеть на проходивших мимо юношей, и незаметно для нее самой в ее груди стало расти беспокойное желание, но слишком поздно вздумала она ему противиться. Одиночество и праздность, покойная, удобная жизнь при полном достатке были той питательной средой,

в которой и должна была зародиться безрассудная страсть, — еще прежде, чем милая девочка успела об этом подумать.

Она теперь все больше восхищалась, хотя и тихо вздыхала про себя, достоинствами своего супруга, присущим ему знанием света и людей и особенно женского сердца. «Значит, то, что я так горячо оспаривала, все же оказалось возможным, — говорила она себе, — и значит, все же было необходимо присоветовать мне на подобный случай осторожность и благоразумие! Но что могут осторожность и благоразумие поделывать там, где немилосердный случай словно бы играет с нашими смутными желаниями? Как могу я избрать человека, если я его не знаю, и разве более близкое знакомство оставляет возможность выбора?»

Этими и сотнями подобных мыслей красавица лишь усугубляла зло, которое уже пустило корни в ее душе. Напрасно пыталась она рассеяться, — все приятное возбуждало в ней чувства, а чувства даже в полном одиночестве вызывали в ее воображении прельстительные картины.

В таком состоянии находилась она, когда наряду с другими городскими новостями узнала от родных, что некий молодой правовед, учившийся в университете в Болонье, только что возвратился в свой родной город. Им просто не могли нахвалиться. Обладая выдающимися познаниями, он выказывал ум и искусство, обычно не свойственные таким молодым людям, и при весьма привлекательной наружности — величайшую скромность. Сделавшись прокуратором, он вскоре снискал доверие граждан и уважение судей. Он ежедневно являлся в ратушу, чтобы заниматься там своими делами и бумагами.

Красавица слушала описание столь совершенного человека, и в ней зарождалось желание свести с ним знакомство поближе и затаенная надежда найти в нем того, кому она, согласно предписанию мужа, могла бы отдать свое сердце. Как вострепнулась она, услышав, что он ежедневно ходит мимо ее дома, и как старалась не пропустить тот час, когда в ратуше начиналось присутствие. Не без волнения увидела она, как он наконец идет мимо, но если его молодость и красота имели для нее несомненную притягательную силу, то, с другой стороны, его скромность наводила ее на размышления.

Несколько дней она исподтишка его наблюдала и в конце концов не могла больше противиться желанию обратить на себя его внимание. Принарядившись, она вышла на балкон, и у нее забилось сердце, когда она увидела его идущим по улице. Но как же была она опечалена, даже пристыжена, когда

он, по своему обыкновению, погруженный в себя, уставив глаза в землю, степенной походкой прошествовал мимо, вовсе ее не заметив.

Напрасно пыталась она несколько дней кряду таким же способом привлечь его внимание. Он, как и в первый день, шел своим путем, не поднимая глаз и ни на что не глядя. Но чем больше она присматривалась к нему, тем больше убеждалась в том, что он и есть тот человек, которого так жаждет ее душа. Ее влечение к нему крепло с каждым днем, и, поскольку она ему не противилась, в конце концов стало неодолимым.

«Как! — сказала она себе, — после того, что мой благородный и мудрый супруг предсказал, в каком состоянии окажусь я в его отсутствие, и теперь, когда сбывается его предсказание, что я не смогу жить без друга и избранника, — теперь мне приходится тосковать и чахнуть в тот самый миг, когда счастье указало мне юношу, вполне отвечающего моим желаниям, юношу, с коим я могу вкушать радость любви под покровом непроницаемой тайны? Глупец, кто упускает свой случай, глупец, кто вздумает противиться всевластной любви!»

С помощью таких и подобных мыслей пыталась красавица утвердиться в своем намерении и лишь очень недолгое время колебалась, терзаемая сомнениями. Под конец же, как бывает, когда сильная страсть, которой мы долго противоборствовали, вдруг всецело завладевает нами и внушает нам такую решимость, что мы с презрением, как ничтожные препятствия отбрасываем тревогу и страх, стыд и сдержанность, долг и обязанность, она внезапно приняла решение послать к любимому служившую у нее девушку и соединиться с ним, чего бы ей это ни стоило.

Девушка поспешила к нему и, застав его за столом вместе с несколькими друзьями, слово в слово передала ему приветствие, которому ее научила хозяйка. Молодой прокуратор ничуть не удивился этому посланию: в юные годы он знал купца, знал, что сейчас он в отъезде, и хотя лишь смутно слышал о его женитьбе, предположил, что одинокой женщине в отсутствие мужа, возможно, понадобился совет юриста в каком-нибудь важном деле. Поэтому он самым любезным образом ответил девушке и заверил ее, что, как только они встанут из-за стола, он не замедлит нанести визит ее госпоже. С несказанной радостью услышала красавица, что вскоре она увидит возлюбленного и сможет с ним говорить. Она поспешила как можно лучше одеться и приказала навести во всем доме и в ее комнатах безукоризненную чистоту и порядок.

Всюду были рассыпаны цветы и померанцевые листья, а диван устлан драгоценными коврами. Таким образом, короткое время ожидания было заполнено хлопотами, без чего оно показалось бы ей невыносимо долгим.

С каким волнением вышла она к нему навстречу, когда он наконец явился, с каким смущением пригласила сесть на табурет, стоявший тогда подле кушетки, на которую она опустилась сама! Очутившись рядом с ним, о чем она так мечтала, красавица потеряла дар речи; она не подумала заранее о том, что хочет ему сказать; да и он сидел перед ней молчаливый и сдержанный. Наконец она решилась и заговорила без тревоги и стеснения;

«Вы, сударь, только недавно воротились в свой родной город, но вас уже повсюду знают как одаренного и надежного человека. И я тоже хочу довериться вам по одному важному и необычному делу, какое, ежели хорошенько подумать, скорее следует поведать духовнику, нежели стряпчему. Вот уже год, как я замужем за достойным и богатым человеком, и пока мы с ним жили вместе, муж неизменно оказывал мне внимание, и у меня не было бы причин на него сетовать, если бы беспокойное стремление разъезжать по торговым делам не вырвало его недавно из моих объятий.

Человек разумный и справедливый, он чувствовал, сколь несправедливо поступает, надолго покидая меня. Он понимал, что молодую женщину нельзя хранить, словно жемчуг и драгоценности; ее скорее можно сравнить с пышным садом, изобилующим прекрасными плодами, которые не достанутся ни хозяину, ни кому-либо другому, если он вздумает на несколько лет запереть туда вход. Вот почему перед своим отъездом он повел со мной серьезный разговор и уверил меня, что я не смогу жить без друга, и не только дал мне на то свое соизволение, но и настаивал на этом и взял с меня слово, что буду я почувствовать к кому-то влечение, то я вправе последовать ему свободно и без колебаний».

На мгновение она умолкла, но многообещающий взгляд молодого человека придал ей смелости, и она продолжала свое признание.

«Только одно условие прибавил мой муж к своему столь необыкновенно снисходительному разрешению. Он советовал мне быть крайне осторожной и решительно потребовал, чтобы я избрала себе в качестве друга человека степенного, умного и неболтливового. Избавьте меня, сударь, от дальнейших признаний, избавьте от смущения, с каким бы я стала заверять.



вас в моем расположении, моем доверии к вам, и догадайтесь сами, на что я надеюсь и чего желаю».

После недолгого молчания любезный молодой человек ответил ей весьма обдуманно и осторожно.

«Я глубоко признателен вам за высокое доверие, коим вы меня отличили и осыпали. Всем сердцем спешу убедить вас, что вы не обратились к недостойному. Но позвольте мне сперва ответить вам, как законоведу: в качестве такового я не могу не восхищаться вашим супругом, который сполна почувствовал и понял свою вину перед вами, ибо не подлежит сомнению, что человек, покидающий свою молодую жену ради того, чтобы посетить чужеземные страны, должен рассматриваться как лицо, пренебрегшее другим, драгоценнейшим своим имуществом, тем самым как бы отказавшееся от всяких прав на таковое. Первый встречный в подобном случае вправе завладеть оставленной без присмотра вещью; а посему, как не считать естественным и справедливым, если молодая женщина, очутившаяся в таком положении, подарит кому-то свое сердце, без раздумий отдастся другу, которого сочтет приятным и надежным.

Когда же, как в вашем случае, сам супруг, сознавая совершаемую им несправедливость, в недвусмысленных выражениях разрешил своей жене то, чего не мог ей запретить, то сомнения и вовсе отпадают, тем более что такой поступок не будет несправедлив по отношению к тому, кто добровольно на него согласился.

И если вы теперь,— продолжал молодой человек, проникновенным голосом и с живейшим сочувствием во взоре, взяв за руку свою прекрасную собеседницу,— избрали меня своим слугою, вы тем самым приобщаете меня к блаженству, о котором я не смел и подумать. Будьте уверены,— вскричал он, целуя ей руку,— что вы не могли бы сыскать себе слугу более преданного, нежного, верного и молчаливого!»

Какое успокоение почувствовала, услышав это, прекрасная женщина! Она уже не стыдилась откровенно выказать ему свою нежность — пожимала руки и, придвинувшись к нему, положила голову ему на плечо. Но так продолжалось недолго: молодой человек нежно от нее отстранился и заговорил с заметным огорчением:

«Может ли человек оказаться в более странных обстоятельствах? Я вынужден с вами расстаться, учинив над собою величайшее насилие, расстаться в тот миг, когда мог бы предаться самым сладким чувствам. Я не смею в это мгновение

насладиться тем счастьем, которое ждет меня в ваших объ-  
ятях. Ах! Только бы отсрочка не заставила меня обмануться  
в моих радужных надеждах!»

Красавица в испуге спросила о причине его странного  
заявления.

«В то самое время, когда я заканчивал курс в Болонье,—  
отвечал он,— и, не щадя своих сил, старался как можно луч-  
ше подготовиться к предстоящей мне деятельности, на меня  
напала тяжкая болезнь, грозившая если не вовсе лишить  
меня жизни, то основательно подорвать мои телесные и ду-  
ховные силы. Находясь в самом бедственном положении и  
терпя жесточайшие муки, я дал обет богоматери целый год  
провести в строгом воздержании от каких бы то ни было удо-  
вольствий, если пречистая исцелит меня. Вот уже десять меся-  
цев, как я неукоснительно соблюдаю свой обет, и в сравне-  
нии с оказанным мне величайшим благодеянием этот срок не  
показался мне слишком долгим; было не так уж трудно отреш-  
иться от многих житейских благ, уже вошедших в привыч-  
ку. Но какими бесконечными покажутся мне оставшиеся два  
месяца, по истечении которых я смогу наслаждаться счастьем,  
превосходящим всякое воображение. Постарайтесь же и вы  
как-нибудь скоротать это время, не лишая меня той милости,  
к которой вы меня удостоили».

Красавица, не слишком обрадованная словами своего из-  
бранника, все же несколько воспряла духом, когда он, немно-  
го подумав, продолжал:

«Я едва осмеливаюсь сделать вам одно предложение, ука-  
зав на средство, способное досрочно разрешить меня от  
возложенного на себя обязательства. Если б нашелся человек,  
согласный выдерживать обет столь же строго и твердо, как я,  
и разделил со мной пополам оставшийся мне срок, то я мог  
бы тем скорее освободиться, и тогда ничто уже не препятст-  
вовало бы осуществлению наших желаний. Не согласились бы  
вы, дорогая моя подруга, устранить часть препятствий, стоя-  
щих у нас на пути, и тем ускорить наше счастье? Только на  
самого надежного человека могу я переложить часть моего  
обета; он очень суров, ибо мне дозволено лишь дважды в  
день вкушать пищу — хлеб и воду, всего несколько часов спать  
ночью на жестком ложе и, несмотря на множество дел, как  
можно чаще творить молитву. И ежели мне не удастся уклон-  
иться от участия в каком-нибудь пиршестве, как случилось  
сегодня, то и тогда я не вправе нарушить свой долг, а напро-  
тив того, должен противостоять соблазну отведать те яства,

которыми меня прельщают. Ежели вы можете решиться в течение месяца также придерживаться этих установлений, то на исходе его вы тем радостнее соединитесь с вашим другом, в сознании, что завоевали его сами своим достохвальным подвигом».

Красавица с неудовольствием услышала о препятствиях, стоящих между нею и ее возлюбленным, но страсть к молодому человеку от его присутствия настолько усилилась, что никакое испытание не казалось ей чересчур суровым, лишь бы оно привело к обладанию вожделенным благом. А посему она сказала ему в самых ласковых выражениях:

«Мой нежный друг! Чудо, благодаря которому вы исцелились, и для меня столь дорого и свято, что я охотно вменю себе в долг разделить с вами обет, который вы обязались исполнить. Я рада дать вам такое доказательство моей любви; я буду строжайшим образом придерживаться ваших предписаний, и ничто не заставит меня свернуть с пути, на который вы меня наставили, до тех пор, пока вы сами не дадите мне разрешения».

Обсудив с ней подробнейшим образом условия, при которых она должна была наполовину облегчить ему исполнение обета, он ушел с заверениями, что вскоре непременно посетит ее снова, чтобы удостовериться в неукоснительном соблюдении уговора; так вот и пришлось ей отпустить его без рукопожатия, без поцелуя, без ободряющего прощального взгляда. Счастьем для нее явились хлопоты, вызванные этим необыкновенным уговором,— ей надо было многое сделать, дабы полностью переменить свой образ жизни. Сперва были выметены роскошные цветы и листья, которые она приказала разбросать к его приходу; затем мягкая и удобная кровать была заменена жесткой скамьей, на которую она и улеглась, впервые в жизни не досыта поужинав водой и хлебом. На другой день она принялась кроить и шить рубашки, так как обещала изготовить определенное их количество для дома призрения. При этом новом и непривычном для нее занятии она тешила свои мечты образом любимого друга и надеждою на будущее блаженство; благодаря этим сладостным картинам скудная пища оказывалась для нее чем-то вроде укрепляющего сердце лекарства.

Так миновала неделя, и к концу ее розы на щеках красавицы заметно поблекли. Платья, прежде плотно облегавшие ее, стали ей широки, а ее столь подвижное и крепкое тело — вялым и слабым. Но тут к ней снова явился ее возлюбленный

и одним своим присутствием ее утешил и подбодрил. Он призвал ее не сходить с раз избранного пути, а в твердости брать с него пример и поманил надеждой на неомраченное счастье в будущем. Пробыв у нее совсем недолго, он ушел, пообещав вскоре прийти снова.

И опять закипела благотворительная работа, и в строгой диете не допускались никакие поблажки. Но увы! И самая тяжелая болезнь не могла бы изнурить ее больше. Друг, навестивший ее к концу второй недели, глядел на нее с величайшим состраданием, но вновь поддержал ее силы, напоминая, что половина срока уже миновала.

Однако непривычный образ жизни — пост, молитвы, работа — становился для нее с каждым днем все тягостнее, а доведенное до крайности воздержание, казалось, совершенно обессилило ее тело, привыкшее к покою и к обильной пище. Под конец красавица едва держалась на ногах и принуждена была, несмотря на жаркое время года, кутаться в теплые одежды, чтобы как-то согреть свое стынущее тело. Более того, она уже не могла передвигаться и последние дни искуса не покидала постели.

Каким только размышлениям не предавалась она в эти дни! Как часто перед ее мысленным взором проходило все с нею приключившееся, и как обидно ей было, что за целые десять дней ее друг ни разу к ней не пришел, — а разве не для него она приносила такие великие жертвы! И все же в эти тяжкие часы подготавливалось ее полное выздоровление, да оно, собственно, уже и состоялось. Ибо когда вскоре за тем явился ее друг и, усевшись возле ее постели на тот самый табурет, на котором он выслушал ее первое признание, стал ласково, даже нежно утешать ее перетерпеть оставшееся короткое время, она с улыбкой прервала его и сказала:

«Не надо больше меня уговаривать, дорогой друг, я буду исполнять свой обет в течение этих нескольких дней терпеливо, в убеждении, что вы возложили его на меня ради моей же пользы. Я теперь слишком слаба, чтобы выразить всю благодарность, какую я вам обязана. Вы сберегли меня для меня же самой, вы возвратили меня к своей суги, и я живо сознаю, что отныне обязана вам и самым моим существованием.

Поистине, мой муж был рассудителен и мудр и хорошо знал сердце женщины; он был достаточно справедлив, чтобы не корить ее за влечение, которое по его вине могло бы в ней зародиться; он был достаточно великодушен, чтобы поступиться своими правами перед велениями природы. Но и вы,

милостивый государь, добры и разумны: вы помогли мне понять, что, кроме плотского влечения, в нас есть еще нечто, могущее создать ему противовес; что мы способны отречься от любого привычного нам блага и даже противоборствовать самым пылким своим желаниям. Вы заставили меня пройти эту школу, прибегнув к обману и радужным надеждам, но ни того ни другого больше не требуется, когда мы наконец-то познали то доброе и могучее «я», что тихо и молчаливо живет в нас, пока не обретет власти в доме или по меньшей мере не даст знать о своем присутствии нежными напоминаниями. Прощайте! Ваша подруга будет впредь с удовольствием с вами видеться; влияйте на своих сограждан, как повлияли на меня: не распутывайте одни только узлы, что так легко завязываются вокруг имущественных состояний, но покажите им также мягкими наставлениями и собственным примером, что в каждом человеке затаенно живет тяга к добродетели; наградой вам будет всеобщее уважение, и вы более, чем первое лицо в государстве и самый прославленный герой, заслужите прозвание отца отечества».

— Вашего прокуратора нельзя не похвалить,— сказала баронесса,— он повел себя умно, тактично, находчиво и наставительно, такими должны быть все, кто хочет удержать нас от ошибок или вернуть на праведный путь. Поистине, этот рассказ прежде многих других заслуживает название морального рассказа. Предложите нам еще несколько подобных историй, нашей компании они, несомненно, доставят удовольствие.

Старик. Хоть мне и приятно, что эта история снискала ваше одобрение, я все же огорчен, что вы ждете от меня других моральных рассказов, ибо этот у меня и первый и последний.

Луиза. Вряд ли вам делает честь, что в вашей коллекции нашелся всего лишь один рассказ высоко нравственного содержания.

Старик. Вы неверно меня поняли. Это не единственная моральная история, какую я мог бы рассказать, но все они так похожи друг на друга, что кажется, будто ты говоришь об одном и том же.

Луиза. Пора уж вам наконец отвыкнуть от ваших парадоксов; они только сбивают с толку. Нельзя ли изъясняться попроще?

**Старик.** С величайшим удовольствием. Лишь тот рассказ заслуживает название морального, который показывает нам, что человек способен поступать вопреки своему влечению, когда он видит перед собой высокую цель. Этому-то и учит нас мною рассказанная, да и всякая другая моральная история.

**Луиза.** Значит, чтобы поступать морально, я должна поступать вопреки своему влечению?

**Старик.** Да.

**Луиза.** Даже если это доброе влечение?

**Старик.** Никакое влечение само по себе не может быть добрым, добрым оно бывает, лишь поскольку оно порождает добро.

**Луиза.** А если человеком владеет влечение к благотворительности?

**Старик.** Значит, надо себе воспретить и благотворительность, когда заметишь, что этим разорешь собственный дом.

**Луиза.** А если постоянно испытываешь непреодолимое влечение к благодарности?

**Старик.** Природа уж позаботилась о том, чтобы благодарность никогда не стала безотчетным влечением человека. Но допустим, все же стала, так и в этом случае уважения заслужит лишь тот, кто скорее выкажет себя неблагодарным, чем из любви к благодетелю совершит постыдный поступок.

**Луиза.** Значит, моральных историй все-таки может быть бесчисленное множество.

**Старик.** В этом смысле — конечно! Но все они скажут нам не больше того, что сказал мой прокуратор; поэтому единственной в своем роде моя история может быть названа только по духу; материя же — тут вы правы! — может быть самой разнообразной.

**Луиза.** Ежели бы вы сразу выразились точнее, у нас бы и спора не было.

**Старик.** Но не было бы и разговора. Путаница и недоразумения — источники деятельной жизни и беседы.

**Луиза.** И все же я не могу с вами полностью согласиться. Когда храбрый человек, рискуя собственной жизнью, спасает других — разве это не моральный поступок?

**Старик.** Я бы его таким не назвал. Но когда трусливый человек преодолевает свой страх и делает то, о чем вы говорите, — вот это будет моральный поступок.

**Баронесса.** Я просила бы вас, дорогой друг, дать нам еще несколько примеров и пока что больше не вести с Луизой

теоретических споров. Разумеется, прирожденное влечение к добру в душе человека нас не может не радовать. Но нет на свете ничего более прекрасного, как влечение, направляемое разумом и совестью. Если у вас в запасе найдется еще одна история в этом роде, мы охотно бы ее послушали. Я очень люблю параллельные истории. Одна указывает на другую и объясняет ее смысл лучше всяких отвлеченных рассуждений.

**Старик.** Я бы мог рассказать целый ряд таких историй, ибо я всегда зорко присматривался к этим свойствам души человеческой.

**Луиза.** Я только прошу об одном. Признаюсь, что не люблю историй, которые переносят нас в чуждые страны. Почему все должно непременно случаться в Италии, в Сицилии или на Востоке? Разве Неаполь, Палермо и Смирна — единственные места, где может происходить что-нибудь интересное? Пусть место действия волшебных сказок переносится в Самарканд или Ормуз, давая пищу нашему воображению. Но ежели вы хотите воздействовать на наши умы и сердца, то познакомьте нас со сценами отечественной семейной жизни, и тогда мы скорее узнаем в них самих себя и, почувствовав себя задетыми, тем тревожнее и растроганнее на них откликнемся.

**Старик.** Постараюсь и в этом вам угодить. Только со «сценами семейной жизни» дело обстоит не так-то просто. Все они похожи одна на другую, и многие из них были уже хорошо разработаны и поставлены у нас на театре. Тем не менее я рискну рассказать вам одну историю — она похожа на то, что вы уже слышали, однако все-таки может оказаться для вас новой и интересной, ибо в ней подробно описано, что происходило в душах всех действующих лиц.

В семьях часто можно заметить, что дети наследуют черты отца или матери, как телесные, так и душевные; но нередко случается и так, что ребенок необычайным и удивительным образом соединяет в себе свойства обоих родителей.

Ярким примером тому явился молодой человек, коего я назову Фердинандом. Сложением своим он напоминал одновременно обоих родителей, и в его характере тоже можно было явственно различить их особые свойства. К нему перешел легкомысленный и веселый нрав отца, его стремление радоваться минуте, а также известная порывистость, заставлявшая его в некоторых случаях думать только о себе. От ма-

тери же он, казалось, унаследовал спокойную рассудительность, чувство правды и справедливости и склонность жертвовать собою ради других. Поэтому нетрудно заключить, что люди, имевшие с ним дело, не могли объяснить его поступки иначе, как прибегнув к предположению, что у этого молодого человека как бы две души.

Я пропускаю множество сцен, случившихся в его юности, и расскажу лишь об одном происшествии, выставляющем в ярком свете его характер и сыгравшем весьма значительную роль в его жизни.

С юных лет он привык жить в достатке, ибо родители его были богаты и вели такой образ жизни и так воспитывали своих детей, как то и подобает состоятельным людям; и если его отец тратил больше, чем надо, на светские развлечения, на карточные игры и модное платье, то мать, отличная хозяйка, умела так ограничивать повседневные расходы, что ей вскоре удавалось восстановить нарушенное равновесие, и семья никогда ни в чем не нуждалась. При этом отец был удачливым купцом, ему везло во многих весьма рискованных спекуляциях, и поскольку он любил вращаться среди людей, то и мог похвалиться обширными и полезными связями.

Дети, натуры неустоявшиеся, обыкновенно выбирают себе в доме примером того, кто в их глазах всего вольней живет и наслаждается. В отце, не отказывающем себе ни в чем, они видят готовый образец, по которому им надлежит строить свою жизнь; и поскольку они довольно рано приходят к такому убеждению, то их помыслы и желания растут несоразмерно возможностям их семьи. И вдруг оказывается, что им во всем чинят препятствия, тем паче что каждое следующее поколение скороспело предъявляет все новые и новые требования, а родители большею частью бывают готовы дать им лишь то, что сами они получали в прежнее время, когда люди жили проще и довольствовались малым.

Фердинанд рос с неприятным чувством, что ему часто недостает того, что он видит у своих товарищей. Он не хотел отставать от других в изяществе одежды, в известной вольности жизни и поведения: он хотел стать таким, как его отец, чей пример постоянно был у него перед глазами и кто казался ему образцом вдвойне,— во-первых, как отец, к которому сын обыкновенно питает особое пристрастие, во-вторых, потому что мальчик видел, что он умеет устроить себе веселую, разгульную жизнь и при этом не теряет всеобщей любви и уважения. Поэтому у мальчика, как нетрудно догадаться, часто



возникали ссоры с матерью, ибо он не желал донашивать отцовские сюртуки, а стремился всегда быть одетым по последней моде. Он быстро подрастал, а запросы его росли еще быстрее, так что, когда ему исполнилось восемнадцать лет, они оказались несоразмерны с его возможностями.

Долгов он до сих пор не делал, ибо мать внушила ему величайшее к ним отвращение и, пытаясь сохранить его доверие, во многих случаях всячески старалась удовлетворить его желания или выручить его из небольших затруднений. К несчастью, в то самое время, когда он, превратясь из мальчика в юношу, стал еще более следить за своей внешностью и, влюбившись в очень красивую девушку, которая вращалась в более высоком обществе, стремился быть не только не хуже остальных, но выделиться, превзойдя их во всем, его мать оказалась более стеснена в расходах по дому, чем когда бы то ни было, и вместо того, чтобы, как всегда, удовлетворить его нужды, принялась взывать к его разуму, его доброму сердцу, его сыновней любви и таким путем, убедив Фердинанда, но отнюдь не переделав, привела его в полное отчаяние.

Он не мог изменить свое существование, не потеряв разом всего, что было ему дороже жизни. С ранней юности врос он в привычный уклад, он мужал вместе со своими сверстниками и не мог теперь порвать ни одной нити, связывавшей его с друзьями, с обществом, с прогулками и удовольствиями, не утратив при этом какого-нибудь школьного товарища, друга детства, нового, особо ценимого знакомого и, что хуже всего,— свою возлюбленную.

Сколь высоко ставил он любимую, легко понять по тому, что она волновала его чувственность и его душу, льстила его тщеславию и самым светлым его надеждам. Одна из самых красивых, очаровательных и богатых девушек города отдавала ему, по крайней мере, в настоящий момент, решительное предпочтение перед многими его соперниками. Она разрешала ему почти что хвастать своим служением ей, и оба словно гордились цепями, которые сами же на себя наложили. И теперь он почитал своим долгом повсюду за нею следовать, тратить на нее и время и деньги и всячески показывать ей, как дорога ему ее милость и как необходимо обладание ею.

Эта привязанность и эти усилия требовали от Фердинанда более значительных трат, чем он делал бы в обычных условиях. Дело в том, что девушка, родители которой были в отъезде, жила на попечении довольно вздорной тетушки, и требовались всевозможные ухищрения и хитроумнейшие уловки,

чтобы вывести в общество Оттилию, служившую украшением любому собранию. Фердинанд всячески изодрался, чтобы доставить ей развлечения, до которых она была большая охотница и которые она же и украшала своим участием.

И как раз в такое время услышать от любимой и высокочтимой матушки, что долг призывает его к другому; лишиться ее поддержки; испытывать живейшее отвращение к долгам, каковые и не могли бы прочно улучшить его положение; слыть среди окружающих богатым и щедрым и ежедневно испытывать острейшую нужду в деньгах,— было поистине мучительно для обуреваемого страстью молодого человека.

Известные представления, прежде лишь мимолетно возникшие в его душе, теперь оседали в ней более прочно; мысли, тревожившие его всегда лишь на мгновенье, теперь подолгу занимали его ум, а известные неприятные чувства становились все более устойчивыми и ожесточенными. Ежели раньше он видел в отце образец, то ныне завидовал ему, как сопернику. Всем, чего так жаждал сын, обладал отец; все, перед чем юноша так робел, легко тому давалось. И речь шла вовсе не о самом необходимом, а о том, без чего тот вполне бы мог обойтись. Тогда сын решил, что отец и в самом деле может иногда кое-чем пожертвовать и в его пользу. Отец держался другого мнения; он принадлежал к числу тех, кто много себе позволяет, а потому зачастую бывает вынужден во многом отказывать тем, кто от него зависит. Он предоставил сыну определенные средства и требовал полного, прямо-таки ежедневного отчета в расходах.

Ни от чего глаз человека не делается таким зорким, как от того, что его ущемляют. Поэтому женщины гораздо умнее мужчин; и поэтому же ни на кого подчиненные не смотрят так пристально, как на человека, который повелевает ими, не будучи сам примером. Так и в этом случае: сын стал зорко присматриваться ко всему, что делал отец, особенно когда тот тратил деньги. Он теперь внимательнее прислушивался, когда говорили, что отец проиграл или выиграл в карты; он строже судил отца, когда тот позволял себе какую-нибудь дорогостоящую затею.

«Разве это не дико,— рассуждал он сам с собой,— что родители, вволю наслаждаясь всеми радостями жизни, для чего им достаточно просто расточать богатство, которое им доставил случай, в то же время лишают своих детей самых естественных удовольствий, до коих молодежь так охоча? А по какому праву? И кто им дал это право? Неужели все

решает только случай, да и может ли право возникнуть там, где властвует случай? Если бы жив был мой дедушка, который не делал разницы между своими детьми и внуками, мне жилось бы не в пример лучше, он не отказывал бы мне в самом необходимом, ибо разве не является необходимым то, что подобает нам по рождению и воспитанию? Дедушка не заставил бы меня прозябать в нужде и воспретил бы отцу проматывать деньги. Проживи он дольше, он убедился бы, что и внук его должен наслаждаться, тогда бы он, быть может, своим завещанием упрочил мое прежнее благополучие.

Я слышал, что смерть настигла дедушку как раз тогда, когда он намеревался составить завещание, и, быть может, только случай лишил меня причитающейся мне доли того состояния, которого я, если мой папаша будет так им распоряжаться и впредь, пожалуй, лишусь навсегда».

Таким и подобным софистическим рассуждениям о собственности и праве, о том, должен ли человек соблюдать закон или установление, за которое он не голосовал, и в какой мере дозволено ему потихоньку отступать от гражданского кодекса, Фердинанд нередко предавался в часы одиночества и крайнего раздражения, когда ему приходилось из-за недостатка наличных денег отказываться от увеселительной прогулки или другого удовольствия. Ибо те драгоценные вещицы, что у него были, он уже спустил, а его карманных денег никак не хватало.

Характер его стал замкнутым, и можно сказать, что в такие минуты он совсем не уважал свою мать, не желавшую ему помочь, и ненавидел отца, который, по его мнению, во всем становился ему поперек дороги.

Как раз к этому времени он сделал одно открытие, которое только усугубило его озлобленность. Он заметил, что его отец был не только плохим хозяином, но и беспорядочным человеком. Ибо он часто впопыхах, не записывая, брал деньги из своего письменного стола, а потом нередко начинал считать и пересчитывать и сердился, что записи расходятся с кассой. Сын замечал это неоднократно, и поведение отца ранило его особенно сильно, если как раз в то время, когда тот безвозбранно запускал руку в кассу, сам он испытывал острую нужду в деньгах.

Как раз когда он пребывал в таком мрачном расположении духа, произошел случай, открывший ему соблазнительную возможность сделать то, к чему он испытывал лишь смутное и неосознанное побуждение.

Отец поручил ему посмотреть и привести в порядок ящик со старыми письмами. Как-то в воскресенье, оставшись дома один, он нес этот ящик через комнату, где стоял секретер, содержащий в себе отцовскую кассу. Ящик был тяжелый, Фердинанд пеловко взял его и хотел на минутку поставить или хотя бы к чему-нибудь прислонить. Не в силах удержать ящик, он ударил им об угол секретера так, что крышка его неожиданно приоткрылась. Тут юноша увидел перед собой свертки монет, на которые он до сих пор лишь изредка осмеливался бросить взгляд, и, поставив ящик, не раздумывая взял один сверток с той стороны, откуда, как ему казалось, отец брал деньги на свои прихоти. Он захлопнул крышку и попробовал еще раз-другой стукнуть ящиком об угол секретера — крышка неизменно отскакивала; дело было верное, все равно как если бы у него имелся ключ от секретера.

С нетерпением устремился он теперь навстречу удовольствиям, в коих до сего времени себе отказывал; стал еще более настойчиво ухаживать за своей красавицей и все, что бы ни затевал, делал с каким-то лихорадочным рвением. Нрав его, прежде живой и мягкий, стал порывистым, почти необузданным, что, правда, не вредило ему самому, но и никому не шло на пользу.

Для человека, одержимого страстью, случай то же, что искра, попавшая на полку заряженного ружья; а любая страсть, которую мы удовлетворяем вопреки совести, требует от нас чрезмерного напряжения физических сил; мы начинаем вести себя словно дикари, и такую необычность нашего поведения трудно скрыть от посторонних глаз.

Чем сильнее протестовал его внутренний голос, тем больше находил он себе надуманных оправданий; чем смелее и свободнее он действовал, тем болезненнее ощущал свою скованность.

Как раз в то время вошли в моду всевозможные недорogie безделушки. Оттилия очень любила украшения; Фердинанд искал возможность доставлять их ей, но так, чтобы сама Оттилия не знала, от кого эти подарки исходят. Подозрение пало на старого дядюшку, и Фердинанд радовался вдвойне, когда его возлюбленная восхищалась подарками и приписывала их дядюшке.

Однако для того, чтобы доставить себе и ей эту радость, он был вынужден еще несколько раз открывать отцовский секретер и делал это с тем большею беззаботностью, что отец

нерегулярно клал и брал оттуда деньги, не внося свои расходы в книгу.

Вскоре за тем Оттилия должна была на несколько месяцев уехать к родителям. Молодые люди весьма опечалились, что им придется расстаться, а одно обстоятельство делало их разлуку еще горше. По случайности Оттилия узнала, что подарки ей преподносил Фердинанд, она потребовала от него объяснений, и когда он признался, очень на него рассердилась. Она настаивала на том, чтобы он взял их назад, и это требование причиняло Фердинанду жесточайшие муки. Он объявил ей, что без нее не может и не хочет жить, просил, чтобы она не лишала его своего расположения, и заклинал согласиться стать его женой, как только он будет обеспечен и обзаведется домом. Она любила его; она была растрогана, она обещала ему все, чего он желал, и в этот счастливый миг они скрепили свой союз самыми пылкими объятьями и тысячью нежных поцелуев. После ее отъезда Фердинанд почувствовал себя очень одиноким. В те дома, где он встречал ее, он больше не заходил, — ведь ее там не было. Лишь по привычке посещал он теперь друзей и увеселительные места и лишь с отвращением еще несколько раз запускал руку в отцовскую кассу, чтобы покрыть расходы, к которым его уже никакие чувства не вынуждали. Он часто бывал один, и, казалось, доброе начало постепенно одерживает в нем победу. Спокойно поразмыслив на досуге, он ужаснулся тому, что мог столь холодно и криводушно обелять свой скверный поступок недостойными софизмами о праве и собственности, о притязаниях на чужое добро и как бы там ни назывались прочие рубрики. Все яснее становилось ему, что единственно честность и верность могут отличать человека и что хороший человек, собственно, должен жить так, чтобы праведностью своей посрамить все законы, хотя бы другой обходил их или пользовался ими для своей выгоды.

Но покуда эти светлые и честные понятия в нем еще не укрепились и не привели к непреклонному решению, он не раз еще в затруднительных случаях поддавался искушению черпать из запретного источника. Но каждый раз делал это с отвращением, словно влекомый за волосы злым демоном.

Наконец Фердинанд, собравшись с духом, порешил навсегда пресечь себе доступ к отцовским деньгам, осведомив родителя о порче замка в его секретере. Он отменно справился с этой задачей: пронес через комнату ящик с уже разобранными письмами и с умышленной неловкостью в присутствии

отца резко ударил им об угол секретера; и как же удивился отец, увидев, что крышка при этом внезапно отскочила. Они вместе осмотрели замок и нашли, что язычок его от времени износился, а хомутики распатались. Замок был незамедлительно исправлен, и Фердинанд давно уже не испытывал такого облегчения, как теперь, убедившись, что деньги в надежной сохранности.

Но на этом он не успокоился. Он тотчас же принял решение возместить похищенную сумму (по счастью, он помнил какую), скопив ее любым способом. С этого дня он стал во всем соблюдать умеренность и откладывать из своих карманных денег, сколько было возможно. Правда, это составляло ничтожную малость сравнительно с тем, что он себе присвоил, но эта сумма все же казалась ему значительной, ибо то был первый шаг к тому, чтобы загладить свой проступок. И то сказать, разница между последним талером, тобою взятым, и первым, который ты отдал, — огромна.

Вскоре после того, как Фердинанд вступил на добрый путь, отец решил отправить его в поездку по торговой части. Фердинанду предстояло ознакомиться с делами одной фабрики, находившейся в отдаленном крае. Речь шла о том, чтобы открыть в местах, где предметы первой необходимости и ручной труд были необыкновенно дешевы, свою контору, посадить там компаньона, самим извлекать прибыль, пока что достававшуюся другим, и с помощью наличного капитала и кредита значительно расширить предприятие. Фердинанду надлежало всесторонне изучить условия на месте и составить обстоятельный отчет. Отец дал ему денег на путевые расходы, приказав обойтись таковыми. Отпущенная сумма была изрядна, Фердинанду жаловаться не приходилось.

И во время этой поездки Фердинанд был очень бережлив, считал и пересчитывал свои деньги и пришел к выводу, что если он и дальше будет себя ограничивать, то сможет отложить треть выданных ему денег. Он твердо надеялся, что случай поможет ему постепенно дополнить недостающую сумму, и такой случай и впрямь представился. Ведь Фортуна — равнодушная богиня, она равно благоволит и к добрым и к злым.

В той местности, куда он приехал, условия оказались намного благоприятнее, чем предполагалось. Работа велась по старинке, вручную и кое-как. О выгодных новшествах здесь ничего не знали, во всяком случае, никто еще не умел ими воспользоваться. Владельцы фабрики вкладывали в дело лишь

умеренные суммы денег, довольствуясь самой умеренной прибылью; Фердинанд сразу сообразил, что при вложении большего капитала и загодя произведенных оптовых закупках сырья, а также установке новейших машин, можно будет, с помощью опытных мастеров, превратить фабрику в солидное предприятие.

Мысль об ожидавшей его деятельности заметно подняла дух Фердинанда. Прекрасная природа этого края, где неотступно витал перед ним дивный образ возлюбленной Оттилии, возбудила в нем желание, чтобы отец позволил ему здесь обосноваться, доверил бы ему это новое дело, тем самым предоставив ему неожиданное и богатое обеспечение.

Тем усерднее входил он во все детали дела, как бы считая себя уже душою предприятия. Здесь он имел случай впервые применить свои знания, свои умственные способности, свои смелые идеи. Его бесконечно интересовала сама местность и все, что он хотел бы в нее привнести. Все здесь улаждало и врачевало его израненное сердце. Он уже не мог без душевной боли вспоминать отцовский дом, где он, словно в каком-то бреду, позволяя себе поступки, ныне казавшиеся ему величайшим преступлением.

Старый друг их семьи, человек дельный, но болезненный, первым в своих письмах подавший мысль о возможных преобразованиях, был большой подмогой Фердинанду: все ему показывал, посвящал его в свои замыслы и радовался, что молодой человек так быстро подхватывал, а иной раз и предупреждал его мысли. Человек этот вел весьма простой образ жизни, частью по склонности, частью же потому, что этого требовало его здоровье. Детей у него не было, при нем жила и за ним ухаживала племянница и наследница всего его состояния, которой он хотел подыскать хорошего и дельного мужа, дабы с помощью свежих сил и с притоком новых средств осуществить свой давний замысел, что ему одному при его малых физических и экономических возможностях никак не могло удасться.

При первой же встрече с Фердинандом он показался ему тем человеком, которого он искал, и эта надежда в нем еще более укрепилась, когда он заметил, как искренне увлечен этот юноша и делом, и их восхитительным краем. Дядя открыл племяннице свои планы, и та как будто бы им не противилась. То была статная молодая девушка, здоровая и во всех отношениях приятная. Ведение хозяйства в доме дядюшки заставляло ее неизменно быть проворной и деятельной,

а забота о его здоровье = мягкой и услужливой. Нельзя было выбрать себе в супруги создание более совершенное.

Фердинанд, у которого на уме была лишь любовь к прелестной Оттилии, не замечал славной деревенской девушки и разве что подумывал найти в ней желанную экономку и ключницу для своей Оттилии, когда та поселится в этих местах в качестве его супруги. Он непринужденно отвечал на радушие и любезности милой девушки, а узнав ее ближе, научился ее ценить и стал ей выказывать подобающее уважение, что она и ее дядюшка истолковали в свою пользу.

Теперь Фердинанд со всем ознакомился и во всем разобрался. С помощью дяди он составил обширный план преобразований и со свойственной ему беспечностью объявил, что рассчитывает сам приняться за его осуществление. В то же время он наговорил племяннице кучу любезностей и сказал, что любой дом, вверенный такой заботливой хозяйне, можно почитать счастливым. Она и ее дядя из этого заключили, что у него и впрямь серьезные намерения, и стали к нему еще внимательней.

Во все вникнув, Фердинанд пришел к радостному убеждению, что здешние места не только много сулят ему в будущем, но что он может уже и сейчас благодаря выгодной сделке возместить отцу похищенную сумму и тем самым сразу избавиться от гнетущей его тяжести. Он посвятил своего старшего друга в задуманную им операцию, каковую тот чрезвычайно одобрил и даже предложил Фердинанду пользоваться полным его кредитом, на что Фердинанд, однако, не согласился: часть суммы он выплатил сразу из неизрасходованных дорожных денег, остальное обещал погасить в обусловленные сроки. Не поддаваясь описанию, с какою радостью приказал он упаковывать и грузить товары и с каким удовлетворением пустился в обратный путь, ибо что может сравниться с высоким чувством, какое испытывает человек, когда ему удастся собственными усилиями загладить допущенную ошибку, если не преступление. Хороший человек, который идет путем добродетели без каких-либо заметных отклонений, по праву пользуется репутацией честного, степенного гражданина. Иначе обстоит дело с человеком, однажды оступившимся, но возвратившимся на праведную стезю: им восхищаешься, как героем и победителем. В этом смысле, видимо, и следует понимать парадоксальное изречение: господу один раскаявшийся грешник дороже девяноста девяти праведников,



Но, увы! Ни покаяние, ни решение исправиться, ни возвращение похищенного не избавили Фердинанда от печальных последствий его дурного поступка, последствий, ожидавших его дома и вновь больно ранивших его душу, только-только было успокоившуюся. За время его отсутствия собралась гроза, которая не замедлила разразиться, едва он переступил порог родительского дома.

Отец Фердинанда, как мы знаем, не отличался аккуратностью в том, что касалось его личной кассы, зато его торговые дела с большой пунктуальностью вел умелый и точный во всем приказчик. Старик даже не заметил пропажи денег, взятых его сыном, но, на беду, среди этих денег был мешочек с монетами, не имевшими хождения в том крае, некогда выигранными у одного проезжего. Этого мешочка он хватился, и его отсутствие показалось ему подозрительным. Но что его крайне обеспокоило, так это пропажа нескольких свертков, по сто дукатов в каждом, которые он давал взаймы, но наверняка получил назад. Он помнил, что секретер раньше открывался от удара, и, убедившись в том, что его обокрали, пришел в сильнейшее раздражение. Подозрение его падало по очереди на всех, кто его окружал. Среди гневных угроз и проклятий он рассказал о происшедшем жене; говорил, что перевернет все в доме вверх дном, подвергнет допросу всех слуг, служанок и детей,—никто не был избавлен от его подозрений. Добрая женщина сделала все, что было в ее силах, чтобы успокоить мужа; она воочию представила ему, в какое ложное и неприятное положение поставит он себя и свой дом, если история эта получит огласку. Если кто и посочувствует постигшему их несчастью, то лишь для того, чтобы этим же их и унижить; что молва не пощадит ни его, ни ее, а если расследование не даст результата, то люди будут строить самые чудовищные предположения; что скорей всего все же удастся найти виновного и, не делая его несчастным на всю жизнь, вернуть себе деньги. Такими и подобными доводами она убедила супруга не поднимать шума и попробовать спокойно разобраться в случившемся.

И, к несчастью, разгадка не заставила себя долго ждать. Тетке Оттилии стало известно о клятве, которой связали себя молодые люди. Она знала о подарках, которые приняла ее племянница. Вся эта история была ей неприятна, и она молчала лишь потому, что ее племянница была в отъезде. Прочный союз с Фердинандом представлялся ей выгодным, но мимолетного увлечения она терпеть не желала. Она слышала,

что молодой человек скоро возвратится, и поскольку со дня на день ожидала также приезда племянницы, то и поспешила уведомить о случившемся родителей Фердинанда, дабы узнать их мнение на этот счет и спросить, можно ли надеяться на скорое обеспечение Фердинанда и согласны ли они на брак их сына с ее племянницей.

Мать Фердинанда немало удивилась, узнав об этих отношениях. Она испугалась, услышав, какие подарки сделал он Оттилии. Скрыв свое изумление, она попросила тетку дать ей время, чтобы при случае переговорить с мужем об этом деле, и заверила, что считает Оттилию хорошей партией для сына и что его, наверное, можно будет вскорости подобающим образом обеспечить.

Когда тетка удалась, она не сочла разумным сразу же поверять свое открытие мужу. Теперь ей непременно надо было раскрыть злосчастную тайну — уж не оплачивал ли Фердинанд, как она опасалась, эти подарки крадеными деньгами. Она поспешила к купцу, торговавшему преимущественно такими украшениями, стала придиваться к некоторым вещичкам и сказала ему, что он запрашивает с нее слишком высокую цену, ее сыну, покупавшему у него эти вещи по ее поручению, он-де продавал их дешевле. Купец ответил решительным «нет!». Точно назвал ей цены и добавил: «Надо учесть еще разницу в деньгах, ибо часть суммы Фердинанд оплачивал в другой валюте». К ее величайшему огорчению, он назвал ей вид валюты, и это были те самые деньги, какие пропали у отца.

С тяжелым сердцем она покинула лавку, попросив для отвода глаз назвать ей окончательную цену. Вина Фердинанда сомнений не вызывала, сумма, коей недосчитался отец, была велика, и своим трезвым рассудком она видела всю недостойность сыновнего поступка и его ужаснейшие последствия. У нее хватило ума утаить свое открытие от мужа; она ожидала возвращения сына со смешанным чувством страха и нетерпения, жаждала выяснить истину и боялась узнать наихудшее.

Наконец он приехал домой в самом веселом расположении духа. Он ждал похвал за удачно выполненное поручение, к тому же он привез в виде товаров деньги, которые, как он надеялся, освободят его от вины за совершенное втайне преступление.

Отец выслушал его отчет благосклонно, хотя и не с таким одобрением, какого он был вправе ожидать: пропажа денег его озлобила и сделала рассеянным, тем более что как раз

в это время он должен был израсходовать значительные суммы. Такое настроение отца очень угнетало Фердинанда, еще больше угнетали его стены, мебель, бывшие свидетелями его преступления. Вся его радость улетучилась, а также и все его надежды и притязания; он считал себя подлым, пропащим человеком.

Фердинанд собирался было потихоньку заняться поисками сбыта товаров, которые вскоре должны были прибыть, и этой деятельностью поправить свои плачевные дела, когда матушка отозвала его в сторону и хоть и с любовью, но серьезно выставила перед ним его проступок, не оставив ни малейшей возможности для заpiresательства. Его мягкое сердце дрогнуло; проливая потоки слез, он бросился к ее ногам, признался во всем, просил прощения, заверяя, что только любовь к Оттилии могла толкнуть его на такой шаг и что он никогда, никогда не запятнал себя никаким другим пороком. Затем он рассказал матери о своем раскаянии, о том, что он намеренно показал отцу, как легко открывается секретер, и что благодаря своей бережливости за время поездки и удачной спекуляции считает себя в силах возместить похищенное.

Мать, которая не могла сразу ему уступить, требовала, чтобы он сказал, куда девал такие большие суммы, ибо подарки составляли ничтожную их часть. К его ужасу, она показала ему подсчет, сколько недоставало в отцовской кассе; он не мог взять на себя даже похищение всего серебра, и клялся всем святым, что к золоту не прикасался вовсе. Мать очень рассердилась. Она стала выговаривать ему, что в ту минуту, когда, искренне раскаявшись, он, вероятно, мог бы стать на путь исправления и очищения, он пытается обмануть свою любящую мать заpiresательством и лживыми баснями. Ей ли не знать, что тот, кто совершил один проступок, способен и на другой? Наверно, у него есть соучастники среди его беспутных товарищей, быть может, и торговая сделка, которую он заключил, совершена на украденные деньги. Вряд ли бы он признался в своей краже, если бы случай не выдал его преступления. Она угрожала ему гневом отца, уголовным преследованием, изгнанием из порядочного общества. Но ничто его так не потрясло, как то, что со слов матери он понял: его связь с Оттилией стала предметом городских толков. Взволнованная до глубины души, мать ушла, оставив сына в самом удрученном состоянии. Он видел, что его грех обнаружен, что его подозревают в преступлениях более тяжких, чем те, какие он совершил. Как ему убедить родителей в том, что он не

трогал золота? Зная вспыльчивый нрав отца, он опасался бурной сцены. Все сложилось противоположно тому, как он рассчитывал. Надежды на деятельную жизнь, на брак с Оттилией рухнули. Он уже видел себя отверженным семьей скитальцем, претерпевающим все невзгоды изгнания. Но даже не эти мрачные предвидения, ранившие его гордость, оскорблявшие его чистую любовь, были для него самым тягостным. Глубже всего его уязвила мысль, что его честное намерение, его мужественная решимость исправить суровым трудом и воздержанием свой грех, свое преступление не признаны, более того — превратно истолкованы. Предстоявшая ему печальная участь приводила его в отчаяние, и все же он не мог не сознавать, что он ее заслужил. Сильнее поразила его душу постигнутая им печальная истина, что одно-единственное злодеяние способно свести на нет самые добрые намерения человека. Горестное открытие, что все его благороднейшие стремления оказались напрасными, его сразило. Ему не хотелось больше жить.

В это мгновение душа его возжаждала помощи свыше. Он опустился на колени возле своего стула и, орошая его слезами, молил о помощи вседержителя. Молитва его была достойна внимания: тот, кто сам сумел возвыситься над своим пороком, кто употребил без остатка все свои силы на искупление совершенного, вправе уповать на помощь отца небесного в минуту, когда силы эти иссякают, когда все они уже израсходованы.

Так он простоял немалое время, погруженный в горячую молитву, и даже не заметил, как отворилась дверь и кто-то вошел к нему в комнату. Это была его мать; она приблизилась к сыну с сияющим лицом и, увидев, в каком он состоянии, обратилась к нему со словами утешения: «Как я счастлива, — сказала она, — что ты, по крайней мере, не оказался лжецом и что я могу теперь верить в искренность твоего раскаяния. Золото нашлось: отец, получив его обратно от своего друга, отдал его на сохранение кассиру и, занятый множеством повседневных дел, совсем о том позабыл. Что касается серебра, то твои показания почти соответствуют действительности: сумма оказалась гораздо меньше. Я не могла скрыть от отца своей радости и обещала ему вскоре доставить недостающую сумму, если он пообещает мне успокоиться и больше не спрашивать о пропаже».

У Фердинанда отчаяние мгновенно сменилось бурной радостью. Он поспешил завершить свои торговые дела и, вручая

матери деньги, заплатил даже то, чего не брал, но что не значилось в расходной книге из-за отцовской небрежности. Фердинанд был весел и доволен, но все, что с ним произошло, оставило глубокий след в его душе. Он убедился, что человек в силах возжелать добро и осуществить его, и отныне он верил, что человек может уповать на милость господню, каковую он и сам только что испытал на себе. С большой радостью он открыл теперь отцу свои надежды поселиться в тех местах, куда он недавно ездил. Он убедил его в истинной ценности задуманного им предприятия. Отец с ним во всем согласился, тем более что мать сообщила ему по секрету об отношениях Фердинанда к Оттилии. Отцу пришлось по душе такая блистательная невестка, а перспектива устроить сына без всяких затрат показалась весьма соблазнительной.

— Эта история мне понравилась,— сказала Луиза, когда старик умолк.— Хотя рассказ взят из обыденной жизни, он все же не кажется мне обыкновенным. Ибо, сверившись с собственным опытом и понаблюдав за другими, мы невольно убеждаемся, как редко мы отказываем себе в том или ином желании по собственному побуждению, чаще всего нас принуждают к тому внешние обстоятельства.

— Я хотел бы,— сказал Карл,— чтобы нам вовсе не приходилось в чем-то себе отказывать за полным незнанием чего-либо, чем мы не могли бы обладать. Но, к сожалению, мир так тесен: все засажено и засеяно, все деревья увешаны плодами, так что нам остается только прогуливаться под ними, довольствуясь их тенью и не помышляя о лучших наслаждениях.

— Позвольте же нам,— обратилась Луиза к старику,— дослушать вашу историю.

Старик. Сказать по правде, она уже окончена.

Луиза. Как развивались события, мы слышали, но нам хотелось бы выслушать и заключение.

Старик. Вы правильно отличаете смысл рассказа от его развязки, но раз уж вас интересует судьба моего друга, я коротко расскажу и то, что произошло с ним в дальнейшем.

Избавившись от гнетущего бремени совершенного им проступка, Фердинанд не без некоторого самодовольства стал помышлять о предстоящем ему счастье и с нетерпением ожи-

дать возвращения Оттилии, чтобы с ней объясниться и точно сдержать данное ей слово. Она приехала вместе с родителями; он поспешил с нею увидаться и нашел ее более красивой и веселой, чем когда-либо. Как хотелось ему поговорить с нею наедине и поведать ей свои замыслы! И желанный час наступил: со всем восторгом и нежностью влюбленного он рассказал ей о своих надеждах, о радостях близкого счастья и о желании разделить его с нею. Но как же он был удивлен, как расстроен, когда она отнеслась к его словам легкомысленно, можно сказать, даже насмешливо. Она довольно язвительно подшучивала над той пустошью, которую он себе выискал, и над смехотворной ролью, которую предстоит им разыгрывать под соломенной кровлей в качестве пастуха и пастушки, и так далее, и тому подобное.

Оскорбленный и рассерженный ее поведением, он замкнулся в себе, и пыл его сердца на мгновение явно поубавился. Она была к нему несправедлива, и он тут же начал замечать в ней недостатки, которые раньше ему не открывались. Да и не требовалось особенной зоркости, чтобы заметить, что так называемый кузен, с нею вместе приехавший, успел привлечь к себе ее внимание и приобрести значительную долю ее расположения.

Несмотря на нестерпимую боль, какую испытывал Фердинанд, он все же взял себя в руки, и ему показалось, что, однажды пересилив себя, он сможет сделать это и во второй раз. Он часто видался с Оттилией и заставлял себя зорко наблюдать за ней; он старался быть ласковым, даже нежным с нею, и так же вела себя и она, но ее прелести потеряли былую власть над ним, и очень скоро он почувствовал, что у нее мало что шло от сердца: она могла быть холодна и нежна, очаровательна и отталкивающа, обходительна и капризна, как ей заблагорассудится. Душа Фердинанда все более освобождалась от ее чар, и вот он решился порвать и последние нити, которые его к ней еще привязывали.

Эта операция оказалась, однако, более мучительной, чем он предполагал. В один прекрасный день он застал ее одну и набрался духу напомнить ей о данном ею слове и вызвать в ее памяти те мгновенья, когда они оба, охваченные нежным чувством, уговорились касательно их будущей жизни. Она была с ним ласкова, можно сказать, даже нежна; смягчился и он и вновь пожелал на краткий миг, чтобы все сложилось иначе, чем он вообразил. Но он тут же взял себя в руки и спокойно, с любовью поведал ей план переустройства всей своей

жизни. Она, казалось, радостно с ним согласилась и только слегка сожалела, что брак их по этой причине придется надолго отложить. Она дала ему понять, что не имеет ни малейшей охоты покинуть город, и выразила надежду, что, проработав несколько лет в тех отдаленных местах, он сможет занять выдающееся положение среди своих теперешних сограждан. Она недвусмысленно намекнула, чего ждет от него в будущем: он-де должен превзойти своего отца и добиться еще большего почета и богатства.

Слишком ясно почувствовал Фердинанд, что от подобного союза счастья ждать не приходится, и все же нелегко дался ему отказ от этой обольстительной девушки. Быть может, он еще долго пребывал бы в нерешительности, если б не этот кузен, выказывавший в обращении с Оттилией чрезмерную интимность. Фердинанд написал ей письмо, в котором еще раз ее заверял, что она его осчастливит, если последует за ним к месту его назначения, но что он не считает разумным для них обоих тешить себя надеждой на далекое будущее и связать себя словом на неопределенное время.

Он все еще желал благоприятного ответа на свое письмо, однако ответ был не таким, какой могло бы одобрить его сердце, но тем более таковой одобрял его разум. Оттилия в весьма изящных выражениях возвращала ему его слово, не вполне отпуская от себя его сердце; в таком же роде говорила записка и об ее чувствах; по смыслу она оставалась с ним еще связанной, но по слову уже свободной.

Зачем мне вдаваться в подробности? Фердинанд поспешил уехать в любезные ему тихие края; все устроилось, как он задумал; он был прилежен и аккуратен, тем более что добрая простая девушка осчастливила его, став его женой, а старый дядюшка делал все, чтобы обеспечить в его доме прочный достаток и уют.

Я познакомился с Фердинандом гораздо позже, когда он был уже окружен многочисленной дружной семьей. Он сам рассказал мне свою историю, и как бывает с людьми, с которыми в юности случилось что-то значительное, так и в нем эта история запечатлелась столь глубоко, что оказала большое влияние на всю его жизнь. Даже будучи зрелым мужем и отцом семейства, он нередко отказывал себе в том, что могло бы доставить ему удовольствие, лишь для того, чтобы не разучиться применять столь высокую добродетель, да и все воспитание его детей до известной степени было основано на том, чтобы они в любую минуту умели в чем-то себе отказать.

Так он — чего я в душе не мог одобрить — запретил за столом одному из мальчиков отведать любимое блюдо. Но мальчик, к моему удивлению, сохранил веселое настроение, словно бы ничего не случилось.

Бывало, что и старшие дети по собственному почину отказывались от редких плодов или другого отменного лакомства, зато отец в остальном позволял им, можно сказать, что угодно, и в его доме, чередуясь, царили послушание и непослушание. Казалось, все прочее было ему безразлично: он предоставлял своим детям почти ничем не обузданную свободу, но иногда, примерно раз в неделю, ему приходило в голову, что все должно делаться минута в минуту; тотчас же с самого утра сверялись часы, каждый получал свой урок на день, дела и развлечения подчинялись строгому расписанию, никто не смел опоздать ни на секунду. Я бы мог часами рассказывать о его беседах со мной касательно его системы воспитания. Он подшучивал надо мною, католическим священником, и над моими обетами и утверждал, что, собственно, каждый человек должен вменить в долг себе обет воздержания, а другим — обет послушания, но не для того, чтобы неизменно соблюдать его, а чтобы руководствоваться им в надлежащее время.

Баронесса с некоторыми оговорками признала, что в общем-то друг священника был прав. Ведь и в государстве дела вершатся исполнительной властью и от законодательной власти, сколь ни была бы она разумна, государству не будет пользы, если власть исполнительная окажется недостаточно сильной.

Луиза вдруг бросилась к окну, услышав, как во двор въехал Фридрих. Она поспешила ему навстречу и тут же вместе с ним вернулась в комнату. Вид у Фридриха был бодрый и веселый, хоть он и насмотрелся страшных картин людских горестей и непоправимых опустошений. Вместе того чтобы подробнее рассказать о пожаре, не пощадившем дома их тетушки, он возвестил не без гордости, что его предположение подтвердилось: тетушкино бюро сгорело в тот самый час, когда в здешнем образовалась эта страшная трещина.

— В миг, когда огонь уже подбирался к той самой комнате, — рассказывал он, — управляющему еще удалось спасти часы, стоявшие на бюро. При переноске в их механизме что-то сдвинулось, и часовые стрелки точно остановились на половине двенадцатого. Так что по времени, по крайней мере, эти два события полностью совпали.



Баронесса улыбнулась; учитель заявил, что, если две вещи совпадают, это еще ничего не говорит об их взаимосвязи. Лунзе, напротив, понравилась мысль о существующей связи этих явлений, тем более что она получила утешительные вести о ее женихе, что дало лишний повод для свободной игры воображения.

— Не можете ли вы, — обратился Карл к старику, — рассказать нам какую-нибудь сказку? Сила воображения — вещь, конечно, прекрасная, но я не люблю, когда фантазия привносится в реальную жизнь; воздушные создания сказки милы нам, как существа совсем особого рода, но когда их сопрягают с действительностью, это нередко порождает чудовищ, вступающих в противоречие с разумом и здравым смыслом. Мне думается, воображение не должно цепляться за предметы и не должно их нам навязывать, ему следует, создавая произведения искусства, играть, подобно музыке, на нас же самих, приводить в движение наши сокровенные чувства, да так, чтобы мы позабыли, что существует что-то вне нас, вызывающее все наши волнения.

— Можете не продолжать, — сказал старик. — Не надо так подробно излагать свои требования, предъявляемые к порождениям фантазии. Наслаждение таковыми как раз в том и состоит, чтобы наслаждаться, ничего не требуя. Ведь и само воображение ничего не может требовать, а должно ждать, что судьба ему подарит. Оно не строит планов, не намечает путей, а взмывает ввысь на собственных крыльях и, ширяя туда и сюда, вычерчивает причудливые линии, которые то и дело меняют свое направление и становятся все чудеснее. Позвольте же мне во время обычной моей прогулки сперва оживить в душе те удивительные образы, что меня не переставали занимать в более ранние годы. Сегодня вечером я обещаю вам сказку, которая напомнит вам обо всем и ни о чем.

Старика охотно отпустили, тем более что каждому хотелось узнать от Фридриха разные новости, приключившиеся тем временем на белом свете.



## СКАЗКА

У перевоза через широкую реку, что вздулась после недавнего ливня и вышла из берегов, спал в своей лачуге перевозчик, притомившийся за день от тяжелой работы. Среди ночи его разбудили громкие голоса; он понял, что это путники, которым надо на тот берег.

Он вышел из хижины и увидел, как над стоящей на привязи лодкой реют два больших блуждающих огня. По их словам, они очень спешили переправиться на тот берег. Не мешкая, спустил старик лодку на воду и со свойственным ему умением стал грести наперерез течению, а его пассажиры между тем шушукались и шептались на неведомом ему языке, то и дело громко чему-то смеясь и весело прыгая туда и сюда: с бортов лодки на скамью, со скамьи на дно и снова на борт.

— Эй вы, непоседы!— крикнул старик.— Лодку качает, если вы не уймётесь, она, того и гляди, перевернется. Сидите смирно!

В ответ на эти слова они расхохотались, высмеяли старика и запрыгали пуще прежнего. Перевозчик не рассердился на озорников и немного погодя причалил к берегу.

— Вот вам за труды!— крикнули его пассажиры и принялись прыгать и отряхиваться, и тут в сырую лодку посыпались золотые монеты.

— Ради всего святого, что вы делаете!— крикнул старик.— Погубить меня хотите? Река не терпит этого металла. Упади хоть один золотой в воду, она разбухнет, подымутся огромные волны и погубят меня вместе с лодкой. Неизвестно,

как бы туго тогда вам пришлось; забирайте скорей обратно свое золото.

— Мы не можем забрать обратно то, что вытряхнули,— возразили они.

— Так, выходит, мне из-за вас еще и трудиться придется: собрать все червонцы, отвезти на берег и зарыть,— сказал перевозчик и тут же нагнулся и стал подбирать в шапку червонцы.

Блуждающие огни выпрыгнули из лодки.

— А плата за переезд где? — крикнул старик.

— Кому золото не нужно, пусть работает даром! — крикнули в ответ блуждающие огни.

— Вы должны знать, что за переезд мне платят только плодами земли.

— Плодами земли? Да мы их презираем, даже не отведали ни разу!

— И все же я не могу отпустить вас, пока вы не пообещаете дать мне три кочана капусты, три артишока и три крупные луковки.

Блуждающие огни хотели уже отшутиться и улизнуть, да не тут-то было,— они почувствовали, как непонятно почему вдруг словно приросли к земле. Такого неприятного ощущения они никогда еще не испытывали. Вот они и пообещали в ближайшие же дни выполнить его требование; он отпустил их и оттолкнулся от берега.

Лодка была уже далеко, когда огни крикнули ему вдогонку:

— Старик, эй, старик! Послушайте! Мы забыли самое главное!

Старик уехал и не услышал их зова. Он плыл вдоль берега вниз по течению, к недоступным для волн горным склонам, где надумал отделаться от опасного золота. Там среди высоких скал он нашел глубокую расщелину, сбросил в нее червонцы и поплыл к своей лачуге.

В этой расщелине жила красивая зеленая змея; проснувшись от звука падающих монет и увидя светящиеся кружочки, она тут же с жадностью пакинулась на них и проглотила, а затем, внимательно осмотрев все кусты, все трещины в скалах, отыскала и те золотые монеты, что попали туда.

Не успела она их проглотить, как с великой приятностью почувствовала, что они тают у нее внутри и растекаются по всему телу, и, к вящей своей радости, заметила, что сама стала прозрачной и вся светится. Давно уже уверяли ее, будто

подобное явление возможно, однако она сомневалась, сколь продолжительным может быть такое свечение, и посему, побуждаемая любопытством и желанием получить уверенность на будущее время, выползла из расселины, дабы выяснить, кто выбросил в пропасть такое чудесное золото. Она не нашла никого; но как же приятно было ей, проползая среди трав и кустов, любоваться на себя и на тот прелестный свет, которым она озаряла молодую зелень. Листья казались смарагдами, а цветы дивно светились. Напрасно исползала она дикие скалы, так никого и не найдя; как же зато вспыхнула в ней надежда, когда, взобравшись наверх и оглядевшись, она увидела вдали какое-то сверкание, похожее на тот свет, что излучала сама. «Неужели я наконец обрела себе подобных!» — воскликнула она и поспешила туда. Невзирая на трудности, переползала она через болота, пробиралась сквозь заросли тростника, ведь хотя всего отрадней была ей привычная жизнь на сухих горных лугах или в расселинах высоких скал, хотя всего охотнее лакомилась она душистыми травами, утоляла жажду вкусной росой и прохладной родниковой водой, все же ради милого ее сердцу золота, ради надежды сохранить навсегда обретенное ею великолепное сияние она согласна была на все, что бы от нее ни потребовалось.

Изнемогая от усталости, добралась она наконец до сырой низины, поросшей осокой, где весело плясали уже знакомые нам блуждающие огоньки. Она устремилась к ним, поздоровалась и выразила свою радость от встречи со столь приятными господами, да к тому же еще ее родичами. Оба огонька, носясь, чуть касались змеи, перепрыгивали через нее и, как обычно, смеялись.

— Любезная сестрица, — сказали они, — пусть вы и принадлежите к линии горизонтальной, это значения не имеет. Мы, правда, родня, но только по мерцанию, вот поглядите (тут оба огня в ущерб полноте погнались за высотой и принялись что было сил вытягиваться и вытягивались до тех пор, пока не стали длинными-предлинными и даже заострились), видите, как нам, представителям вертикальной линии, к лицу стройность и высокий рост. Не в обиду вам, голубушка, будь сказано, какая другая фамилия может похвалиться тем же? С той поры как мы, блуждающие огни, существуем, ни один из нас ни разу не присел и не прилег.

Присутствие этих родственников змею очень смущало: как она ни старалась поднять голову повыше, она все же чувствовала, что вынуждена будет пригнать ее к земле, иначе ей

не сдвинуться с места, и если до того в темных зарослях она себе чрезвычайно нравилась, то здесь, в присутствии этих родичей, ее блеск, казалось, с каждой минутой тускнел; ее даже брал страх, как бы в конце концов он совсем не угас.

Дабы выйти из такого затруднительного положения, она поспешила спросить, не могут ли господа огоньки сообщить ей, откуда взялись те блестящие золотые монеты, что давеча посыпались в расселину между скалами; она полагает, не иначе как золотой дождь накапал их прямо с неба. Блуждающие огни рассмеялись, встряхнулись, и вокруг них запрыгала уйма червонцев. Змея тут же кинулась их глотать.

— Кушайте на здоровье, сестрица! — сказали учтивые кавалеры. — Мы можем вас и еще угостить.

Они опять и опять проворно встряхнулись, и змея едва поспевала глотать драгоценное яство. Она светлела на глазах и теперь излучала действительно великолепное сияние, а блуждающие огоньки похудели и стали ниже ростом, однако ни на йоту не утратили веселости.

— Я навек вам обязана, — сказала змея, переводя дух после обильной трапезы. — Требуйте, чего только пожелаете, — что в моих силах, все выполню.

— Вот и прекрасно! — воскликнули блуждающие огни. — Скажи, где живет прекрасная Лилия? Проведи нас как можно скорее во дворец и сад прекрасной Лилии. Мы горим нетерпением поклониться перед ней.

— Оказать вам эту услугу сейчас я не могу. К сожалению, прекрасная Лилия живет на том берегу.

— На том берегу? А мы-то в эту бурную ночь переправились через реку! Как жестока река, что нас разлучает. Нельзя ли снова вызвать старика?

— Ничего не выйдет! — возразила змея. — Даже если бы он сам был тут, у этого берега, он не посадил бы вас к себе в лодку. Он кого угодно перевозит на эту сторону, но никого на ту.

— Да, плохи наши дела! А иным путем переправиться нельзя?

— Можно, и не одним, но только не сейчас, я сама могу переправить вас, господа, но только в полдень.

— В эту пору дня мы неохотно пускаемся в путь.

— Тогда можно переправиться вечером по тени великана.

— А как это сделать?

— Тело великана, что живет неподалеку отсюда, никак его не слушается: рукам его и соломинки не поднять, плечам

и вязанки хвороста не снести. Зато его тени, можно сказать, все под силу. Вот потому-то на заре и закате в нем всего более мощи; вечером достаточно сесть на тень от его затылка, великан потихоньку пойдет к берегу, и тень перенесет путника через реку. А если вы соизволите в полуденную пору прийти вон туда, к тому краю леса, где кусты доходят до самой реки, так я и сама вас переправлю и представлю прекрасной Лилии. А ежели полуденный зной вас пугает, то отыщите вон в той бухте меж скал великана, и он охотно окажет вам яту любезность.

Молодые люди откланялись и ушли, а змея была рада, что рассталась с ними, как потому, что хотела насладиться собственным светом, так и потому, что хотела удовлетворить уже давно донимавшее ее любопытство.

Ползая в скалистых ущельях, она сделала поразительное открытие. Хотя по этим теснинам приходилось ей ползать впотьмах, она все же умела осязанием распознавать предметы. Обычно она повсюду встречала естественные произведения природы, не подчиненные строгим правилам обработки: она то скользила между зубцами крупных кристаллов, то осязала зазубрины и волокна серебряных самородков и выносила на свет какой-нибудь самоцветный камешек. И вот, к великому своему удивлению, в не доступной ниоткуда скале она ощутила предметы, говорящие, что они созданы руками человека: гладкие стены, по которым она не могла вползти наверх, ровно обточенные края, правильной формы колонны, но что поразило ее больше всего, — так это человеческие фигуры, которые, обвинившись несколько раз вокруг них, она сочла не то за медные, не то за хорошо отполированные мраморные. Теперь ей хотелось проверить зрением то, что до сей поры она лишь осязала, и убедиться в том, что доселе оставалось лишь догадкой. Она думала теперь собственным своим сиянием осветить удивительные подземные своды и надеялась тогда сразу ознакомиться с этими странными предметами. Она поспешила обратно уже известной дорогой и вскоре нашла щель в скале, по которой обычно пробиралась в святилище.

Доползши туда, она огляделась, утоляя свое любопытство; правда, излучаемое ею сияние не осветило все сводчатое подземелье, но ближние предметы выступили достаточно явственно. С чувством благоговения подняла она изумленный взор на сверкающую нишу, где помещалась отлитая из чистого золота статуя короля, внушающего уважение своей осанкой. Статуя была значительно выше человеческого роста, но, судя

по облику, король был человеком скорее невысоким, чем рослым. Простой плащ ниспадал с его статного тела, венки из дубовых листьев придерживали волосы.

Не успела змея наглядеться на внушающую уважение статую, как король заговорил:

— Откуда ты? — спросил он.

— Из расселин, где родина золота, — ответила змея.

— Что великолепнее блеска золота? — спросил король.

— Сияние света, — ответила змея.

— Что живительнее света? — спросил он.

— Беседа, — ответила она.

Так разговаривая, змея покосилась в сторону и в ближней нише тоже увидела великолепную статую. Там сидел серебряный король, высокий и тонкий станом. Его облакало роскошное одеяние, корону, пояс и скипетр украшали самоцветные камни. Лицо его выражало радость, казалось, он вот-вот заговорит, но тут темная жила в мраморной стене вдруг засветилась и озарила весь храм мягким сиянием. При этом свете змея увидела третью статую: в нише, опираясь на булаву, восседал могучий медный король, увенчанный лавровым венком и походивший скорее на скалу, чем на человека. Змея захотела оглянуться на четвертого, что стоял в самой дальней нише, но тут светящаяся жила в мраморной стене сверкнула молнией и исчезла, а стена разверзлась.

Из стены вышел человек среднего роста, который привлек к себе внимание змеи. Он был в крестьянском платье, в руке держал лампаду, спокойный огонек которой был приятен для глаз и своим чудесным светом, не отбрасывая ни малейшей тени, озарял все своды.

— Зачем ты пришел, раз у нас уже есть свет? — спросил золотой король.

— Вам ведомо, что мне не позволено освещать тьму.

— Наступит ли конец моему царству? — спросил серебряный король.

— Не скоро или никогда, — ответил старик.

Теперь зычным голосом начал задавать вопросы третий король:

— Когда встану я?

— Скоро, — ответил старик.

— С кем должно мне объединиться? — спросил король.

— С твоими старшими братьями, — сказал старик.

— Что станет с младшим? — спросил король.

— Он сядет, — сказал старик.

— Я не устал, — хриплым, прерывистым голосом крикнул четвертый король.

А змея, пока шел этот разговор, неслышно ползала по храму, она все осмотрела и теперь разглядывала вблизи четвертого короля. Он стоял, прислонясь к колонне, и его внушительная фигура изумляла скорее своей тяжеловесностью, нежели красотой. А вот понять, из какого металла он отлит, было весьма трудно. Вглядевшись внимательнее, можно было различить, что это сплав тех трех металлов, из которых были отлиты его братья. Но при отливке металлы, должно быть, плохо сплавилась, золотые и серебряные жилки беспорядочно прорезали медную поверхность, придавая статуе непривлекательный вид.

Меж тем золотой король спросил старика:

— Сколько тайн ты познал?

— Три, — ответил старик,

— Которая важнее всех? — спросил серебряный король.

— Раскрытая, — ответил старик.

— Ты раскроешь их нам? — спросил медный король.

— Когда узнаю четвертую, — сказал старик.

— Какое мне до этого дело? — пробормотал себе под нос король, сплавленный из разных металлов.

— Я знаю четвертую, — сказала змея, подползла к старику и прошипела ему что-то на ухо.

— Урочный час близок! — громким голосом возвестил старик.

Своды храма отозвались гулом, статуи — звоном металла, и в то же мгновение старик и змея погрузились в землю, и оба быстро пронеслись по расселинам скал, он — на запад, она — на восток.

Все пути, которыми шел старик, тут же наполнялись золотом, ибо его лампада обладала чудесным даром превращать все камни в золото, все дерево в серебро, мертвых зверей в самоцветные камни и уничтожать все остальные металлы. Но этот дар проявлялся, когда светила только она, если около был другой свет, от нее просто исходило чудесное яркое сияние, отрада всего живущего.

Старик вошел в свою хижину, приютившуюся под скалой; у очага сидела его жена, она лила горькие слезы и никак не могла успокоиться.

— Ах, я несчастная! — воскликнула она. — Не зря не хотелось мне отпускать тебя сегодня из дому!

— Что случилось? — спокойно спросил старик.



— Только это ты ушел,— сказала она, рыдая,— как в дверь постучались два буяна; по своей неосторожности я впустила их, с виду это были люди учтивые, обходительные, их можно было принять за блуждающие огни, ведь их одевали легкие язычки пламени. Не успели они войти, как стали подлаживаться ко мне со всякими бесстыдными любезностями, да так назойливо, что мне и вспомнить-то стыдно.

— Ну, молодые кавалеры, верно, шутили,— возразил, улыбаясь, муж,— в твои-то преклонные лета хватило бы с тебя и простой вежливости.

— Преклонные лета, преклонные лета! Надоело мне вечно слышать о моих преклонных летах! — раскричалась жена.— Подумаешь, какие лета! Тоже сказал, простая вежливость! Да ты осмотришь, погляди на стены, погляди на старые камни, я их уже сто лет не видела! Они с них все золото слизали, да с таким проворством, что и поверить трудно, а потом говорили, будто оно куда вкусней обычного золота. А вылизав стены дочиста, они, видно, повеселели и, надо правду сказать, выросли, пополнели и заблестели ярче прежнего. И снова начали озорничать, гладили меня, называли своей королевой, а потом как встряхнутся, и тут же по полу запрыгали золотые монеты,— вон, погляди, как они блестят под скамьей. Но какое горе! Наш мопс проглотил несколько червонцев и лежит теперь у очага,— умер, бедняга! Никак успокоиться не могу. Увидела я, что он мертв, уж когда они ушли, а то ни за что не пообещала бы отнести перевозчику то, что они ему задолжали.

— А что они ему задолжали? — спросил старик.

— Три кочна капусты, три артишока и три луковки,— сказала жена.— Я обещала, как рассветет, отнести их на реку.

— Окажи им эту любезность,— сказал старик,— при случае они заплатят нам услугой за услугу.

— То ли заплатят, то ли нет, этого я не знаю, но обещать обещали и торжественно меня в том заверили.

Меж тем дрова в очаге догорели; старик засыпал уголья толстым слоем золы, убрал к сторонке блестящие золотые монеты, и тогда лампада его снова засветилась и дивно засияла, стены покрылись золотом, а мопс превратился в чудеснейший оникс, и переливы коричневого с черным, присущие этому драгоценному камню, сделали его подлинным произведением искусства.

— Возьми корзинку и поставь в нее оникс,— сказал старик,— а затем возьми три кочна капусты, три артишока и три луковки, положи их вокруг оникса и отнеси корзинку на реку.

А в полдень переправившись по змее на тот берег и пойдешь к красавице Лилии. Отнеси к ней оникс. От ее прикосновения он оживет, как умирает от ее прикосновения все живое. Мопс будет ей верным другом. Скажи ей, пусть не печалится: время ее освобождения близко, пусть воспримет величайшее несчастье, как величайшее счастье, ибо урочный час пробил.

Старуха уложила в корзину все, что надо, и, как рассвело, отправилась в дорогу. Лучи восходящего солнца освещали блестящую вдаль реку. Старуха шла медленно, корзина давила ей на голову, но причиной тому был не оникс. Она никогда не ощущала тяжести от неживой ноши, — корзина с такой поклажей подымалась ввысь и реяла у нее над головой, а вот свежие овощи или живая зверушка были для нее непосильным бременем. Так и шла она, недовольная и угрюмая, и вдруг в испуге остановилась: еще немного, и она наступила бы на тень великана, протянувшуюся через всю долину до самых ее ног. Тут только увидела она могучего исполина, который, искупавшись в реке, вылезал из воды, и теперь не знала, как уйти от него незамеченной. Увидав ее, он стал отвешивать ей шуточные поклоны, а тем временем руки его тени залезли к ней в корзину, проворно и ловко ухватили кочан капусты, артишок и луковку и положили их великану в рот, и он тут же зашагал вверх по течению и освободил женщине дорогу.

Она было подумала, не вернуться ли ей домой и не восполнить ли утрату овощами из своего огорода, но, так ничего и не решив, продолжала свой путь и вскоре пришла на берег. Долго сидела она, поджидая перевозчика, и наконец-то увидела, что он причаливает к берегу со странным пассажиром. Из лодки вышел юноша, столь красивой и благородной стати, что она не могла в досталь на него наглядеться.

— Что вы принесли? — крикнул перевозчик.

— Овощи, что задолжали вам блуждающие огоньки, — ответила она и показала ему свой товар.

Увидя всего по две штуки каждой овощи, старик рассердился и стал уверять, будто взять их в уплату не может. Женщина принялась его упрашивать, сказала, что ей не под силу вернуться домой, что на предстоящей обратной дороге ей не снести такого груза. Он упорно стоял на своем и уверял, будто отказывается не по собственной воле.

— То, что причитается мне, должно пролежать у меня девять часов, а мне не разрешено ничего принимать, пока я не отдам треть реке.

После долгих пререканий старик наконец сказал:

— Есть, правда, выход: я согласен взять шесть овощей,— а вы признайте себя должницей реки и поручитесь отдать ей долг, но тут есть для вас некоторая опасность.

— А если я сдержу слово, мне уже не грозит никакая опасность?

— Ни малейшая. Окуните руку в воду и обещайте в течение суток отдать долг.

Старуха так и сделала, но как же она испугалась, вытащив из воды черную, как уголь, руку! С бранью накинулась она на перевозчика, клялась, что руки были лучшим ее украшением, что она всегда их холила и, несмотря на тяжелую работу, сохранила белыми и красивыми. С великим огорчением разглядывала она руку и вдруг в полном отчаянии воскликнула:

— Да что же это за напасть! Рука-то гораздо меньше другой, того и гляди, совсем пропадет.

— Сейчас это только так кажется,— успокоил ее перевозчик,— а вот ежели вы не сдержите слова, рука и впрямь может исчезнуть, будет все уменьшаться да уменьшаться и в конце концов совсем исчезнет, но пользоваться ею вы все равно сможете, рука останется пригодной для всякой работы, но только ее никому не будет видно.

— Уж лучше бы она осталась ни на что не пригодной, да только бы никто этого не видел,— сказала старуха.— А впрочем, чего бояться, я сдержу слово, и тогда прощай и забота, и черная кожа.

Сказав так, она быстро взяла корзину, и та сама поднялась над ее головой и теперь свободно навила в воздухе, а старуха поспешила вслед за юношей, который в задумчивости брел по берегу.

И прекрасным обликом своим, и необычным одеянием поразил он старуху. Грудь его прикрывал блестящий панцирь, под которым угадывались все движения его стройного тела. С плеч ниспадала пурпурная мантия, каштановые кудри окаймляли чело, голова была непокрыта, и солнечные лучи освещали его чистое лицо и обнаженные стройные ноги. Он равнодушно ступал босыми ногами по горячему песку, казалось, все внешние ощущения притупляла глубокая скорбь.

Болтливой старухе не терпелось завязать с ним разговор, но он отделялся короткими малозначащими фразами, наконец ей надоело его понапрасну расспрашивать, и при всем

ее восхищении красотой его глаз она все же решила с ним распрощаться.

— Уж очень медленно, государь мой, вы идете, — сказала она, — мне недосуг, нельзя пропустить время, когда можно перейти на тот берег по зеленой змее, ведь я несу красавице Лилии чудесный подарок, что посылает ей мой муж.

Сказав так, она торопливо зашагала вперед, однако так же быстро приободрился и красивый юноша и поспешил за ней следом.

— Вы идете к прекрасной Лилии! — воскликнул он. — Значит, нам по пути. Что за подарок вы ей несете?

— Государь мой, да где же справедливость? — возразила старуха. — Столь скупко отвечая на мои вопросы, вы теперь выпрашиваете меня о моих секретах. Ежели вы согласны на обмен и поведаете мне, кто вы и откуда, то и я не скрою от вас, кто я и что за подарок несу.

Так они и договорились; старуха рассказала, кто она, рассказала, что случилось с собакой, и позволила ему поглядеть на чудесный подарок.

Он тут же вынул из корзины и взял на руки это природой созданное произведение искусства, и казалось, мопс сладко дремлет в его объятиях.

— Счастливец! — воскликнул юноша. — Ее руки коснутся тебя, и ты оживешь, а живые бегут ее, дабы не постигла их печальная участь. Но что я, разве эта участь печальна! Разве не горестнее, не мучительнее утратить все силы при виде ее? Нет, лучше уж умереть от ее руки! Взгляни на меня! — сказал он старухе. — Я еще молод, но сколь бедственна моя участь! Судьбе было угодно оставить мне панцирь, который я с честью носил в бою, пурпур, который я старался заслужить мудрым правлением, но теперь панцирь для меня излишнее бремя, а пурпур — ненужное украшение. Короны, скипетра и меча уже нет; я так же наг и нищ, как простой смертный, ибо так пагубен взгляд дивных ее голубых очей, он отнимает все силы, и те, кого не коснулась ее рука, приносящая смерть всему живому, чувствуют, что они заживо превратились в тени, блуждающие по земле.

Так печаловался он на судьбу, нисколько не удовлетворяя тем любопытство старухи; ей не терпелось выведать не внутренние его переживания, а внешние обстоятельства его жизни; она не узнала ни имени его отца, ни названия его королевства. Юноша, словно живого, прижимал к сердцу каменного мопса, согретого теплом его тела и жарким

солнцем, и расспрашивал о ее муже и о силе присущего его лампаде священного света; казалось, он ожидал, что в будущем этот свет благотворно воздействует на его горькую участь.

Так за разговорами продолжали они свой путь и вдруг увидели вдали величественный мост, который дугой перекинулся от берега к берегу и чудесно сверкал на солнце. Оба были изумлены, никогда еще не являл этот мост их взорам столь неожиданного великолепия.

— Что за чудо! — воскликнул принц. — Ведь и раньше он предстал перед нами во всей своей красе, словно сооруженный из яшмы и кварца! Не страшно ли ступить на него, можно подумать, будто он сложен из смарагдов, хризолитов и хризопразов, искусно подобранных умелой рукой.

Ни старуха, ни принц не знали о перемене, что преобразила змею, — ведь этим мостом была змея, которая каждый полдень смелой аркой перекидывалась через реку. Наши путники вступили на мост и в благоговейном молчании перешли на тот берег. И мост тут же заколыхался, задвигался, вскоре коснулся воды, и зеленая змея в присущем ей обличье поползла по земле вслед за ними. Только-только успели они поблагодарить ее за дозволение перебраться на ту сторону по ее спине, как обнаружили, что их не трое, а больше, хотя остальных спутников и не было видно, просто они слышали около себя какое-то шипение, на которое змея отвечала тоже шипением. Они напрягли слух и в конце концов разобрали, о чем идет речь.

— Сперва мы инкогнито осмотримся в парке прекрасной Лилии, — шипели какие-то голоса, — а когда стемнеет и мы приобретем мало-мальски презентабельный вид, просим представить нас несравненной красавице. Мы будем вас ждать на берегу большого озера.

— Будь по-вашему, — ответила змея, и в воздухе постепенно замерло удаляющееся шипение.

Теперь наши путники условились о порядке, в котором им надлежало предстать перед красавицей, — ведь хотя находиться в ее присутствии было дозволено одновременно многим, но, дабы не навлечь на себя невыносимых страданий, приходиться и уходить полагалось порознь.

Старуха с корзиной, в которой лежала собака, превращенная в камень, первая подошла к саду и без труда нашла свою покровительницу: та как раз пела, аккомпанируя себе на арфе. Дивные звуки сперва всколыхнули спокойную гладь

озера, и по ней пошли круги, затем легким дуновением коснулись травы и кустов. На уединенной зеленой лужайке под сенью различных роскошно разросшихся деревьев сидела прекрасная Лилия и уже с первого мгновения вновь очаровала зрение, слух и сердце восхищенной старухи, готовой поклясться, что за это время красавица Лилия еще похорошела. Уже издали громко приветствовала она эту красавицу из красавиц и расточала ей похвалы.

— Какое счастье смотреть на вас! Каким райским блаженством озаряете вы все вокруг! Как сладостно арфе покоиться у вас на коленях, как ласково обнимают ее ваши руки, как хочется ей прильнуть к вам на грудь, как нежно звучат ее струны, когда их касаются ваши тонкие пальчики! Трижды счастлив тот юноша, кому даровано будет занять ее место!

С такими речами подошла она ближе; красавица Лилия подняла на нее взор и сказала, уронив руки:

— Не огорчай меня похвалой не ко времени! Не увеличивай моей скорби. Видишь, здесь, у моих ног, лежит мертвой бедняжка канарейка, что обычно так сладостно вторила моему пению. Заботясь о ней, я приучила ее сидеть на арфе и не касаться меня; сегодня, восстав ото сна, я запела тихую утреннюю песнь, а моя певунья особенно весело принялась выводить мелодичные трели, и вдруг над моей головой закружил ястреб; бедная испуганная пичужка спряталась у меня на груди, и в тот же миг я почувствовала ее предсмертные содрогания. Правда, хищник, сраженный моим взглядом, беспомощно ковыляет теперь там, у воды, но разве утешит меня его наказание? Моя любимица умерла, и к грустным могильным кустам у меня в саду прибавится еще один.

— Не печалуйтесь, прекрасная Лилия! — воскликнула старуха, вытирая слезу, вызванную этим горестным рассказом. — Возьмите себя в руки! Мой старик велел вам сказать: не давайте волю скорби, не забывайте, что величайшее несчастье — предвестье величайшего счастья, ибо урочный час близок. И вправду, чего только не творится на белом свете. Вот взгляните на мою руку, как она почернела! Да еще маленькая какая стала, — мне надо спешить, не то как бы она совсем не пропала. И надо же было мне оказывать любезность блуждающим огонькам! Надо же было повстречать великана! Надо же было окунуть руку в воду! Может, вы дадите мне кочан капусты, артишок и луковицу? Я отнесу их реке, и тогда моя рука опять станет белой, почти как у вас.

— Капуста и лук, пожалуй, найдутся, а вот артишоки искать здесь нечего. В моем большом саду много разных растений, но ни одно не цветет и не приносит плодов, зато, если я отломлю побег и посажу его на могилу кого-нибудь из моих любимцев, он тут же зазеленеет и пойдет в рост. К сожалению, все эти купы деревьев, все кусты, все рощи выросли у меня на глазах. Все роскошные кроны пиний, стройные обелиски кипарисов, исполинские дубы и буки — только печальные надгробные памятники, молодыми побегами посаженные в бесплодную почву моими руками.

Старуха не очень-то вникала в эти речи, — она глядела на свою руку, которая рядом с белоснежными руками прекрасной Лилии, казалось, с каждой минутой все больше чернела и уменьшалась. Старуха уже хотела взять свою корзинку и поспешить в обратный путь, но, вспомнив, что забыла самое важное, вынула из корзины собаку, превращенную в холодный камень, и поставила в траву у ног красавицы Лилии.

— Мой муж посылает вам это на память, — сказала старуха. — Вы знаете, — достаточно вашего прикосновения и этот драгоценный камень оживет. Мой милый мопс, конечно, будет радовать вас, а я не буду скучать по нем, — ведь я буду знать, что он принадлежит вам.

При виде милого мопса на лице прекрасной Лилии выразились и радость, и как будто даже удивление.

— Много предзнаменований совпало по времени, и это рождает во мне некоторую надежду. Но увы! Что, если это просто свойственный нашей природе самообман, что, если, когда нас преследуют несчастья, мы просто тешим себя надеждой на близкое счастье?

Что знаменья! К добру ли птахи гибель?  
К добру ль подруги черная рука?  
А мопсик овиковый, мой дружок? Он прибыл  
Лампады вестником — но помощь далека...

Иль жизнь прожить мне счастьем непричастной,  
Всем даренному? Свыкнуться с тоской?  
Зачем не вышел храм на берег праздный?  
Зачем же мост не вырос над рекой? <sup>1</sup>

Песнь, что пела прекрасная Лилия, сопровождая ее мелодичными звуками арфы, любого привела бы в восторг, а старуха слушала ее рассеянно, — ей уже не терпелось уйти, но

---

<sup>1</sup> Перевод стихов Н. Вольпин.

тут ее задержало появление зеленой змеи. Та слышала последние строки песни и сразу стала убеждать Лилию не падать духом.

— Предсказание о мосте сбылось! — воскликнула она.— Спросите старуху, какой великолепной аркой перекинулся он через реку. То, что до сего дня было непрозрачными яшмой и кварцем, тускло мерцавшими разве что по краям, превратилось в прозрачно сияющие самоцветные камни, не сыскать другого берилла, столь чистой воды, не сыскать другого смарагда столь яркой окраски.

— Что ж, в добрый час,— сказала Лилия,— но, простите меня, я не верю, что предсказание уже сбылось. По высокой арке вашего моста могут перейти на ту сторону только пешеходы, а нам обещано, что по мосту одновременно будут переправляться на ту и другую сторону лошади, экипажи и самые разные путники. Разве не было предсказано, что со дна реки для поддержки моста подымутся крепкие устои?

Старуха все время не спускала глаз со своей руки, теперь она прервала разговор и попрошталась.

— Подождите минутку,— сказала прекрасная Лилия,— захватите с собой мою канареечку! Попросите лампаду превратить ее в красивый топаз; я оживлю ее прикосновением руки и буду коротать время с канарейкой и вашим милым мопсиком. Но спешите изо всех сил! Как только закатится солнце, непреодолимое тление охватит мою бедную птичку и навеки разрушит ее гармоничный облик.

Старуха завернула мертвую птичку в свежие листики и положила в корзинку.

— Как бы то ни было,— сказала змея, продолжая прерванный разговор,— а храм сооружен.

— Но он еще не стоит у реки,— возразила красавица.

— Пока еще он покоится в недрах земли,— сказала змея.— Я видела королей и говорила с ними.

— Но когда же они восстанут? — спросила Лилия.

— Я слышала, как прозвучали в храме великие слова: «Урочный час близок!»

Лицо красавицы озарилось радостной улыбкой.

— Во второй раз за этот день слышу я сулящие счастье слова! Придет ли наконец тот день, когда я услышу их трижды?

Она встала, и тут же из-за кустов выступила прелестная девушка и взяла у нее из рук арфу. Вслед за ней вышла другая, она унесла выточенный из слоновой кости складной



стул, на котором сидела красавица, и серебряную подушку. Затем появилась еще одна, с большим шитым жемчугом зонтом, и остановилась в ожидании, — не нужен ли он будет Лилии, если та соизволит прогуляться. Все три девушки были полны очарования и на редкость красивы, и все же они не могли не признать, что Лилия затмевает их своей неопишуемой красотой.

Меж тем прекрасная Лилия с удовольствием глядела на удивительного мопса. Она наклонилась, коснулась его, и в то же мгновение мопс вскочил, бойко огляделся, побегал туда и сюда, затем бросился к своей благодетельнице и запрыгал вокруг нее. Она взяла его на руки и прижала к сердцу.

— Хоть ты и холоден, хоть ожил еще лишь наполовину, я рада тебе, — воскликнула она, — и обещаю весело с тобою играть, ласково гладить, крепко прижимать к сердцу и нежно любить тебя.

Сказав так, она выпустила его из своих объятий, прогнала, подозвала снова, затеяла веселую игру, радостно, словно дитя, резвясь с ним на лужайке, и те, кто глядел на нее, приходили в восторг и вместе с ней радовались ее милым забавам, так же как перед тем их сердца отзывались состраданием на ее горести.

Это веселье, эти милые затеи были прерваны появлением печального юноши. Облик его был все тот же, уже нам знакомый, но, казалось, его утомил полуденный зной, а теперь, глядя на любимую, он с каждой минутой все больше бледнел. На руке у него смирно, как голубь, сидел, опустив крылья, ястреб.

— Зачем ты принес сюда эту злую, ненавистную мне птицу, что убила сегодня мою певунью-канареечку? Нехорошо это с твоей стороны! — воскликнула Лилия.

— Не брани бедную птицу! — возразил он. — Обвиняй себя и судьбу и дозвожь мне не разлучаться с товарищем по несчастью.

Тем временем мопс не переставал ластиться к красавице, а она весело отвечала на заигрывания своего прозрачного любимца, отпугивала его, хлопая в ладоши, а потом бежала за ним, звала к себе, старалась поймать, когда он удирал, прогоняла, когда он к ней лънул. Юноша, все больше и больше досадуя, молча глядел на эти забавы. Но когда она взяла на руки безобразного мопса, на его взгляд препротивного, когда она прижала его к своей белоснежной груди и ее небесные

уста коснулись поцелуем черной морды, юноша не выдержал и в отчаянии воскликнул:

— Ужели я обречен злой судьбой быть подле тебя и быть с тобой разлученным? Ужели я, из-за тебя потерявший все, потерявший даже себя самого, обречен своими глазами видеть, что эта мерзкая образина радуется, привлекает тебя, наслаждается в твоих объятиях? Ужели я должен и впредь скитаться сюда и обратно и совершать все тот же печальный круг, переправляясь с одной стороны реки на другую? Довольно! В сердце моем еще тлеет искра былой отваги, пусть вспыхнет она в этот миг последним пламенем. Если камни могут покоиться у тебя на груди, пусть я стану камнем, если твое прикосновение несет смерть, я хочу умереть от твоей руки.

С этими словами он сделал резкое движение; ястреб слетел с его плеча, а он кинулся к красавице. А она, желая остановить его, протянула вперед руки, но тем скорее его коснулась. Он лишился сознания, и скованная ужасом Лилия ощутила у себя на груди милую ее сердцу тяжесть его тела. Она вскрикнула и отступила на шаг, а прелестный юноша мертвым упал из ее объятий на землю.

Несчастье свершилось! Нежная Лилия словно окаменела, остановившимся взглядом смотрела она на бездыханное тело, казалось, сердце уже не бьется у нее в груди, в глазах не было слез. Напрасно ластился к ней мопс, прося ее ласки, вместе с другом сердца для нее умер весь мир. Застыв в немом отчаянии, она не искала помощи, зная, что помощи нет.

Тем проворнее зашевелилась змея, казалось, ее мысли заняты спасением юноши. И вправду, удивительными движениями своего гибкого тела ей удалось хоть на первое время задержать страшные последствия несчастья. Кольцом обвилась она вокруг мертвого юноши, захватила зубами конец своего хвоста и больше не двигалась.

Спустя немного пришла одна из красоток-прислужниц, принесла складной стул из слоновой кости и ласково усадила на него прекрасную Лилию; за ней вскоре появилась другая, с огненно-красным вуалем, и скорее украсила, чем покрыла им голову своей госпожи, третья подала ей арфу, и не успела Лилия взять арфу и извлечь из струн несколько звуков, как первая прислужница вернулась с светлым круглым зеркалом и, став перед прекрасной Лилией, поймала ее взгляд, и Лилия увидела в зеркале отражение дивного, небывалой красоты образа. Горе одухотворило ее красоту, вуаль придавал ей еще больше очарования, арфа — прелести, и столь же сильно, как

надежда, что печальная ее участь изменится, было у всех желание, чтобы образ ее сохранился таким, как сейчас.

Устремив тихий взгляд на зеркало, Лилия извлекла из струн мягкие мелодичные звуки, а когда скорбь ее возростала, струны громким ропотом отзывались на ее боль. Не раз открывала она уста и пыталась запеть, но голос изменял ей, и вскоре боль ее разрешилась слезами; две прислужницы пришли ей на помощь и поддержали ее, арфа упала с ее колен, и третья девушка едва успела подхватить и унести ее.

— Кто, пока солнце еще не закатилось, приведет к нам человека с лампадой? — тихо, но явственно прошипела змея.

Девушки переглянулись, а из глаз прекрасной Лилии слезы потекли еще обильнее. В эту минуту прибежала, с трудом переводя дух, запыхавшаяся старуха с корзиной.

— Я пропала, останусь калекой на всю жизнь! — крикнула она. — Вот, взгляните, — у меня уже почти нет руки! Ни перевозчик, ни великан не хотят переправить меня на ту сторону, — ведь я все еще не вернула свой долг реке, — напрасно предлагала я сто кочанов капусты и сто луковок, они требуют только по три овощи, но каждого сорта, а артишоков в этих местах не найти.

— Забудьте о своей беде, — сказала змея, — постарайтесь помочь здешнему горю! Возможно, от этого будет помощь и вам. Не медлите, поспешите отыскать блуждающие огоньки! Еще не стемнело, их не увидеть, но, может, вы услышите, как они смеются, как перепархивают с места на место. Если вы не задержитесь, великан еще успеет переправить вас с ними через реку, — они помогут вам найти человека с лампадой, и вы пришлете его сюда.

Старуха побежала что было мочи, а змея, казалось, с тем же нетерпением, что и Лилия, ждала возвращения и ее и старика. Но — увы! — лучи заходящего солнца золотили уже только верхушки деревьев в лесу, длинные тени легли на озеро и лужайку, змея извивалась от нетерпения, а Лилия утопала в слезах.

В таком бедственном положении змея внимательно следила за всем; она боялась, что солнце зайдет, свет померкнет, тление прорвется сквозь магический круг и с неудержимой силой охватит юношу. Наконец она узрела в небе ястреба с пурпурно-красными в лучах заходящего солнца перьями на груди. Она вся затрепетала от радости, усмотрев в этом доброе предзнаменование, и она не обманулась: вскоре появился

человек с лампадой,— будто на коньках, скользил он по озеру.

Змея не тронулась с места, не разомкнула кольца, а Лилия встала и воскликнула:

— Какой добрый гений привел тебя к нам в ту минуту, когда мы так жаждали видеть тебя, так в тебе нуждались?

— Гений моей лампы позвал меня, а ястреб привел сюда. Когда моя помощь нужна, лампада начинает вспыхивать и потрескивать, а я жду и гляжу на небо: птица или падучая звезда указывают мне ту страну света, куда мне направить свои стопы. Успокойся, красавица из красавиц! Помогу ли я, мне не ведомо... Один бессилен и не может помочь, но в единении со многими в урочный час — может. Будем ждать и надеяться! Не размыкай кольца! — садясь на бугорок подле змеи, приказал он и осветил мертвого юношу.— Принесите и милую канареечку и положите ее тоже в кольцо.

Прислужницы вынули из оставленной старухой корзины мертвую птичку и сделали, как повелел старик.

Меж тем солнце уже скрылось, и когда совсем стемнело, засветились не только змея и лампада, как это им полагалось, мягкий свет исходил теперь и от вуаля Лилии, скрашивая нежным, как утренняя заря, румянцем бледные ее ланиты и белое одеяние, что придавало ей особое очарование. Все молча созерцали друг друга; твердая надежда смягчала тревогу и печаль.

Вот почему не без удовольствия было встречено появление старухи в сопровождении обоих веселых огоньков, которые за это время, видимо, сильно поистратились: они опять отошлала, но тем учтивее были они в обхождении с принцессой и остальными женщинами. С великой уверенностью и весьма выразительно изрекали они довольно обыденные истины, особенно восчувствовали они то очарование, что придавал светящийся вуаль красавице Лилии и ее прислужницам. Скромно опустили девицы глазки, и от восхваления их красоты еще похорошели. Все, кроме старухи, были спокойны и довольны. Хотя муж и уверял, что рука ее не уменьшится, покуда ее освещает его лампада, она все же твердила, что, ежели так и дальше пойдет, рука — этот насущный и благородный орган ее тела — еще до полуночи исчезнет совсем.

Старик с лампадой внимательно прислушивался к разговору блуждающих огней и радовался, что их болтовня рас-

сеяла печальные думы Лилии и приободрила ее. И верно — никто даже не заметил, что уже настала полночь.

Старик поглядел на звезды и тогда сказал так:

— В добрый час собрались мы все вместе; пусть каждый делает свое дело, пусть каждый выполняет свой долг, и в общем счастье растворятся горести отдельных живых существ, так же как меркнут радости отдельных живых существ при общем несчастье.

После таких его слов поднялся удивительный шум, все говорили зараз, причем каждый громко заявлял, что будет делать. Молчали только три девушки: они заснули, одна у арфы, другая — у зонта, третья — у складного стула, но винить их за это нельзя, — час был уже поздний, а пылающие кавалеры, полюбезничав мимоходом и с прислужницами, потом увивались уже только вокруг Лилии, которая всех затмевала своей красотой.

— Возьми зеркало, — сказал старик ястребу, — и, как только взойдет солнце, пробуди спящих дев, осветив их отраженным с небес сиянием лучей.

Теперь зашевелилась и змея, разомкнула кольцо и, медленно извиваясь, поползла к реке. Торжественно, польхая как подлинное яркое пламя, шествовали за ней оба блуждающих огонька. Старик со старухой взяли светившуюся мягким, дотоле почти незаметным светом корзину, и каждый начал тянуть ее к себе, и корзина на глазах у всех становилась все больше и светилась все ярче. Они положили в нее тело юноши, а ему на грудь — мертвую канарейку; корзина поднялась в воздух и повисла, рея над головой старухи, а старуха пошла за блуждающими огоньками. Прекрасная Лилия взяла на руки мопса и последовала за старухой. Старец с лампадой замыкал шествие; все вокруг озаряли своим дивным сиянием эти столь разные светильни.

Но каково было общее изумление, когда, дойдя до реки, они увидели, что с одного берега на другой перекинулась великолепная арка, — это благодетельница змея уготовила им сияющий огнями путь. Если днем они любовались прозрачными самоцветами, из которых, казалось, сооружен мост, то теперь во тьме ночи они дивились на его блеск и великолепие. Сверху светлая арка резко выделялась на темном небе, а снизу к ее середине, сверкая, сбегались переливчатые лучи, из чего было ясно, что при всей своей подвижности мост устойчив. Медленно перешло все шествие на ту сторону, а перевозчик, стоя в дверях своей хижины, издали с изумле-

нием смотрел на лучезарную арку и удивительные огни, что двигались по ней.

Как только ступили путники на берег, арка заколыхалась, волнистыми движениями приближаясь к воде, и немного погодя змея уже плыла к берегу. Корзина опустилась на землю, и змея снова кольцом обвилась вокруг тела юноши. Старик наклонился к ней и спросил:

— Что ты решила?

— Сама принести себя в жертву раньше, чем буду принесена в жертву другими, — ответила змея. — Обещай не оставить на суше ни единого моего камня.

Старик обещал. Затем он обратился к прекрасной Лилии:

— Коснись левой рукой змеи, а правой любимого тобой юноши!

Лилия опустилась на колени и коснулась змеи и мертвого тела. И в то же мгновение бездыханное тело начало оживать, мертвый зашевелился, приподнялся, сел. Лилия хотела его обнять, но старик отстранил ее, он сам поддержал юношу, когда тот встал, и помог ему переступить через край корзины и кольцо, образованное змеей.

Юноша стоял, канарейка на его плече махала крылышками, — материя ожила, но дух еще не вернулся: глаза юноши были открыты, но, казалось, он ничего не видит, взор его был безучастен. Как только немного улеглось изумление, всех привлекла странная перемена в облике змеи. Ее красивое тело распалось на тысячи сверкающих камней: старуха, потянувшись за корзиной, нечаянно задела змею, и от той ничего не осталось — только великолепное кольцо из самоцветных камней сияло на траве.

Старик тут же принялся собирать камни в корзину, и жена ему помогала. Потом они взобрались на возвышенное место у самой реки, и он вытряхнул все, что было в корзине, в воду, к немалому неудовольствию красавицы Лилии и жены, которые охотно выбрали бы себе что-нибудь из этого богатства. Словно звезды мерцали, плывя на волнах, сияющие камни, и трудно было сказать, исчезли они вдали или пошли ко дну.

— Милостивые государи, — почтительно обратился старик к блуждающим огням, — теперь я выведу вас на дорогу, а затем открою вам проход, вы же окажете нам величайшую услугу, ежели откроете врата, через которые нам ныне надлежит вступить в святилище, ибо, кроме вас, отомкнуть их никто не может.

Блуждающие огни учтиво поклонились и пропустили старика с лампадой вперед. Он первым вошел в разверзшуюся перед ним скалу; юноша следовал за ним, по-прежнему, как во сне, переставляя ноги; Лилия, тихая и нерешительная, держалась в некотором отдалении; старуха не хотела отставать и вытянула руку так, чтобы свет лампы мужа падал на нее. Теперь шествие замыкали блуждающие огни, они склонились друг к другу верхушками ярко горящих языков и, казалось, о чем-то шептались.

Прошло немного времени, и старик остановился перед огромными медными воротами, запертыми на золотой замок. Он подозвал блуждающие огни, а те не заставили себя долго просить и тут же с деловитым видом принялись пожирать своими острыми огненными языками замок и засовы.

С гулким звоном распахнулись врата святилища, и взорам явились гордые статуи королей, осиянные светом, внесенным пришедшими. Все почтительно склонились перед достойными властителями, особенно изысканно изгибались в поклонах блуждающие огни.

После некоторого молчания золотой король спросил:

— Откуда вы пришли?

— Из мира,— отвечивал старик.

— Куда вы идете? — спросил серебряный король.

— В мир,— сказал старец.

— Зачем вы здесь? — спросил медный король.

— Чтобы сопровождать вас,— отвечивал старец.

Король из сплава собрался было заговорить, но тут золотой король сказал, обращаясь к блуждающим огням, слишком близко подступившим к нему:

— Уйдите прочь! Мое золото не для вас.

Тогда они подошли к серебряному королю и начали к нему льнуть, от их пламени его одеянье красиво светилось желтоватым отблеском.

— Я рад видеть вас,— сказал он,— но напитать не могу, насыщайтесь на стороне, а мне приносите ваш свет.

Они отошли и прошмыгнули мимо медного короля, который их как будто и не заметил, к тому королю, что был из сплава.

— Кто будет властвовать миром? — крикнул он прерывистым голосом.

— Тот, кто стоит на своих ногах,— отвечивал старец.

— Это я,— сказал король из сплава.

— Скоро это откроется,— отвечив старец,— ибо урочный час близок!

Красавица Лилия обняла старика и от всего сердца поцеловала его.

— Праведный старец,— сказала она,— благодарность моя безгранична, ибо в третий раз слышу я эти знаменательные слова.

Молвив так, она вдруг еще крепче прижалась к старику; земля у них под ногами заколебалась, старуха и юноша тоже держались друг за друга, только непоседливые огоньки ничего не заметили.

Храм двигался,— это ясно ощущалось,— двигался, чуть покачиваясь, как корабль, медленно покидающий гавань, когда якорь поднят. Казалось, на его пути расступаются недра земли; он ни на что не натыкался, ни одна скала не преградила ему дорогу.

Несколько мгновений казалось, будто через отверстие купола в храм тонкими струйками льется дождик. Старец крепче обнял красавицу Лилию и сказал:

— Над нами река, мы скоро будем у цели.

Спустя немного им показалось, будто движения больше нет, но они обманулись, храм подымался вверх. Вдруг у них над головой раздался невероятный грохот. Над ними, беспорядочно теснясь, прорывались в отверстие купола доски и балки. Лилия и старуха отпрянули в сторону; старец с лампадой схватил юношу, и они остались на месте. Лачуга перевозчика,— это ее, подымаясь вверх, оторвал от земли и поглотил храм,— медленно падая, накрыла юношу и старца.

Женщины подняли крик, а храм содрогнулся, словно корабль, неожиданно наскочивший на сушу. Испуганные, бродили они впотьмах вокруг лачуги; дверь была заперта, на их стук никто не отзывался, они принялись стучать настойчивей, и сколь же велико было их изумление, когда под конец дерево зазвенело. Хижина изнутри и снаружи силой лампы, в ней заключенной, была превращена в серебряную. Вскоре изменился и весь ее облик: благородный металл отказался от плохо подогаанных одна к другой досок, подпорок, балок и расширился в великолепное здание чеканной работы. Внутри большого храма стоял теперь не менее великолепный маленький, своего рода достойный его алтарь.

Благородный юноша поднялся по внутренней лестнице. Старец с лампадой освещал ему путь, их сопровождал старик в белой короткой одежде, с серебряным веслом в руке,—



в нем все сразу признали перевозчика, прежнего обитателя преобразенной лачуги.

Прекрасная Лилия поднялась по ступеням наружной лестницы, которая вела из храма в алтарь, но и сейчас еще ей надлежало держаться в отдалении от милого ее сердцу юноши. Старуха, рука которой за то время, что лампада была сокрыта, еще уменьшилась, воскликнула:

— Неужто мне суждено на всю жизнь остаться несчастной? Неужто среди стольких чудес не сыщется ни одного для спасения моей руки?

Муж указал ей на отворенные ворота храма.

— Смотри, уже светает, поспеши искупаться в реке! — сказал он.

— Ну и совет! — крикнула она. — Этак я вся целиком по чернею и исчезну: долга-то я еще не выплатила!

— Ступай, — сказал старик, — и слушай меня: все долги уже выплачены.

Старуха быстро убежала, и в то же мгновение восходящее солнце осветило купол, венчающий храм. Старец стал между юношей и девой и возгласил:

— Три начала властвуют миром: мудрость, свет и сила.

При первом слове встал золотой король, при втором — серебряный, при третьем медленно поднялся медный, и тут же король из сплава неуклюже опустился на сиденье. Невзирая на торжественность минуты, тот, кто его видел, еле сдерживался от смеха: король не сидел, и не лежал, и ни к чему не прислонялся, — он весь осел какой-то бесформенной массой.

Блуждающие огни, до тех пор трудившиеся около него, отошли в сторону; при свете утренней зари они, правда, побледнели, но выглядели упитанными и горели неплохо. Очень ловко вылизали они острыми своими языками золотые прожилки колоссальной статуи. Возникшие таким образом беспорядочно распределенные пустые прожилки сохранялись, хотя и открытые, и статуя держалась на ногах. Но под конец были выедены все жилочки до самой тоненькой, и статуя сразу рухнула, на беду сломавшись как раз в тех местах, которым, когда человек садится, положено сохраняться в целости, а вот те суставы, которым надлежит сгибаться, не согнулись. И, глядя на эту осевшую массу, не то статую, не то бесформенный ком, тот, у кого она не вызывала смеха, невольно отворачивался, — уж очень неприглядное это было зрелище.

Старец с лампадой повел все еще безучастно устремившего взор в пространство красавца юношу вниз, прямо к медному

королю. У ног могучего властителя лежал меч в медных ножнах. Юноша опоясался мечом.

— Меч у левой руки, правая рука свободна! — возгласил мощный король.

Затем они подошли к серебряному королю, тот протянул юноше своей скипетр. Юноша взял его в левую руку, и король ласково сказал:

— Паси овец своих!

Тогда они подошли к золотому королю; тот, словно отечески благословляя, возложил на голову юноше венок из дубовых листьев и сказал:

— Познай высшее!

Пока они обходили королей, старик внимательно следил за юношей. Когда тот опоясался мечом, грудь у него расширилась, руки стали увереннее двигаться, ноги — тверже ступать; когда он взял в руку скипетр, сила его, казалось, смягчилась, но в то же время и возросла, так несказанно хорош стал он лицом, а когда его кудри украсил венок из дубовых листьев, лицо его ожило, глаза озарились духовным светом и первое слово, слетевшее с его уст, было *Лилия*.

— Лилия, любимая моя! — воскликнул он, спеша к ней навстречу по серебряной лестнице, — она со стен алтаря следила за ним, пока он совершал свой обход, — Лилия, любимая моя! Что может быть самым ценным даром для человека, которому даровано все, как не та чистая и певчая любовь, что мне сулит твое сердце!

— О друг мой! — сказал он, обращаясь к старцу и глядя на священные статуи трех королей, — чудесно и прочно царство наших отцов, но ты забыл четвертую силу, извечную, всеобщую, владеющую всем миром — силу любви.

С этими словами он заключил в объятия красавицу деву, она откинула вуаль, и ланиты ее зарделись прелестным неувядаемым румянцем.

В ответ на это старик, улыбнувшись, сказал:

— Любовь не властвует, она созидает, а это важней.

Увлеченные торжественностью минуты, счастьем, восторгом, они не заметили, как наступил день, и теперь в распахнутые ворота их взорам открылась совершенно неожиданная картина. Широкою, окруженною колоннами площадь, своего рода парадный двор, завершал длинный великолепный мост, перекинувшийся через реку; по обе его стороны шли роскошные колоннады, удобные для пешеходов, которые уже теснились на них, спеша с одного берега на другой. По широкой

дороге посреди моста гнали стада, шли мѣлы, ехали всадники и экипажи, два оживленных потока двигались каждый в свою сторону, не мешая один другому; казалось, все на мосту дивится на его удобство и великолепие; а молодой король с супругой были столь же воодушевлены движением и жизнью народа, сколь счастливы своей взаимной любовью.

— Храни добрую память о змее! — сказал старец с лампадой. — Ты обязан ей жизнью, подвластный тебе народ — мостом, он соединил эти близкие меж собой, но пустынные берега и сделал их обитаемыми. Те самоцветные камни, что светились, плывя на волнах, останки тела, принесенного ею в жертву, они превратились в устой этого величественного моста. На них воздвигся мост, и на них он будет крепко стоять.

Всем не терпелось, чтобы старик поскорее открыл им эту чудесную тайну, но тут во врата храма вошли четыре красотки девушки. По арфе, зонту и складному стулу все сразу узнали прислужниц Лилии, а четвертая, самая красивая, никому не знакомая, весело, как подруга, шутя и болтая, прошла с ними храмом и поднялась по серебряным ступеням алтаря.

— Ну, как, будешь мне впредь больше верить, дорогая жена? — обратился к красотке старик с лампадой. — Счастлива ты, счастлива всякая тварь земная, что искушалась нынешним утром в реке.

Былой облик старухи исчез бесследно, молодая красавица с юным пылом обнимала человека с лампадой, а он благоклонно принимал ее ласки.

— Если я слишком стар для тебя, можешь сегодня избрать себе другого супруга: с нынешнего утра действителен только заново заключенный брак.

— А ты разве не знаешь, что ты тоже помолодел? — возразила она.

— Мне отрадно, что в твоих молодых глазах я юноша, полный сил. Вновь прошу я твоей руки, и мы с радостью проживем вместе и грядущее тысячелетие.

Королева ласково приветствовала новую подругу и вместе с ней и остальными тремя девушками сошла со ступен алтаря, а король не спускал глаз с моста и внимательно вглядывался в движение теснившейся там толпы.

Радужное его настроение длилось недолго: к своей досаде, правда, тоже недолгой, он увидел, что по мосту, пошатываясь на ходу, бредет как будто еще не совсем очнувшийся после

утреннего сна великан и вносит смятение в толпу. Как обычно, еще полусонный, шел он искупаться в знакомой бухте, но на ее месте почувствовал у себя под ногами твердую почву и топтался теперь по настилу широкого моста. Весь народ с удивлением глядел на него, однако никто не ощущал толчков от той неуклюжести, с которой он, нетвердо ступая, раздвигал и людей и скот. Но когда солнце стало светить ему в лицо и он поднял руку, чтобы протереть глаза, тень позади него стала молотить по толпе огромными кулачищами, не разбирая куда, нанося увечья, валя с ног людей и животных, грозя сбросить их в реку.

Король, увидя это бесчинство, невольно схватился за меч, но одумался и спокойно посмотрел сперва на свой скипетр, затем на лампаду и весло своих спутников.

— Я угадываю твои мысли,— сказал человек с лампадой,— но мы при всей нашей силе беспомощны против этого беспомощного исполина. Успокойся! В последний раз наносит он вред, и, к счастью, тень его падает не в нашу сторону.

Меж тем великан подошел ближе; узрев то, что было у него перед глазами, он разинул от изумления рот, опустил руки и, уже никому не причиняя вреда, вошел на площадь перед храмом.

Он двинулся прямо к воротам храма, но вдруг остановился посреди площади, словно прирос к земле, и теперь высился там огромным, могучим монументом из отливающего красноватым камня, а тень его указывала часы, отмеченные по кругу у его ног, но отмеченные не цифрами, а прекрасно выполненными сакральными изображениями.

Немало обрадован был король, когда увидел, что тень великана нашла полезное применение, немало удивлена была королева, когда в великолепном одеянии вышла в сопровождении своих прислужниц из алтаря и, поднявшись на его стены, увидела поразительную статую, почти прикрывшую вид из храма на мост.

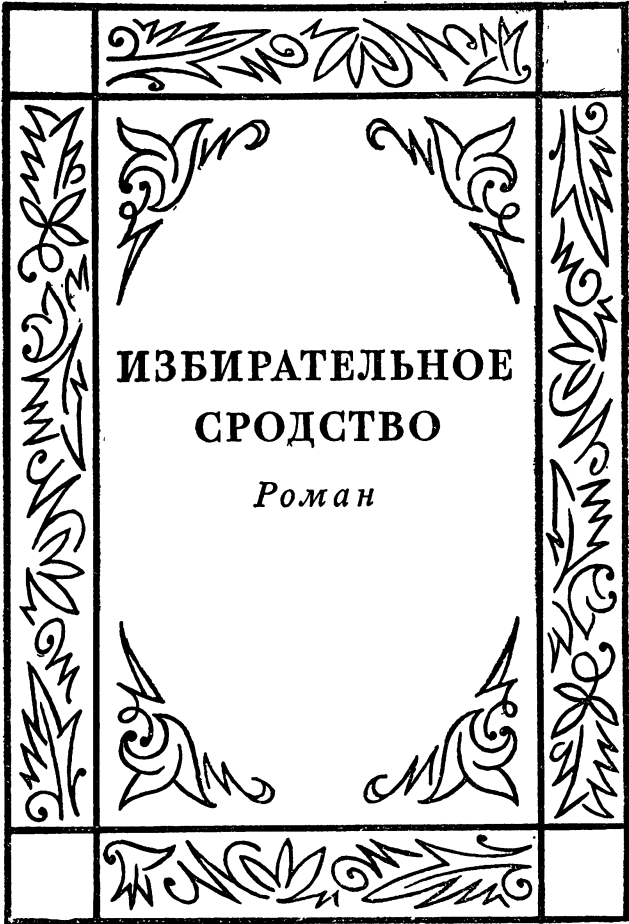
А меж тем народ повалил вслед за великаном и, видя, что тот недвижим, теснился вокруг него, дивясь неожиданному превращению. Потом толпа отхлынула к храму, словно только сейчас увидя его, и теперь теснилась уже у его врат.

В эту минуту ястреб с зеркалом взмыл высоко над храмом и навел отразившийся в зеркале солнечный луч на стоявших на стене алтаря. Король, королева и те, кто их окружали, предстали под сумрачными сводами храма озаренные небесным сиянием, и народ пал ниц перед ними. Когда изумленная

толпа опомнилась и поднялась на ноги, король и его приближенные спустились в алтарь, чтобы потайной галереей пройти во дворец, а народ, любопыествуя, разбрелся по храму. В благоговейном изумлении созерцали вошедшие трех королей, стоящих в нишах, но особенно донимало всех желание узнать, что за бесформенный ком сокрыт под ковром в четвертой нише, ибо кто-то, доброжелательный и скромный, покрыл поверженного в прах четвертого короля роскошным ковром, и ничей взгляд не мог чрез него проникнуть, ничья дерзновенная рука не решалась его приподнять.

Народ не перестал бы любоваться изумительной красотой храма, и от все возрастающей толпы могла бы возникнуть давка, но тут общее внимание было отвлечено тем, что происходило на площади.

Нежданно-негаданно на мраморные плиты, словно с неба, звеня, посыпались червонцы. Те, что стояли поближе, кинулись их подбирать; чудо это повторялось в разных местах. Нетрудно догадаться, что это блуждающие огни захотели на прощанье повеселиться и забавы ради растрясти золото из жилек рухнувшего короля. Жадная до денег толпа кидалась то туда, то сюда, люди теснились, давили друг друга, дрались даже тогда, когда сверху уже не сыпалось никаких золотых монет. Постепенно толпа растаяла, каждый пошел своей дорогой, но и по сей день еще кишит людьми мост, и во всем мире не сыскать другого столь посещаемого храма.



**ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  
СРОДСТВО**

*Роман*





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эдуард, — так мы будем звать богатого барона в полном расцвете сил, — Эдуард чудесным апрельским вечером целый час провел в своем питомнике, прививая молодым дичкам свежие черенки. Он только что покончил с этим занятием и как раз складывал инструменты в футляр, с удовлетворением глядя на сделанное, когда подошел садовник и остановился любоваться на труд и усердие своего господина.

— Не видал ли ты мою жену? — спросил Эдуард, собираясь уходить.

— Госпожа там, в новой части парка, — отвечал садовник. — Сегодня заканчивают дерновую хижину на скале, что против замка. Все вышло очень хорошо и, наверно, понравится вашей милости. Прекрасный оттуда вид: внизу деревня, немного правее — церковь, так что глядишь чуть ли не поверх шпиля, а напротив — замок и сады.

— И в самом деле, — ответил Эдуард, — когда я шел сюда, я же видел, как там работали.

— Дальше, направо, — все рассказывал садовник, — видна долина, а за перелесками даль, такая светлая. Ступеньки в скале высечены нельзя лучше. Наша госпожа знает толк в этих делах, для нее трудишься с радостью.

— Пойди к ней, — сказал Эдуард, — и попроси подождать меня. Скажи ей, что я хочу видеть ее новое творение и любоваться им.

Садовник тотчас же ушел, а вскоре за ним последовал и Эдуард.



Он спустился по террасам парка, мимоходом оглядел оранжерею и парники, дошел до ручья и, миновав мостик, добрался до того места, где дорожка к новой части парка разбегалась двумя тропинками. Пошел он не по той, что вела к скале прямо через кладбище, а выбрал другую, что вилась вверх несколько левее, скрытая живописными кустами; там, где тропинки вновь соединялись, он присел на минутку на скамью, весьма кстати поставленную в этом месте, а затем стал подыматься по ступеням, выбитым в скале; эта узкая дорожка, то крутая, то более отлогая, через ряд лестниц и уступов привела его наконец к дерновой хижине.

В ее дверях Шарлотта встретила своего супруга и усадила так, чтобы он сразу, сквозь окна и дверь, мог охватить *одним* взглядом окрестности — разнообразный ряд картин, словно вставленных в рамы. Он с радостью думал о том, что весна сделает все вокруг еще более пышным.

— Только *одно* могу заметить, — сказал он: — в хижине, мне кажется, слишком тесно.

— Для нас двоих в ней все же достаточно просторно, — возразила Шарлотта.

— Да здесь, — сказал Эдуард, — и для третьего найдется место.

— Разумеется, — заметила Шарлотта. — И для четвертого тоже. А общество более многочисленное мы примем где-нибудь в другом месте.

— Раз уж мы здесь одни, — сказал Эдуард, — и никто нам не помешает, и мы оба к тому же в спокойном и веселом расположении духа, я должен сделать тебе признание: уже с некоторых пор мое сердце тяготит одно обстоятельство, о котором мне надо и хотелось бы тебе сказать, и все же я никак не могу собраться это сделать.

— Я это видела по тебе, — ответила Шарлотта.

— Признаться, — продолжал Эдуард, — что если бы не надо было торопиться из-за почты, — а она отправляется завтра, — если бы не требовалось принять решение еще сегодня, я, пожалуй, молчал бы и дольше.

— Что же это такое? — с ободряющей улыбкой спросила Шарлотта.

— Дело касается нашего друга, капитана, — ответил Эдуард. — Тебе ведь известно то печальное положение, в котором он, как иногда случается, оказался не по своей вине. Как тяжело должно быть человеку с его познаниями, его талантом и способностями остаться без всякого дела, и... не

буду больше таить то, что я желал бы для него сделать: мне хочется пригласить его на некоторое время к нам.

— Это надо обдумать и взвесить с разных сторон,— ответила Шарлотта.

— Я хочу сказать тебе мое мнение,— продолжал Эдуард.— В последнем его письме чувствуется молчаливое, но глубокое недовольство. Не то чтобы он в чем-нибудь терпел нужду: ведь он, как никто, умеет ограничивать себя, а о самом необходимом я позаботился; принять что-либо от меня тоже не тягостно для него, ибо мы в течение жизни столько раз бывали в долгу друг у друга, что не можем и подсчитать, каков наш дебет и кредит... Он ничем не занят, вот что, собственно, мучит его. Ежедневно, ежечасно обращать на пользу другим все те разносторонние знания, которые ему удалось приобрести,— в этом единственное его удовольствие, вернее даже — страсть. И вот сидеть сложа руки или же снова учиться и развивать в себе новые способности, в то время как он не в силах применить и то, чем уже владеет в полной мере,— словом, милое мое дитя, это горькая участь, и всю ее мучительность он в своем одиночестве ощущает вдвойне, а то и втройне.

— А я думала,— сказала Шарлотта,— что ему уже сделаны разные предложения. Я и сама писала о нем кое-кому из моих друзей и подруг, готовых помочь, и, сколько я знаю, это не осталось без последствий.

— Все это так,— отвечал Эдуард,— но представившиеся случаи, сделанные ему предложения, явились для него лишь источником новых мучений, нового беспокойства,— ни одно из них не удовлетворяет его. Он должен бездействовать, он должен принести в жертву себя, свое время, свои взгляды, свои привычки, а это для него нестерпимо. Чем больше я обо всем этом думаю, чем живее это чувствую, тем сильнее во мне желание увидеть его у нас.

— Очень хорошо и мило,— возразила Шарлотта,— что ты с таким участием печешься о положении друга, но все же позволь мне просить тебя, чтобы ты подумал и о себе самом и о нас.

— Я подумал,— ответил Эдуард.— От общения с ним мы можем ждать только пользы и удовольствия. Об издержках не стоит и говорить: ведь они все равно не будут для меня значительными, если он к нам переедет, а присутствие его нас нисколько не стеснит. Жить он может в правом флигеле замка, все остальное устроится само собой. Как много это бу-

дет для него значить, а сколько приятного, сколько полезного принесет нам жизнь в его обществе! Мне давно хотелось произвести обмер поместья и всей местности; он возьмется за это дело и доведет его до конца. Ты собираешься, как только истекут сроки контрактов с арендаторами, сама управлять имениями. Это очень серьезный шаг! А сколько сведений, необходимых для этого, нам может сообщить капитан! Я слишком ясно чувствую, что мне недостает именно такого человека. Крестьяне знают все, что нужно, но когда рассказывают, то путаются и хитрят. Люди ученые из городов и академий,— конечно, толковые и порядочные, но им не хватает настоящего понимания дела. На друга же я могу рассчитывать и в том и в другом отношении; кроме того, тут возникает еще и множество других обстоятельств, о которых я думаю с большим удовольствием; они касаются и тебя, и я жду от них немало хорошего. Позволь поблагодарить тебя за то, что ты так терпеливо выслушала меня, а теперь говори ты так же откровенно и подробно и скажи все, что хочешь сказать, я не буду перебивать тебя.

— Хорошо,— сказала Шарлотта,— только я начну с одного общего замечания. Мужчины больше думают о частных, о настоящем, и это вполне понятно, ибо они призваны творить, действовать; женщины же, напротив, больше думают о том, что связывает различные стороны жизни, и они тоже правы, ибо их судьба, судьба их семей зависит от этих связей, участия в которых как раз и требуют от женщины. Если мы бросим взгляд на нашу нынешнюю и на нашу прошлую жизнь, то тебе придется признать, что мысль пригласить капитана не вполне отвечает нашим намерениям, нашим планам, нашему укладу.

А как мне приятно вспоминать о наших прежних отношениях с тобой! Мы смолоду всем сердцем полюбили друг друга, нас разлучили: твой отец, ненасытный в своей жажде накопления, соединил тебя с богатой, уже немолодой женщиной; мне же, не имевшей никаких надежд на лучшее будущее, пришлось отдать руку человеку состоятельному, не любимому, но вполне достойному. Мы вновь стали свободны, ты — раньше, получив в наследство от твоей старушки крупное состояние, я — позже, как раз в то время, когда ты возвратился из путешествия. Так мы встретились вновь. Мы радовались воспоминаниям, наслаждались ими, и никто не мешал нам быть вместе. Ты убеждал меня соединиться с тобой; я не сразу согласилась; ведь мы почти одного возраста, и я, жен-

щина, конечно, состарилась больше, чем ты. В конце концов я все же не захотела отказать тебе в том, что ты почитал за единственное свое счастье. Подле меня и вместе со мной ты хотел, отдохнув от всех тревожений, какие испытал при дворе, на военной службе, в путешествиях, отвлечься, насладиться жизнью, но опять-таки только наедине со мной. Мою единственную дочь я поместила в пансион, где она, конечно, получает образование более разностороннее, чем то было бы возможно в сельском уединении; и не только ее, но и Оттилию я отправила туда, мою милую племянницу, которая под моим надзором, может быть, стала бы мне самой лучшей помощницей в домашних делах. Все это было сделано с твоего согласия — и только затем, чтобы мы спокойно могли жить для самих себя, чтобы мы могли насладиться счастьем, которого некогда так страстно желали, но так поздно достигли. С этого началась наша сельская жизнь. Я взялась устроить ее внутреннюю сторону, ты же внешнюю и все в целом. Я попыталась во всем пойти тебе навстречу, жить только ради тебя; так давай же испробуем хотя бы в течение малого срока, сумеем ли мы прожить в общении только друг с другом.

— Поскольку, — возразил Эдуард, — жизненные связи, как ты выразилась, составляют собственно вашу стихию, нам не к чему выслушивать от вас такие связные речи или уж надо решиться признать вашу правоту, да ты и была права вплоть до нынешнего дня. Основа, на которой мы доселе строили нашу жизнь, хороша, но неужели мы больше ничего не воздвигнем на ней и больше ничего из нее не разовьется? То, что я делаю в саду, а ты — в парке, неужели предназначено для отшельников?

— Прекрасно, — возразила Шарлотта. — Превосходно! Но только бы не внести сюда чего-нибудь постороннего, чужого... Подумай, ведь и в том, что касается времяпрепровождения, мы рассчитывали главным образом на жизнь вдвоем. Ты хотел для начала ознакомить меня с дневниками твоих путешествий во всей их последовательности, а для этого привести в порядок часть бумаг, относящуюся к ним, и при моем участии, при моей помощи составить из этих бесценных, но перепутанных тетрадей и беспорядочных записей нечто целое, занимательное для нас и для других. Я обещала помочь тебе при переписывании, и мы представляли себе, как хорошо, как мило, уютно и отрадно нам будет мысленно странствовать по свету, который нам не было суждено увидеть вместе. Да начало уже и положено. По вечерам ты теперь снова берешься за флейту,

аккомпанируешь мне на фортепиано; к тому же нередко мы ездим в гости к соседям и соседи к нам. Из всего этого, по крайней мере для меня, складывались планы на лето, которое я впервые в жизни собиралась провести по-настоящему весело.

— Если бы только, — ответил Эдуард и потер рукою лоб, — если бы только, слушая все, о чем ты так мило и разумно мне напоминаешь, я не думал в то же время, что присутствие капитана ничему не помешает, а, напротив, все ускорит и оживит. И он одно время путешествовал со мной, и он многое запомнил, притом по-иному, чем я; всем этим мы воспользовались бы сообща, и создалось бы прекрасное целое.

— Так позволь же мне откровенно признаться тебе, — с некоторым нетерпением промолвила Шарлотта, — что твоему намерению противится мое сердце, что предчувствие не сулит мне ничего хорошего.

— Вот потому-то вы, женщины, и непобедимы, — ответил Эдуард, — сперва вы благоразумны — так, что невозможно вам противоречить; милы — так, что вам охотно подчиняешься; чувствительны — так, что боишься вас обидеть; наконец, полны предчувствий — так, что становится страшно.

— Я не суеверна, — возразила Шарлотта, — и не придаю значения этим порывам души, если только за ними не кроется ничего иного; но по большей части это неосознанные воспоминания о пережитых нами счастливых или несчастных последствиях своих или чужих поступков. В любых обстоятельствах прибытие третьего знаменательно. Я видела друзей, братьев и сестер, влюбленных, супругов, отношения которых совершенно менялись, и в жизни происходил полный переворот после нечаянного появления или заранее обдуманного приглашения нового лица.

— Это, — отвечал Эдуард, — вполне может случиться с людьми, которые живут, ни в чем не отдавая себе отчета, но не с теми, кто научен опытом и руководствуется сознанием.

— Сознание, мой милый, — возразила Шарлотта, — оружие непригодное, порою даже опасное для того, кто им владеет, и из всего этого вытекает по меньшей мере, что нам не следует слишком спешить. Дай мне еще несколько дней сроку, не принимай решения!

— В таком случае, — ответил Эдуард, — мы и через несколько дней рискуем поторопиться. Доводы «за» и «против» привел каждый из нас, остается только решить, и, право, здесь было бы лучше всего бросить жребий.

— Я знаю,— возразила Шарлотта,— что ты в сомнительных случаях любишь биться об заклад или бросать кости, но я в таком важном деле сочла бы это святотатством.

— Но что же мне написать капитану? — воскликнул Эдуард.— Ведь я же сейчас должен сесть за письмо.

— Напиши спокойное, благоразумное, утешительное письмо,— сказала Шарлотта.

— Это все равно, что ничего не написать,— возразил Эдуард.

— И все же в иных случаях,— заметила Шарлотта,— необходимость и долг дружбы скорее велят написать какой-нибудь пустяк, чем не написать ничего.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Эдуард уединился у себя в комнате и был в глубине своего чувствительного сердца приятно взволнован словами Шарлотты, которая заставила его вновь пережить пройденный путь, осознать сложившиеся между ними отношения и их дальнейшие планы. В ее присутствии, в ее обществе он чувствовал себя столь счастливым, что уже обдумывал приветливое, участливое, но спокойное и ни к чему не обязывающее письмо капитану. Но когда он подошел к письменному столу и взял письмо друга, чтобы еще раз перечитать его, ему тотчас живо представилось печальное состояние этого превосходного человека; все чувства, томившие его в последние дни, снова воскресли в нем, и ему показалось невозможным оставить друга в столь тягостном положении.

Отказывать себе в чем-либо Эдуард не привык. Единственный балованный сын богатых родителей, склонивших его на несколько необычный, но в высшей степени выгодный брак с женщиной уже пожилой, которая всячески потакала ему и старалась величайшей щедростью отплатить ему за доброе отношение к ней, он, став после ее смерти полным хозяином своих поступков, привыкнув в путешествиях к независимости, допускавшей любое развлечение, любую перемену, не требуя от жизни ничего чрезмерного, но многого и разного,— прямой, отзывчивый, порядочный, где нужно — даже смелый,— в чем мог он встретить помехи своим желаниям?

До сих пор все шло в согласии с его желаниями, он добился наконец и руки Шарлотты благодаря настойчивой, почти романтической верности, и вот он впервые чувствовал, что ему

перечат, что ему мешают, и как раз тогда, когда он собрался привлечь к себе друга своей молодости, когда всему складу своей жизни он собирался придать некую завершенность. Он был раздосадован, раздражен, несколько раз брался за перо и снова его откладывал, ибо так и не решил, что же ему писать. Против желаний своей жены он не хотел идти, а исполнить их не мог; полный такого беспокойства, он должен был написать спокойное письмо, что было совершенно невозможно. Естественно, что он дал себе отсрочку. Он в немногих словах просил друга извинить его, что не писал эти дни, что и сегодня не пишет подробно, и обещал в ближайшем будущем письмо более содержательное и успокоительное.

На следующий день, во время прогулки к тому же самому месту, Шарлотта воспользовалась случаем и возобновила вчерашний разговор, держась, вероятно, того мнения, что самый надежный способ притупить чужое намерение — это часто его обсуждать...

Эдуард сам желал к нему вернуться. Говорил он, по обыкновению, дружелюбно и мило: если благодаря своей впечатлительности он легко воспламенялся, если, живо к чему-либо стремясь, он проявлял настойчивость, если его упрямство могло вызвать досаду в другом, то все его доводы настолько смягчала совершенная деликатность в отношении собеседника, что, несмотря на такую настойчивость, его всегда находили любезным.

Так ему в это утро удалось сперва привести Шарлотту в веселое расположение духа, а потом, искусно меняя течение разговора, настолько задеть ее за живое, что под конец она воскликнула:

— Ты, наверно, хочешь, чтобы возлюбленному я уступила в том, в чем я отказала мужу. Но тебе, дорогой мой,— продолжала она,— пусть хоть будет известно, что твои желания и та милая живость, с которой ты их выражаешь, не оставили меня равнодушной или бесчувственной. Они побуждают меня сделать признание. Я тоже кое-что от тебя скрывала. Я нахожусь в таком же положении, как и ты, и уже сделала над собой усилие, которого жду теперь от тебя.

— Это мне отрадно слышать,— сказал Эдуард.— Я замечаю, что в супружеской жизни порой полезны разногласия, ибо благодаря им узнаешь друг о друге кое-что новое.

— Итак, да будет тебе известно,— сказала Шарлотта,— что у меня с Оттилией дело обстоит так же, как у тебя с капитаном. Мне очень жаль, что это милое дитя находится в пан-

сионе, где ей, конечно, тяжело. Если Людиана, моя дочь, рожденная для жизни в свете, и воспитывается там для света, если иностранные языки, история и прочие сведения из наук, преподаваемые ей, даются ей так же легко, как гаммы и вариации, схватываемые ею с листа, если при живости своего характера и отличной памяти она, можно сказать, все забывает и сразу же все вспоминает, если она непринужденностью в обращении, грацией в танцах, уверенной легкостью в разговоре первенствует над всеми и, самой природой предназначенная властвовать, царит в своем тесном кружке; если начальница этого пансиона видит в ней маленькое божество, которое, лишь попав в ее руки, по-настоящему расцвело и которое принесет ей честь, завоеует ей доверие и привлечет целый поток других юных девиц; если первые листки ее писем и ежемесячных отчетов содержат сплошные гимны бесценным свойствам этого ребенка — гимны, которые я вынуждена переводить на свою прозу, — то, напротив, все ее последующие упоминания об Оттилии не что иное, как извинение за извинением по поводу того, что такая, во всем остальном превосходная, девушка не развивается и не выказывает ни способностей, ни талантов. То немногое, что она сверх этого добавляет, тоже не загадка для меня, ибо в этом милом ребенке я всецело узнаю характер ее матери, моей дорогой подруги, выросшей вместе со мной, и из дочери ее, если бы я могла сама воспитывать ее или следить за ней, я сделала бы чудесное существо.

Но так как это отнюдь не входит в наши планы и уклад жизни нельзя то и дело менять и перестраивать, вводя в него что-нибудь новое, я готова примириться с таким положением, даже подавить в себе тягостное чувство при мысли, что моя дочь, прекрасно знающая о полной зависимости бедной Оттилии от нас, кичится перед ней своими достоинствами и тем самым до некоторой степени уничтожает добро, сделанное нами.

Но где найти человека столь просвещенного, чтобы он не стал иной раз жестоко злоупотреблять своими преимуществами перед другими? Кто стоит столь высоко, чтобы ему не приходилось порой страдать под тяжестью такого гнета? Эти испытания возвышают Оттилию, но с той поры, как мне уяснилось ее тяжелое состояние, я старалась поместить ее в другое заведение. С часу на час должен прийти ответ, и тут уж я не стану медлить. Так обстоит со мной, мой милый. Ты видишь, у каждого из нас в сердце одинаковые заботы, вызванные вер-



ностью и дружбой. Так будем же нести их вместе, раз мы не можем друг друга освободить от них.

— Странные мы люди,— сказал Эдуард, улыбаясь.— Как только нам удастся удалить от себя то, что причиняет нам заботы, мы уже думаем, будто с ними покончено. Мы способны многим жертвовать, но побороть себя в малом — вот требование, которое мы редко можем удовлетворить. Такова была моя мать. Пока я был мальчиком и юношей и жил при ней, ее ежеминутно одолевали беспокойства. Если я запаздывал с верховой прогулки,— значит, со мной произошло несчастье; если я попадал под ливень,— значит, была неминуема лихорадка. Я расстался с ней, уехал далеко от нее — и словно перестал для нее существовать... Если,— продолжал он,— вдуматься поглубже, то оба мы поступаем неразумно и неосмотрительно, оставляя в печальном и трудном положении два благороднейших существа, столь близких нашему сердцу, и только для того, чтобы не подвергать себя опасности. Если не назвать это эгоизмом, то что же заслуживает такого названия? Возьми Оттилию, мне предоставь капитана, и бог да поможет нам в этой попытке!

— Рискнуть можно было бы,— нерешительно сказала Шарлотта,— если бы опасность касалась только нас. Но считаешь ли ты возможным соединить под одним кровом капитана и Оттилию, мужчину твоего примерно возраста, того возраста,— этот комплимент я скажу тебе прямо в глаза,— когда мужчина только и становится способным любить и достойным любви, и девушку таких достоинств, как Оттилия?

— Я никак не пойму,— отвечал Эдуард,— почему ты так высоко ставишь Оттилию! И объясняю это себе только тем, что на нее ты перенесла свою привязанность к ее матери. Она хороша собою, это правда, и я вспоминаю, что капитан обратил мое внимание на нее, когда мы год тому назад вернулись из путешествия и встретили ее вместе с тобой у твоей тетки. Она хороша, особенно красивы у нее глаза, и все же на меня она не произвела ни малейшего впечатления.

— Это очень похвально с твоей стороны,— сказала Шарлотта.— Ведь тут же была и я, и хотя она моложе меня на много, но присутствие твоей более старой подруги имело для тебя такую прелесть, что твой взгляд не задержался на ее распускающейся и многообещающей красоте. Это тоже одно из тех свойств твоего характера, благодаря которым мне так приятна жизнь с тобой.

Несмотря на всю видимую искренность своих речей, Шар-

лотта кое-что скрывала. Дело в том, что возвратившемуся из путешествия Эдуарду она нарочно показала тогда Оттилию, желая составить для любимой приемной дочери такую прекрасную партию. Капитан, тоже посвященный в замысел, должен был указать на нее Эдуарду, но тот, упорно храня в душе старую любовь к Шарлотте, был слеп ко всему и чувствовал себя счастливым лишь при мысли о возможности обрести наконец то, к чему он так страстно стремился и от чего ему, по целому ряду обстоятельств, пришлось отказаться, как он думал, навсегда.

Супруги уже намеревались спуститься к замку по вновь разбитым участкам парка, как вдруг они увидели, что навстречу им быстро поднимается слуга, веселый голос которого донесся к ним еще снизу.

— Ваша милость, идите скорее! К замку прискакал господин Митлер. Он созвал всех нас и велел разыскать вас и спросить, не нужен ли он? «Не нужен ли? — кричал он лам вслед.— Слышите? Да живей, живей!»

— Вот забавный человек! — воскликнул Эдуард.— Можалуй, он приехал в самое время, не правда ли, Шарлотта? Беги за ним! — приказал он слуге.— Скажи ему, что нужен, очень нужен! Пусть он задержится. Позаботьтесь о лошади, а его отведите в залу и подайте завтрак, мы сейчас придем. Пойдем кратчайшей дорогой,— сказал он жене и выбрал путь через кладбище, которого обычно избегал. Но как же он был удивлен, когда увидел, что Шарлотта и здесь выказала заботу, исполненную чувства. Всячески щадя старые памятники, она во все сумела внести такую стройность и такой порядок, что место это являло теперь отрадное зрелище, привлекавшее и взгляд и воображение прохожего.

Даже самым древним надгробиям она воздала должный почет. Они были расставлены вдоль ограды, в последовательности годов, частью вделаны в нее, частью нашли себе другое применение. Даже высокий цоколь церкви был разнообразно украшен ими. Отворив калитку, Эдуард остановился, пораженный; он пожал Шарлотте руку, и в глазах его блеснула слеза.

Но она сразу исчезла при появлении гостя-чудака. Тому не сиделось; он проскакал галопом через деревню на кладбище, где остановил коня, и крикнул своим друзьям, шедшим навстречу:

— А вы надо мной не шутите? Если и вправду нужен, я останусь здесь до обеда, но без надобности меня не задерживайте: у меня сегодня много дела.

— Раз уж вы проделали такой путь, — закричал ему Эдурд, — то въезжайте прямо сюда и поглядите, как красиво Шарлотта убрала это печальное место, у которого мы встретились сейчас.

— Сюда, — воскликнул всадник, — я не собираюсь ни верхом, ни в карете, ни пешком. Те, кто здесь, пусть починут в мире, мне с ними нечего делать! Вот когда меня притащат сюда ногами вперед, то придется покориться. Так вы всерьез?

— Да, — воскликнула Шарлотта, — вполне всерьез! Мы, молодожены, в первый раз в смущении и тревоге и не знаем, как себе помочь.

— По виду не скажешь, — ответил он, — но я готов поверить. Если вы меня обманываете, то я вам больше помогать не стану. Живо идите за мной; а лошадь пока пусть отдохнет.

Вскоре все трое уже сидели в зале; завтрак был подан, и Митлер рассказывал о своих сегодняшних делах и намерениях. Этот необыкновенный человек был прежде духовным лицом и, неутомимо деятельный в своей службе, отличался тем, что умел уладить и прекратить любую ссору и спор как в семье, так и между соседями, а впоследствии и между целыми приходами или несколькими землевладельцами. Пока он служил в своей должности, ни одна супружеская чета не возбуждала ходатайства о разводе, и местные суды никто не утруждал тяжбой или процессом. Вовремя поняв, как важна для него юриспруденция, он целиком погрузился в ее изучение и вскоре уже чувствовал себя в состоянии померяться с любым адвокатом. Круг его деятельности необычайно расширился, и его уже собирались пригласить в резиденцию, дабы сверху завершить то, что он начал снизу, как вдруг на его долю выпал крупный выигрыш в лотерее, он купил себе небольшое имение, сдал его арендаторам и сделал центром своей деятельности с твердым намерением, — или, скорее, то была старая склонность и привычка, — не бывать в таких домах, где не требовалось кого-либо мирить и кому-нибудь помогать. Те, кто вкладывает в имена суеверный смысл, утверждают, что самая фамилия побудила его принять это своеобразное решение<sup>1</sup>.

Когда подали десерт, гость строгим тоном предложил хозяевам не медлить более с признаниями, так как ему после кофе немедленно надо ехать. Супруги стали подробно рассказывать, но едва только он усвоил суть дела, как сердито вскочил из-за стола, подбежал к окну и приказал седлать лошадь.

---

<sup>1</sup> Mittler — посредник (нем.).

— Либо вы меня не знаете, — вскричал он, — и не понимаете, либо вы очень злые люди. Разве же это спор? Разве здесь нужна помощь? Неужели вы думаете, будто я на то и существую, чтобы давать советы? Это глупейшее ремесло, какое только может быть. Пусть каждый сам себе советует и делает то, что ему надо делать. Если ему везет, пусть он радуется своей мудрости и удаче; если ему не посчастливилось, я готов помочь. Кто хочет пособить горю, тот всегда знает, чего хочет; кто от добра ищет добра, тот всегда действует вслепую... Да, да! Можете смеяться, — он играет в жмурки, он, пожалуй, даже и поймает, но что? Поступайте как хотите, это все едино. Зовите друзей к себе или не заботьтесь о них — все едино! Я видел, как самые разумные начинания терпели неудачу, а нелепейшие удавались. Не ломайте себе головы, а если и так и сяк выйдет плохо, тоже не горюйте. Пошлите только за мной, и я вам помогу. А до той поры — ваш покорный слуга! — И он, так и не дожидаясь кофе, вскочил в седло.

— Вот видишь, — сказала Шарлотта, — как, в сущности, мало пользы может принести третий там, где нет полного согласия между двумя близкими друг другу людьми. Ведь мы сейчас, если это только возможно, в еще большем смятении и нерешительности, чем были раньше.

Супруги долгое время пребывали бы в колебаниях, если бы не пришел ответ от капитана на последнее письмо Эдуарда. Он решился принять одно из предложенных ему мест, хотя оно ему отнюдь не подходило. Ему предстояло делить скуку со знатными и богатыми людьми, возлагавшими надежду на то, что ему удастся ее рассеять.

Эдуард ясно оценил все положение и обрисовал его резкими чертами.

— Потерпим ли мы, чтобы друг наш находился в подобном состоянии? — воскликнул он. — Ты не можешь быть так жестока, Шарлотта!

— Этот чужак, наш Митлер, — ответила Шарлотта, — в конце концов все же прав. Ведь подобные начинания рискованны. Что из них получится, никто не знает. Такие перемены в жизни могут быть чреватые счастьем и горем, но мы не вправе усматривать в этом ни своей заслуги, ни своей вины. Я не чувствую в себе достаточной силы долгие противоречить себе. Сделаем попытку. Единственное, о чем я тебя прошу, чтобы это было ненадолго. Мне же позволь более деятельно, нежели до сих пор, заняться хлопотами о нем и пустить в ход мое

влияние и знакомства, чтобы доставить ему место, которое могло бы сколько-нибудь удовлетворить человека его склада.

Свою живейшую признательность Эдуард в самых задушевных словах высказал Шарлотте. С легким и радостным сердцем он поспешил написать другу о своем предложении. Шарлотта сделала дружескую приписку, в которой она присоединялась к просьбам Эдуарда и одобряла его план. Писала она с привычной легкостью, любезно и приветливо, но с некоторой торопливостью, вообще несвойственной ей, и, что не часто с ней случалось, под конец испортила листок чернильным пятном; рассерженная, она попыталась стереть его, но только еще больше размазала.

Эдуард пошутил по этому поводу и, так как место еще оставалось, сделал вторую приписку, прося друга видеть здесь признак нетерпения, с которым его ждут, и в соответствии с поспешностью, с какой писалось письмо, ускорить свой приезд.

Слуга ушел на почту, и Эдуард избрал самый убедительный путь для выражения своей благодарности, вновь и вновь настаивая на том, чтобы Шарлотта немедленно взяла к себе Оттилию из пансиона.

Шарлотта попросила повременить с этим и постаралась пробудить в этот вечер у Эдуарда охоту заняться музыкой. Она прекрасно играла на рояле, Эдуард — менее искусно на флейте; если он порою прилагал немало усилий, то все же ему не было дано терпения и выдержки, которые требуются для развития таланта в этом деле. Вот почему он исполнял свою партию очень неровно: местами — удачно, только, пожалуй, слишком быстро, в других местах он, напротив, замедлял темп, ибо не был в них уверен, и всякому другому труден был бы дуэт с ним. Но Шарлотта умела применяться к нему: она то замедляла темп, то вновь его ускоряла и таким образом несла двойную обязанность опытного капельмейстера и умной хозяйки, в целом всегда соблюдая меру, хотя отдельные пассажи и не всегда выдерживались в такте.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Капитан приехал. Перед тем он прислал весьма рассудительное письмо, которое совершенно успокоило Шарлотту. Такая ясность взгляда на самого себя, такая отчетливость в понимании своего положения, положения своих друзей обещали светлое и радостное будущее.

Разговоры в течение первых часов, как обычно при встречах друзей, не видевшихся некоторое время, были оживленны, почти утомительны. Под вечер Шарлотта предложила прогулку в новую часть парка. Местность очень нравилась капитану, и он замечал все то живописное, что теперь только стало видимо и радовало взор в перспективе новых аллей. У него был взгляд знатока, и притом такого, который умеет довольствоваться тем, что есть, и хотя он прекрасно понимал, к чему нужно стремиться, он не расстраивал людей, показывавших ему свои владения, не требовал, как это нередко бывает, большего, чем позволяют обстоятельства, не напоминал о чем-либо более совершенном, виденном в другом месте.

Они пришли к дерновой хижине, которая оказалась причудливо украшенной, правда, искусственными цветами и зимней зеленью, но среди этой зелени попадались также пучки колосьев пшеницы и других полевых злаков и ветки садовых растений, красотою своей делавшие честь художественному чувству той, что создала это убранство.

— Хотя муж мой и не любит, чтобы праздновали день его именин или рождения, но сегодня он все же не посетует на меня за то, что эти скромные венки я посвятила тройному празднику.

— Тройному? — воскликнул Эдуард.

— Разумеется! — ответила Шарлотта. — На приезд нашего друга мы, естественно, смотрим как на праздник. А кроме того, вы оба не подумали, что сегодня ваши именины. Ведь вас — и того и другого — зовут Отто?

Приятели протянули друг другу руки над маленьким столом.

— Ты, — сказал Эдуард, — приводишь мне на память годы нашей юношеской дружбы. В детстве мы оба носили это имя, но когда мы оказались в одном пансионе и из-за этого получился ряд недоразумений, я добровольно уступил ему это красивое лаконичное имя.

— При этом ты все-таки поступил не слишком уж великодушно, — сказал капитан. — Ибо я хорошо помню, что имя Эдуард нравилось тебе больше: ведь оно, когда его произносят милые уста, особенно благозвучно.

Так они втроем сидели за тем самым столиком, у которого Шарлотта столь горячо возражала против приглашения гостя. Эдуард, вполне удовлетворенный, хотя и не желал напоминать жене о тех часах, все же не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Для четвертого здесь тоже хватило бы места.

В этот миг со стороны замка донеслись звуки охотничьих рогов, словно подтверждая и подкрепляя добрые помыслы и намерения сошедшихся друзей. Они молча слушали, углубившись каждый в самого себя и вдвойне ощущая собственное счастье в этом прекрасном единении.

Эдуард первый прервал молчание, поднявшись с места и выйдя из хижины.

— Давай,— сказал он Шарлотте,— поведем нашего друга прямо на самую вершину холма, чтобы он не подумал, будто только эта тесная долина и составляет наше родовое поместье и постоянное пребывание; наверху кругозор расширяется и грудь дышит вольней.

— Только нам на сей раз,— заметила Шарлотта,— придется взбираться еще по старой крутой тропинке. Но я надеюсь, мои дорожки и ступеньки вскоре позволят нам с большим удобством подниматься на самый верх.

Подымаясь по скалам, пробираясь через кусты и заросли, они наконец достигли высшей точки: то была не ровная площадка, а гребень, тянувшийся вдаль и покрытый растительностью. Деревня и замок остались внизу, далеко позади, и не были уже видны. В самом низу раскинулись пруды, за ними можно было различить поросшие деревьями холмы, вдоль которых они тянулись, и, наконец, отвесные скалы, четко замыкавшие вдали их зеркальную гладь и величаво отражавшиеся в ней. Там, в ложбине, где над прудами низвергался водопад, притаилась мельница, и все это место казалось приветливой обителью покоя. В пределах полукружия, замкнутого горизонтом, всюду разнообразно чередовались долины и холмы, кустарник и леса, молодая зелень которых обещала в будущем пышный расцвет. Там и здесь приковывали взгляд отдельные купы деревьев. Особенно привлекательно выделялась внизу, у самых ног друзей, занятых созерцанием, группа тополей и платанов вблизи среднего пруда. Они подымались, стройные, крепкие, разрастаясь высь и вширь.

Эдуард попросил друга повнимательнее приглядеться к ним.

— Я сам посадил их в юности,— воскликнул он.— Это были тоненькие деревца, и я их спас, когда отец при разбивке новой части замкового сада велел их выкорчевать в разгаре лета. Наверно, они и в этом году отблагодарят меня новыми побегими.

С прогулки все вернулись довольные и веселые. В правом крыле замка гостю была отведена просторная уютная кварти-

ра, где он вскоре же разложил и расположил в порядке книги, бумаги, инструменты, собираясь заняться своими привычными делами. Но в первые дни Эдуард не давал ему покоя; он всюду звал его с собой, приглашая на пешие и верховые прогулки, и знакомил его с местностью, со своими владениями, рассказывая ему при этом и о своем давнишнем желании лучше познакомиться с ними, чтобы извлекать из них бóльшую пользу.

— Первым делом,— сказал капитан,— мы снимем план местности с помощью компаса. Это занятие легкое и приятное, и если результаты его и не будут вполне точными, то все же для начала оно весьма полезно; к тому же с этим делом можно управиться без большого числа помощников. Если же ты когда-нибудь захочешь произвести более точное измерение, то мы и тут что-нибудь придумаем.

Капитан был весьма опытен в такого рода съемках. Он привез с собой необходимые инструменты и тотчас же приступил к делу, дав нужные объяснения Эдуарду, нескольким егерям и крестьянам, которые должны были помогать в работе. Дни выдались благоприятные, а вечерами и ранним утром он чертил и штриховал. Скоро все было оттушевано, раскрашено, и владения Эдуарда как будто заново возникли на бумаге. Ему казалось, что он только теперь знакомится с ними, что они только сейчас действительно стали его собственностью.

Это послужило поводом для разговора о здешнем крае, о разбивке парка, которую с помощью подобного плана осуществить гораздо легче, чем на основе случайных впечатлений, когда к природе подходишь вслепую.

— Это надо как следует объяснить моей жене,— сказал Эдуард.

— Не советую,— отвечал капитан, не любивший, чтобы чужие убеждения сталкивались с его собственными, и по опыту знавший, что людские мнения слишком многообразны и даже разумнейшими доводами их нельзя привести к *единству*. — Не делай этого! — воскликнул он. — Так ее легко можно сбить с толку. Для нее, как и для всякого, кто занимается подобными вещами из любви к искусству, важнее что-то делать, чем что-то сделать. В таких случаях человек блуждает ошушью среди природы; то или иное местечко вдруг полюбится ему, но у него не хватает решимости устранить препятствия на пути туда, недостает смелости чем-нибудь пожертвовать, он не может представить себе заранее, что должно получиться,



и вот производятся опыты, то удачные, то неудачные, меняется то, что, может быть, следовало оставить, оставляется то, что следовало бы изменить, и в конце концов получается нечто лоскутное, оно нравится и привлекает, но не дает удовлетворения.

— Признайся откровенно, — спросил Эдуард, — ты недоволен тем, как она разбила парк?

— Если бы исполнение вполне соответствовало замыслу, а он хорош, то ничего нельзя было бы заметить. Ей мучительно далась эта дорога в гору между скал, и теперь, можно сказать, она мучит каждого, кого туда ведет. Ни рядом, ни друг за другом по этой дороге нельзя идти свободно: ритм шагов то и дело нарушается — да и мало ли что еще тут можно возразить?

— А можно было это сделать по-другому? — спросил Эдуард.

— Очень просто, — ответил капитан. — Следовало только сломать угол скалы, к тому же довольно невзрачный, — он весь искрошился, — тогда получился бы красивый поворот при подъеме в гору, да не было бы недостатка и в камнях, чтобы выложить ими участки, где дорожка узка и неудобна. Но пусть это будет между нами, мои замечания только собьют ее с толку и огорчат. Что сделано, пусть так и останется. А если не пожалеть усилий и денег, то вверх над хижинкой и на самой вершине можно придумать и сделать еще много хорошего.

Если друзья таким образом находили достаточно дела в настоящем, то немалую дань они отдавали и воспоминаниям о прошлом, в чем и Шарлотта обычно принимала участие. Решено было по завершении уже начатых работ сразу же приняться за чтение путевых записей, чтобы и таким способом воскресить прошедшее.

Впрочем, Эдуард находил меньше предметов для бесед с Шарлоттой наедине, особенно с тех пор, как сделанное ею в парке вызвало упрек, казавшийся ему столь справедливым и тяготивший его сердце. Он долго молчал о том, что ему говорил капитан; но однажды, увидев, что жена его опять принялась за свои ступеньки и дорожки, с трудом пролагая путь от дерновой хижинки к вершине, он не выдержал и, после некоторых колебаний, поделился с ней своим новым мнением.

Шарлотту оно озадачило. Она была достаточно умна, чтобы понять правильность замечаний; но уже сделанное обязывало, не позволяло ей соглашаться; оно пришлось ей по сердцу, оно

ей нравилось; даже то, что заслуживало порицания, было ей до последней частички мило; она восставала против доводов, отстаивала свое маленькое творение, нападала на мужчин, которые сразу же затевают нечто большое и сложное, какую-нибудь шутку или забаву сразу превращают в серьезное дело, не думая о расходах, неизбежно связанных с широкими замыслами. Она была выведена из равновесия, обижена, рассержена; она не могла ни отказаться от старого, ни полностью отвергнуть новое; но, будучи женщиной решительной, она тотчас же приостановила работы и дала себе срок, чтобы все обдумать и дать мыслям созреть.

В то время как мужчины, оставаясь вместе, все с большим рвением отдавались своему делу, увлекались устройством сада и теплицы, но не бросали вместе с тем и привычных для помещицкой жизни занятий: ездили на охоту, покупали, меняли и объезжали лошадей,— Шарлотта, лишившись своей обычной деятельности, с каждым днем чувствовала себя все более одинокой. Она усердно принялась за переписку, продолжая свои хлопоты о капитане, и все же нередко томилась одиночеством. Тем приятнее и интереснее были для нее известия, приходившие из пансиона.

Одно из обстоятельных писем начальницы, которая, как обычно, с удовольствием распространялась об успехах дочери Шарлотты, содержало короткую приписку; мы воспроизводим ее здесь, а также и листок, написанный рукой ее помощника.

### *ПРИПИСКА НАЧАЛЬНИЦЫ*

Об Оттилии я, милостивая государыня, могу, собственно говоря, повторить лишь то, о чем я уже докладывала Вам в предыдущих письмах. Бранить мне ее не за что, а между тем я не могу быть довольна ею. Она по-прежнему скромна и услужлива, но ее готовность от всего отказаться, и самая эта услужливость не нравятся мне. Ваша милость недавно прислала ей деньги и разные материи. К деньгам она и не прикоснулась, материи тоже лежат — она до них не дотронулась. Вещи свои она, правда, хранит в большом порядке и чистоте, только ради которой как будто и меняет платья. Не могу также похвалить ее чрезвычайную воздержанность в пище и питье. За столом у нас нет ничего лишнего, но меня радует больше всего, когда дети едят досыта, а блюда — вкусны и идут им на пользу. То, что готовится со знанием дела и подается на стол, должно быть съедено. Оттилию же в этом

не убедишь. Она сама придумывает себе дела, уходит исправлять какой-нибудь недосмотр прислуги, лишь бы пропустить одно блюдо или десерт. При этом не следует, однако, упускать из виду, что у нее, как я лишь недавно узнала, часто болит левый висок; боль, правда, скоро проходит, но бывает мучительна. Вот все, что касается этой в остальном милой и привлекательной девушки.

### ЗАПИСКА ПОМОЩНИКА

Наша почтенная начальница обычно дает мне читать письма, в которых она сообщает родителям и опекунам свои наблюдения над воспитанницами. То, что она пишет Вашей милости, я всегда читаю вдвойне внимательно и с двойным удовольствием, ибо если мы можем поздравить Вас как мать девушки, сочетающей в себе все те блестящие качества, которые помогают возвыситься в свете, то я, со своей стороны, считаю не меньшим для Вас счастьем заменять родителей Вашей приемной дочери, существу, рожденному на благо и на радость не только другим, но, смею надеяться, и самой себе. Оттилия едва ли не единственная из наших воспитанниц, касательно которой я не могу разделить мнение нашей глубокоуважаемой начальницы. Я отнюдь не осуждаю эту столь деятельную женщину, если она требует, чтобы плоды ее забот были видны ясно и отчетливо, но ведь есть и другие, таящиеся от нас, плоды, притом самые сочные, и рано или поздно они дадут начало новой, прекрасной жизни. Такова, несомненно, и Ваша приемная дочь. С тех пор как я ее учу, она все время ровно и медленно, очень медленно, двигается только вперед, а назад — ни шага. Если обучение всегда следует начинать с начала, то с ней это особенно необходимо. Того, что не вытекает из предыдущего, она не понимает. Она оказывается беспомощной, становится в тупик перед самой простой задачей, если она ни с чем не связана для нее. Но если удастся найти и показать ей связующие звенья, она начинает понимать и самое трудное.

Идя вперед так медленно, она отстает от своих подруг, которые, обладая совсем иными способностями, постоянно спешат вперед, легко схватывают все, даже и ни с чем для них не связанное, все легко запоминают и умело используют. Поэтому она ничего не может усвоить, ничему не может научиться, если преподавание идет слишком быстро, что бывает иногда на уроках даже у превосходных, но горячих и нетерпе-

ливых учителей. Мне не раз жаловались на ее почерк, на неспособность усвоить правила грамматики. Я подробно выяснил, в чем тут дело: пишет она, правда, медленно и как-то напряженно, но не вяло и не безобразно. То, что я шаг за шагом объяснял ей во французском языке, хотя он и не является моим предметом, она понимала с легкостью. Она знает многое, и весьма основательно, но, как ни странно, когда ее спрашивают, кажется, что она не знает ничего.

Если мне будет позволено заключить письмо общим замечанием, я бы сказал: она учится не как девушка, получающая воспитание, а так, словно она сама собирается воспитывать, — не как ученица, а как будущая учительница. Вашей милости, может быть, кажется странным, что я, сам будучи воспитателем и учителем, не нахожу лучшей похвалы, как равняя ее с собой. Но Ваша пронизательность, Ваше глубокое знание людей и света помогут Вам сделать верный вывод из моих скромных и благожелательных замечаний. Вы убедитесь, что и на эту девушку можно возлагать радостные надежды. Поручаю себя Вашему милостивому вниманию и прошу позволения и впредь писать Вам, если будут какие-либо существенные и утешительные новости.

Шарлотту порадовали эти строки. Их смысл в точности соответствовал представлениям, какие у нее создались об Оттилии; но она не могла удержаться от улыбки, подумав, что горячность учителя превышает простое удовлетворение достоинствами воспитанницы. Рассудительная, свободная от предрассудков, она допускала и такое отношение, как и многие другие, ибо жизнь научила ее тому, что в этом мире, где всюду царят равнодушие и неприязнь, следует высоко ценить каждую подлинную привязанность.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Топографическая карта, на которую в довольно крупном масштабе, отчетливо и ясно, пером и красками, нанесено было имение с его окрестностями, и которой капитан с помощью тригонометрических измерений сумел придать необходимую точность, скоро была готова; не случайно этот деятельный человек столь мало нуждался в сне, день же его всегда был посвящен насущной цели, и потому уже к вечеру он неизменно заканчивал какую-нибудь часть работы.

— Теперь, — сказал он другу, — мы перейдем к следующему, к описанию имени; у тебя, наверно, уже собрано много предварительных сведений, из которых нам удастся вывести и оценку аренды отдельных участков, и разное другое. Только давай примем решение и поставим себе за правило отделять от жизни *все*, что относится к делу. Дело требует серьезности и строгости, а жизнь — произвола; дело нуждается в полнейшей последовательности, меж тем как в жизни часто бывает нужна непоследовательность, которая временами даже оказывается желанной и отрадной. Чем ты спокойнее за дело, тем свободнее чувствуешь себя в жизни, а стоит только смешать одно с другим, как свобода разрушит и уничтожит спокойствие.

В этих словах Эдуард почувствовал легкий упрек. Не будучи беспорядочным от природы, он никак не мог собраться привести в порядок свой архив. Бумаги, касавшиеся других лиц, и те, что касались только его, — все было перемешано, как не умел он должным образом отделять дела и занятия от развлечений и удовольствий. Теперь он почувствовал облегчение, ибо эту задачу взял на себя друг, второе «я» осуществляло то расчленение, которому не всегда способно подвергнуться единое человеческое «я».

Во флигеле капитана они устроили полки для текущих дел, архив для законченных; из различных хранилищ, комнат, шкафов и ящиков снесли туда все документы, бумаги, ведомости, и очень скоро весь этот ворох, разложенный по рубрикам с особыми пометками, был приведен в образцовый порядок. То, чего они искали, нашлось в таком изобилии, на какое не приходилось и рассчитывать. При этом большую помощь оказал им старый писарь, которым до сих пор Эдуард всегда бывал недоволен. Он целый день и даже часть ночи не отходил от конторки.

— Я его не узнаю, — говорил Эдуард своему другу, — таким он стал деятельным и полезным.

— Это, — заметил капитан, — происходит оттого, что мы не поручаем ему ничего нового, пока он по мере своих сил не справится со старым, и вот, как видишь, он делает очень много; а стоит ему только помешать — он не сделает ничего.

Вместе проводя дни, друзья по вечерам непременно посещали Шарлотту. Если — как это нередко случалось — никто не приезжал в гости из соседних поместий, то разговор, как и чтение, обычно посвящались таким предметам, которые

способствуют благополучию современного общества, его пользе и удобству.

Шарлотта, вообще привыкшая наслаждаться настоящим, видя мужа своего довольным, сама испытывала удовлетворение. Разные усовершенствования в быту, которые она давно хотела, но все никак не могла ввести, были теперь осуществлены с помощью капитана. Пополнилась домашняя аптека, до сих пор состоявшая лишь из немногих лекарств, и Шарлотта благодаря книгам и сведениям, почерпнутым из разговоров, имела теперь возможность чаще и плодотворнее приходить на помощь другим.

Так как они приняли во внимание и несчастные случаи, столь обычные и все же слишком часто застающие людей врасплох, то запаслись всем необходимым для спасения утопающих, тем более что в местности, где было столько прудов, речек и запруд, подобные несчастия нередко повторялись. Капитан особенно заботливо пополнял эту статью, и Эдуард не мог удержаться от замечания, что такой случай однажды составил примечательное событие в жизни его друга. Но капитан промолчал, как будто стараясь уйти от печального воспоминания, и Эдуард не продолжал разговора; смолчала и Шарлотта, зная в общих чертах обстоятельства дела и ничего не добавившая к словам мужа.

— Мы можем быть довольны сделанным, — сказал однажды вечером капитан, — но нам еще недостает самого необходимого — сведущего человека, который умел бы со всем этим обращаться. Я могу предложить одного знакомого мне полкового хирурга, он теперь пойдет служить и за умеренную плату; это знаток своего дела, не раз помогавший мне и при тяжелых болезнях лучше, чем знаменитые врачи, а немедленная помощь и есть то самое, в чем больше всего нуждаешься в деревне.

Хирург был немедленно приглашен, и супруги радовались, что нашлась возможность употребить на самые неотложные нужды те деньги, которые раньше оставались им на прихоти.

Так Шарлотта и для себя извлекала пользу из познаний капитана, из его деятельности и, успокоившись насчет каких-либо возможных последствий, была очень довольна его присутствием. Обычно она заранее обдумывала вопросы, которые хотела задать ему, и так как она любила жизнь, то ей хотелось удалить из дому все опасное, все смертоносное. Свинцовая глазурь на горшках и ярь на медной посуде причиняли ей немало тревог. Она просила у капитана объяснений, и им, ес-

тественно, пришлось обратиться к основным понятиям физики и химии.

Непреднамеренный, но всегда приятный повод для разговоров на такие темы давал Эдуард, любивший читать вслух. Он обладал приятным мягким басом и в свое время пользовался в обществе успехом благодаря живой, исполненной чувства передаче произведений поэтического и ораторского искусства. Теперь его привлекали другие предметы, и читал он вслух другие книги, в последнее время главным образом труды по физике, химии и технике.

При этом у него была одна черта, общая, может быть, с целым рядом людей: он не выносил, когда кто-нибудь во время чтения заглядывал ему в книгу. Прежде, когда он читал стихотворения, драмы, повести, это было естественным следствием живого желанья, свойственного чтецу в такой же мере, как поэту, актеру, рассказчику, удивлять слушателей, возбуждать их ожидание паузами, держать их в напряжении; а такой эффект, конечно, нарушается, если кто-нибудь успеваеет забежать вперед. Поэтому Эдуард всегда садился так, чтобы никого не было за его спиной. Теперь, когда их было только трое, подобная предосторожность стала излишней; кроме того, ему уже не нужно было действовать на чувство, поражать фантазию, и он, естественно, перестал остерегаться.

Но однажды вечером, во время чтения, он вдруг заметил, что Шарлотта смотрит ему в книгу. В нем проснулась былая раздражительность, и он довольно резко ей заметил:

— Неужели нельзя раз навсегда бросить эту дурную привычку, как и многое другое, что неприятно в обществе? Когда я читаю вслух, разве это не то же самое, как если бы я рассказывал? Написанное, напечатанное заступает место моих мыслей, моих чувств, — а разве взял бы я на себя труд говорить, если бы у меня в голове или груди было устроено окошечко и тот, кому я в известной последовательности сообщаю мои мысли, с кем постепенно делюсь чувствами, всякий раз заранее знал бы, что у меня на уме? Когда кто-нибудь заглядывает в книгу, мне кажется, будто меня рвут на части.

Шарлотта, чья находчивость, испытанная и в большом свете, и в тесном кругу, выражалась в том, что она умела предотвратить всякое неприятное, резкое, даже просто слишком страстное суждение, прекратить затягивающийся разговор, а вялый поддержать, и в данном случае не утратила этой счастливой способности:

— Ты, наверно, простишь мне мой промах, если я объясню, что со мной сейчас было. Я слушала, как ты читаешь о сродстве, и тут же мне пришли на ум мои родственники, два мои двоюродные брата, которые сейчас доставляют мне много забот. Потом мое внимание опять возвратилось к чтению: я услышала, что речь идет уже о неодоушевленных предметах, и заглянула к тебе в книгу, чтобы восстановить для себя ход мыслей.

— Тебя смутило и сбilo с толку сравнение,— сказал Эдуард.— Здесь говорится всего-навсего о почвах и минералах, но человек — прямой Нарцисс: всюду он рад видеть свое отражение; он точно фольга, которой готов устлать весь мир.

— Да! — продолжал капитан.— Так человек относится ко всему, что лежит вне его; своей мудростью и своей глупостью, своей волей и своим произволом он наделяет животных, растения, стихии и божества.

— Мне не хочется,— сказала Шарлотта,— отвлекать вас от темы, которой мы сейчас заняты, но не объясните ли вы мне вкратце, что здесь, собственно, разумеется под сродством.

— Постараюсь,— ответил капитан, к которому обратилась Шарлотта,— разумеется, по мере моих сил и так, как меня этому учили лет десять назад и как я вычитал из книг. По-прежнему ли думают на этот счет в ученном мире, соответствует ли это новым учениям, сказать не берусь.

— Все-таки очень плохо,— сказал Эдуард,— что теперь ничему нельзя научиться на всю жизнь. Наши предки придерживались знаний, полученных в юности; нам же приходится переучиваться каждые пять лет, если мы не хотим вовсе отстать от моды.

— Мы, женщины,— сказала Шарлотта,— не вдаемся в такие тонкости; и если уж говорить откровенно, то мне, собственно, важен лишь смысл слова: ведь в обществе ничто не вызывает больших насмешек, чем неправильное употребление иностранного или ученого слова. Я хочу только знать, в каком смысле употребляется в подобных случаях это выражение. А что оно должно значить в науке — это предоставим ученым, которые, впрочем, как я могла заметить, вряд ли придут когда-нибудь к единому мнению.

— С чего бы нам начать, чтобы скорее добраться до сущности? — помолчав, спросил Эдуард капитана, а тот немного подумал и сказал:



— Если мне будет позволено начать по видимости изда-  
лка, то мы быстро достигнем цели.

— Будьте уверены, что я слушаю с полным вниманием,—  
сказала Шарлотта, откладывая рукоделие.

И капитан начал:

— Все, что мы наблюдаем в природе, прежде всего су-  
ществует в известном отношении к самому себе. Странно, мож-  
ет быть, говорить то, что разумеется само собою, но ведь  
только полностью уяснив себе известное, можно переходить  
к неизвестному.

— Мне кажется,— перебил Эдуард,— мы сможем и ей  
и себе облегчить объяснение примерами. Попробуй предста-  
вить себе воду, масло, ртуть — и ты увидишь единство, взаи-  
мосвязь их частей. Это единство они утрачивают только под  
воздействием какой-нибудь силы или при других таких же  
обстоятельствах. Как только последние устранены, частицы  
вновь соединяются.

— Бесспорно, так,— подтвердила Шарлотта.— Дождевые  
капли быстро сливаются в потоки. И еще в детстве, когда нам  
случается играть ртутью и разбивать ее на шарики, мы удив-  
ляемся тому, что они соединяются вновь.

— Здесь будет уместно,— прибавил капитан,— мимохо-  
дом упомянуть об одном существенном явлении, а именно, что  
это чистое, возможное только в жидком состоянии свойство  
решительно и неизменно обнаруживает себя шарообразной  
формой. Падающая дождевая капля кругла; о шариках ртути  
вы только что говорили сами; даже расплавленный свинец,  
если он в своем полете успевает застыть, долетает до земли  
в форме шарика.

— Позвольте мне опередить вас,— сказала Шарлотта,— и,  
может быть, я угадаю ход вашей мысли. Подобно тому как  
всякий предмет стоит в отношении к самому себе, так он  
должен иметь отношение и к другим.

— А это отношение,— подхватил Эдуард,— в зависимости  
от различия веществ будет различно. Иной раз они будут  
встречаться как друзья и старые знакомые, быстро сближаясь  
и соединяясь и ничего друг в друге не меняя, как вино при  
смешивании с водой. Иные, напротив, будут друг другу чужды  
и не соединятся даже путем механического смешивания или  
трения; вода и масло, сболтанные вместе, все равно отде-  
ляются друг от друга.

— Еще немного,— сказала Шарлотта,— и в этих простых  
формах мы узнаем знакомых нам людей; особенно же это

напоминает те круги общества, в которых нам приходилось жить. Но наибольшее сходство с этими неодушевленными веществами представляют массы, противостоящие друг другу, в свете: сословия, профессии, дворянство и третье сословие, солдат и мирный гражданин.

— И все же,— заметил Эдуард,— подобно тому как их объединяют законы и нравы, так и в нашем химическом мире существуют посредствующие звенья, которыми можно соединить то, что друг друга отталкивает.

— К примеру,— вставил капитан,— при помощи щелочной соли мы соединяем масло с водой.

— Только не спешите с объяснениями,— произнесла Шарлотта.— Мне хочется доказать, что и я иду с вами в ногу. Но не добрались ли мы уже и до сродства?

— Совершенно верно,— ответил капитан,— и мы вас сейчас познакомим с ним во всей его силе. Натуры, которые при встрече быстро понимают и определяют друг друга, мы называем родственными. В щелочах и кислотах, которые, несмотря на противоположность друг другу, а может быть, именно благодаря этой противоположности, всего решительнее ищут друг друга и объединяются, претерпевая при этом изменения, и вместе образуют новое вещество, эта родственность достаточно бросается в глаза. Вспомним известь, которая обнаруживает сильное влечение ко всякого рода кислотам, явное стремление соединиться с ними. Как только прибудет наш химический кабинет, мы вам покажем разные опыты, весьма занимательные и дающие лучшее представление, нежели слова, названия и термины.

— Признаться,— сказала Шарлотта,— когда вы называете родственными все эти странные вещества, мне представляется, будто их соединяет не столько кровное, сколько духовное и душевное сродство. Именно так между людьми возникает истинно глубокая дружба: ведь противоположность качеств и делает возможным более тесное соединение. Я готова ждать, какие из этих таинственных влияний мне удастся увидеть воочию. Больше я,— сказала она, оборотившись к Эдуарду,— не стану прерывать твое чтение и буду слушать внимательно, так как теперь я лучше в этом разбираюсь.

— Раз уж ты затеяла такой разговор,— возразил Эдуард,— ты так просто не отделаешься: ведь всего интереснее именно сложные случаи. Только в них узнаешь степени сродства, связи более тесные и сильные, более отдаленные и сла-

бые; сродство становится интересным лишь тогда, когда вызывает развод, разъединение.

— Неужели, — воскликнула Шарлотта, — даже и в естественных науках встречается это грустное слово, которое мы теперь так часто слышим в свете?

— Конечно, — ответил Эдуард. — Недаром в свое время почетным для химии считалось название — искусство разъединять.

— Значит, теперь, — заметила Шарлотта, — оно уже не считается почетным, и это очень хорошо. Больше искусства в том, чтобы соединять, и в этом большая заслуга. Искусство соединения в любой области — желанно. Расскажите же мне, раз уж вы вошли во вкус, несколько таких случаев.

— Вернемся, — сказал капитан, — опять к тому, о чем мы уже упоминали. Например, то, что мы называем известняком, есть более или менее чистая известковая земля, вошедшая в тесное соединение со слабой кислотой, которая известна нам в газообразном виде. Если кусок известняка положить в разведенную серную кислоту, то последняя, соединяясь с известью, образует гипс, а слабая газообразная кислота улетучивается. Тут произошло разъединение и новое соединение, и мы считаем себя вправе назвать это явление «избирательным сродством», ибо и в самом деле похоже на то, что одному сочетанию отдано предпочтение перед другим, что одно сознательно выбрано вместо другого.

— Извините меня, как я извиняю естествоиспытателя, — сказала Шарлотта, — но я бы никогда не усмотрела в этом выбора, скорее уж — неизбежный закон природы, да и то едва ли: ведь в конце концов это, пожалуй, только дело случая. Случай создает сочетания, как он создает воров, и если говорить о ваших веществах, то выбор, как мне кажется, дело рук химика, соединяющего эти вещества. А если уж они соединились, так помоги им бог! В настоящем же случае мне жаль только бедной летучей кислоты, которой опять предстоит блуждать в беспредельности.

— От нее зависит, — возразил капитан, — соединиться с водой, чтобы потом влагой минерального ключа поить здоровых и больных.

— Гипсу-то хорошо, — сказала Шарлотта, — с ним все в порядке, он стал телом, он обеспечен, а вот вещество, оказавшееся в изгнании, еще, может быть, много натерпится, прежде чем найдет себе пристанище.

— Или я сильно ошибаюсь, — с улыбкой сказал Эдуард, — или в твоих словах скрыт лукавый намек. Признайся, что ты шутишь с нами. Чего доброго, я в твоих глазах — известняк, соединившийся с капитаном, как с серной кислотой, вырванный из твоего общества и превращенный в непокорный гипс.

— Если совесть внушает тебе такие мысли, — ответила Шарлотта, — я могу быть спокойна. Такие иносказания приятны и занимательны, и кто не позабавится подобным сравнением? Но ведь человек на самом деле стоит неизмеримо выше этих веществ, и если он не поспешил на прекрасные слова: «выбор» и «избирательное сродство», то ему будет полезно вновь углубиться в себя и как следует взвесить смысл таких выражений. Мне, к сожалению, достаточно известны случаи, когда искренний, неразрушимый, казалось бы, союз двух людей распадался от случайного появления третьего, и одно из существ, связанных такими прекрасными узами, бывало выброшено в пространство.

— Химики в этих делах куда галантнее, — сказал Эдуард, — они присоединяют что-нибудь четвертое, дабы никто не остался без партнера.

— Совершенно верно! — заметил капитан. — Самые значительные и самые примечательные, безусловно, те случаи, когда в действительности наблюдаешь это притяжение, это сродство, это расхождение и соединение как бы крест-накрест, когда четыре вещества, доселе соединенные попарно, будучи приведены в соприкосновение, расторгают свою первоначальную связь и сочетаются по-новому. В этом разделении и соединении, в этом бегстве и в этих поисках друг друга как будто вправду видишь предопределение свыше; таким веществам приписываешь своего рода волю, способность выбора, и тогда термин «избирательное сродство» кажется вполне уместным.

— Опишите мне такой случай, — попросила Шарлотта.

— Тут не следовало бы, — ответил капитан, — ограничиваться одними словесными объяснениями. Я уже говорил, что, как только я смогу показать вам опыты, все станет и нагляднее и занимательнее. А так мне придется утомлять вас страшными терминами, которые все-таки ни о чем не дадут вам точного представления. Надо своими глазами видеть в действии эти вещества, как будто безжизненные, но внутренние всегда готовые прийти в движение, надо с участием смотреть, как они друг друга ищут, притягивают, охватывают, разрушают, истребляют, поглощают, а затем, по-иному слившись

воедино, выступают в обновленной, неожиданной форме. Вот тогда мы готовы признать в них вечную жизнь, чувства и рас-судок, ибо наши собственные чувства кажутся нам недоста-точными, чтобы как следует наблюдать за ними, а разум едва ли не бессильным, чтобы их постичь.

— Не стану отрицать,— сказал Эдуард,— что человеку, который ознакомился с научными терминами не наглядным путем, но через понятия, они должны показаться трудными, даже смешными. Однако отношения, о которых у нас была речь, мы покамест легко могли бы обозначить и буквами.

— Если это не покажется вам чем-то педантическим,— продолжал капитан,— то я мог бы кратко выразить мою мысль на языке знаков. Представьте себе некое А, которое так тесно связано с Б, что оторвать его не в состоянии многие средства, даже применение силы; представьте себе некое В, которое точно в таком же отношении находится к Г; теперь приведите обе пары в соприкосновение: А устремится к Г, В устремится к Б, причем нельзя будет даже определить, кто кого бросил первым и кто с кем раньше соединился заново.

— Ну что ж,— перебил капитана Эдуард,— пока мы все это не увидим собственными глазами, примем эту формулу за иносказание и извлечем из него вывод, чтобы сразу же применить его на деле. Ты, Шарлотта, представляешь А, а я — твое Б, ибо, в сущности, я завишу только от тебя и следую за тобой, как Б за А; В — это, бесспорно, капитан, который на сей раз, в известной мере, отвлекает меня от тебя. А чтобы ты не ускользнула в беспредельность, справедливо будет позаботиться для тебя о каком-нибудь Г, а это, без всякого сомнения, милая девица Оттилия, и ты больше не должна возражать против ее приглашения.

— Хорошо! — ответила Шарлотта.— Хотя, как мне кажется, это пример не совсем подходящий, но все же, по-моему, очень удачно, что сегодня наши мысли наконец совпали и что сродство натур и веществ дало нам повод скорее и откровеннее высказать свои взгляды. Итак, не скрою от вас, сегодня я уже окончательно решила взять Оттилию к нам, потому что прежняя наша верная домоправительница нас покидает: она выходит замуж. Вот что побуждает меня к такому шагу ради моей собственной пользы; а что побуждает меня к нему ради самой Оттилии, об этом ты нам прочитаешь. Я не стану заглядывать тебе через плечо, однако содержание письма мне уже известно. Так читай же, читай! — С этими словами она достала письмо и протянула его Эдуарду.

ПИСЬМО НАЧАЛЬНИЦЫ

Ваша милость извинит меня, если я сегодня ограничусь самым коротким сообщением: окончились публичные испытания, и мне предстоит известить всех родителей и опекунов о том, каких успехов достигли в истекшем году вверенные нам воспитанницы; позволю себе писать коротко и потому, что в немногих словах могу сказать многое. Ваша дочь во всех отношениях оказалась первой. Прилагаемые свидетельства и собственное ее письмо, в котором она описывает награды, полученные ею, одновременно говорят о том, как приятна ей эта блестящая удача, и успокоят и порадуют Вас. Моя же радость не может быть столь полной, ибо я предвижу, что девушке, достигшей таких успехов, не придется уже долго быть у нас. Поручаю себя Вашей милости и беру на себя смелость вскоре сообщить Вам мои соображения по поводу того, что для нее, по-моему, будет самым полезным. Об Оттилии пишет мой любезный помощник.

ПИСЬМО ПОМОЩНИКА

Написать об Оттилии наша почтенная начальница поручила мне отчасти потому, что ей, по всему ее складу, неприятно сообщать то, чего нельзя не сообщить, отчасти же и потому, что она сама нуждается в оправдании и предпочитает предоставить слово мне.

Так как мне слишком хорошо известно, насколько нашей бедной Оттилии недостает способности выказывать свои дарования и познания, то я в известной мере опасался для нее публичного испытания, тем более что подготовка при этом вообще невозможна, а если бы и была возможна, как в обычный день, то Оттилию все же не удалось бы научить произвести выгодное впечатление. Исход экзаменов слишком оправдал мои опасения: она не получила ни одной награды и оказалась в числе тех, кто не заслужил даже и свидетельства. Что мне еще сказать? Вряд ли кто превзошел ее в красоте почерка, но зато другие писали гораздо свободнее; со счетом все справились быстрее, а до трудных задач, которые она решает лучше многих учениц, дело не дошло. Во французском многие перещеголяли ее в болтовне и переводах; в истории она не сразу вспоминала имена и даты; в географии ей недоставало внимания к границам государств. Для музыкального исполне-

ния нескольких скромных мелодий, знакомых ей, не было ни времени, ни спокойной обстановки. За рисование ей наверно бы досталась награда, рисунок был чист, а исполнение — тщательное и продуманное; к несчастью, замысел был слишком широкий, и она не успела справиться с ним вовремя.

Когда ученицы ушли, а экзаменаторы стали совещаться, давая и нам, учителям, высказать кое-какие замечания, я скоро заметил, что об Оттилии вовсе не говорят, а если и говорят, то хотя и без порицания, но с полным равнодушием. Я надеялся, что хоть немного расположу их в ее пользу, если откровенно обрисую ее характер, и тем охотнее взял на себя эту задачу, что мог говорить с полной убежденностью; я и сам в юные годы находился в таком же печальном положении. Меня выслушали со вниманием, но когда я кончил, главный экзаменатор сказал мне хотя и любезно, но лаконично: «Способности — предпосылка, важно, чтобы они дали результаты. Это и есть цель всякого воспитания, это составляет явное и отчетливое желание родителей и опекунов и невыраженное, полусознанное стремление самих детей. Это же составляет и предмет испытания, причем судят не только об учениках, но и об учителях. То, что вы нам сказали, позволяет ждать от этой девушки много хорошего, и с вашей стороны, разумеется, похвально, что вы обращаете столько внимания на способности учениц. Если в течение года вам удастся добиться благоприятных результатов, никто не поскупится на похвалы ни вам, ни вашей способной ученице».

Я уже смирился перед тем, что должно было последовать, но не ждал, что тотчас же произойдет и нечто еще худшее. Наша добрая начальница, которой, подобно доброму пастырю, не хочется потерять ни одной овечки или, как это было здесь, видеть ее ничем не украшенною, не могла утаить своей досады и, когда экзаменаторы удалились, обратилась к Оттилии, совершенно спокойно стоявшей у окна, в то время как остальные радовались по поводу своих наград: «Да скажите же, бога ради, можно ли производить такое глупое впечатление, вовсе не будучи глупой?» Оттилия отвечала совершенно спокойно: «Простите, милая матушка, как раз сегодня у меня опять головная боль, и довольно сильная!» — «Этого никто не обязан знать!» — заметила наша начальница, обычно столь участливая, и с недовольным видом отошла.

Правда, никто не обязан был это знать: выражение лица у Оттилии при этом не меняется, и я даже не заметил, чтобы она хоть раз поднесла руку к виску.

Но это было еще не все. Дочь Ваша, сударыня, всегда живая и непосредственная, на радостях после своего нынешнего торжества повела себя несдержанно и заносчиво. Она носилась по комнатам со своими наградами и похвальными листами и, подбежав к Оттилии, стала ими размахивать перед ее лицом. «Не повезло тебе сегодня!» — кричала она. Оттилия ответила совершенно спокойно: «Это еще не последнее испытание». — «А ты все-таки всегда будешь последней!» — крикнула Ваша дочь и побежала дальше.

Оттилия всякому другому показалась бы спокойной, но не мне. Неприятное душевное состояние, с которым ей придется бороться, обычно проявляется у нее неровным цветом лица. Левая щека на миг покрывается румянцем, а правая бледнеет. Я заметил это и не мог не дать волю моему участию. Я отвел в сторону нашу начальницу и серьезно поговорил с ней обо всем. Эта достойная женщина признала свою ошибку. Мы долго совещались, обсуждали дело, и я, не собираясь еще дольше распространяться, сообщаю Вам то, на чем мы остановились и о чем просим Вашу милость: возьмите Оттилию на время к себе. Причины этой просьбы Вы лучше всего уясните себе сами. Если Вы согласны, я подробнее напишу о том, как нужно обходиться с этой милой девушкой. Когда же Ваша дочь, чего следует ожидать, покинет наш пансион, мы с радостью опять примем Оттилию.

Замечу еще одно, так как боюсь забыть об этом впоследствии: мне никогда не приходилось видеть, чтобы Оттилия чего-нибудь требовала или хотя бы о чем-нибудь настоятельно просила. Бывает, однако, хотя и редко, что она старается отклонить какое-нибудь требование, обращенное к ней. При этом она делает жест, который на всякого, кто понимает его смысл, оказывает неотразимое действие. Она складывает ладони, подымает руки кверху и прижимает их к груди, чуть наклоняясь вперед и глядя на своего настойчивого собеседника такими глазами, что он рад отказаться от любого требования или даже просьбы. Если Вы, милостивая государыня, когда-нибудь увидите этот жест, что маловероятно при Вашем отношении к Оттилии, то вспомните меня и будьте к ней снисходительны.

Эдуард прочитал эти письма вслух, не раз улыбаясь и покачивая головой. Не обошлось и без замечаний об отдельных лицах и обо всем положении дела.

— Довольно! — воскликнул наконец Эдуард, — решено,



она придет! У тебя, дорогая, будет помощница, а мы можем теперь рассказать и о своем плане. Мне необходимо пере-ехать в правый флигель, к капитану. Работать нам лучше всего утром и вечером. Зато для тебя и Оттилии места будет вдоволь.

Шарлотта согласилась, и Эдуард обрисовал ей их будущий образ жизни. Между прочим, он сказал:

— Со стороны племянницы очень мило, что у нее иногда болит левый висок; у меня временами болит правый. Если это случится в одно и то же время и мы усядемся друг против друга, я — подпершись правой рукой, она — левой, и повернем головы в разные стороны, получится премилая симметричная пара.

Капитан готов был увидеть в этом нечто угрожающее, но Эдуард воскликнул:

— Дорогой друг, остерегайтесь некоего Г! А что делать нашему Б, если у него отнимут В?

— Казалось бы,— заметила Шарлотта,— что это разумеется само собой.

— Конечно,— воскликнул Эдуард,— оно возвратится к своему А, к своей альфе и омеге! — И, вскочив с места, он крепко прижал Шарлотту к своей груди.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Карета, доставившая Оттилию, подъехала к замку. Шарлотта вышла ей навстречу; милая девушка порывисто бросилась к ней, упала к ее ногам и обняла ее колени.

— Зачем же такое самоуничужение! — слегка смущенная, сказала Шарлотта, стараясь ее поднять.

— Самоуничужения тут нет,— ответила Оттилия, не поднимаясь с земли.— Мне приятно вспомнить время, когда я была так мала, что доходила вам только до колен, но уже так была уверена в вашей любви.

Она встала, и Шарлотта от всей души обняла ее. Ее представили мужчинам и окружили заботой и вниманием. Красота — всюду желанная гостья. Оттилия, казалось, следила за беседой, сама, однако, не принимая участия в ней.

На следующее утро Эдуард сказал Шарлотте:

— Она премилая девушка, приятная собеседница.

— Собеседница? — с улыбкой переспросила Шарлотта.— Да она ведь и рта не раскрывала.

— Разве, — ответил Эдуард, как бы стараясь вспомнить, — странно, однако!

Шарлотта лишь намекнула вновь прибывшей, что делать по хозяйству. Оттилия быстро постигла и, что еще важнее, почувствовала весь уклад дома. Она сразу поняла, что следует делать для всех и что для каждого в отдельности. Все у нее шло по порядку. Она умела распорядиться, как будто и не отдавая приказаний, а ежели кто-нибудь мешкал, тотчас же сама бралась за дело.

Заметив, сколько у нее остается свободного времени, она попросила у Шарлотты позволения составить себе расписание, которого стала строго придерживаться. В том, как она исполняла порученное, Шарлотта узнавала черты, знакомые ей из писем помощника. Оттилию предоставили самой себе. Шарлотта лишь изредка пыталась расшевелить ее. Так, она несколько раз подкладывала ей притупившиеся перья, чтобы приучить ее писать почерком более свободным; но вскоре перья оказывались тонко очиненными.

Они условились говорить между собой по-французски; и Шарлотта еще более настойчиво следила за этим, потому что Оттилия, когда упражнение в чужом языке вменялось ей в обязанность, становилась разговорчивее. При этом ей даже случалось сказать больше, чем она, видимо, хотела. Особенно позабавил Шарлотту ее обстоятельный, однако беззлобный рассказ о жизни в пансионе. Оттилия стала для Шарлотты приятной собеседницей, и в ней со временем она надеялась найти и верного друга.

Шарлотта между тем пересмотрела старые письма, относившиеся к Оттилии, желая восстановить в памяти все суждения, высказанные об этой милой девушке начальницей пансиона и ее помощником, и сверить их с собственными впечатлениями. Она всегда считала, что нужно поскорее узнать характер человека, с которым живешь бок о бок, и составить себе суждение о том, чего от него можно ожидать, что в нем поддается воспитанию, с чем следует раз и навсегда примириться и что простить.

В письмах она, правда, не нашла ничего нового, но кое-что ей уже знакомое обратило на себя ее внимание, и теперь показалось существеннее. Так, умеренность Оттилии в еде и питье стала и в самом деле ее тревожить.

Обеих женщин занимали также и наряды. Шарлотта потребовала от Оттилии, чтобы она одевалась изысканнее и богаче. Послушная и трудолюбивая девушка тотчас же при-

нялась кроить материи, еще раньше подаренные ей, и скоро сумела, почти не прибегая к посторонней помощи, сшить себе очень изящные платья. От новых модных нарядов фигура ее стала казаться выше: когда обаяние личности распространяется и на внешнюю оболочку, все существо предстает нам обновленным и еще более привлекательным оттого, что свойства его сообщились внешности.

Вот почему Оттилия с первого же дня, в самом точном значении слова, радовала взгляды обоих мужчин. Если изумруд дивным своим цветом ласкает глаз и даже оказывает целительное действие на этот благородный орган чувства, то человеческая красота еще более властно влияет на все наши чувства — физические и нравственные. Того, кто видит ее, не коснется дуновение зла; он чувствует себя в гармонии с самим собою и со всем миром.

Таким образом, все общество выиграло от приезда Оттилии. Эдуард и капитан стали точнее соблюдать часы, даже минуты, когда всем предстояло сойтись вместе. Ни к обеду, ни к чаю, ни к прогулке их уже не приходилось дожидаться. Они не спешили встать из-за стола, особенно после ужина. Шарлотта заметила это и стала за ними наблюдать. Ей хотелось выяснить, не подает ли к этому повода один больше, чем другой, но она не могла уловить никакой разницы в их поведении. Оба они заметно оживились. Темой для разговора они выбирали то, что больше всего могло возбудить участие Оттилии, что более соответствовало ее кругозору и знаниям. Чтение или рассказ они прерывали, пока она не возвратится. Они стали мягче и общительнее.

Зато и рвение Оттилии возрастало с каждым днем. Чем больше она свыкалась с домом, с людьми, с укладом, тем живее шло у нее дело, тем быстрее она понимала каждый взгляд, каждое движение, даже полуслово или звук. Ей никогда не изменяли ни спокойная внимательность, ни уравновешенная подвижность. Уходила ли она или возвращалась, садилась ли или вставала, уносила, или приносила что-нибудь, или снова садилась, — в этой вечной смене плавных движений не было и тени суетливости. К тому же она так легко ступала, что ее шаги оставались неслышными.

Благородная услужливость девушки очень радовала Шарлотту. Единственное же, что казалось ей не совсем уместным, она не скрыла от Оттилии.

— Весьма похвально и учтиво, — однажды сказала она ей, — быстро наклониться и поднять с пола вещь, которую

кто-нибудь обронил. Мы как бы признаем себя тем самым обязанными услужить человеку; но в большом свете надо думать и о том, кому оказываешь подобную услугу. Что касается до женщин, то я не стану предписывать тебе в этом никаких правил. Ты молода. По отношению к старшим и вышестоящим — это обязанность, к равным — вежливость, а к младшим и низшим — свидетельство человечности и доброты; и только по отношению к мужчинам девушке не подобает проявлять такую почтительность и услужливость.

— Я постараюсь от этого отучиться, — ответила Оттилия. — Но вы, наверно, простите мне эту неловкость, если я вам расскажу, в чем тут причина. Нас учили истории; я из нее запомнила не так много, как следовало бы; я ведь не знала, на что она пригодится. Мне запомнились только отдельные события, и вот одно из них.

Когда английский король Карл Первый стоял перед своими судьями, с его трости свалился золотой набалдашник. Он привык к тому, что в подобных случаях все вокруг приходило в движение, и теперь оглянулся, словно ожидая, что кто-нибудь окажет ему эту маленькую услугу. Никто не шевельнулся, тогда он наклонился сам и поднял набалдашник. Мне, — быть может, и без достаточного основания, — было так больно слышать этот рассказ, что я с тех пор не могу видеть, когда при мне роняют что-нибудь, и сразу же наклоняюсь поднять. Но так как это, разумеется, не всегда прилично, да и не всякий же раз, — прибавила она с улыбкой, — я могу рассказать свою историю, то я постараюсь быть сдержаннее.

За это время полезные начинания, к которым так влекло обоих друзей, продолжали свое обычное течение. Каждый день им предоставлялся новый повод что-нибудь обдумать или предпринять.

Как-то раз, когда они вдвоем шли по деревне, их неприятно поразило, насколько она отстала от тех деревень, где недостаток места заставляет жителей соблюдать чистоту и порядок.

— Помнишь, — сказал капитан, — как во время путешествия по Швейцарии нам захотелось по-настоящему украсить какую-нибудь сельскую местность, построив в ней деревню в таком же роде, но с тем, чтобы воспроизвести не внешний вид швейцарских построек, а швейцарский порядок и чистоту, которые так необходимы в жизни.

— Здесь, например, — заметил Эдуард, — это было бы очень кстати. Замковая гора заканчивается угловатым высту-

пом; деревня выстроена против него довольно правильным полукругом; между ними протекает ручей, и на случай подъема воды один накладывает камней, другой забивает сваи, а третий огораживается досками или бревнами, но сосед не только не помогает соседу, а скорее наносит ущерб и себе и другим. Дорога тоже проложена неудобно — идет то вверх, то вниз, то через воду, то по камням. Если бы жители деревни со своей стороны пожелали приложить немного труда, не потребовалось бы больших затрат, чтобы возвести полукругом защитную стену, за ней повысить уровень дороги до самых домов, украсить всю местность, навести чистоту и широким решением задачи раз навсегда покончить со всеми этими мелкими заботами.

— Давай попробуем,— сказал капитан, озираясь кругом и мысленно взвешивая все трудности.

— Не люблю я связываться с горожанами и крестьянами, если не могу просто приказывать им,— заметил Эдуард.

— Ты не так уж не прав,— ответил капитан.— Мне на моем веку подобные дела испортили немало крови. Человеку трудно правильно взвесить, чем он жертвует и что приобретает. Трудно добиваться определенной цели и не пренебрегать нужными средствами. Многие даже смешивают цель и средства, радуются последним и забывают о первой. Всякое зло хотят пресечь в том самом месте, где оно себя обнаружило, и не думают о том, откуда оно, собственно, взялось, откуда распространяется. Поэтому трудно давать советы, особенно же — толпе, которая прекрасно разбирается во всем обыденном, но дальше завтрашнего дня, за редким исключением, ничего не видит. А если к тому же случится, что в каком-нибудь общем деле один выиграет, а другой потеряет, то нечего и думать о примирении интересов. Все истинно общепольное следует поддерживать неограниченной силой власти.

Пока они так стояли и беседовали, у них попросил милостыню человек, с виду скорее наглый, чем обездоленный. Эдуард, всегда сердившийся, если его прерывали, сперва несколько раз спокойно отказал ему, но так как нищий не отставал, он выбрал его; когда же этот человек медленно пошел прочь, ворча, чуть ли не ругаясь в ответ и ссылаясь на права нищего, которому можно отказать в подавании, но которого нельзя оскорблять, ибо он, как и всякий другой, находится под покровительством бога и властей предреждащих, Эдуард окончательно вышел из себя.

Чтобы успокоить его, капитан сказал:

— Пусть этот случай послужит для нас поводом распространить наши полицейские меры и на эту область. Милостыню надо давать, но лучше, когда даешь ее не сам и не у себя дома. В благотворительности также нужны мера и единообразие. Слишком щедрое подавание привлекает нищих, вместо того чтобы их отваживать; только в путешествии, когда проносишься мимо нищего, стоящего на дороге, приятно явиться ему в образе нечаянного счастья и одарить его. Деревня и замок расположены так, что дело очень облегчается для нас; я думал об этом уже и раньше. На одном конце деревни стоит гостиница, с другого края живут почтенные пожилые супруги; и в то и в другое место надо дать по небольшой сумме. Получать что-либо должен не входящий в деревню, а выходящий из нее; а так как оба дома стоят на дорогах, ведущих к замку, то всякий, кто захотел бы обратиться туда, может быть направлен в одно из этих мест.

— Пойдем, — сказал Эдуард, — мы сейчас же это устроим, а распорядиться подробнее успеем и потом.

Они зашли к хозяину гостиницы и к старикам-супругам, — и все было решено.

— Мне совершенно ясно, — сказал Эдуард капитану на обратном пути к замку, — что в мире все зависит от удачной мысли и твердости в решении. Так, например, ты сделал весьма верное замечание по поводу разбивки парка, предпринятой моей женой, и указал мне путь к новым улучшениям, и я, не скрою, тотчас же ей об этом сообщил.

— Я так и догадывался, — ответил капитан, — но не одобряю тебя. Ты только сбил ее с толку. Она бросила все начатое, а с нами все равно не согласится; ведь она избегает говорить об этом и больше не приглашает нас в свою хижину, а между тем сама не раз подымалась туда с Оттилией.

— Это, — возразил Эдуард, — не должно нас пугать. Если я убедился в том, что можно и необходимо сделать нечто хорошее, я не нахожу покоя, пока это не будет сделано. Ведь обычно нам хватает умения только на начало. Давай прочитаем во время наших вечерних бесед описания английских парков, посмотрим гравюры к ним, потом займемся картой имения, которую ты составил, сперва надо коснуться этой темы в форме вопроса и как бы в шутку; затем все само собой обретет серьезный характер.

Итак, были извлечены книги, сперва дающие план местности и вид ее в первоначальном, нетронutom природном состоянии, а на других листах произведенные изменения — плоды

искусства пользоваться благами природы и приумножать их. Отсюда уже легко было перейти и к собственным владениям, к их окрестностям и к тому, что здесь можно было бы предпринять.

Карта, составленная капитаном, давала теперь повод для приятных занятий; сначала только никак не удавалось отрешиться от того замысла, которым прежде руководствовалась Шарлотта. Потом они все же придумали, как облегчить подъем на вершину, а вверху, на склоне холма, перед живописной рощицей решили построить беседку, выбрав место так, чтобы она была видна из окон замка, а из нее — виднелись бы замок и сады.

Капитан все тщательно обдумал, измерил и снова завел речь о дороге, которую следовало бы проложить через деревню, о стене и насыпи вдоль ручья.

— Проложив более удобную дорогу на гору, я добуду как раз столько камня, сколько мне потребуется для этой стены. Одно дело сплетается с другим, и от этого оба пойдут быстрее и обойдутся дешевле.

— Тут,— сказала Шарлотта,— пора уж беспокоиться и мне. Надо точно подсчитать расходы: когда знаешь, сколько нужно денег для производства таких работ, то можно и вычислить, сколько потребуется на месяцы, даже на недели. Ключ от кассы у меня; я сама буду платить по распискам и вести счета.

— Ты нам как будто не слишком доверяешь,— сказал Эдуард.

— В деле, где есть место произволу, не слишком,— ответила Шарлотта.— Мы лучше вас умеем обуздывать произвол.

Распоряжения были сделаны, к работе приступили быстро, капитан сам все время за ней наблюдал, и Шарлотта почти каждый день была теперь свидетельницей того, как он во всем точен и основателен. Он тоже короче ее узнал, и обоим стало легко трудиться вместе и добиваться цели.

В делах — как и в танцах: те, кто движутся друг с другом в такт, делают друг другу необходимы; между ними неизбежно возникает взаимная симпатия, и доказательством того, что Шарлотта, ближе узнав капитана, вправду благоволила к нему, служило ее спокойное согласие на разрушение одной из живописных площадок, которую она особенно облюбовала и постаралась украсить, когда начинались работы в парке, но которая не соответствовала замыслу капитана.

Общее занятие, которое нашли себе Шарлотта и капитан, имело следствием, что Эдуард все больше искал общества Оттилии. В сердце его и так с некоторого времени жило тихое дружеское чувство к ней. Она с каждым была услужлива и предупредительна, но с ним более, чем с другими, — так, по крайней мере, представлялось его самолюбию. Во всяком случае, она в точности заметила себе, какие блюда ему нравятся и в каком виде; от нее не ускользнуло, сколько сахару он кладет обычно в чай, и многое другое тому подобное. Особенно же она старалась, чтобы не было сквозняков; он был к ним необыкновенно чувствителен, из-за чего порою у него возникали споры с Шарлоттой, которой, напротив, всегда не хватало свежего воздуха. Также знала она, что надо делать в парке и в саду. То, чего ему хотелось, она стремилась исполнить, а то, что могло его раздражить, старалась устранить, так что вскоре она стала для него необходима, как добрый гений-хранитель, и он уже мучительно переживал ее отсутствие. К тому же она делалась разговорчивее и откровеннее, когда они случайно оставались вдвоем.

В Эдуарде, несмотря на его возраст, все еще оставалось что-то детское, и это было особенно привлекательно для юной Оттилии. Им нравилось вспоминать, как они встречались в былые годы; воспоминания эти восходили к дням первой привязанности Эдуарда и Шарлотты. Оттилия утверждала, будто помнит их обоих еще во времена их жизни при дворе, где они составляли прелестнейшую пару, а когда Эдуард не допускал возможности воспоминаний из поры такого далекого детства, она все-таки настаивала, уверяя, что ей живо запечатлелся один случай: как однажды при его появлении она спряталась в платье Шарлотты — не от страха, а от неожиданности его прихода. И еще оттого, могла бы она прибавить, что он произвел на нее такое сильное впечатление, так понравился ей.

Теперь некоторые из дел, раньше совместно предпринятых обоими друзьями, приостановились, и им пришлось снова многое пересмотреть, набросать сметы, написать письма. Придя в канцелярию, они застали там старого писца, сидящего без дела. Они принялись за работу и скоро незаметно для себя поручили ему многое из того, что обычно делали сами. Первая же смета не далась капитану, первое же письмо — Эдуарду. Так они корпели некоторое время, набрасывали, переписыва-



ли, пока наконец Эдуард, у которого дело особенно не ладилось, не спросил, который час.

И тут оказалось, что капитан забыл завести свой хронометр — первый раз за многие годы, и они если не поняли, то смутно почувствовали, что время становится для них безразлично.

Между тем как мужчины несколько запустили свои дела, женщины становились все более деятельными. Вообще привычный образ жизни семейства, зависящий от определенных лиц и обстоятельств, принимает в себя, словно некий сосуд, даже и сильную новую привязанность, зарождающуюся страсть, и может пройти немало времени, прежде чем эта новая частица вызовет заметное брожение и пена перельется через край.

Для наших друзей возникавшие в них новые симпатии были источником самых радостных переживаний. Сердца их открывались навстречу друг другу, царило всеобщее благоволение. Каждый чувствовал себя счастливым и не оспаривал чужого счастья.

Такое состояние возвышает дух и расширяет сердце; все, что при этом делаешь и предпринимаешь, устремляется к беспредельности. Друзья теперь редко оставались в комнатах. Они совершали более далекие прогулки, и в то время как Эдуард и Оттилия уходили вперед выбрать тропинку, найти дорогу, капитан и Шарлотта, занятые серьезным разговором, спокойно шли по следам своих более быстрых спутников, восхищались живописными уголками, которые они видели впервые, и пейзажами, которые неожиданно открывались перед ними.

Однажды они вышли через ворота в правом крыле замка и спустились к гостинице; миновав мост, они направились вдоль прудов; пока можно было идти без препятствий; дальше берега становились непроходимыми, так как их замыкали поросший кустарником холм и нависающие скалы.

Но Эдуард, хорошо знавший местность, так как раньше бывал здесь на охоте, пробирался с Оттилией все вперед по заросшей тропинке, зная, что недалеко должна быть уютившаяся между скалами старая мельница. Нахоженная тропинка скоро потерялась, и они заблудились, правда, ненадолго, в густом кустарнике меж камней, поросших мхом; однако шум колес, сразу же донесшийся до их слуха, возвестил о близости цели их поисков.

Выйдя на край скалы, они увидели вдали перед собой при-

чудливое, почерневшее от старости деревянное строение, окруженное крутыми скалами и высокими тенистыми деревьями. Они решили тут же прямо спуститься вниз по мху и обломкам скал. Эдуард шел впереди; когда же, оглянувшись, он смотрел вверх, он видел Оттилию, которая без всякого страха спускалась с камня на камень вслед за ним, спокойно сохраняя равновесие, и ему казалось, что над ним парит небесное существо. А когда в трудных местах она порою хватала его протянутую руку или даже опиралась на его плечо, он не мог не сознаться себе, что никогда еще не касалось его создание более нежное. Ему почти хотелось, чтобы она споткнулась или поскользнулась — тогда он мог бы принять ее в свои объятия, прижать к сердцу. Но нет, на это он не решился бы ни при каких обстоятельствах, притом не по одной причине; он боялся оскорбить ее и боялся в то же время повредить ей нечаянным движением.

Что это значит, мы сейчас объясним. Спустившись вниз и сидя напротив нее за некрашеным столом в тени высоких деревьев, Эдуард послал приветливую мельничиху за молоком, а мельника — навстречу Шарлотте и капитану, и, немного смущаясь, заговорил:

— У меня к вам просьба, милая Оттилия; если вы даже и откажете в ней, то простите меня. Вы не скрываете, да и нет нужды скрывать, что на груди, под платьем, вы носите медальон с миниатюрой. Это портрет вашего отца, превосходнейшего человека, которого вы почти не знали и который, бесспорно, достоин занимать место у вашего сердца. Но извините меня — портрет слишком велик, и этот металл, это стекло внушают мне тысячу страхов, когда вы подымаете на руки ребенка или что-нибудь несете перед собой, когда качнется карета или когда приходится пробираться сквозь кусты, как вот сейчас при спуске с утеса. Меня пугает, что какой-нибудь неожиданный толчок, падение, даже прикосновение может быть опасно или губельно для вас. Сделайте это ради меня, удалите портрет не из памяти вашей, не из комнаты, отведите ему в ваших покоях самое почетное, самое священное место, но только снимите с вашей груди эту вещь, которая мне, — пусть даже мой страх преувеличен, — кажется опасной.

Оттилия молчала и, пока он говорил, не подымала глаз; потом, глядя скорей на небо, чем на Эдуарда, она без торопливости, но и без колебания расстегнула цепочку, сняла портрет, прижала его ко лбу и подала другу со словами:

— Спрячьте его, пока мы не вернемся домой. Лучше я ничем не могу вам доказать, как я ценю вашу дружескую заботу.

Эдуард не посмел прижаться губами к портрету, но он взял ее руку и прижал к своим глазам. Никогда, быть может, не соединялись руки столь прекрасные. У Эдуарда точно камень свалился с сердца, ему почудилось, будто рушится стена, отделявшая его от Оттилии.

Мельник привел Шарлотту и капитана по более удобной тропинке. Все радостно приветствовали друг друга. Отдохнув и подкрепившись, они решили вернуться домой другой дорогой; Эдуард предложил идти скалистым берегом ручья, по тропинке, с которой через некоторое время они снова увидели пруды. Потом они пошли, пробираясь через лесную чащу, а вдаль виднелись деревни, села, мызы, утопавшие в зелени и фруктовых садах; поближе, на лесистом холме, приветливо раскинулся хутор. Но самый прекрасный вид на все великолепие этой местности открылся, когда они незаметно достигли вершины, откуда дорога через веселую рожищу выходила к скале, прямо против которой находился замок.

Как они обрадовались, когда, несколько неожиданно для себя, вышли к этому месту. Они обошли целый маленький мир, а теперь стояли там, где намечалась постройка нового здания, и глядели на окна своего дома.

Потом они спустились к дерновой хижине, которую впервые посетили вчетвером. Ничего не могло быть естественнее, чем единодушно выраженная мысль привести пройденную дорогу в такое состояние, чтобы по ней можно было гулять спокойно и приятно, не тратя столько времени и усилий. Каждый предлагал свой план, но все признавали, что если выровнять эту дорогу, на которую нынче потребовалось несколько часов, можно за какой-нибудь час прийти к замку. Пониже мельницы, там, где ручей впадает в пруд, они уже мысленно выстроили мостик, сокращающий путь и украшающий ландшафт, когда Шарлотта приостановила движение изобретательной фантазии, напомнив о расходах, необходимых для такой затеи.

— И этому можно помочь,— заметил Эдуард.— Стоит лишь продать тот хутор в лесу, который расположен так красиво, а дает так мало; деньги же, вырученные за него, пустить на все эти расходы; капитал таким образом будет употреблен с толком, а мы, наслаждаясь великолепной прогулкой, будем пользоваться процентами с него, меж тем как

сейчас мы в конце года всякий раз только досадуем на жалкий доход, который он приносит.

Шарлотта, как хорошая хозяйка, ничего не могла на это возразить. Подобный замысел возникал уже и раньше. Капитан предложил составить план для размежевания участков между крестьянами, живущими в лесу; но Эдуард хотел устроить дело короче и проще. Хутор должен был достаться теперешнему арендатору, который очень хотел этого; сумма будет выплачиваться частями, в известные сроки, и в такие же сроки будут вестись работы по прокладке дороги, участок за участком.

Такое трезвое и благоразумное предложение встретило всеобщее сочувствие, и каждый уже воображал себе змеящиеся извивы дороги, вдоль которой они надеялись открыть еще новые живописные уголки и пейзажи.

Чтобы все это представить себе во всех подробностях, вечером, по возвращении домой, они тотчас же развернули карту имения. Проследили пройденный путь и возможность в отдельных местах придать ему еще более удачное направление. Опять обсудили все прежние предположения в свете новых намерений, вновь одобрили место напротив замка, выбранное для домика, и окончательно определили всю линию дорог.

Оттилия все это время молчала, пока наконец Эдуард не пододвинул к ней план, лежавший до тех пор перед Шарлоттой, и не попросил ее сказать свое мнение, а когда она не сразу нашлась, что ответить, он дружески ободрил ее, уговаривая не молчать, ведь пока ничего не решено и все только затевается.

— Я бы построила домик вот здесь, — сказала Оттилия, указывая пальцем на самую вершину холма. — Отсюда, правда, замок не виден, потому что его закрывает лесок; но здесь зато чувствуешь себя так, словно находишься в другом, совсем новом мире — когда и деревня, и остальные дома будут скрыты от глаз. Вид же на пруды, на мельницу, на холмы, на горы, на долину оттуда необыкновенно хорош; я это заметила, когда мы проходили мимо.

— Она совершенно права! — воскликнул Эдуард. — Как это нам не пришло в голову? Смотрите — вот так! Не правда ли, Оттилия?

Он взял карандаш и резко и твердо начертил на вершине продолговатый четырехугольник.

Капитан был задет за живое: ему неприятно было видеть запачканным тщательно и чисто вычерченный план; но он

подавил свою досаду, сделав лишь какое-то замечание, и согласился с новой мыслью.

— Оттилия права, — сказал он, — разве мы не совершаем отдаленные прогулки только для того, чтобы напиться кофе или поесть рыбы, которая дома не показалась бы так вкусна? Нам хочется разнообразия и новых предметов. Предки умно поступили, выстроив замок именно здесь: он защищен от ветра, и все, в чем есть насущная нужда, находится поблизости; а здание, служащее не столько жилищем, сколько приютом для веселого времяпрепровождения, будет там на месте, и летом мы проведем в нем немало приятных часов.

Чем дольше обсуждали они план, тем удачнее он казался, и Эдуард не скрывал своего торжества по поводу того, что эта мысль принадлежала Оттилии. Он гордился этим так, словно она пришла в голову ему самому.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На следующее же утро капитан осмотрел место и сделал беглый набросок здания, а когда остальные, придя сюда, окончательно подтвердили свое вчерашнее решение, составил более точный проект, смету и предусмотрел все, что требуется. Начались необходимые приготовления. Сразу же пришлось вернуться к вопросу о продаже хутора. Мужчины нашли повод к новой деятельности.

Капитан указал Эдуарду, что не только простая внимательность, но даже и долг требует отметить день рождения Шарлотты закладкой нового здания. Победить старую нелюбовь Эдуарда к подобным празднествам удалось без особого труда: ему сразу же пришло на ум, что таким же образом можно будет торжественно отпраздновать и день рождения Оттилии, приходящийся немного позднее.

Шарлотта, которой задуманные изменения и все с ними связанное представлялось делом весьма значительным, серьезным, чуть ли не рискованным, занималась пересмотром смет, распределением денег и установлением сроков работ. Днем все четверо виделись реже, но с тем большим удовольствием сходились по вечерам.

Оттилия между тем вполне освоилась с домашним хозяйством, да и могло ли быть иначе при ее спокойном и уравновешенном характере? К тому же она по всему своему складу больше тяготела к домашней жизни, чем к жизни в све-

те или на природе. Эдуард вскоре заметил, что она, собственно, лишь из вежливости принимает участие в прогулках и только из приличия вместе с другими проводит вечера на воздухе, а порою даже находит в каких-нибудь хозяйственных хлопотах предлог вернуться домой. Тогда он стал заботиться о том, чтобы с этих общих прогулок возвращаться до захода солнца, и начал — чего давно уже не делал — читать вслух стихотворения, в особенности такие, которые требовали, чтобы исполнитель вкладывал в них выражение чистой, но страстной любви.

Обычно они сидели по вечерам вокруг столика, каждый на своем установленном месте: Шарлотта на диване, Оттилия против нее в кресле, а мужчины между ними, Оттилия сидела по правую руку Эдуарда, с той же стороны, с которой он ставил свечу, когда читал. При этом Оттилия придвигалась поближе, чтобы смотреть в книгу, ибо она также больше доверяла собственным глазам, чем чужому голосу, а Эдуард, в свою очередь, придвигался к ней, чтобы ей удобнее было следить; мало того, он нередко делал паузы более долгие, чем это нужно было, только затем, чтобы не перевернуть страницу, пока она не дочитает ее до конца.

Шарлотта и капитан заметили это и по временам переглядывались с улыбкой; но еще больше удивил их один случай, нечаянно обнаруживший затаенную привязанность Оттилии.

Однажды, после того как отбыл докучный гость, испортивший друзьям часть вечера, Эдуард предложил посидеть еще немного вместе. Ему хотелось поиграть на флейте, которую он давно уже не брал в руки. Шарлотта стала искать софаты, которые они обыкновенно играли вдвоем, но они не находились, и тут Оттилия, после минутного колебания, призналась, что взяла их к себе в комнату.

— И вы можете, вы согласны аккомпанировать мне на рояле? — воскликнул Эдуард, у которого глаза заблестели от радости.

— Мне кажется, что я сумею, — ответила Оттилия.

Она принесла ноты и села за рояль. Слушатели внимательно следили за игрой и были удивлены, с каким совершенством Оттилия одна разучила пьесу, но еще более удивило их то, как она сумела приспособиться к манере Эдуарда. «Сумела приспособиться» — было бы даже неправильно сказать, ибо если от искусства и доброй воли Шарлотты зависело ускорить или замедлить темп в угоду ее супругу, когда он играл не в

темпе, то Оттилия, несколько раз слышавшая сонату в их исполнении, заучила ее, казалось, только в расчете на его аккомпанемент. Она в такой степени переняла даже его недостатки, что в итоге возникло своеобразное, полное жизни целое, в своем течении, правда, нарушавшее темп, но ласкавшее и радовавшее слух. Самому композитору приятно было бы услышать свое произведение в таком милом искажении.

Перед лицом этой странной неожиданности Шарлотта и капитан тоже не нарушили молчания, испытывая такое чувство, с каким мы часто смотрим на детские шалости, которые не могут вызвать нашего одобрения, ибо они чреватые серьезными последствиями, но не заслуживают и порицания, скорее даже возбуждают зависть. Ведь, в сущности, и в них самих зарождалось такое же влечение друг к другу, пожалуй, только более опасное оттого, что оба они держались более рассудительно и лучше умели владеть собою.

Капитан начал уже чувствовать, что неодолимая власть привычки угрожает приковать его к Шарлотте. Борясь с самим собою, он уходил из парка в те часы, когда Шарлотта обычно приходила туда, а поэтому вставал как можно раньше, делал все распоряжения и затем удалялся для работы в свой флигель. Первые дни Шарлотте это казалось случайностью; но потом она, видимо, отгадала причину и почувствовала к нему еще большее уважение.

Избегая оставаться наедине с Шарлоттой, капитан тем ревностнее старался ускорить работы и завершить их к приближавшемуся блистательному празднику — дню ее рождения; прокладывая удобную дорогу снизу, за деревней, он, под предлогом необходимой ломки камня, велел вести ее еще и сверху вниз и так всем распорядился и все рассчитал, чтобы обе части ее соединились только в ночь накануне торжества. Подвал для нового здания был уже выкопан или, скорее, высечен в горе, и красивый камень, пока что забитый досками, приготовлен для закладки.

Внешняя деятельность, дружеская таинственность, окружающая намерения каждого, и стремление так или иначе затить чувства более глубокие, — все это делало разговоры уже не столь оживленными, когда общество сходилось вместе, и в один из вечеров Эдуард, сознавая, что чего-то недостает, попросил капитана достать скрипку и сыграть что-нибудь под аккомпанемент Шарлотты. Капитан не мог противиться общему желанию, и они с большим чувством, уверенно и легко исполнили вместе одну из труднейших музыкальных пьес, испы-

тав сами и доставив двум слушателям величайшее удовольствие. Было решено и впредь играть и упражняться вместе.

— У них это идет лучше, чем у нас, Оттилия! — сказал Эдуард. — Будем же восхищаться ими, но будем радоваться и сами.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

День рождения наступил; все было готово — и стена со стороны реки, ограждавшая путь через деревню, и дорога, которая вела мимо церкви, где она сливалась с тропинкой, проложенной по желанию Шарлотты, и затем, извилами подымаясь на скалы и оставляя дерновую хижину сначала слева над собой, а после крутого поворота слева внизу, постепенно приводила на самую вершину.

На торжество съехалось много гостей. Все общество отправилось в церковь, уже полную празднично разодетых прихожан. Когда кончилось богослужение, мальчики, юноши и мужчины пошли, как им было указано, вперед; за ними — господа с гостями и свитой, а девочки, девушки и взрослые женщины замыкали шествие.

Там, где дорога поворачивала, чуть повыше, в скале была вырублена площадка, на которой капитан предложил Шарлотте и гостям отдохнуть. Отсюда им видны были вся дорога, ушедшая вперед толпа мужчин, женщины, двигавшиеся вслед за ними и теперь как раз проходившие мимо. Погода выдалась великолепная, и зрелище было необыкновенно красиво. Шарлотта, пораженная и тронутая, горячо пожала руку капитану.

Отдохнув, они пошли дальше за медленно двигавшейся толпой, которая уже обступила место для будущего здания. Хозяев и почетнейших гостей пригласили спуститься в вырытое углубление, где, подпертый с одной стороны, уже был приготовлен камень для закладки. Принарядившийся каменщик, держа в одной руке лопату, в другой молоток, произнес в стихах очень милую речь, которую мы можем лишь несовершенно воспроизвести в прозе.

— Три правила, — начал он, — следует помнить при всякой постройке: здание должно стоять на подобающем месте, иметь прочное основание и быть полностью завершено. Первое, собственно, дело хозяина; ведь подобно тому как в городе только монарх и община решают, где должно строить, так в деревне владельцу имения принадлежит право сказать: здесь, а не где-либо в ином месте пусть стоит мое жилище.



При этих словах Эдуард и Оттилия не посмели друг на друга взглянуть, хотя и стояли один против другого.

— Третье, то есть завершение здания, — дело очень многих рук, и кто только в нем не участвует! Но второе, закладка, — дело каменщика и — не буду скромничать — главное во всем начинании. Это дело важное, и для него мы пригласили вас спуститься сюда, — такие торжества совершаются в глубине земли. Здесь, в этом узком пространстве, которое мы выкопали, вы оказываете нам честь быть свидетелями нашего таинственного труда. Сейчас мы зложим в основание дома этот гладко обтесанный камень, а земляные стены, вдоль которых расположились достойные и прекрасные особы, скоро исчезнут, так как все будет засыпано.

Этот краеугольный камень, правый угол которого обозначает правый угол здания, прямоугольность же знаменует его правильность, а горизонтальные и отвесные линии — прямизну стен, — этот камень мы могли бы просто положить на землю: ведь он держится и своей собственной тяжестью. Но и тут не должно быть недостатка в извести, в связующих средствах, ибо как люди, от природы чувствующие влечение друг к другу, сближаются еще теснее, соединенные цементом закона, так и камни, по форме своей подходящие один к другому, крепче соединяются благодаря этим связующим силам; а так как не подобает оставаться праздным среди тех, кто трудится, то и вы не погнушайтесь принять участие в нашем труде.

С этими словами он подал лопату Шарлотте, которая подбросила извести под камень. Другие тоже решили последовать ее примеру, и камень быстро был опущен; затем Шарлотте и ее спутникам подали молоток, чтобы, три раза ударив им по камню, благословить его союз с землей.

— Работа каменщика сейчас, — продолжал оратор, — хотя и совершается под открытым небом и не ведется втайне, все же покрыта тайной. Правильно поставленное основание засыпается землей, и даже стены, возведенные нами, вряд ли кому напомнят о нас. Труд каменотеса и ваятеля больше бросается в глаза, и нам еще приходится мириться с тем, что штукатурщик полностью стирает след нашей руки и присваивает себе сделанное нами, покрывая камень краской и сглаживая его поверхность.

Кому же, как не каменщику, всего важнее честно исполненный труд, труд чести ради? Кто, как не он, должен дорожить сознанием сделанного им дела? Когда дом построен, полы настланы и выровнены, наружные стены покрыты укра-

шениями, он сквозь все оболочки смотрит внутрь и узнает правильные и тщательные пазы, которым целое обязано своим существованием и своей устойчивостью.

Но подобно тому, как всякий, совершивший злодеяние, должен опасаться, что, невзирая на все попытки скрыть его, оно все же обнаружится, так и человек, втайне содежавший добро, должен ожидать, что и вопреки его воле оно станет известно. Вот почему мы хотим, чтобы этот краеугольный камень послужил и памятником для будущего. Сюда, в эти высеченные углубления, мы опустим разные предметы во свидетельство далекому потомству. Вот эти запаянные металлические сосуды хранят письменные акты; на этих металлических дощечках начертано много примечательного; в этих стеклянных бутылках — лучшее старое вино с указанием его года; много здесь и монет разного достоинства, отчеканенных в нынешнем году; все это мы получили от щедрот нашего хозяина. И если кому из гостей или зрителей угодно будет передать что-либо потомству, то место еще найдется.

Он замолчал и окинул взглядом окружающих; однако, как обычно бывает в подобных случаях, все пребывали в нерешительности, для всех это было неожиданностью, но в конце концов один веселый молодой офицер выступил со словами:

— Если и мне позволено добавить что-нибудь, чего еще не хватает в этой сокровищнице, то я отрежу две пуговицы от моего мундира, которые, пожалуй, заслуживают тоже стать достоянием потомства.

Сказано — сделано. И тут многие последовали его примеру.

Женщины клали свои гребенки, расставались с флакончиками и другими безделушками, и только Оттилия стояла в нерешительности, пока Эдуард приветливым словом не оторвал ее от созерцания всех этих принесенных в дар и сложенных вместе вещей. Тогда она сняла с шеи золотую цепочку, на которой висел портрет ее отца, и легким движением положила вверх прочих драгоценностей, а Эдуард поспешно приказал, чтобы точно пригнанную крышку тотчас же опустили и зацементировали.

Молодой каменщик, который был при этом особенно деятельным, снова принял вид оратора и продолжал:

— Камень этот мы кладем на вечные времена, на долгую радость нынешним и будущим хозяевам дома. Но сейчас, когда мы как бы закапываем клад, занятые самым основа-

тельным из дел, мы в то же время не забываем, что все человеческое преходяще; мы думаем и о том, что когда-нибудь эта плотно заделанная крышка, быть может, приподнимется, а это может случиться не иначе, как если будет разрушено здание, которое мы еще и не воздвигали.

Но если мы хотим, чтобы оно было воздвигнуто, довольно думать о будущем, вернемся к настоящему! Давайте-ка, как только окончится нынешний праздник, приступим к работе,— так, чтобы никто из мастеровых, которые трудятся здесь, не оставался без дела, чтобы здание быстро поднялось ввысь и было завершено и чтобы из окон, еще не существующих сейчас, радостно озирали окрестность хозяин дома с домочадцами и гостями, за здоровье которых я пью, как и за всех присутствующих здесь!

И он единым духом осушил тонко граненный бокал и подбросил его вверх, ибо уничтожением сосуда, из которого мы выпили в минуту веселья, мы знаменуем избыток радости. Однако на этот раз случилось иное: бокал не упал на землю, хотя и без всякого чуда.

Дело в том, что, спеша приступить к постройке, в противоположном углу уже вывели фундамент и даже начали возводить стены, для чего сооружены были достаточно высокие леса.

Строители, соблюдая свою выгоду, выложили их ради праздника досками и пустили туда целую толпу зрителей. На эти-то леса и взлетел бокал, тотчас же подхваченный кем-то, кто увидел в этой случайности счастливое предзнаменование для себя. Не выпуская бокала из рук, он высоко поднял его и показал, так, что все увидели изящно сплетенные вензелем буквы Э и О; это был один из бокалов, заказанных для Эдуарда в дни его молодости.

Леса опустели, и тогда кое-кто из гостей, самые легкие на подъем, взобрались на них, чтобы осмотреть окрестности, и не могли нахвалиться красотой видов, открывавшихся во все стороны.

Чего только не различает взгляд, когда на возвышенном месте подынешься всего лишь на высоту одного этажа! В глубине равнины можно было заметить несколько новых деревень; ясно выступила серебряная полоса реки, а кто-то даже уверял, будто видит башни столицы. С противоположной стороны за лесистыми холмами синели далекие вершины горной цепи, а вся ближайшая местность представлялась взгляду как единое целое.

— Надо только, — воскликнул кто-то, — чтобы три пруда были соединены в одно большое озеро, и тогда великолепнее этой картины ничего нельзя будет себе представить.

— Это исполнимо, — сказал капитан, ведь когда-то они и составляли одно горное озеро.

— Прошу только, — сказал Эдуард, — пощадить мои тополя и платаны, которые так живописно стоят у среднего пруда. Посмотрите, — указывая на долину, обратился он к Оттилии и прошел с нею несколько шагов вперед, — эти деревья я сажал сам.

— Сколько же им лет? — спросила Оттилия.

— Примерно столько же, — ответил Эдуард, — сколько вы живете на свете. Да, милое дитя, когда вы лежали в колыбели, я уже сажал деревья.

Общество вернулось в замок. А после обеда все отправились на прогулку по деревне, чтобы и здесь взглянуть на то, что было сделано. Жители по просьбе капитана собрались перед своими домами; они не выстроились в ряд, но расположились естественными семейными группами, некоторые занимались своими обычными работами, другие отдыхали на новых скамьях. Отныне им было вменено в отрядную обязанность — каждое воскресенье и каждый праздник сызнова наводить чистоту и порядок.

Присутствие большого общества всегда неприятным образом нарушало те душевные отношения, которые установились в кругу наших друзей. Поэтому все четверо были довольны, когда оказались одни в большой зале; но и это чувство домашнего покоя оказалось непрочным; Эдуарду подали письмо, извещавшее о гостях, которые приедут завтра.

— Как мы и предполагали, — сказал Эдуард Шарлотте, — граф не заставит себя ждать, он приезжает завтра.

— Значит, и баронесса неподалеку, — заметила Шарлотта.

— Конечно! — ответил Эдуард. — Она завтра тоже появится. Они просят разрешения переночевать и послезавтра собираются ехать дальше.

— В таком случае, Оттилия, нам надо все подготовить, — сказала Шарлотта.

— Как вы прикажете их разместить? — спросила Оттилия.

Шарлотта распорядилась насчет самого главного, и Оттилия вышла.

Капитан спросил об отношениях между этими двумя лицами, известных ему лишь в общих чертах. Они давно, уже не

будучи свободными, страстно полюбили друг друга. Расстройство, внесенное в два брачных союза, вызвало некоторый шум; стали поговаривать о разводе. Баронессе удалось добиться его, графу же — нет. Для вида им пришлось расстаться, но связь их оставалась неизменной, и если зиму они не могли проводить вместе в княжеской резиденции, то летом вознаграждали себя совместными путешествиями и поездками на воды. Оба они были немного старше Эдуарда и Шарлотты, и всех четверых связывала тесная дружба еще со времен их жизни при дворе. Обе пары сохранили хорошие отношения, хотя и не во всем одобряя друг друга. На сей раз приезд их впервые оказался не совсем по сердцу Шарлотте, и если бы она стала доискиваться причины, то это было из-за Оттилии. Милой, чистой девушке рано еще было видеть подобный пример.

— Могли бы приехать хоть на два дня позже, — сказал Эдуард, когда Оттилия возвратилась в комнату. — Мы бы тем временем покончили с продажей мызы. Купчая готова; одна копия у меня есть и не хватает только другой, а наш старый писец очень болен.

Капитан предложил свою помощь, Шарлотта — также; но Эдуард не соглашался.

— Позвольте мне переписать бумагу, — поспешила отозваться Оттилия.

— Ты не справишься вовремя, — сказала Шарлотта.

— И правда, мне надо иметь ее уже послезавтра с утра, а возни с ней много, — сказал Эдуард.

— Все будет готово, — воскликнула Оттилия, уже держа в руках бумагу.

На следующее утро, когда они из верхнего этажа высматривали гостей, желая вовремя выйти им навстречу, Эдуард сказал:

— Кто это там так медленно едет верхом по дороге?

Капитан подробнее описал фигуру всадника.

— Так, значит, это он, — сказал Эдуард. — Детали, которые ты видишь лучше меня, вполне соответствуют общему облику, который различаю и я. Это — Митлер. Но почему он едет так медленно, так страшно медленно?

Всадник подъехал ближе, и в самом деле это оказался Митлер. На лестнице, по которой он медленно поднимался, его встретили дружескими приветствиями.

— Почему вы не приехали вчера? — спросил его Эдуард.

— Я не люблю шумных празднеств, — отвечал гость. — Се-

годня же я приехал, чтобы в тиши отпраздновать вместе с вами день рождения моей приятельницы.

— Но откуда у вас столько свободного времени? — шуточно спросил Эдуард.

— Моим посещением, если оно имеет для вас хоть какую-нибудь цену, вы обязаны мысли, которая вчера пришла мне в голову. Половину дня я провел, радуясь сердечно, в одном доме, где мне удалось восстановить мир, и там-то я услышал, что у вас празднуется день рождения. Ведь это же в конце концов, подумал я, можно назвать эгоизмом: ты согласен радоваться только с теми, кого помирил. Почему бы тебе не порадоваться и с друзьями, которые хранят и соблюдают мир? Сказано — сделано! Вот я и приехал, как решил вчера.

— Вчера бы вы застали здесь большое общество, а сегодня встретите только маленькое,— сказала Шарлотта.— Вы увидите графа и баронессу, которые вам тоже причинили немало хлопот.

Странный гость тотчас же вырвался из тесного кружка обступивших его друзей и с досадой стал искать шляпу и хлыст.

— Злой рок преследует меня всякий раз, как только я соберусь отдохнуть и развлечься. Да и зачем я изменяю своим правилам? Не надо было мне приезжать, а то теперь приходится убираться восвояси. С этими двумя я не останусь под одной крышей. Да и вы остерегайтесь: от них только и жди беды. Они, как закваска, все заражают своим брожением.

Его пытались успокоить, но тщетно.

— Кто против брака,— воскликнул он,— кто словом, а то и, хуже того, делом расшатывает эту основу всякого нравственного общества, тот будет иметь дело со мною; если же я не в силах его обуздать, то и знать его не хочу! Брак — это начало и вершина человеческой просвещенности. Грубого он смягчает, а человеку образованному дает наилучший повод доказать мягкость своего нрава. Брак должен быть нерушим, ибо он приносит столько счастья, что какое-нибудь случайное горе даже и в счет не идет по сравнению с ним. Да о каком горе тут может быть речь? Просто человека время от времени одолевает нетерпение, и тогда ему угодно считать себя несчастным. Но пусть пройдет эта минута, и вы будете счастливы, что все осталось так, как было. Для развода не может быть вообще достаточного основания. Человек и в радостях и в горестях стоит так высоко, что совершенно невозможно исчислить, сколько муж и жена друг другу должны. Это — беспредельный долг, и отдать его можно только в вечности. Порой

брак становится неудобен, не спорю, но так оно и должно быть. Разве не такими же узами мы соединены с нашей совестью, от которой мы часто рады бы избавиться, потому что она причиняет нам больше неудобства, чем муж и жена друг другу?

Так он говорил, горячась, и говорил бы, наверно, еще больше, если бы почтовые рожки не возвестили о прибытии гостей, которые, словно по уговору, в одно и то же время с разных сторон въехали в замковый двор. Когда хозяева поспешили им навстречу, Митлер скрылся, велел подать лошадей к гостипице и, раздосадованный, ускакал.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Гостей приветствовали и повели в дом; они с радостью вступили в этот замок, в эти комнаты, где некогда провели немало веселых дней и где так долго не бывали. Встретиться с ними были рады и наши друзья. И графа и баронессу отличали та красота и та стройность фигур, которые в среднем возрасте едва ли не привлекательнее, чем в молодости: пусть первый цвет уже успел поблекнуть, но тем решительнее они возбуждают симпатию и доверие. К тому же эта пара вполне умела сообразоваться с требованиями света. Свобода их взглядов на жизненные отношения и поступки, их веселость и кажущаяся простота обращения сразу же сообщались и другим, и в то же время все это умерялось подлинной воспитанностью, чуждой какого бы то ни было принуждения.

Это тотчас оказало свое влияние на кружок друзей. Гости, только что оставившие высший свет, как о том можно было судить по их платью, вещам и всему окружению, представляли полную противоположность нашим друзьям, с их сельской жизнью и затаенно страстным душевным миром; контраст этот, однако, сгладился, как только старые воспоминания смешались с интересами настоящего и быстрая, оживленная беседа связала всех воедино.

Впрочем, довольно скоро произошло и некоторое разделение. Дамы отправились в свой флигель и принялись поверять друг другу всевозможные новости, тут же разглядывая последние фасоны и крои весенних платьев, шляпок и тому подобного, мужчины же занялись осмотром новых дорожных экипажей, лошадей, приведенных конюхами, договаривались об обмене и продаже.

Снова друзья сошлись только за обедом. К столу все переоделись, и гости при этом опять сумели показать себя в самом выигрышном свете. Все на них было новое, словно в первый раз надетое, и в то же время уже успевшее стать привычным и удобным.

Оживленный разговор быстро переходил с предмета на предмет: как и всегда в обществе подобных людей, интересуются всем и ничем. Говорили по-французски, чтобы прислуга не могла понять, и с игривой легкостью касались светских отношений высшего и среднего круга. Только раз разговор довольно долго вращался вокруг одной и той же темы: Шарлотта осведомилась об одной из подруг своей молодости и с удивлением услышала, что вскоре ей предстоит развод.

— Как это печально! — сказала Шарлотта. — Думаешь, что друзья, которых не видишь, живут в благополучии, что подруга, которую любишь, устроила свою судьбу, а не успеешь оглянуться, как приходится уже слышать, что в ее судьбе совершается перелом и что в жизни ей опять предстоит ступить на новые и, быть может, столь же ненадежные пути.

— В сущности, дорогая моя, — возразил ей граф, — мы сами виноваты, если такие происшествия являются для нас неожиданными. Все земное и, в частности, супружеские взаимоотношения, мы склонны воображать себе чем-то в высшей степени постоянным, а что касается брака, то к подобным представлениям, ничего не имеющим общего с действительной жизнью, нас приводят комедии, которые мы все время смотрим. В комедии брак предстает перед нами как конечная цель желая, встречающего препятствия на протяжении нескольких актов, причем занавес падает в тот миг, когда цель достигнута, и мы сохраняем чувство удовлетворения этой минутой. В жизни устроено иначе: игра тут продолжается и за сценой, и когда занавес подымается вновь, то уже ничего больше не хочется ни видеть, ни слышать.

— Все это, наверно, обстоит не так уж плохо, — сказала Шарлотта, — если мы видим, что даже лица, уже сошедшие с этой сцены, все-таки бывают не прочь сыграть на ней еще какую-нибудь роль.

— Против этого ничего не скажешь, — заметил граф. — За новую роль можно взяться с охотой, но если знаешь свет, то понимаешь, что в браке именно эта заранее предрешенная неизбежность среди всего изменчивого в мире и является чем-то несообразным. Один из моих друзей, который, когда бывал в духе, измышлял проекты новых законов, считал, что всякий



брак следовало бы заключать только на пять лет. Это, говорил он, сакраментальное нечетное число и срок, как раз вполне достаточный для того, чтобы можно было друг друга узнать, произвести на свет нескольких детей, поссориться и, что всего лучше, помириться. Он обычно восклицал по этому поводу: «Как счастливо протекало бы первое время: года два-три, по крайней мере, можно было бы провести вполне приятно. Потом одному из супругов все-таки, наверно, захотелось бы продлить отношения, и предупредительность с его стороны возрастала бы по мере приближения положенного срока. А это могло бы умиротворить и подкупить равнодушного, даже недовольного. И как в обществе добрых друзей не помнишь о времени, так и супруги забыли бы о нем и были бы приятнейшим образом удивлены, спохватившись по истечении срока, что он с молчаливого согласия уже продлен.

Хоть все это звучало очень мило и весело и хотя Шарлотте было ясно, что в этой шутке можно усмотреть и глубокий нравственный смысл, все же подобные речи были ей неприятны, главным образом из-за Оттилии. Она прекрасно знала, что не может быть ничего опаснее слишком вольной беседы, в которой явление предосудительное или полупредосудительное рассматривается как нечто привычное, обыкновенное, даже похвальное, а к подобным явлениям принадлежит, конечно, все, что нарушает крепость брачных уз. Поэтому она со свойственным ей тактом пыталась изменить предмет разговора, а когда это не удалось, пожалела, что Оттилия так превосходно всем распорядилась и ее ни за чем нельзя послать. Заботливая девушка взглядами и знаками объяснялась с дворецким, и все шло как нельзя лучше, хотя среди прислуги были два новых неумелых лакея.

Между тем граф, не замечая усилий Шарлотты переменить разговор, продолжал на ту же тему. Хоть ему и никогда не приходилось быть докучным в беседе, все же его слишком тяготила забота, и трудности, мешавшие ему развестись с женой, озлобляли его против всего, что было связано с браком, которым он в то же время так ревностно желал соединиться с баронессой.

— Мой приятель, — продолжал он, — предлагал еще и другой законопроект. Брак должен был бы считаться нерасторжимым лишь в том случае, когда обе стороны или, по крайней мере, одна из них вступили в него уже третий раз. Ведь это могло служить бесспорным доказательством, что одна из сторон считает брак необходимостью. К тому же должно было

стать ясным, как они вели себя в прошлом и не отличаются ли они какими-нибудь странностями, которые часто дают больше оснований для развода, нежели дурные качества. Итак, необходимо наводить соответствующие справки, наблюдая при этом как за женатыми, так и за неженатыми, ибо неизвестно, как еще могут сложиться обстоятельства.

— Все это, — сказал Эдуард, — будет, во всяком случае, сильно занимать общество, а то, в самом деле, сейчас, когда мы женаты, никто и не спрашивает ни о наших добродетелях, ни о наших недостатках.

— При таком законе, — с улыбкой сказала баронесса, — наши милые хозяева уже успели бы благополучно подняться на две ступени и готовились бы вступить на третью.

— Им повезло, — сказал граф, — для них смерть добровольно сделала то, что консистории обычно делают лишь с неохотой.

— Оставим умерших в покое, — сказала Шарлотта, и глаза ее приняли серьезное выражение.

— Почему? — спросил граф. — Ведь мы можем почтить их память. Они были настолько скромны, что удовлетворялись несколькими годами и оставили по себе много хорошего.

— Если бы только, — с подавленным вздохом сказала баронесса, — не приходилось в подобных случаях жертвовать лучшими годами жизни.

— Да, — ответил граф, — от этого можно было бы впасть в отчаяние, если бы в жизни вообще надежды не сбывались так редко. Дети не исполняют того, что обещали; молодые люди — лишь в весьма редких случаях, а если они и сдерживают обещание, то свет не исполняет того, что обещал им.

Шарлотта, довольная, что разговор принимает другое направление, весело заметила:

— Ну, что же! Нам и без того приходится быстро привыкать к тому, что благополучием пользуешься в жизни лишь время от времени и не в полной мере.

— Как бы то ни было, — сказал граф, — вам на долю и в прошлом выпало много хорошего. Я вспоминаю годы, когда вы с Эдуардом составляли самую красивую пару при дворе; теперь уже нет и в помине ни таких блистательных дней, ни таких запоминающихся образов. Когда вы танцевали, все глаза бывали обращены на вас, прикованы к вам, а вы только смотрели друг на друга, как в зеркало,

— С тех пор так много изменилось,— сказала Шарлотта,— что скромность уже не возбраняет нам слушать эти похвалы.

— И все-таки,— продолжал граф,— я нередко порицал Эдуарда в душе за то, что он не был настойчивее,— ведь при всех своих странностях его родители уступили бы в конце концов, а выиграть десять лет — это не шуточное дело.

— Я должна заступиться за него,— перебила баронесса.— Шарлотта тоже не без вины, она тоже поглядывала по сторонам, и хотя всем сердцем любила Эдуарда и втайне прочила его себе в супруги, все же — и я была тому свидетельницей — она порою страшно мучила его, так что его легко удалось склонить к злополучному решению — отправиться в путешествие, удалиться, отвыкнуть от нее.

Эдуард кивнул головой, словно благодаря ее за заступничество.

— Но вот что я должна прибавить в извинение Шарлотте,— продолжала баронесса.— Человек, в ту пору добивавшийся ее руки, давно уже был всем известен как ее искренний поклонник, и все, кто знал его поближе, находили его гораздо более приятным, чем вы полагаете.

— Дорогая моя,— довольно живо заметил граф,— признайтесь, что он был вам не совсем безразличен и что Шарлотте следовало опасаться вас больше, чем всякой другой. По-моему, это в женщинах премилая черта: так долго сохранять привязанность к мужчине, что никакая разлука не может ни нарушить, ни истребить ее.

— Этим прекрасным свойством,— возразила баронесса,— мужчины обладают, пожалуй, в еще большей степени. По крайней мере, как я наблюдала, дорогой граф, над вами никто не имеет большей власти, чем женщина, к которой вы некогда были привязаны. Я сама видела, что просьбу одной такой дамы вы старались исполнить с гораздо большим рвением, чем если бы к вам обратилась за тем же подруга нынешней минуты.

— С таким упреком можно примириться,— ответил граф,— но первого мужа Шарлотты я не выносил из-за того, что он разъединил прекрасную пару, воистину предназначенную друг для друга самой судьбой, которой нечего было бы опасаться пятилетнего срока или помышлять о втором, а то еще и третьем союзе.

— Мы постараемся,— сказала Шарлотта,— наверстать упущенное.

— Так и надо,— сказал граф и продолжал с некоторой

запальчивостью в тоне: — Ведь первый брак каждого из вас принадлежал к числу действительно неудачных браков, да, к сожалению, и вообще-то в браках — простите мне резкое слово — есть всегда что-то грубоватое: они портят отношения самые нежные, и все дело, собственно, лишь в неуклюжей самоуверенности, которой тешит себя, по крайней мере, одна из сторон. Остальное уж ясно само по себе, и, кажется, люди соединились только затем, чтобы каждый мог идти своей дорогой.

Тут Шарлотта, желавшая раз навсегда оборвать этот разговор, неожиданным замечанием переменяла его направление. Цель ее была достигнута. Беседа приняла более общий характер, — в ней смогли участвовать оба супруга и капитан; даже для Оттилии нашелся повод высказать свое мнение, и за десертом все находились в самом лучшем расположении духа, с которым гармонировало и обилие плодов, поданных в изящных корзинках, и множество цветов, в пестром разнообразии красовавшихся в великолепных вазах.

Зашла речь и о новых участках парка, куда решено было отправиться тотчас же после обеда. Оттилия не принимала участия в прогулке под предлогом каких-то хозяйственных хлопот; на деле же она торопилась снова приняться за переписку купчей. Капитан занимал графа разговором; потом к ним примкнула и Шарлотта. Когда они уже поднялись на самую вершину и капитан любезно поспешил вернуться, чтобы принести план имения, граф сказал Шарлотте:

— Этот человек мне очень нравится. Он прекрасно и разносторонне образован. Во всем, что он делает, видна основательность и обдуманность. Деятельность, которой он занимается здесь, была бы и в высших сферах признана весьма полезной.

Шарлотта с большим удовольствием слушала похвалы капитану, однако не показала вида и сдержанно и спокойно подтвердила слова графа. Но как она была поражена, когда он прибавил:

— Это знакомство для меня сейчас чрезвычайно кстати. Я знаю место, для которого он, несомненно, подходит, и если я его рекомендую, то, сделав ему добро, я также окажу большую услугу одному высокопоставленному лицу из числа моих друзей.

Для Шарлотты это было как удар грома. Граф не заметил ничего, — ведь женщины, привыкшие к сдержанности, даже в самых необычных случаях продолжают сохранять видимость.

самообладания. Но больше она уже не слышала слов графа, который меж тем продолжал:

— Когда я что-нибудь решил, дело у меня идет быстро. Мысленно я уже набросал письмо, и мне теперь не терпится его написать. Вы ведь предоставите мне верхового, с которым я мог бы отослать его еще нынче вечером?

Шарлотта испытывала душевные муки. Застигнутая врасплох этим предложением да и собственным своим душевным состоянием, она не могла вымолвить ни слова. К счастью, граф продолжал развивать свои проекты, выгода которых для капитана не могла не броситься Шарлотте в глаза. Тут как раз подошел он сам и развернул перед графом свой чертеж. Но насколько по-другому смотрела она сейчас на своего друга, которого ей предстояло потерять. Принужденно поклонившись, она отошла от них и поспешила в дерновую хижину. Еще на полпути слезы брызнули у нее из глаз, и она устремилась в эту темную маленькую келью, чтобы всецело предаться своей скорби, своей страсти, своему отчаянию, самую возможность которого она еще за несколько мгновений до того даже и не предчувствовала.

Тем временем Эдуард с баронессой прогуливались вдоль прудов. Эта умная женщина, любившая знать все обо всех, осторожно повела разговор и скоро заметила, что Эдуард рассыпается в похвалах Оттилии; ей удалось так незаметно вызвать его на откровенность, что под конец у нее не осталось и сомнения в том, что перед нею не зарождающаяся, а уже подлинно созревшая страсть.

Женщины замужние, даже если они друг друга не любят, все же состоят между собой в молчаливом союзе, особенно против молодых девушек. Следствия подобной привязанности не замедлили представиться ее уму, достаточно опытному в делах света. К тому же она еще утром, разговаривая с Шарлоттой об Оттилии, не одобрила пребывания здесь этой девушки, такой тихой и скромной, и предложила отправить Оттилию в город к одной своей приятельнице, чрезвычайно озабоченной воспитанием единственной дочери и ищущей для нее благонравную подругу, которую она соглашалась принять как вторую дочь и дать ей все преимущества такого положения. Шарлотта обещала подумать об этом.

Теперь, когда баронесса заглянула в душу Эдуарда, она твердо решила осуществить свой план, и чем быстрее она укреплялась в своем намерении, тем более она льстила на словах желаниям Эдуарда. Ибо никто лучше этой женщины не

владел собою, а это самообладание, проявляемое в случаях исключительных, приучает к притворству даже и в простых случаях и побуждает людей, имеющих такую власть над собою, распространять это владычество и на других, с тем чтобы внешним успехом как бы вознаградить себя за испытанные внутренние лишения.

С такими наклонностями обычно сочетается своего рода злорадство по поводу чужой слепоты, бессознательно попадающей в расставленные сети. Мы радуемся не только удаче в настоящем, но и чьему-то неожиданному посрамлению в будущем. И баронесса была настолько коварна, что пригласила Эдуарда с Шарлоттой к себе в имение на сбор винограда, а на вопрос Эдуарда, можно ли им будет взять с собой и Оттилию, ответила так, что он мог истолковать ее слова и в желательном для себя смысле.

Эдуард тотчас же с восторгом заговорил об этой прекрасной местности, о широкой реке, о холмах, скалах и виноградниках, о старых замках, о катанье на лодке, о веселии, сопровождающем сбор винограда, работу в давальне и т. д., причем в простоте своего сердца заранее громко радовался тому впечатлению, которое подобные сцены должны будут произвести на восприимчивую душу Оттилии. В эту минуту показалась Оттилия, направлявшаяся к ним, и баронесса поспешила сказать Эдуарду, чтобы он ничего не говорил ей об этой осенней поездке, ибо то, чему мы радуемся заранее, обычно осуждено на неудачу. Эдуард обещал, но заставил ее идти быстрее и даже опередил баронессу на несколько шагов, — так он торопился навстречу милой девушке. Сердечная радость выражалась во всем его облике. Он поцеловал ей руку, в которую вложил букет полевых цветов, собранных дорогой. Видя все это, баронесса почувствовала в душе чуть ли не озлобление. Она не только не могла одобрить то, что было предосудительного в этом увлечении, но и то, что было в нем привлекательного и прекрасного, она не могла простить этого ничем не примечательной, неопытной девушке.

Ужинать все сели уже в совершенно ином расположении духа. Граф, успевший написать письмо и отправить его с верховым, разговаривал с капитаном, которого он теперь усадил рядом с собой и расспрашивал обстоятельно, но не назойливо. Поэтому он и не старался занимать баронессу, сидевшую справа от него, равно как и Эдуард, который сперва от жажды, потом от возбуждения то и дело подливал себе вина и весьма оживленно беседовал с Оттилией, которую он посадил подле

себя, тогда как Шарлотта, сидевшая по другую сторону рядом с капитаном, с трудом и почти безуспешно старалась скрыть свое внутреннее волнение.

У баронессы было достаточно времени для наблюдений. Она заметила тревогу Шарлотты, а так как думала при этом лишь об отношениях Эдуарда и Оттилии, то ей легко было убедить себя, что и Шарлотта расстроена и рассержена именно поведением своего мужа, и она стала размышлять, как бы ей поскорее добиться своей цели.

Отчужденность продолжала чувствоваться и после ужина. Граф, желавший лучше узнать капитана, должен был, имея дело с человеком столь уравновешенным, нимало не тщеславным и вообще немногословным, пускать в ход различные уловки, чтобы выяснить то, что ему хотелось. Они ходили взад и вперед по одной стороне залы, между тем как Эдуард, возбужденный вином и надеждами, шутил у окна с Оттилией, а Шарлотта с баронессой молча расхаживали по другой стороне. Их молчание и бесцельное хождение по зале в конце концов внесли расстройство и в беседу остальных. Дамы удалялись на свою половину, мужчины — на свою, и день, казалось, был закончен.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Эдуард проводил графа в его комнату и, увлеченный разговором, решил еще немного побыть с ним вместе. Граф погрузился в воспоминания о прошлом и с живостью заговорил о красоте Шарлотты, превознося ее, как знаток, с великим жаром.

— Красивая ножка — великий дар природы. Это — неуязвимое очарование. Я смотрел сегодня, как она шла, и мне все хочется поцеловать ее башмачок и повторить несколько варварский, но исполненный глубокого чувства обряд поклонения, принятый у сарматов, для которых нет ничего лучше, как выпить за здоровье любимой и почитаемой женщины из ее башмачка.

Но не только ножка удостоилась похвал в беседе двух столь близких друзей. От Шарлотты они перешли к старым историям и приключениям и вспомнили о том, какие препятствия ставились тогда этим двум влюбленным, как другие старались помешать их свиданиям и сколько требовалось усилий, какие уловки им приходилось изобретать, чтобы иметь возможность сказать друг другу о своей любви.

— Помнишь, — продолжал граф, — в каком приключении я дружески бескорыстно принимал участие вместе с тобой, когда наши августейшие господа задумали посетить своего дядю и съехались в его огромном замке? Весь день мы только и делали, что праздновали и разгуливали в парадных костюмах; после этого надо было хоть часть ночи провести в свободной любовной беседе.

— Дорогу к апартаментам придворных дам вы прекрасно запомнили, — сказал Эдуард. — Мы благополучно пробрались к моей возлюбленной.

— А она, — подхватил граф, — больше заботилась о приличиях, чем о моем удовольствии, и оставила при себе весьма безобразную компаньонку; и вот, в то время как вы обменивались нежными взглядами и словами, мне выпала отнюдь не веселая участь.

— Еще вчера, — ответил Эдуард, — когда мы получили от вас письмо, мы вспоминали с женой об этой истории, особенно же о нашем возвращении. Мы сбились с пути и оказались у гвардейской караульни. Так как оттуда нам нетрудно было найти дорогу, то мы и решили, что и здесь нам удастся так же пройти мимо часовых. Но каково было наше изумление, когда мы открыли дверь! Весь путь перед нами был выложен тюфяками, на которых в несколько рядов растянулись спящие великаны. Единственный, кто бодрствовал из всего караула, с удивлением посмотрел на нас; мы же с юношеской отвагой и дерзостью шагали через вытянутые ноги в ботфортах, причем ни один из этих храпящих сынов Энака не проснулся.

— Мне, — сказал граф, — очень хотелось споткнуться, чтобы наделать шума: какое необыкновенное восстание из мертвых мы бы увидели тогда!

В эту минуту часы в замке пробили двенадцать.

— Уже полночь, — сказал, улыбаясь, граф, — самая пора. Я должен вас просить о дружеской услуге, дорогой барон; проводите меня сегодня так, как я провожал вас тогда, — я обещаю баронессе еще навестить ее. Целый день нам не довелось поговорить с глазу на глаз, мы очень давно не виделись, и, конечно, хотелось бы провести часок в задушевной беседе. Покажите мне дорогу к ней, а дорогу назад я уж найду сам, и, во всяком случае, мне не придется здесь спотыкаться о ботфорты.

— Я рад как хозяин дома оказать вам эту услугу, — ответил Эдуард, — но только все наши дамы сейчас на своей половине. Бог весть, не застанем ли мы их еще вместе и не наде-



лаем ли переполюха; это может произвести самое странное впечатление.

— Не беспокойтесь! — сказал граф. — Баронесса ждет меня. Она сейчас, наверно, у себя в комнате, и притом одна.

— Ну что ж, это дело не трудное, — отвечал Эдуард и, взяв свечу, повел графа за собой вниз по потайной лестнице, которая выходила в длинный коридор. В конце его Эдуард отворил маленькую дверь. Они поднялись по винтовой лестнице; наверху, на узкой площадке, Эдуард, передав графу свечу, указал ему на дверь направо, которая тотчас же подавалась, как только до нее дотронулись, и пропустила графа, а Эдуард остался в темноте.

Другая дверь, налево, вела в спальню Шарлотты. Он услышал голоса и прислушался. Шарлотта спрашивала камеристку:

— Легла ли уже Оттилия?

— Нет, — отвечала камеристка, — она сидит внизу и пишет.

— Так зажги ночник, — сказала Шарлотта, — и ступай; уже поздно. Я сама разденусь и потушу свечу.

Эдуард был в восторге, услышав, что Оттилия еще пишет. «Она трудится для меня!» — подумал он, торжествуя. Окруженный мраком и весь уйдя в себя, он представил себе, как она сидит, пишет; ему почудилось, будто он входит к ней, видит ее, она оборачивается к нему; он почувствовал непреодолимое желание еще раз побыть рядом с ней. Но отсюда не было выхода на антресоли, где она жила. Он же стоял у самой двери в комнату своей жены, и вот в душе его вдруг все как-то странно смешалось; он попробовал отворить дверь — она оказалась запертой; он тихо постучал, Шарлотта не услышала.

Она в волнении ходила взад и вперед по соседней большой комнате, вновь и вновь повторяя все, что успела передумать после неожиданного предложения, сделанного графом. Капитан, казалось, стоял перед нею. Им еще был полон этот дом, он оживлял еще места прогулок, и вот ему предстоит уехать, все должно опустеть. Она твердила все, что можно было себе сказать, в том числе и жалкое утешение, состоящее в том, что время смягчает даже и такую боль. Она проклинала время, которое будет нужно для того, чтобы боль смягчилась; она проклинала то смертоносное время, когда боль смягчится.

Прибежище, которое она наконец нашла в слезах, было для нее тем более желанно, что она редко искала его. Она бросилась на диван и всецело отдалась своему горю. Эдуард все это время не мог отойти от двери; он постучал во второй раз

и в третий, чуть посильнее, так что Шарлотта в ночной тишине явственно услышала этот стук и в испуге вскочила. Первой мелькнула мысль, что это может, что это должен быть капитан, но тотчас же она поняла: это невозможно! Она решила, что ей померещилось, но она слышала стук, она хотела, она боялась поверить своему слуху. Шарлотта прошла в спальню, тихонько приблизилась к запертой двери. Она бранила себя за свой страх. «Ведь вполне возможно, что баронессе понадобилось что-нибудь!» — сказала она себе самой и громким голосом — спокойно и уверенно — спросила:

— Кто там?

Тихий голос отвечал:

— Это я.

— Кто? — переспросила Шарлотта, не узнавая голоса. За дверью, казалось ей, должен был стоять капитан.

Голос ответил несколько громче:

— Эдуард!

Она отворила — перед нею стоял ее муж. Он приветствовал ее шуткой. Ей удалось продолжить в том же тоне. Свой загадочный визит он окружил загадочными же объяснениями. Наконец он сказал:

— Должен тебе признаться, зачем я, собственно, пришел. Я дал обет еще нынче вечером поцеловать твой башмачок.

— Это давно тебе не приходило в голову! — сказала Шарлотта.

— Тем хуже, — ответил Эдуард, — и тем лучше!

Она опустила в кресло, чтобы скрыть от его взгляда легкость своих ночных одежд. Он упал перед ней на колени, и она не могла не позволить ему поцеловать ее башмачок, так и оставшийся у него в руке, и нежно прижать ее ножку к своей груди.

Шарлотта принадлежала к числу тех женщин, которые, будучи умеренными от природы, продолжают и в брачной жизни, естественно и без всякого усилия, вести себя как возлюбленные. Она никогда не старалась разжечь страсть в своем муже, едва шла навстречу его желаниям, но, не зная ни холодности, ни отталкивающей суровости, всегда походила на любящую невесту, в душе которой даже дозволенное вызывает робость. Такою вдвойне предстала она в этот вечер перед Эдуардом. Как страстно ей хотелось, чтобы он ушел, ибо призрак друга, казалось, упрекал ее. Но то, что должно было бы отдалить Эдуарда от нее, притягивало его к ней. В ней заметно было какое-то волнение. Она перед тем плакала, и

если натуры слабые большей частью становятся от слез менее привлекательными, то женщины, которых мы привыкли видеть сильными и твердыми, бесконечно выигрывают от них. Эдуард был так внимателен, так ласков, так настойчив; он попросил разрешения остаться у нее, он ничего не требовал, но старался полусерьезно, полушутливо уговорить ее; он и не думал о своих правах и наконец, словно с шаловливым умыслом, погасил свечу.

Теперь, когда мерцал лишь свет ночника, внутреннее влечение, сила фантазии одержали верх над действительностью. Эдуард держал в своих объятиях Оттилию; перед душой Шарлотты, то приближаясь, то удаляясь, носился образ капитана, и отсутствующее причудливо и очаровательно переплеталось с настоящим.

И все-таки настоящее нельзя лишить его неотъемлемых прав. Часть ночи они провели в разговорах и шутках, и речи их были тем вольнее, что сердце — увы! — не участвовало в них. Но когда утром Эдуард проснулся подле жены, ему почудилось, что день как-то зловеще заглядывает в окно, а солнце освещает преступление; он бесшумно встал и удалился, и когда Шарлотта проснулась, то, к своему удивлению, она оказалась одна.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда на следующий день хозяева и гости снова сошлись за завтраком, внимательный наблюдатель мог бы определить разницу в унастроении и чувствах каждого из них по тому, как они друг с другом держались. Граф и баронесса встретились с той радостной легкостью, какую ощущают двое влюбленных, когда после перенесенной разлуки они остаются уверенны в силе привязанности, соединяющей их, меж тем как Шарлотта и Эдуард словно испытывали стыд и раскаяние по отношению к капитану и Оттилии. Ибо любовь признает только свои права, все прочие перед нею исчезают. Оттилия была по-детски весела и по-своему простодушна. Капитан казался серьезным; разговор с графом, всколыхнувший все, что в нем успокоилось и уснуло, заставил его почувствовать, что он здесь не следует своему предназначению и, собственно, лишь убивает время в полудеятельной праздности.

Как только граф и баронесса уехали, пришлось встречать новых гостей, к удовольствию Шарлотты, которой хотелось за-

быться, рассеяться, но к досаде Эдуарда, вдвойне стремившегося побеседовать с Оттилией, да некстати и для Оттилии, еще не справившейся с изготовлением копии, которая так нужна была к завтрашнему утру. Поэтому, едва только приежжие удалились, она поснешила к себе в комнату.

Наступил вечер. Эдуард, Шарлотта и капитан, провожая гостей, прошлись немного пешком, пока те не сели в карету, и затем решили пойти к прудам. Как раз в этот день привезли лодку, которую Эдуард за немалую цену выписал откуда-то издалека. Всем хотелось посмотреть, хороша ли она, легко ли ею управлять.

Она была привязана к берегу среднего пруда недалеко от группы старых дубов, которые тоже были приняты в расчет, когда составлялись планы предстоящих в парке изменений. Здесь предполагалось устроить пристань, а под деревьями — павильон для отдыха, к которому гребцам и следовало держать путь.

— Где же на той стороне лучше всего выбрать место для пристани? — спросил Эдуард. — Вероятно, у моих платанов.

— Это слишком далеко вправо, — возразил капитан. — Когда причаливаешь ниже, то это ближе к замку; впрочем, надо обдумать.

Капитан уже стоял на корме и взялся за весло. Взошла и Шарлотта, за нею Эдуард; он взялся за другое весло, но, собираясь оттолкнуться, подумал об Оттилии, о том, как он задержится из-за этой прогулки по воде, бог весть когда вернется. И, внезапно приняв решение, он выскочил из лодки, подал капитану второе весло, и, наскоро извинившись, поспешил к дому.

Там он узнал, что Оттилия заперлась у себя и пишет.

Обрадовавшись, что она трудится для него, он все же испытал мучительную досаду, что не видит ее рядом с собою. Нетерпение его росло с каждой минутой. Он ходил по большой зале взад и вперед, пробовал заняться то тем, то другим, но ни на чем не мог сосредоточиться. Он стремился видеть ее, видеть наедине — пока не вернулись Шарлотта с капитаном. Стемнело, зажгли свечи.

Наконец она вошла, сияющая и очаровательная. Сознание, что она что-то сделала для друга, как бы возвысило все ее существо. Она положила подлинник и копию на стол перед Эдуардом.

— Хотите сверить? — спросила она, улыбаясь.

Эдуард не нашелся, что отвечать. Он смотрел на нее, смот-

ред на копию. Первые страницы были написаны с величайшей старательностью нежным женским почерком; потом рука словно менялась, становилась легче и свободнее. Но как же он был изумлен, когда пробежал глазами последние страницы.

— Боже мой! — воскликнул он, — что же это? Ведь это мой почерк!

Он смотрел то на Оттилию, то на листки; в особенности конец производил такое впечатление, как будто он сам его писал. Оттилия молчала, но смотрела ему в глаза с чувством величайшего удовлетворения. Эдуард протянул руки.

— Ты любишь меня! — воскликнул он. — Оттилия, ты любишь меня! — И они обнялись. Кто кого обнял первый, трудно было бы решить.

С этого мгновения мир переменялся для Эдуарда, сам он стал не тем, кем был, мир стал не таким, как прежде. Они стояли друг перед другом, он держал ее руки в своих руках, они глядели друг другу в глаза, готовые снова обняться.

Вошли Шарлотта и капитан. В ответ на их извинения по поводу столь долгого отсутствия он только усмехнулся и подумал про себя: «О, как рано вы вернулись!»

За ужином стали критиковать сегодняшних гостей. Эдуард, взволнованный и влюбленный, отзывался обо всех хорошо, неизменно снисходительно, а часто и с одобрением. Шарлотта, не вполне разделявшая его взгляды, заметила в нем это расположение духа и пошутила по поводу того, что он, обычно предающий уехавших гостей строжайшему суду, нынче столь милостив и мягок.

Эдуард убежденно и горячо воскликнул:

— Стоит только от всей души полюбить *одно* существо, тогда и все другие покажутся достойными любви!

Оттилия потупила глаза, а Шарлотта смотрела невидящим взором.

Высказался также и капитан:

— Нечто подобное есть и в чувстве уважения, преклонения перед другим. То, что ценно в этом мире, начинаешь узнавать лишь тогда, когда научаешься ценить кого-нибудь *одного*.

Шарлотта постаралась скорее уйти к себе в спальню, где она могла отдаться воспоминанию о том, что нынче вечером произошло между нею и капитаном.

Когда Эдуард, прыгнув на берег, отдал жену и друга во власть зыбкой стихии, Шарлотта в надвигающихся сумерках очутилась наедине с человеком, из-за которого она уже так

много выстрадала; он сидел против нее, на веслах, направляя лодку то туда, то сюда. Она погрузилась в глубокую печаль, какую ей редко случалось испытывать. Движение лодки, плеск весел, дуновение ветерка, порой проносившегося над гладью воды, шелест тростника, полет запоздалых птиц, мерцание первых звезд и их отражение в волне — все казалось призрачным в этом беспредельном безмолвии. Шарлотте представлялось, будто друг везет ее куда-то вдаль, чтобы посадить на берег, оставить одну. Необычайное волнение владело ее душой, а плакать она не могла.

Капитан тем временем принялся описывать ей, какой вид, по его мнению, должен принять парк. Он превозносил достоинства лодки, которой при помощи двух весел легко может управлять и *один* человек. Она и сама этому научится, а плыть в одиночестве по воде и быть в одно и то же время и кормчим и гребцом — приятное чувство.

Слова эти омрачили сердце Шарлотты, напомнив о предстоящей разлуке. «Нарочно он это говорит? — думала она. — Знает ли уже об этом? Догадывается? Или говорит случайно, сам того не ведая, предсказывает мне мою судьбу?» Ее охватила глубокая тоска, нетерпение; она попросила его как можно скорее причалить к берегу и вернуться с нею в замок.

Капитан в первый раз объезжал пруды, и хотя он как-то исследовал их глубину, все же отдельные места были ему неизвестны. Темнота сгушалась, он направил лодку к такому месту, где, как он полагал, удобно будет сойти на берег и отсюда недалеко до тропинки, ведущей к замку. Но и от этого направления ему пришлось отклониться, когда Шарлотта чуть ли не с испугом повторила свое желание скорее выйти на сушу. Он сделал новое усилие, чтобы приблизиться к берегу, но на некотором расстоянии от него что-то остановило лодку; она наскочила на мель, и все его старания оттолкнуться были напрасны. Что было делать? Ему не оставалось ничего другого, как сойти в воду, неглубокую у берега, и перенести свою спутницу на руках. Он благополучно донес драгоценную ношу; он был достаточно силен, чтобы не потерять равновесия и не причинить ей ни малейшего беспокойства, но все-таки она боязливо обвила руками его шею. Он крепко держал ее, прижимая к себе. Не без волнения и замешательства опустил он ее наконец на траву. Она все еще обнимала его за шею; тогда он снова заключил ее в свои объятия и горячо поцеловал в губы; но в тот же миг упал к ее ногам, прижался устами к ее руке и воскликнул:

— Шарлотта, простите ли вы меня?

Поделуй, на который осмелился ее друг и на который она уже готова была ответить, заставил Шарлотту прийти в себя. Она сжала его руку, но не подняла его. Склонившись к нему и положив руку ему на плечо, она воскликнула:

— Этот миг составит эпоху в нашей жизни, и мы не в силах этому помешать; но в нашей власти сделать жизнь достойной нас. Вам придется уехать, дорогой друг, и вы уедете. Граф намеревается улучшить вашу участь; это и радует меня и огорчает. Я хотела хранить молчание, пока все не будет решено, но эта минута заставила меня открыть тайну. Простить вам, простить себе я смогу, если только в нас хватит силы изменить наше положение, ибо изменить наши чувства мы не властны.

Подняв его и опираясь на его руку, она молча пошла с ним к замку.

Теперь она стояла у себя в спальне, где ей нельзя было не чувствовать, не сознавать себя женой Эдуарда. Среди этих противоречий ей на помощь пришел ее твердый характер, прошедший столько жизненных испытаний. Ей, привыкшей во всем отдавать себе отчет, всегда держать себя в руках, и на этот раз без труда удалось, обдумав все, достичь желанного равновесия; она не могла удержаться от улыбки, вспомнив об удивительном ночном посещении. Но скоро ею овладело какое-то странное предчувствие, радостно-тревожный трепет, растворившийся в благочестивых желаниях и надеждах. Растроганная, она стала на колени, повторяя клятву, которую дала Эдуарду перед алтарем. Дружба, привязанность, самоотречение светлыми образами пронеслись перед нею. Она почувствовала себя внутренне исцеленной. Сладостная усталость охватила ее, и она спокойно уснула.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В это время Эдуард находится совсем в ином расположении духа. Он так мало помышляет о сне, что ему даже не приходит в голову раздеться. Тысячи раз целует он копию документа, его начало, писанное детским, робким почерком Оттили; конец он едва решается поцеловать, ибо ему кажется, что он написан его собственной рукой. «О, если бы это был иной документ», — говорит он про себя, и все же он для него уже и так служит лучшим доказательством, что испол-

нилось его пламенное желание. Разве этот листок не останется в его руках, разве он не сможет прижимать его к сердцу, хотя бы обезображенным подписью третьего!

Ущербный месяц встает над лесом. Теплая ночь манит Эдуарда на воздух; он бродит вокруг замка, он самый беспокойный и самый счастливый из смертных. Он идет садами — они слишком тесны для него; он спешит в поле — оно кажется ему слишком широким. Его тянет обратно в замок, и он оказывается под окнами Оттилии. Он садится на одну из ступеней террасы. «Стены и запоры, — мысленно говорит он себе, — разлучают нас теперь, но сердца наши не знают разлуки. Если бы она стояла здесь передо мной, она упала бы в мои, я — в ее объятия, а что мне нужно еще, кроме этой уверенности?». Все вокруг было так тихо, ни один листок не шелухнулся; так тихо, что он слышал, как под землей копошатся трудолюбивые зверьки, для которых нет разницы между днем и ночью. Он весь отдался своим счастливым грезам. Наконец он уснул и пробудился, лишь когда солнце, все озаряя своим блистающим взором, уже разогнало утренние туманы.

В своих владениях он проснулся первым. Ему казалось, что рабочие слишком долго не приходят. Они пришли; ему показалось, что их слишком мало; мало в его глазах было и работы, намеченной на этот день. Он потребовал больше рабочих; ему обещали, и в течение дня они были присланы. Но и этих ему уже недостаточно, чтобы скорее увидеть осуществление своих планов. Созидание более не доставляет ему радости: он хочет, чтобы все уже было готово, — а для кого? Дороги должны быть проложены, чтобы Оттилии удобно было ходить по ним, скамейки должны стоять на своих местах, чтобы Оттилия могла там отдыхать. Работы по сооружению нового дома он тоже торопит что есть сил: дом должен быть закончен ко дню рождения Оттилии. Ни в мыслях, ни в поступках он уже не знает удержу. Сознание, что он любит и любим, разрушает все границы. Как изменился для него вид комнат, окрестностей! Он уже не узнает и собственного дома. Присутствие Оттилии поглощает для него все; он весь растворился в ней; он ни о чем ином не думает, совесть ни о чем не напоминает ему; все, что прежде было сковано в его природе, прорвалось наружу, все его существо устремляется к Оттилии.

Капитан видит это лихорадочное возбуждение и хочет предупредить печальные последствия. Все эти работы, которые теперь ведутся с такой одной-сторонней и чрезмерной поспеш-



ностью, были задуманы им для спокойной совместной жизни в дружеском кругу. Продажа мызы была осуществлена его стараниями, первая часть суммы получена, и Шарлотта, как они условились, приняла ее в свою кассу. Но с первой же недели она более чем когда бы то ни было вынуждена действовать обдуманно, терпеливо и заботиться о порядке; ведь при такой торопливости этих денег достанет ненадолго.

Многое было начато, но и многое оставалось еще сделать. Как же он оставит Шарлотту в таких хлопотах? Они советуются друг с другом и решают, что лучше ускорить работы, занять денег, а для возврата их назначить сроки, в которые должны поступать платежи за проданную мызу. Это можно было бы сделать почти без ущерба путем переуступки права на эти суммы; тогда руки у них были бы развязаны; а раз все уже налажено и рабочих достаточно, то можно было бы быстро и верно достичь цели. Эдуард охотно согласился с ними, ибо это вполне отвечало его собственным намерениям.

Шарлотта между тем в глубине души остается при своем заранее обдуманном и принятом решении, и друг мужественно поддерживает ее в этом намерении. Но именно это и увеличивает их близость. Они обмениваются мнениями по поводу страсти Эдуарда, они совещаются, как им быть. Шарлотта ближе привлекает к себе Оттилию, строже наблюдает за нею, и чем больше она узнает собственное сердце, тем глубже проникает ее взгляд в сердце девушки. Спасение она видит только в том, чтобы удалить ее.

Похвальные отзывы из пансиона об успехах ее дочери Люцианы кажутся ей счастливым предначертанием небесного промысла; двоюродная бабушка, узнав о ее успехах, хочет взять ее к себе на постоянное житье, чтобы всегда иметь ее при себе и вывозить в свет. Оттилия могла вернуться в пансион; капитан, уехав, стал бы обеспеченным человеком, и все обстояло бы так же, как несколько месяцев тому назад, даже немного лучше. Свои отношения с Эдуардом Шарлотта надеялась вскоре поправить, и в уме своем она все так хорошо рассчитала, что это лишь укрепляло ее все более в заблуждении, будто можно возвратиться в прежнее ограниченное состояние, снова ввести в тесные рамки то, что насильственно вырвалось на свободу.

Эдуард между тем очень остро чувствовал преграды, которые ставились на его пути. Он скоро заметил, что его и Оттилию стараются отдалить друг от друга, что ему мешают беседовать с нею наедине, даже встречаться с ней иначе, как в об-

ществе других, и, раздосадованный этим, стал досадовать и на многое другое. Если ему удавалось мимоходом поговорить с Оттилией, он не только уверял ее в своей любви, но жаловался ей на свою жену, на капитана. Он не чувствовал, что сам истощает кассу своей необузданной деятельностью, он резко порицал Шарлотту и капитана за то, что в ходе дел они поступают против первоначального уговора, хотя сам же в свое время согласился на отступление от него, даже сделал это отступление необходимым.

Ненависть пристрастна, но еще пристрастнее любовь. Оттилия тоже почувствовала некоторое отчуждение от Шарлотты и капитана. Однажды, когда Эдуард жаловался Оттилии, что капитан как друг при создавшемся положении действует не вполне чистосердечно, Оттилия необдуманно ответила:

— Мне уже и раньше была не по сердцу его неискренность с вами. Я слышала раз, как он говорил Шарлотте: «Если б только Эдуард пощадил нас и не дудел на флейте. Толку из этого не будет, а слушать тягостно». Можете себе представить, как мне это было больно, — ведь я так люблю аккомпанировать вам.

Не успела она это сказать, как внутренний голос ей шепнул, что было бы лучше промолчать, но было уже поздно. Эдуард изменился в лице. Ничто никогда не причиняло ему большей досады; он был задет в своих лучших порывах, в своем ребяческом увлечении, чуждом всяких претензий. То, что его занимало, радовало, заслуживало бы более бережного отношения со стороны друзей. Он не думал о том, как ужасна для постороннего игра незадачливого музыканта, терзающего слух. Он был оскорблен, взбешен, не способен простить. Он почувствовал себя свободным от всяких обязательств.

Потребность быть вместе с Оттилией, видеть ее, нашептывать и поверять ей что-нибудь росла в нем с каждым днем. Он решился написать ей, прося вступить с ним в тайную переписку. Клочок бумаги, на котором он достаточно лаконически изложил это желание, лежал у него на письменном столе и упал на пол от сквозняка, когда вошел камердинер, чтобы завить ему волосы. Для того чтобы испробовать накаленные щипцы, камердинер обычно брал с пола какой-нибудь бумажный обрывок; на этот раз он поднял записку, тотчас же сжал ее щипцами и спалил. Эдуард, заметивший промах слуги, вырвал ее у него из рук. Вскоре после того он сел писать другую, но во второй раз перо уже не повиновалось ему. Он почувствовал сомнение, тревогу, однако преодолел их. Записку

он вложил в руку Оттилии, как только ему удалось встретиться с ней.

Оттилия не замедлила ответить. Он, не читая, сунул бумажку в карман короткого, по моде, жилета. Она выскользнула и упала на пол незаметно для него. Шарлотта увидела ее, подняла и, бросив на нее беглый взгляд, передала ему.

— Тут что-то, написанное твоей рукой, — сказала она, — и тебе, вероятно, не хотелось бы это потерять.

Он был озадачен. «Не притворяется ли она? — подумал он. — Узнала ли она содержание записки, или ее ввело в заблуждение сходство почерков?» Он надеялся, он рассчитывал на последнее. Он получил предостережение, предостережение двойное, но эти странные случайные знаки, с помощью которых к нам словно обращается некое высшее существо, для его страсти были непонятны, и в то время, как страсть заводила его все дальше, он все болезненнее ощущал ограничения, которым его, казалось, подвергали. Приветливость и общительность Эдуарда исчезли. Сердце его замкнулось, и когда ему приходилось проводить время с женой и другом, ему уже не удавалось оживить былую привязанность к ним. Упреки, которые он вынужден был делать сам себе по этому поводу, были ему неприятны, и он старался поддерживать шуточный тон, который, однако, был чужд любви, а потому чужд и обычного своего очарования.

Перенести все эти испытания Шарлотте помогала ее душевная сила. Она сознавала всю серьезность принятого решения отказаться от столь прекрасной и благородной привязанности.

Как хотелось ей прийти на помощь и тем двум! Одной разлуки, так она предчувствовала, будет недостаточно, чтобы исцелить такой недуг. Она уже собирается поговорить обо всем этом с молодой девушкой, но у нее недостает сил: ей мешает воспоминание о собственной слабости. Она пытается высказаться об этом в общих выражениях; эти общие выражения вполне подходят к ее собственному состоянию, о котором она не решается упоминать. Каждый намек, который она готова подать Оттилии, указывает ей на ее собственное сердце. Она хочет предостеречь ее и чувствует, что сама нуждается в предостережении. Поэтому, храня молчание, она старается держать любящих врозь, но положение не улучшается. Легкие намеки, которые порой вырываются у нее, на Оттилию не действуют: Эдуард убедил ее в привязанности Шарлотты к капитану, в том, что Шарлотта сама желает развода, кото-

рого он и предполагает добиться наиболее пристойным образом.

Оттилия, которую на путях к желанному блаженству поддерживает сознание ее невинности, живет только для Эдуарда. Укрепляемая в своих добрых делах любовью к нему, выполняя ради него более радостно всякую работу, более общительная с другими, она чувствует себя в земном раю.

Так продолжают они жить вместе день за днем, каждый по-своему, и вдумываясь и не вдумываясь в свою судьбу; все как будто идет обычным порядком, — подобно тому, как и в самых необычных обстоятельствах, когда все поставлено на карту, жизнь по-прежнему течет так, словно ничего не случилось.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тем временем капитан получил от графа письмо, собственно, даже два письма: одно — для оглашения всем окружающим, обещавшее прекрасные виды на будущее; другое же, — с вполне определенным предложением немедленно занять важную придворную должность с производством в чин майора, с крупным жалованьем и другими преимуществами, — по ряду особых причин требовалось еще держать в секрете. Поэтому капитан сообщил своим друзьям лишь о далеких надеждах и скрыл то, что предстояло ему в ближайшее время.

Между тем он деятельно продолжал заниматься начатыми работами, исподволь принимая меры к тому, чтобы в его отсутствие все продолжалось без помехи. Теперь и ему представлялось желательным окончить все дела к определенному сроку, хотя бы ко дню рождения Оттилии. И вот оба друга невольно начинают действовать сообща. Эдуард очень доволен, что благодаря займу касса пополнилась; все дело быстро движется вперед.

Теперь капитан всего охотнее посоветовал бы вовсе отказаться от мысли превратить три пруда в одно озеро. Нижнюю плотину необходимо было укрепить, средние — снести, вся затея казалась во многих отношениях сложной и рискованной. Однако работы, связанные одна с другой, уже были начаты, и тут весьма кстати появился молодой архитектор, в прошлом воспитанник капитана; сильно продвинув дело, отчасти с помощью хороших мастеров, отчасти же благодаря сдаче некоторых работ с подряда там, где это было возможно, он ручался

за надежность и долговечность сооружений. Капитан втайне радовался, что его отсутствие не будет чувствоваться, ибо он держался правила никогда не оставлять незавершенного дела, пока не найдется достойный преемник. Он презирал тех, кто, желая сделать ощутимым свой уход, нарочно вносят путаницу в порученную им работу и, как невежественные эгоисты, стараются разрушить то, в чем они больше не могут принимать участия.

Итак, все продолжали трудиться, не жалея сил, чтобы торжественно отпраздновать день рождения Оттилии, хотя никто не говорил об этом вслух и открыто не ставил себе подобной цели. По мнению Шарлотты, хотя и чуждой всякой зависти, этот день не должен был считаться настоящим праздником. Молодость Оттилии, ее положение в доме, отношение к семье Шарлотты не позволяли ей стать царицей празднества. Эдуард же не хотел об этом говорить заранее, считая, что все должно получиться как бы само собой, неожиданно, радостно и просто.

Таким образом, все пришли к молчаливому соглашению, что поводом созвать народ и пригласить друзей на праздник явится только окончание постройки летнего домика.

Но любовь Эдуарда была безгранична. Стремясь назвать Оттилию своею, он не знал меры в жертвах, дарах, обещаниях. Подарки, которые Шарлотта советовала ему преподнести Оттилии, он счел слишком бедными. Он посоветовался со своим камердинером, который ведал его гардеробом и находился в постоянных сношениях с разными модными торговцами; камердинер, кое-что смысливший в том, какие подарки всего приятнее и как их лучше всего дарить, тотчас же заказал в городе изящный сундучок, обтянутый красным сафьяном и обитый стальными гвоздиками, который наполнился подарками, достойными этого местителя.

Он подал Эдуарду и другую мысль. Имелся в запасе маленький фейерверк, который всё как-то не удосуживались пустить. Его нетрудно было пополнить и расширить. Эдуард ухватился за это предложение, а камердинер обещал обо всем позаботиться. Вся затея должна была оставаться в тайке.

Между тем капитан, по мере того как приближался праздник, принимал и всякие меры к поддержанию порядка, по его мнению необходимые, когда в одном месте скопляется большое количество гостей или любопытных. Он даже предусмотрительно распорядился не допускать нищих, да и всего, что еще могло бы нарушить прелесть праздника.

Эдуард же и его поверенный больше всего были заняты подготовкой к фейерверку. Его предполагалось пустить у среднего пруда перед группой высоких дубов; хозяевам и гостям надлежало расположиться напротив, под платанами, чтобы на должном расстоянии, с удобствами и в безопасности, любоваться его эффектом, отражением в воде и игрой огней, плавающих на ее поверхности.

Под каким-то вымышленным предлогом Эдуард велел освободить все пространство возле платанов от кустарников, травы и мха, и тогда только предстали во всей своей красоте, поднимаясь над расчищенной поляной, эти ввысь и вширь разросшиеся деревья. Эдуард почувствовал величайшую радость. «Сажал я их примерно в это же время года. Сколько лет тому назад это было?» — подумал он. Вернувшись в дом, он тотчас стал справляться в старых дневниках, которые его отец вел весьма тщательно, когда жил в деревне. Правда, эта посадка не могла быть упомянута в них, но в дневнике непременно должно было быть отмечено одно важное семейное событие, приходившееся на тот же самый день и хорошо памятное Эдуарду. Он перелистывает несколько тетрадей; упоминание найдено; и каково же изумление и радость Эдуарда, когда обнаруживается необыкновенное совпадение — день и год, в который посажены были деревья, это день и год рождения Оттилии.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Наконец-то Эдуарду воссияло утро долгожданного дня; мало-помалу собралось много гостей, ибо приглашения посылались далеко окрест, и многие, пропустившие торжество закладки, о котором рассказывали столько хорошего, не хотели пропустить этот второй праздник.

Перед обедом во двор замка с музыкой явились плотники, неся пышный венок, кольца которого, свитые из зелени и цветов, тихонько колыхались одно над другим. Они произнесли поздравления и, по обычаю, выпросили у дам немало шелковых платков и лент на украшение венка. Покуда господа обедали, они двинулись дальше веселым шествием и, задержавшись ненадолго в деревне, также собрали много лент у женщин и девушек, а потом, в сопровождении большой толпы, поднялись на вершину холма, где стоял дом и где уже собралось множество народа.

Шарлотта после обеда немного задержала все общество. Она не хотела торжественной процессии, и поэтому гости спокойно отправились на вершину отдельными группами, не соблюдая ни чинов, ни регламента. Шарлотта медлила, задержав и Оттилию, но не улучшила этим положения: Оттилия появилась последней, и вышло так, словно трубы и литавры только ждали ее, чтобы открыть празднество.

Не отделанный еще дом вместо архитектурного орнамента украсили, по указанию капитана, зелеными ветвями и цветами, но уже без его ведома Эдуард поручил архитектору вязью из цветов обозначить на карнизе год и день торжества. Это бы еще куда ни шло; но, кроме того, предполагалось начертать на фронте имя Оттилии, что, однако, предотвратил капитан, вовремя подоспевший. Ему удалось ловко отклонить эту затею, так что готовые уже буквы, сплетенные из цветов, были отложены в сторону.

Венок водрузили на шест, и он был виден отовсюду. Пестро развевались в воздухе ленты и платки, а краткая приветственная речь почти не была слышна из-за ветра. Церемония кончилась, и на площадке перед домом, выровненной и окруженной по сторонам беседками, должны были начаться танцы. Пригожий парень-плотник подвел к Эдуарду бойкую крестьянскую девушку, а сам пригласил Оттилию, стоявшую рядом. У этих двух пар нашлись подражатели, и вскоре Эдуард уступил свою даму и, подхватив Оттилию, продолжал танец с нею. Молодежь весело приняла участие в народных танцах, а те, что постарше, смотрели на них.

Затем, прежде чем гости разошлись, чтоб погулять, было решено с заходом солнца вновь собраться под платанами. Эдуард пришел туда первым, всем распорядился и договорился со своим камердинером, которому вместе с фейерверкером предстояло зажечь по ту сторону пруда потешные огни.

Капитан с неудовольствием заметил приготовления, сделанные по этому случаю; он как раз хотел поговорить с Эдуардом насчет скопления зрителей, которого следовало ожидать, но тот поспешно попросил предоставить ему одному эту часть празднества.

Народ толпился на откосе плотины, уже скрытой в верхней своей части, обнаженной от дерна и представлявшей неровную и ненадежную поверхность. Солнце зашло, настали сумерки, и в ожидании более полной темноты общество, собравшееся под платанами, стали обносить десертом и прохладительными напитками. Все находили это место несравненным и мысленно

радовались, что в дальнейшем отсюда можно будет наслаждаться видом на широкое озеро со столь живописными берегами.

Тихий вечер, полное безветрие обещали благоприятствовать ночному празднику, как вдруг раздался ужасный крик. От плотины оторвались глыбы земли, и видно было, как несколько человек рухнуло в воду. Насыпь не выдержала напора теснившейся и все возрастающей толпы. Каждому хотелось занять место получше, и теперь нельзя было двинуться ни назад, ни вперед.

Гости повскакали с мест, — скорее, чтобы поглядеть, чем помочь; да и как тут было помочь, когда невозможно было добраться до пострадавших? Капитан с несколькими смельчаками поспешил к плотине, тотчас согнал толпу вниз, на берег, чтобы предоставить свободу действий тем, кто самоотверженно пытался спасти утопающих. Вот уже все, — кто своими силами, кто при помощи других, — выбрались на сушу, кроме одного мальчика, который со страха все больше удалялся от плотины, вместо того чтобы приблизиться к ней. Силы, казалось, оставляли его, только иногда над водой еще появлялись то рука, то нога. К несчастью, лодка находилась у противоположного берега и была нагружена фейерверком; требовалось время, чтобы ее освободить, и помощь запаздывала. Капитан, не долго думая, скинул верхнее платье. Все глаза устремились на него, — его статная, могучая фигура невольно внушала доверие, но все же, когда он прыгнул в воду, в толпе раздался крик изумления. Все следили за ним, а он, искусный пловец, быстро настиг мальчика и вынес его к плотине, — казалось, уже бездыханного.

Тем временем подошла лодка, капитан сел в нее, подробно расспросил присутствующих, действительно ли все спасены. Появляется лекарь и берет на свое попечение мальчика, которого уже считали мертвым; подходит Шарлотта, она пресит капитана, чтобы теперь он думал только о себе, вернулся бы в замок и переделся. Он колеблется, пока несколько степенных и рассудительных людей, которые сами помогали спасать утопающих, клятвенно не заверили его, что все спасены.

Шарлотта смотрит, как он идет к замку, думает о том, что вино, чай и все необходимое для такого случая, наверно, заперто, что при подобных обстоятельствах люди обычно теряются; она торопливо проходит мимо гостей, еще остающихся под платанами; Эдуард занят тем, что всех уговаривает не расходиться, побыть здесь; в скором времени он собирается



нодать сигнал, и тогда начнется фейерверк; Шарлотта подходит к нему и просит отложить забаву, которая неуместна и в настоящую минуту не может принести удовольствия; она напоминает ему, что надо подумать и о спасенном и о спасителе.

— Лекарь уж сделает свое дело,— возразил Эдуард.— У него есть все, что нужно, а навязываясь со своим участием, мы только будем ему мешать.

Шарлотта настаивала на своем и сделала знак Оттилии, которая тотчас же собралась уходить. Эдуард схватил ее за руку и воскликнул:

— Нельзя, чтобы этот день кончился в лазарете! Для сестры милосердия она слишком хороша. Мнимые мертвецы проснутся и без нее, а живые обсохнут.

Шарлотта смолчала и удалилась. Некоторые последовали за ней, другие примкнули к ним, но так как никто не хотел быть последним, то в конце концов все разошлись. Эдуард и Оттилия оказались под платанами одни. Он не согласился уйти, сколь настойчиво и взволнованно она ни просила его вернуться в замок.

— Нет, Оттилия! — воскликнул он.— Необыкновенное совершается не гладкими и не обычными путями. Этот неожиданный случай лишь теснее сближает нас. Ты — моя! Я тебе уже так часто говорил это; довольно же говорить и клясться, теперь это должно быть на самом деле.

С того берега подплыла лодка. То был камердинер, смущенно спросивший, как теперь быть с фейерверком.

— Зажигайте его! — крикнул ему Эдуард.— Он был заказан для тебя одной, Оттилия, и ты теперь одна будешь на него смотреть. Позволь мне любоваться им рядом с тобой.— Он с нежной скромностью сел подле нее, не прикасаясь к ней.

Шурша, взвивались ракеты, гремели выстрелы, взлетали римские свечи, змеились и хлопали бураки; шипя, вертелись колеса, сперва поодиночке, потом попарно, потом все вместе, и все ослепительнее, беспрерывно нагоняя друг друга. Эдуард, у которого грудь пылала, оживленным и радостным взглядом следил за этим огненным зрелищем. Но нежную, взволнованную душу Оттилии этот свист и блеск, то возникавший, то исчезающий, скорее пугал, чем радовал. Она робко прижалась к Эдуарду, и это прикосновение, эта доверчивость позволили ему почувствовать, что она всецело принадлежит ему.

Ночь едва успела вступить в свои права, как взошел месяц, освещая обоим обратный путь. Вдруг какой-то человек, держа

шляпу в руке, заступил им дорогу и попросил милостыню, которой-де в этот торжественный день ему не привелось получить. Месяц осветил его лицо, и Эдуард узнал черты назойливого нищего, уже однажды встретившегося ему. Но он был так счастлив, что не мог сердиться, не мог даже вспомнить о том, что именно в нынешний день строжайше запрещено просить милостыню. Пошарив в кармане, он подал нищему золотую монету. Он рад был бы осчастливить каждого, ибо собственное счастье казалось ему безграничным.

Дома тем временем все шло должным образом. Усилия лекаря, наличие необходимых средств, заботливое участие Шарлотты — все это принесло свои плоды, и мальчик был наконец возвращен к жизни. Гости разошлись — иные хотели еще хоть издали посмотреть на фейерверк, иные собрались уже вернуться под свой мирный кров, чтобы отдохнуть от волнующих сцен этого дня.

Капитан, быстро переодевшись, тоже принимал живейшее участие в оказании помощи мальчику; но вот все успокоились, и он остался наедине с Шарлоттой. Он с дружеской доверчивостью сообщил ей о скором своем отъезде. В нынешний вечер Шарлотта столько пережила, что эта новость не произвела на нее особенного впечатления; она видела, как ее друг жертвовал собой, как он спасал людей и спасен был сам. Эти необычайные события предвещали, казалось ей, многознаменательное, но отнюдь не горестное будущее.

О предстоящем отъезде капитана было сообщено и Эдуарду, вошедшему вместе с Оттилией. Он заподозрил, что Шарлотта знала об этом подробнее уже и раньше, но слишком был поглощен собой и своими замыслами, чтобы ощутить какую-либо обиду.

Известие о том, какое прекрасное и почетное положение должен занять капитан, он выслушал внимательно и был ему рад. Его тайные желания бурно стремились опередить события. Он уже видел Шарлотту женой капитана, себя — мужем Оттилии. Лучшего подарка нельзя было ему сделать к этому празднику.

Но каково было изумление Оттилии, когда она вошла к себе в комнату и увидела на своем столе чудесный маленький сундучок. Она поспешила открыть его. Тут все оказалось сложным так искусно, в таком порядке, что она ничего не решилась вынуть, едва осмеливаясь дотронуться до вещей. Муслин, батист, шелк, шали и кружева соперничали друг с другом в тонкости, изяществе и ценности. Не были забыты и

украшения. Она прекрасно поняла, в чем состоял умысел: ее хотели одеть заново с ног до головы, и не на один только раз; но все было такое драгоценное и чужое, что она и в мыслях не решалась считать это своим.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

На следующее утро капитан исчез, оставив друзьям письмо, проникнутое благодарностью. Он и Шарлотта простились еще накануне вечером быстро и немногословно. Чувство говорило ей о вечной разлуке, и она смирилась; во втором письме графа, которое капитан показал ей под самый конец, речь шла и о видах на выгодный брак; и хотя он не придавал значения этому упоминанию, все же Шарлотта сочла дело решенным и бесповоротно отказалась от мысли о нем.

Но зато она считала себя теперь вправу и от других требовать тех же усилий, какие она сделала над собою. Для нее это не оказалось невозможным, пусть же это будет по силам и другим. Разговор с мужем она и начала в таком духе и с тем большей прямою и доверчивостью, что ощущала необходимость раз навсегда покончить с этим.

— Наш друг покинул нас, — сказала она. — Мы теперь, как прежде, снова вдвоем, и от нас зависит, вернемся ли мы к прежнему состоянию.

Эдуард, который был глух ко всему, что не шло на пользу его страсти, решил, будто Шарлотта намекает на то время, когда она была вдовой, и подает ему, хотя и неопределенную, надежду на развод. И он с улыбкой ответил:

— Почему бы нет? Надо лишь во всем прийти к согласию.

Но как же он был разочарован, когда в ответ Шарлотта сказала:

— Изменение в судьбе Оттилии тоже зависит сейчас только от нас, ибо нам представляются две возможности благоприятным образом устроить ее жизнь. Она может возвратиться в пансион, так как моя дочь уехала к бабушке, и, кроме того, ей открыты двери одного уважаемого дома, где она вместе с единственной дочерью семьи будет воспитываться так, как это ей подобает.

— Однако, — возразил Эдуард довольно твердо, — Оттилия в нашем дружеском кругу так избаловалась, что всякий иной ей вряд ли будет по душе.

— Мы все избаловались, — сказала Шарлотта, — и ты не меньше других. Но теперь пора образумиться, пора всерьез подумать о благе всех членов нашего маленького кружка и даже пойти на некоторую жертву.

— Только я, — ответил Эдуард, — нахожу несправедливым, чтобы в жертву была принесена Оттилия, а это как раз и случится, если мы вытолкнем ее сейчас в среду чужих людей. Капитан нашел здесь свое счастье, и его мы можем отпустить спокойно, даже с чувством удовлетворения. Но как знать, что ждет Оттилию? К чему спешить?

— Что ждет нас, это довольно ясно, — не без волнения ответила Шарлотта, а так как она решилась высказать все разом, то и продолжала: — Ты любишь Оттилию, ты привыкаешь к ней. В ней тоже зарождается и растет привязанность к тебе и страсть. Почему не высказать словами то, что открывает и подтверждает нам каждый час? Ужели у нас не хватит предусмотрительности спросить себя: что же из этого выйдет?

— Если на это сразу и нельзя ответить, — заметил, взяв себя в руки, Эдуард, — то, во всяком случае, именно тогда не следует торопиться, когда не знаешь, что принесет будущее.

— Здесь, — возразила Шарлотта, — не требуется особой мудрости, чтобы предусмотреть будущее, и как бы то ни было, уже и сейчас можно сказать, что мы оба не так молоды, чтобы слепо идти туда, куда не хочется и не следует идти. Никто уже не станет заботиться о нас; мы сами для себя должны быть друзьями и наставниками. Никто не ожидает от нас, чтобы мы ударились в крайности, и никто не ожидает, чтобы мы могли вызвать порицание, а то и насмешки.

— Можешь ли ты осудить меня, — возразил Эдуард, будучи не в силах с той же прямоотой и ясностью отвечать на слова жены, — можешь ли ты пенять мне за то, что мне дорого счастье Оттилии? И не будущее счастье, которого нельзя предвидеть, а настоящее? Вообрази себе, — чистосердечно и без самообмана, — вообрази себе Оттилию вырванной из нашего общества, отданной во власть чужим людям, — у меня, по крайней мере, не достало бы жестокости уготовить ей такую перемену.

Шарлотта сквозь притворство мужа увидела всю его решимость. Только сейчас она почувствовала, насколько он отделился от нее. В волнении она воскликнула:

— Неужели Оттилия может быть счастлива, если она разлучит нас! Если она отнимет у меня мужа, у его детей — отца!

— О наших детях, мне кажется, беспокоиться нечего, — с холодной улыбкой сказал Эдуард; и уже более ласково добавил: — Да и к чему сразу думать о крайностях?

— Крайности ближе всего к страсти, — заметила Шарлотта. — Пока еще не поздно, не отвергай доброго совета, не отвергай помощи, которую я предлагаю тебе, нам обоим. В смутных обстоятельствах действовать и помогать должен тот, кто яснее видит. На сей раз — это я. Милый, дорогой Эдуард, положишь на меня! Неужели ты думаешь, что я так просто откажусь от счастья, которого добилась, от своих самых драгоценных прав, от тебя?

— Кто же это говорит! — с некоторым смущением возразил Эдуард.

— Да ты сам, — ответила Шарлотта. — Разве, желая удержать Оттилию здесь, ты тем самым не даешь согласия на все, что из этого произойдет? Я не хочу неволить тебя, но если ты не можешь побороть себя, то, во всяком случае, долго ты себя обманывать тоже не сумеешь.

Эдуард почувствовал всю ее правоту. Сказанное слово страшно, когда оно вдруг сразу выразит все, что уже давно говорило тебе сердце, и Эдуард, лишь бы только уклониться в эту минуту от ответа, проговорил:

— Мне ведь еще не вполне ясно, что ты хочешь делать.

— Я намеревалась, — сказала Шарлотта, — обсудить с тобой оба предложения. И в том и в другом много хорошего. Пансион — самое подходящее место для Оттилии, такой, какой мы ее видим сейчас. Но другая возможность шире, богаче и больше обещает в будущем. — Затем она подробно изложила мужу оба плана и закончила словами: — Что же касается моего мнения, я бы дом этой дамы по многим причинам предпочла пансиону, в особенности же потому, что мне не хочется усиливать привязанность, может быть, страсть молодого человека, сердце которого там покорила Оттилия.

Эдуард как будто согласился с нею, но только для того, чтобы дать себе отсрочку. Шарлотта, считавшая необходимым действовать решительно, тотчас воспользовалась тем, что Эдуард не стал ей прямо перечить, и на ближайшие же дни назначила отъезд Оттилии, к которому она уже все потихоньку приготовила.

Эдуард ужаснулся; он почел себя обманутым, а в ласковых словах жены увидел притворство и искусный расчет, направленный на то, чтобы навеки отнять у него его счастье. Внешне он предоставил ей всем распоряжаться, но в душе уже

принял решение. Только чтобы перевести дух, чтобы предотвратить надвигающуюся безмерную беду — удаление Оттилии, он решился покинуть свой дом, и притом с ведома Шарлотты, которую ему удалось обмануть заверением, что он не желает присутствовать при отъезде Оттилии и вообще с этой минуты не хочет больше видеть ее. Шарлотта, думая, что добилась своего, во всем соглашалась с ним. Он заказал лошадей, дал камердинеру необходимые распоряжения насчет того, что тот должен уложить и куда следовать за ним, и, словно бы уже пустившись в путь, сел и написал письмо.

### ЭДУАРД — ШАРЛОТТЕ

Не знаю, поддается или не поддается исцелению недуг, постигший нас, но, моя дорогая, я чувствую, что могу спастись от отчаяния, только дав передышку и себе, и всем нам. Принося себя в жертву, я приобретаю право требовать. Я покидаю мой дом и вернусь лишь при более спокойных и благоприятных обстоятельствах. Ты же должна оставаться в нем, но вместе с Оттилией. Я хочу, чтобы она была с тобой, не с чужими людьми. Заботься о ней, будь с ней такой, как всегда, и даже еще ласковей, дружелюбней, нежней. Я обещаю не искать с ней никаких тайных сношений. Лучше мне некоторое время ничего не знать о том, как вы живете; я буду надеяться на самое лучшее. Так же и вы думайте обо мне. Единственное, о чем я тебя прошу, прошу от всего сердца, со всей настойчивостью: не пытайся устроить Оттилию в другом месте, изменить ее положение. За пределами твоего замка, твоего парка, порученная чужим людям, она будет принадлежать мне, я завладею ею. Если же ты с уважением отнесешься к моей привязанности, моим желаниям, моей скорби, если ты польстишь моей безумной мечте, моим надеждам, то и я не стану противиться исцелению, когда оно представится мне возможным.

Последняя фраза хоть и вышла из-под его пера, но шла она не от сердца. Увидев ее на бумаге, он горько заплакал. Так или иначе, он должен отказаться от счастья, пусть даже от несчастья, — любить Оттилию! Теперь только он почувствовал, что он делает. Он уезжает, сам не зная, что из этого еще может выйти. Сейчас, во всяком случае, он больше не увидит ее — и увидит ли когда-нибудь — кто знает? Но письмо было написано, лошади ждали: он каждое мгновение

должен был опасаться, что где-нибудь ему встретится Оттилия и его решимость пропадет. Он взял себя в руки; он подумал, что ведь от него зависит вернуться в любую минуту и что, удаляясь, он, может быть, приближает исполнение своих желаний. Он представил себе и то, как Оттилию будут вытеснять из дому, если он останется. Он запечатал письмо, сбежал с лестницы и вскочил на лошадь.

Когда он проезжал мимо гостиницы, он увидел нищего, которого минувшей ночью так щедро одарил. Тот мирно обедал в беседке: при появлении Эдуарда он встал и почтительно, даже благоговейно поклонился. Этот человек появился вчера перед Эдуардом, когда он вел под руку Оттилию; теперь он мучительно напомнил ему о счастливейшем часе его жизни. Страдание его еще усилилось; сознание того, что он оставляет позади, было для него нестерпимо. Он еще раз бросил взгляд на нищего.

— Да, ты достоин зависти,— воскликнул Эдуард,— ты еще наслаждаешься вчерашним подаянием, а для меня вчерашнего счастья уже нет!

## ГЛАВА СЕМНАДАТАЯ

Услышав топот коня, Оттилия подошла к окну и еще успела увидеть спину уезжавшего Эдуарда. Ей показалось странным, что он уехал из дому, не повидав ее, не пожелав ей доброго утра. Она забеспокоилась и погрузилась в раздумье, но вот Шарлотта пригласила ее на дальнюю прогулку, в течение которой говорила о чем угодно, но только совсем не упоминала о муже. Оттилия тем более была поражена, когда, вернувшись домой, увидела, что стол накрыт лишь на двоих.

Нам неприятно испытывать лишение, даже когда оно касается ничтожных привычек, но оно мучительно, когда дело идет о чем-либо существенном. Эдуарда и капитана не было. Шарлотта впервые после долгого перерыва сама распорядилась насчет обеда, и Оттилии казалось, будто она отставлена от должности. Обе женщины сидели теперь друг против друга; Шарлотта с полной непринужденностью говорила о новой службе капитана и о том, как мало надежды вскоре опять увидеть его. Оттилию утешала только мысль, что Эдуард поехал с другом, чтобы немного проводить его.

Но, встав из-за стола, они увидели под окном дорожную карету Эдуарда, и когда Шарлотта не без досады спросила, кто

велел подать ее сюда, ей ответили, что это сделал камердинер, которому еще требуется кое-что уложить. Оттилии понадобилось все ее самообладание, чтобы скрыть изумление и боль.

Вошел камердинер и попросил, чтобы ему выдали еще некоторые вещи: чашку Эдуарда, пару серебряных ложек и разное другое, что, как подумалось Оттилии, указывало на долгое путешествие, на длительное отсутствие. Шарлотта весьма сухо отказала ему в этой просьбе, заметив, что ей непонятно, чего он хочет, ибо все, что относится к его господину, и так находится в его ведении. Ловкий малый, которому, разумеется, надо было только поговорить с Оттилией и для этого под каким-нибудь предлогом выманить ее из комнаты, сумел найти отговорку и продолжал настаивать на своем требовании, которое Оттилия уже хотела исполнить; но Шарлотта не нашла это нужным, камердинеру пришлось удалиться, и карета уехала.

Для Оттилии это был ужасный миг. Она не могла понять, не могла объяснить себе, в чем дело, но что Эдуард надолго оторван от нее, она чувствовала. Шарлотта поняла состояние Оттилии и оставила ее одну. Мы не решимся изобразить скорбь девушки, ее слезы, — она бесконечно страдала. Она только молила бога, чтобы он помог ей пережить этот день; она его пережила, пережила ночь и, когда очнулась, уже показалась себе другим существом.

Она не владела собой, не смирилась; испытав такую огромную потерю, она должна была опасаться еще худшего. Как только она пришла в себя, она подумала о том, что теперь, после отъезда мужчин, и ее удалят отсюда. Она ничего не подозревала об угрозах Эдуарда, обеспечивающих ей пребывание вместе с Шарлоттой, но поведение Шарлотты несколько успокаивало ее. Шарлотта старалась занять бедную девушку, только изредка и неохотно отпускала ее от себя, и хотя она знала, что словами нельзя подействовать на сильную страсть, все же она понимала все значение рассудительности, сознания и поэтому о многом сама заводила речь с Оттилей.

Так для Оттилии большим утешением было, когда Шарлотта по какому-то случаю, с умыслом и расчетом, сделала мудрое замечание.

— Как горяча бывает, — сказала она, — признательность тех, кому мы спокойно помогаем преодолеть затруднения, вызванные страстью. Давай весело и бодро продолжать то, что наши мужчины оставили незавершенным; так мы лучше всего подготовимся к их возвращению, поддерживая и развивая



своей умеренностью то, что их бурный, нетерпеливый нрав готов был разрушить.

— Раз уж вы, дорогая тетя, упомянули об умеренности,— ответила Оттилия,— то я не могу утаить, что мне при этом пришла на мысль неумеренность мужчин, особенно в отношении вина. Как часто я огорчалась и бывала испугана, когда мне случалось видеть, что рассудительность, ум, внимательность к окружающим, приветливость, даже любезность исчезали порой на целые часы, и хороший человек вместо радости и пользы, которую он может доставить другим, сеял смутнение и беду. Как часто это может привести к опасным решениям!

Шарлотта согласилась с ней, но не продолжила этого разговора, ибо слишком ясно чувствовала, что Оттилия и тут думала только об Эдуарде, который, правда, не постоянно, но все же чаще, чем следовало, подстегивал вином свою радость, разговорчивость, энергию.

Если замечание Шарлотты навело Оттилию на мысль о возвращении мужчин, особенно же Эдуарда, то ее тем более поразило, что о предстоящей женитьбе капитана Шарлотта говорит как о деле решенном и всем известном, вследствие чего и все остальное должно было представиться ей теперь в совершенно ином свете, чем раньше со слов Эдуарда. Поэтому Оттилия стала особенно внимательна к каждому замечанию, каждому намеку, к каждому поступку Шарлотты. Сама того не зная, она сделалась хитра, проницательна, подозрительна.

Тем временем Шарлотта острым взглядом проникала во все подробности окружавшей ее обстановки и распоряжалась со своей привычной ясной легкостью, все время заставляя и Оттилию принимать участие в своих трудах. Она не побоялась упростить весь домашний уклад и теперь, все тщательно взвешивая, даже в случившемся странном увлечении видела как бы проявление благого промысла. Ведь идя по прежнему пути, они легко могли бы выйти из всяких границ и, сами того не заметив, нерасчетливым и расточительным образом жизни если не погубить, то расшатать свое состояние.

Работы, которые уже велись в парке, она не приостановила, даже велела продолжать то, что должно было лечь в основу будущих усовершенствований, но этим и ограничилась. Надо было, чтобы муж по возвращении нашел еще достаточно способов занимательно проводить время.

Среди этих работ и планов она не могла нахвалиться тем, что сделал архитектор. Прошло немного времени, и перед ее

глазами уже расстилалось озеро в новых берегах, которые были украшены разнообразной растительностью и обложены дерном. Новый дом был закончен вчерне: то, что требовалось для поддержания его в сохранности, было сделано, а остальные работы она велела прервать, с тем чтобы потом к ним можно было с удовольствием приступить заново. При этом она была спокойна и весела. Оттилия же только казалась такой, потому что во всем окружающем она высматривала лишь признаки того, ожидается или не ожидается вскоре возвращение Эдуарда. Ничто не занимало ее, кроме этой мысли.

Вот почему ее обрадовало одно начинание, имевшее целью поддерживать постоянную чистоту в сильно расширившемся парке, для чего был собран целый отряд из крестьянских мальчиков. Подобная мысль возникла уже ранее у Эдуарда. Мальчикам сшили что-то вроде светлых мундирчиков, которые они надевали по вечерам, предварительно почистившись и помывшись. Гардероб находился в замке: ведать им было поручено самому толковому и исполнительному из мальчиков: все же их работой руководил архитектор. Мальчики быстро приобрели известную сноровку, и работа их отчасти походила на маневры. Когда они появлялись с граблями, маленькими лопатами и мотыгами, скребками, ножами на длинных черенках и метелками, похожими на опахала, а вслед за ними шли другие с корзинками, чтобы убирать сорную траву и камни, или волокли большой железный каток, то это действительно было милое и веселое зрелище; архитектор в это время зарисовал немало поз и движений, нужных для задуманного им фриза в садовом павильоне; Оттилия же видела во всем этом лишь парад, которым предстояло отметить возвращение хозяина.

В ней пробудилось желание, в свою очередь, что-нибудь приготовить для его встречи. Обитательницы замка уже и раньше старались приохотить деревенских девочек к шитью, вязанью, прядению и другим женским рукоделиям. Девочки стали очень усердны с тех пор, как были приняты меры к благоустройству и украшению деревни. Оттилия поощряла их своим участием, но лишь от случая к случаю, когда у нее была к тому охота. Теперь она решила заняться этим вплотную и более последовательно. Но из толпы девочек не так легко создать отряд, как из толпы мальчиков. Руководствуясь своим верным чутьем и даже не отдавая себе еще ясно отчета, Оттилия старалась внушить каждой девочке привязанность к ее дому, родителям, братьям и сестрам.

Со многими это ей удалось. Только на одну очень живую маленькую девочку то и дело слышались жалобы: она ничего не умела и не желала делать по дому. Оттилия не могла сердиться на нее, потому что с ней самой девочка была особенно ласкова. Она так и льнула к Оттилии и бегала за ней по пятам, когда ей это позволяли. Подле Оттилии она была деятельна, бодра и неутомима. Привязанность к прекрасной госпоже, казалось, превратилась в потребность для этого ребенка. Сначала Оттилия лишь терпела постоянное присутствие девочки, потом сама привязалась к ей; наконец, они стали неразлучны, и Нанни повсюду сопровождала ее.

Оттилия часто бродила по саду и радовалась, что он в прекрасном состоянии. Пора ягод и вишен уже кончалась, но Нанни с удовольствием лакомилась и перезрелыми вишнями. Прочие же плоды, обещавшие к осени изобильный урожай, каждый раз давали садовнику повод вспомнить о хозяине и пожелать его возвращения. Оттилия любила слушать разговоры старика. Он был мастером своего дела и не переставал рассказывать ей об Эдуарде.

Когда Оттилия порадовалась, что все прививки, сделанные весной, так отлично принялись, садовник задумчиво заметил:

— Мне бы только хотелось, чтобы и наш добрый хозяин хорошенько порадовался на них. Если он будет здесь осенью, он увидит, какие превосходные сорта есть в старом замковом саду еще со времени его отца. Нынешние садоводы уже не то, что отцы-картезианцы. В каталогах сплошь красивые названия, а как вырастишь дерево и дождешься плодов, то оказывается, что его в саду и держать не стоило.

Но чаще всего, почти всякий раз при встрече с Оттилией, верный слуга спрашивал, когда ждут господина. Оттилия не могла назвать срока, и добрый старик не без скрытого огорчения давал ей понять, что она, видно, ему не доверяет. Оттилия мучилась своим неведением, о котором ей так упорно напоминали. Но расстаться с этими клумбами и грядками она не могла. Все, что они с Эдуардом успели посеять и посадить, стояло теперь в полном цвету и уже не требовало никакого ухода, кроме разве поливки, которой Нанни всегда готова была заниматься. С какими чувствами смотрела Оттилия на поздние цветы, еще в бутонах, которые должны были во всем блеске и пышности распуститься ко дню рождения Эдуарда, — а она временами надеялась отпраздновать его с ним вместе, и тогда они явились бы знаком ее любви и благодарности. Но

не всегда жила в ней надежда увидеть этот праздник. Сомнения и тревоги все время омрачали душу бедной девушки.

К подлинному искреннему согласию с Шарлоттой уже нельзя было вернуться. Ведь и в самом деле положение этих двух женщин было весьма различно. Если бы все осталось по-старому, если бы жизнь вновь вошла в обычную колею, Шарлотта стала бы еще счастливее в настоящем и ей к тому же еще открылись бы радостные виды на будущее; Оттилия же, напротив, потеряла бы все, — да, все, ибо в Эдуарде она впервые нашла жизнь и счастье, а в своем теперешнем состоянии ощущала только бесконечную пустоту, какой прежде не могла бы себе и представить. Сердце, которое ищет, чувствует, что ему чего-то недостает; сердце же, понесшее утрату, чувствует, чего оно лишилось. Тоска превращается в нетерпение, в досаду, и женская натура, привыкшая ожидать и переживать, готова уже выступить из своего круга, стать деятельной, предприимчивой и пуститься на поиски своего счастья.

Оттилия не отказалась от Эдуарда. Да и разве могла бы она это сделать, хотя Шарлотта достаточно разумно и вопреки своему убеждению признавала и предсказывала, что между ее мужем и Оттилией будут возможны мирные, дружественные отношения. Но как часто Оттилия, запершись ночью у себя в комнате, стояла на коленях перед открытым сундучком и смотрела на подарки, полученные ко дню рождения, из которых она еще ничем не воспользовалась, ничего не скроила, ничего не сшила для себя. Как часто бедная девушка с утренней зарей спешила из дому, в котором прежде находила все свое блаженство, и убегала в поле, в окрестности, прежде ей столь безразличные. Но на суше ей не терпелось. Она прыгала в лодку, гребла на середину озера и там, вынув какое-нибудь описание путешествия и покачиваемая волнами, читала, уносила мечтами вдаль, где всегда встречалась со своим другом; она по-прежнему была близка его сердцу, и он был все так же близок ей.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Нетрудно себе представить, что деятельный чудака, с которым мы уже познакомились, Митлер, узнав о неблагополучии в доме наших друзей, хотя ни одна из сторон еще не призвала его на помощь, уже готов был доказать свою дружбу и проявить свое искусство. Но он все-таки считал за благо сперва

немного обождать, ибо ему слишком хорошо было известно, что в делах нравственного порядка людям образованным труднее помочь, чем простым. Поэтому он на некоторое время предоставил их самим себе, но под конец не выдержал и поспешил разыскать Эдуарда, на след которого ему удалось напасть.

На пути ему встретилась прелестная долина, где среди приветливой зелени лугов и роцч вечно живой и многоводный ручей то бежал змейкой, то шумел по камням. По пологим скатам холмов тянулись плодоносные поля и нескончаемые фруктовые сады. Деревни были расположены не слишком близко одна от другой, вся местность дышала миром и тишиною, а отдельные уголки если и не были созданы для кисти художника, то как нельзя лучше подходили для жизни людей.

Наконец он заметил благоустроенный хутор с опрятным и скромным жилым домом, окруженным садами. Он решил, что здесь должно быть местопребывание Эдуарда, и не ошибся.

О нашем одиноком друге мы можем сказать только то, что в этой тиши он всецело предался своей страсти, строя разные планы, лелея всевозможные надежды. Он не скрывал от себя, что хотел бы видеть здесь Оттилию, что хотел бы привести, заманить ее сюда; да и мало ли еще дозволенных и недозволенных мыслей роилось в его воображении. Его фантазия бросалась от одной возможности к другой. Если ему не суждено обладать ею здесь, обладать законно, то он передаст в ее собственность это имение. Пусть она живет здесь уединенно и независимо; пусть будет счастлива. «И даже,— говорил он себе, когда муки воображения вели его еще дальше,— пусть будет счастлива с другим».

Так протекали его дни в вечном чередовании надежды и скорби, слез и веселости, намерений, приготовлений и отчаяния. Появление Митлера не удивило его. Он давно ожидал его приезда и отчасти даже обрадовался ему. Если его прислала Шарлотта, то ведь он уже подготовился ко всякого рода оправданиям, отговоркам, а там — и к более решительным предложениям; если же была надежда услышать от него что-нибудь об Оттилии, то Митлер был ему люб, как посланник небес.

Вот почему Эдуард был огорчен и раздосадован, когда узнал, что Митлер приехал не от них, а по собственному почину. Сердце его замкнулось, и разговор вначале не вязался. Но Митлер слишком хорошо знал, что душа, паглотенная

любовью, испытывает настойчивую потребность высказаться, излить перед другом все происходящее в ней, и поэтому, поговорив немного о том, о сем, решил на этот раз выйти из своей роли и из посредника обратиться в наперсника.

Когда он дружески упрекнул Эдуарда за его отшельническую жизнь, тот отвечал:

— О, я, право, не знаю, как бы я мог отраднее проводить время! Я всегда занят ею, всегда вблизи от нее. Я обладаю тем неопенимым преимуществом, что в любую минуту могу вообразить себе, где сейчас Оттилия, куда она идет, где стоит, где отдыхает. Я вижу ее за привычными занятиями и хлопотами, вижу, что она делает и что собирается делать,— правда, это обычно то, что мне всего приятнее. Но это не все, ибо как же я могу быть счастлив вдали от нее! И вот моя фантазия начинает работать, стараясь узнать, что следовало бы делать Оттилии, чтобы приблизиться ко мне. Я пишу себе от ее имени нежные, доверчивые письма; я отвечаю ей и храню вместе все эти листки. Я обещал не предпринимать ни единого шага в ее сторону и сдержу свое слово. Но что же удерживает ее, почему она сама не обратится ко мне? Неужели Шарлотта имела жестокость потребовать от нее обещания и клятвы, что она не напишет мне, не подаст о себе вести? Это естественно, это вероятно, и все же я это нахожу неслыханным, нестерпимым. Если она меня любит,— а я в это верю, я это знаю,— почему она не решится, почему она не осмелится бежать и броситься в мои объятия? Порой мне думается, что так, именно так она могла и должна была бы поступить. При всяком шорохе в передней я смотрю на дверь. Я думаю, я надеюсь: «Вот она войдет!» Ах! Ведь возможное невозможно, а я уже воображаю себе, как невозможное стало возможным. Ночью, когда я просыпаюсь и ночник отбрасывает в спальне неверный свет, ее образ, ее дух, какое-то предчувствие ее близости проносится надо мной, ко мне приближается, на миг дотрагивается до меня,— о, только бы мне увериться в том, что она думает обо мне, что она моя!

Одна отрада осталась мне. Когда я был подле нее, я никогда не видел ее во сне; теперь же, вдали друг от друга, мы во сне бываем вместе, и — удивительное дело! — образ ее стал мне являться во сне с тех пор, как здесь по соседству я познакомился с несколькими милыми людьми,— как будто она хочет мне сказать: «Сколько ни гляди во все стороны, никого прекраснее и милее, чем я, ты не найдешь!» И так она присутствует в каждом моем сне. Все, что пережито вместе

с ней, перемешивается и переплетается. Вот мы подписываем контракт; ее рука в моей руке, ее подпись рядом с моей — они закрывают одна другую, сливаются в единое целое. Порой эта утомительная игра фантазии заставляет меня страдать. Порой Оттилия во сне поступает так, что это оскорбляет чистоту моего идеального представления о ней; тогда я по-настоящему чувствую, как я ее люблю, ибо мне становится неслыханно тревожно. Порой она меня дразнит, что совсем несвойственно ей, мучает меня; но тотчас же меняется и весь ее облик, ее круглое ангельское личико удлинняется, это уже не она, а другая. И все-таки я измучен, встревожен, потрясен.

Не смейтесь, любезный Митлер, или смейтесь, если вам угодно! О, я не стыжусь этой привязанности, этой, если хотите, безрассудной, неистовой страсти. Нет, я еще никогда не любил; только теперь я узнал, что значит любить. До сих пор все в моей жизни было лишь прологом, лишь промедлением, лишь времяпровождением, лишь потерей времени, пока я не узнал ее, пока не полюбил ее, полюбил всецело и по-настоящему. Меня, бывало, упрекали, правда, не в лицо, а за глаза, будто я все делаю бестолково, спуская рукава. Пусть так, но я тогда еще не нашел того, в чем могу показать себя подлинным мастером. Желал бы я видеть теперь, кто превосходит меня в искусстве любви.

Конечно, это искусство — скорбное, преисполненное страданий и слез; но оно для меня так естественно, я так сроднился с ним, что вряд ли когда от него откажусь...

Эти живые излияния облегчили душу Эдуарда, но вместе с тем его необычайное состояние вплоть до мельчайшей черты представилось ему столь отчетливо, что он, не выдержав мучительных противоречий, разразился потоком слез, которые текли все обильнее, ибо сердце его смягчилось, открывшись другу.

Митлер, которому тем труднее было подавить свой природный пыл, беспощадную силу своего рассуждения, что этот мучительный взрыв страсти со стороны Эдуарда заставлял его сильнее отклониться от цели своего путешествия, прямо и резко высказал свое неодобрение. Эдуард, по его мнению, должен был взять себя в руки, должен был подумать о своем достоинстве мужчины, должен был вспомнить, что к величайшей чести человека служит способность сохранять твердость в несчастье, стойко и мужественно переносить горе, — способность, за которую мы ценим и уважаем людей и ставим их в образец другим.

Эдуарду, которого одолевали мучительнейшие чувства, слова эти не могли не показаться пустыми и ничтожными.

— Хорошо говорить человеку, когда он счастлив и благополучен,— прервал он речь Митлера,— но он постыдился бы своих слов, если бы понял, как они невыносимы для того, кто страдает. Самодовольный счастливцев требует от других беспредельного терпения, беспредельного же страдания он не признает. Есть случаи — да, да, такие случаи есть! — когда всякое утешение — низость, а отчаяние — наш долг. Ведь не гнушался же благородный грек, умевший изображать героев, показывать их в слезах, под мучительным гнетом скорби. Ему принадлежит изречение: «Кто богат слезами — тот добр». Прочь от меня тот, у кого сухое сердце, сухие глаза! Проклинаю счастливцев, для которых несчастный только занимательное зрелище. Под жестоким гнетом физических и нравственных невзгод он еще должен принимать благородную осанку, чтобы заслужить их одобрение, и, подобно гладиатору, благопристойно погибать на их глазах, чтобы они перед его смертью еще наградили его аплодисментами. Я благодарен вам, любезный Митлер, за ваш приезд, но вы бы сделали мне великое одолжение, если бы пошли прогуляться по саду или по окрестностям. Мы потом с вами встретимся. Я постараюсь успокоиться и стать более похожим на вас.

Митлер решил пойти на уступки, лишь бы не оборвать разговор, который ему не так легко было бы завязать вновь. Да и Эдуард был весьма склонен продолжать беседу, которая вела его к цели.

— Конечно,— сказал Эдуард,— проку от этих суждений и рассуждений, споров и разговоров очень мало; но благодаря нашей беседе я впервые осознал, впервые по-настоящему почувствовал, на что я должен решиться, на что я решился. Я вижу перед собой мою настоящую и мою будущую жизнь; выбирать мне приходится лишь между несчастьем и блаженством. Устройте, дорогой мой, развод, который так необходим, который уже и совершился; добейтесь согласия Шарлотты. Не буду распространяться, почему, мне кажется, его удастся получить. Поезжайте туда, дорогой мой, успокойте нас всех и всех нас сделайте счастливыми!

Митлер был озадачен. Эдуард продолжал:

— Моя судьба неотделима от судьбы Оттили, и мы не погибнем. Взгляните на этот бокал! На нем вырезан наш вензель. В минуту радости и ликования он был брошен в воздух: никто уже не должен был пить из него; ему предстояло



разбиться о каменистую землю, но его подхватили на лету. Я выкупил его за дорогую цену и теперь каждый день пью из него, чтобы каждый день убеждать себя в нерасторжимости связей, созданных судьбой.

— О, горе мне,— воскликнул Митлер.— Какое нужно терпение, чтобы иметь дело с моими друзьями! А тут я еще сталкиваюсь с суеверием, которое ненавижу как величайшее зло. Мы играем предсказаниями, предчувствиями, снами и этим придаем значительность будничной жизни. Но когда жизнь сама становится значительной, когда все вокруг нас волнуется и бурлит, такие призраки делают грозу еще более ужасной.

— О! — воскликнул Эдуард.— Среди этой сумятицы, среди этих надежд и страхов оставьте бедному сердцу хоть нечто вроде путеводной звезды, на которую оно могло бы хоть издали смотреть, если ему не суждено руководиться ею.

— Я бы не возражал,— сказал Митлер,— если бы в этом можно было ожидать хоть некоторой последовательности; но я постоянно замечал, что ни один человек не смотрит на предостерегающие знаки и все свое внимание и веру отдает тем, которые ему льстят или его обнадеживают.

Видя, что разговор заводит его в темные области, где он всегда чувствовал себя тем более не по себе, чем дольше в них задерживался, Митлер несколько охотнее согласился исполнить желание Эдуарда, который просил его поехать к Шарлотте. Да и стоило ли вообще возражать Эдуарду в такую минуту? Выиграть время, узнать, в каком состоянии обе женщины,— вот что, по его мнению, только и оставалось делать.

Он поспешил к Шарлотте и нашел ее, как всегда, в спокойном и ясном расположении духа. Она охотно рассказала ему обо всем случившемся, а ведь со слов Эдуарда он мог судить только о последствиях событий. Он осторожно приступил к делу, но не мог пересилить себя и даже мимоходом произнести слово «развод». Поэтому как он был удивлен, изумлен и — со своей точки зрения — обрадован, когда Шарлотта, после стольких неутешительных известий, сказала наконец:

— Я должна верить, должна надеяться, что все снова устроится и Эдуард вернется. Да и как бы могло быть иначе, когда я в радостном ожидании?

— Правильно ли я вас понял? — Митлер.

— Вполне,— ответила Шарлотта.

— Тысячу крат благословляю я эту весть! — воскликнул он, всплеснув руками.— Я знаю, как властно действует подобный довод на мужское сердце. Сколько браков были этим

ускорены, упрочены, восстановлены! Сильнее, чем тысячи слов, действует *эта* благая надежда, и вправду самая благая из всех, какие только возможны для нас. Однако же, — продолжал он, — что касается меня, то я имел бы все основания досадовать. В этом случае, как я уже вижу, ничто не льстит моему самолюбию. У вас я не могу рассчитывать на благодарность. Я сам напоминаю себе одного врача, моего приятеля, который всегда добивался успеха, когда за Христа ради лечил бедняков, но которому редко удавалось вылечить богача, готового дорого заплатить за это. К счастью, здесь дело улаживается само собой; а не то все мои старания и увещания все равно остались бы бесплодными.

Теперь Шарлотта начала настаивать, чтобы он отвез Эдуарду эту весть, взялся передать от нее письмо и сам решил, что должно делать, что предпринять. Но он не соглашался.

— Все уже сделано! — воскликнул он. — Пишите письмо! Всякий, кого бы вы ни послали, справится с делом не хуже меня. Я же должен направить свои стопы туда, где во мне нуждаются больше. Приеду я теперь только на крестины, чтобы пожелать вам счастья.

Шарлотта, как не раз случалось уже и раньше, осталась недовольна Митлером. Порывистость его нрава часто приводила к удаче, но его чрезмерная торопливость нередко портила все дело. Никто так легко не поддавался влиянию внезапно возникшего предвзятого мнения.

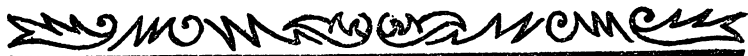
Посланец Шарлотты прибыл к Эдуарду, который почти испугался, увидев его. Письмо могло заключать в себе и «да» и «нет». Он долго не решался его распечатать, и как же он был поражен, когда прочитал; он окаменел, дойдя до следующих заключительных строк:

«Вспомни ту ночь, когда ты посетил свою жену, как любовник, ищущий приключений, в неудержимом порыве привлек ее к себе, как возлюбленную, как невесту, заключил в свои объятия. Почтим же в этой удивительной случайности небесный промысел, пожелавший скрепить новыми узами наши отношения в такую минуту, когда счастье всей нашей жизни грозило распасться и исчезнуть».

Трудно было бы описать, что с этой минуты происходило в душе Эдуарда. В подобном душевном смятении в конце концов дают о себе знать старые привычки, старые склонности, помогающие убить время и заполнить жизнь. Охота и война — вот выход, всегда готовый для дворянина. Эдуард жаждал внешней опасности, чтобы уравновесить внутреннюю. Он жаж-

дал гибели, ибо жизнь грозила стать ему невыносимой; его радовала мысль, что, перестав существовать, он составит счастье своей любимой, своих друзей. Никто не препятствовал его желаниям, ибо он держал в тайне свое решение. Он по всей форме написал духовное завещание; ему сладостна была возможность завещать Оттилии имение. Позаботился он также о Шарлотте, о не родившемся еще ребенке, о капитане, о своих слугах. Снова вспыхнувшая война благоприятствовала его намерениям. Посредственные военачальники доставили ему в молодости немало неприятностей, потому он и покинул службу; теперь же он испытывал восторженное чувство, выступая в поход с полководцем, о котором мог сказать, что под его водительством смерть вероятна, а победа несомненна.

Оттилия, когда и ей стала известна тайна Шарлотты, была поражена так же, как и Эдуард, даже более, и вся ушла в себя. Ей уже нечего было сказать. Надеяться она не могла, а желать не смела. Заглянуть в ее душу нам, однако, позволяет ее дневник, из которого мы собираемся привести кое-какие выдержки.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

В повседневной жизни нам часто встречается то, что в эпическом произведении мы хвалим как художественный прием. Стоит только главным персонажам скрыться, сойти со сцены, предаться бездействию, и пустующее место тотчас же заполняет второе или третье, до сих пор почти неприметное лицо, которое, по мере развития своей деятельности, начинает представляться нам достойным внимания, сочувствия и даже одобрения и похвалы.

Так после отъезда капитана и Эдуарда все большую роль стал играть тот самый архитектор, который ведал планом и выполнением всех работ, показывая себя при этом человеком точным, рассудительным и деятельным; к тому же за это время он сумел стать полезным для наших дам и научился развлекать их беседой в течение долгих, ничем не занятых часов. Уже самая его наружность внушала доверие и вызывала симпатию. Он был юноша в полном смысле этого слова, прекрасно сложенный, стройный, роста скорее высокого, скромный, но без всякой робости, общительный, но без навязчивости. Он с радостью брался за всякое дело и поручение, а так как он все хорошо умел рассчитать, то вскоре в укладе дома для него не оставалось секретов; его благотворное влияние распространялось повсюду. Ему обычно поручалось встречать незнакомых посетителей, и он умел либо вовсе отделаться от неожиданных гостей, либо так подготовить женщин к их приему, что из этого не возникало для них никаких неудобств.

Между прочим, немало хлопот доставил ему однажды молодой юрист, присланный одним соседом-помещиком для

переговоров о деле, не особенно важном, но сильно взволновавшем Шарлотту. Мы должны упомянуть о том случае, ибо он дал толчок многому такому, что иначе долго оставалось бы без движения.

Мы помним о тех переменах, которые Шарлотта произвела на кладбище. Все надгробные памятники были сняты с мест и расставлены вдоль ограды или цоколя церкви. Остальное пространство выровняли и все, за исключением широкой дороги, которая вела к церкви и мимо нее к калитке на противоположном конце кладбища, засеяли разными сортами клевера, который теперь красиво цвел и зеленел. Новые могилы положено было рыть в определенном порядке, начиная от края кладбища, но тоже сравнивать с землей и засеивать. Никто не мог отрицать, что теперь для всякого, приходившего в церковь по воскресеньям и другим праздникам, кладбище являло светлую и достойную картину. Даже престарелый священник, отверженный ко всему давнему и вначале не особенно довольный таким устройством, теперь радовался ему, когда, точно Филемон со своей Бавкидой, он сидел под старыми липами у задней калитки дома и вместо могильных бугров созерцал перед собой красивый цветистый ковер, который к тому же приносил кое-какую выгоду его хозяйству, ибо Шарлотта закрепила за причтом право пользования этим маленьким участком.

Тем не менее кое-кто из прихожан уже и раньше выражал недовольство, что снято обозначение мест, где покоились их предки, и тем самым как бы стерто и воспоминание о них: надгробные памятники, хоть и оставшиеся в полной сохранности, указывали только, кто, а не где похоронен, а это «где», по мнению многих, и было самым главным.

Такого именно мнения придерживалось одно жившее по соседству семейство, которое уже несколько лет тому назад приобрело для себя и для своих близких место на этом кладбище с условием вносить в пользу церкви определенную сумму денег ежемесячно. И вот молодой юрист был прислан с тем, чтобы взять назад это обязательство и объявить, что платежи впредь будут прекращены, ибо условие, по которому они до сих пор производились, нарушено одной из сторон, а все возражения и протесты оставлены без внимания. Шарлотта, виновница этих нововведений, сама пожелала говорить с молодым человеком, который хотя и с жаром, но с должной скромностью изложил доводы свои и своего патрона и заставил своих слушателей призадуматься.

— Вы видите,— сказал он после короткого вступления, оправдывавшего его настойчивость,— что последний бедняк, так же как и самый знатный человек, дорожит возможностью обозначить то место, где покоятся его близкие. Даже самый бедный крестьянин, похоронивший своего ребенка, находит утешение в том, что ставит на могиле легкий деревянный крест и украшает его венком, сохраняя память о мертвом, по крайней мере, до тех пор, пока живо горе, хотя время уничтожит и этот памятник, и самую скорбь. Люди зажиточные вместо таких крестов водружают железные, укрепляют и ограждают их различными способами,— в этом уже залог прочности на многие годы. Но в конце концов эти кресты тоже падают и разрушаются, и потому люди богатые почитают своим долгом воздвигнуть каменный памятник, который переживет несколько поколений и может быть обновлен потомками. Однако притягивает нас не этот камень, а то, что лежит под ним, то, что вверено земле. Дело не столько в памяти, сколько в самой личности, не в воспоминании о прошлом, а в том, что существует сейчас. Близость с дорогим покойником я больше и глубже чувствую у могильного холма, чем в соседстве с памятником, который сам по себе мало что значит, тогда как вокруг обозначенной им могилы долго еще будут собираться супруги, родственники, друзья, и живущий должен сохранить за собой право отстранять и удалять посторонних и недоброжелателей от места упокоения близких ему людей.

Вот почему я и считаю, что мой патрон имеет полное право взять назад свое обязательство, и при этом он довольствуется еще очень малым, ибо члены его семьи понесли утрату, которую ничем нельзя возместить. Они теперь лишены скорбной отрады поминать дорогих умерших на их могилах, лишены утешающей надежды со временем покоиться рядом с ними.

— Дело это,— возразила Шарлотта,— не такое, чтобы из-за него затевать тяжбу. Я нимало не раскаиваюсь в сделанном и охотно возмещу церкви убытки, которые она понесла. Но, признаюсь откровенно, ваши доводы не убедили меня. Чистое сознание всеобщего равенства, которое ждет нас всех хотя бы после смерти, представляется мне более успокоительным, нежели это упорное и упрямое стремление продлить существование нашей личности, наших привязанностей и жизненных отношений. А вы что на это скажете? — обратилась она с вопросом к архитектору.

— Мне бы не хотелось,— ответил он,— ни вступать по такому поводу в спор, ни быть судьей. Позвольте мне просто

высказать суждение, ближе всего отвечающее моему искусству, моему образу мыслей. С тех пор как мы лишены счастья прижимать к своей груди заключенный в урну прах любимого существа и недостаточно богаты и настойчивы для того, чтобы хранить его невредимым в больших разукрашенных саркофагах, раз мы даже в церквах уже не находим места для себя и для наших близких и должны лежать под открытым небом, — то все мы имеем основание одобрить порядок, введенный вами, сударыня. Когда члены одного прихода лежат рядами друг подле друга, то покоятся они подле своих и среди своих, а так как земля примет когда-нибудь в свое лоно всех нас, то, по-моему, ничто не может быть более естественным и чистоплотным, как сровнять, не мешкая, случайно возникшие и постепенно оседающие холмы и таким образом сделать покров, лежащий на всех покойниках, более легким для каждого из них.

— И все должно исчезнуть так, без единого памятного знака, без чего-нибудь, что могло бы пробудить воспоминания? — спросила Оттилия.

— Отнюдь нет! — продолжал архитектор. — Отрешиться нужно не от воспоминаний, а только от места. Зодчий и скульптор в высшей степени заинтересованы в том, чтобы от них, от их искусства, от их рук человек ждал продолжения своего бытия, и поэтому мне хотелось бы, чтобы хорошо задуманные и хорошо исполненные памятники не были рассеяны случайно и поодиночке, а были собраны в таком месте, где бы им предстояло долгое существование. Раз даже благочестивые и высокопоставленные люди отказываются от привилегии покоиться в церкви, то следовало бы, по крайней мере, в ее стенах или в красивых залах, выстроенных вокруг кладбищ, собирать памятники и памятные надписи. Существуют тысячи форм, которые можно было бы применить для них, тысячи орнаментов, которыми их можно было бы украсить.

— Если художники так богаты, — спросила Оттилия, — то почему же, объясните мне, они никогда не могут выбраться из обычных форм какого-нибудь жалкого обелиска, обломленной колонны или урны? Вместо тысячи изображений, которыми вы хвалитесь, я видела всего тысячи повторений.

— У нас это действительно так, — ответил ей архитектор, — однако не везде. И вообще не простое это дело — что-либо изобрести и подобающим образом применить. Особенно же трудно мрачному предмету сообщить более радостную окраску и не нагнать уныния при изображении унылого. Что

до памятников всякого рода, то у меня собрано множество эскизов, и я при случае покажу их вам, но все же самым прекрасным памятником человеку всегда останется его собственное изображение. Оно более, чем что бы то ни было другое, дает понятие о том, чем он был; это — наилучший текст к мелодии, протяжной или короткой; только оно должно быть сделано в лучшую пору жизни человека, но это-то время обычно и упускают. Никто не думает о том, чтобы сохранить живые формы, а если это и делается, то делается несовершенно. Вот с умершего торопятся снять маску, слепок насаживают на постамент, и это называется бюстом. Но как редко художник бывает в силах придать ему жизненность!

— Вы, — заметила Шарлотта, — сами, может быть, того не зная и не ставя себе этой цели, направили весь разговор в сторону, желательную для меня. Ведь изображение человека — независимо; всюду, где бы оно ни стояло, оно стоит ради самого себя, и мы не станем от него требовать, чтобы оно служило знаком, указывающим место погребения. Но признаться ли вам, какое странное чувство владеет мною? У меня какое-то отвращение даже к портретам; мне всегда кажется, что они взирают на нас с безмолвным укором; они говорят о чем-то далеком, отошедшем и напоминают о том, как трудно чтить настоящее. Когда подумаешь, сколько людей мы перевидали на своем веку, и признаешься себе, как мало мы значили для них, а они — для нас, каково тогда становится на душе! Мы встречаемся с человеком остроумным — и не беседуем с ним, с ученым — и ничему не научаемся от него, с путешественником — и ничего от него не узнаем, с человеком любвеобильным — и не делаем для него ничего приятного.

И ведь это не только при мимолетных встречах. Семьи и целые общества ведут себя так с самыми дорогими своими сочленами, города — с достойнейшими своими жителями, народы — с лучшими своими монархами, нации — с замечательнейшими личностями.

При мне однажды спросили: почему о покойниках хорошее говорят с такой легкостью, а о живых — всегда с некоторой оглядкой? В ответ было сказано: потому, что, во-первых, нам нечего опасаться, а с живыми мы еще так или иначе можем столкнуться. Вот как мало чистоты в заботе о памяти других; по большей части это лишь эгоистическая игра, а между тем каким важным и священным делом было бы поддержание деятельной связи с живыми!



На другой день, еще под впечатлением этого случая и связанных с ним разговоров, решено было отправиться на кладбище; архитектор предложил несколько удачных идей, имевших целью украсить его и придать ему более приветливый вид. Заботы его, однако, простирались и на церковь — здание, которое с самого же начала привлекло к себе его внимание.

Уже несколько столетий стояла эта церковь, построенная в немецком духе и вкусе, в строгих пропорциях и с превосходной отделкой. Можно было предполагать, что зодчий, строивший соседний монастырь, показал свое искусство и на этом маленьком здании, отнесясь к нему вдумчиво и с любовью, и оно по-прежнему производило на зрителя впечатление строгое и приятное, хотя его новое внутреннее убранство, рассчитанное на протестантское богослужение, отчасти и лишило храм его былой спокойной величавости.

Архитектору нетрудно было испросить у Шарлотты небольшую сумму, чтобы снаружи и внутри восстановить церковь в старинном вкусе и привести ее в полную гармонию с простиравшимся перед нею кладбищем. Он и сам считался искусным мастером, а нескольких рабочих, которые еще трудились на постройке дома, Шарлотта согласилась оставить до тех пор, покуда это благочестивое начинание не будет завершено.

И вот теперь, когда здание церкви со всеми прилегающими строениями и пристройками было подробно обследовано, к величайшему изумлению и удовлетворению архитектора, обнаружился небольшой, до сих пор не обращавший на себя внимание боковой придел, замечательный своими пропорциями, еще более оригинальными и легкими, своей орнаментовкой, еще более затейливой и тщательной. К тому же здесь сохранились остатки резьбы и живописи, составлявшие принадлежность старой веры, которая для каждого праздника располагала особыми изображениями и утварью и каждый из них отмечала на свой лад.

Архитектор не преминул включить в свой план и этот тесный придел, решив восстановить его как памятник былых времен и вкусов. Ему уже представлялось, как он украсит голые поверхности стен, и радовался возможности приложить здесь свой талант живописца, но от Шарлотты и Оттилии пока что держал это в секрете.

Согласно своему обещанию, он при первом же случае показал им зарисовки и эскизы старинных надгробных памятников,

сосудов и других подобных вещей, а когда разговор коснулся простых могильных холмов северных народов, он извлек для обозрения свою коллекцию найденных в них оружия и утвари. Все это у него было весьма аккуратно и удобно разложено по ящикам и укреплено на врезанных в стену, обитых сукном досках, так что и эти строгие старинные предметы приобретали известную нарядность, и смотреть на них было так же приятно, как и на вещицы, выставленные в модной лавке. Уединенная жизнь требовала развлечения, и архитектор, начав показывать свою коллекцию, теперь уже каждый вечер приносил еще какую-нибудь часть своих сокровищ. Почти все эти брактеады, старые монеты, печати и прочее были германского происхождения. Они заставляли фантазию обращаться к далекой старине; а он, чтобы оживить свои объяснения, извлек еще и первопечатные издания, древнейшие гравюры на дереве и меди. В то же время и церковь, благодаря окраске и орнаментовке, проникнутой тем же старинным духом, как бы все более и более вращалась в прошлое, так что под конец они уже невольно задавались вопросом, в самом ли деле они живут в новые времена и не сон ли все вокруг — все эти совершенно новые нравы, обычаи, уклад жизни и убеждения.

Поскольку почва была соответственно подготовлена, то большая папка, которую он показал в последнюю очередь, произвела наилучшее впечатление. Правда, она по большей части заключала в себе лишь контуры фигур, но, будучи скалькированы с картин мастеров, они полностью сохранили их старинный характер. И как же он очаровал зрителей! Все образы светились истинной жизнью и отличались если не благородством, то благостью. Все лица, все позы выражали ясную сосредоточенность, добровольное признание чего-то, стоящего выше нас, тихое смирение любви и ожидания. Старец с лысой головой, кудрявый мальчик, бодрый юноша, строгий муж, просветленный подвижник, парящий ангел — все, казалось, вкушали блаженство в невинной радости, в благочестивом чаянии. На событие самое обыденное падал отблеск небесной жизни, и каждое из этих существ словно было создано для священнодействия.

На подобный мир большинство людей взирает, как на безвозвратно исчезнувший золотой век, как на потерянный рай. И только Оттилия могла бы чувствовать себя здесь среди себе подобных.

Как же можно было не согласиться на предложение архитектора, пожелавшего расписать своды придела по этим образ-

дам и тем самым оставить по себе прочную память в месте, где ему так хорошо жилось? Заговорил он об этом с оттенком грусти, ибо по всему не мог не сознавать, что его пребывание в этом очаровательном обществе не будет продолжаться вечно и, напротив, по всей вероятности, скоро окончится.

Эти дни, не богатые происшествиями, были заполнены серьезными беседами. Вот почему мы и пользуемся случаем привести кое-что из записей в дневнике Оттилии, касающихся этих разговоров, и не можем найти более уместного перехода к ним, чем следующее сравнение, пришедшее нам на ум, когда мы читали ее милые листки.

Нам довелось слышать, что в английском морском ведомстве существует такое правило: все снасти королевского флота, от самого толстого каната до тончайшей веревки, сучатся так, чтобы через них, во всю длину, проходила красная нить, которую нельзя выдернуть иначе, как распустив все остальное, и даже по самому маленькому обрывку веревки можно узнать, что она принадлежит английской короне.

Точно так же и через весь дневник Оттилии тянется красная нить симпатии и привязанности, все сочетающая воедино и знаменательная для целого. Нижеследующие замечания, размышления, отдельные изречения и все, что встречается нам здесь, оказывается благодаря этому необыкновенно характерным для писавшей и приобретает для нас особую значимость. Даже и в отдельности каждый из отрывков, выбранных и приведенных нами, служит тому несомненным свидетельством.

### *ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ*

Покоиться некогда подле тех, кого любишь, — отраднейшая из надежд, какую может питать человек, когда мысль уносит его за пределы жизни. «Воссоединиться с близкими своими» — какая задушевность в этих словах.

Много есть памятников и знаков, которые приближают к нам отсутствующих и отошедших. Но ни один из них не сравнится с портретом. В беседе с портретом любимого человека, даже и не похожим, есть некое очарование, как есть очарование порой и в споре с другом. Сладостно бывает сознавать, что даже в разногласии мы неразъединимы.

Порою с живым человеком беседуешь как с портретом. Он может с нами не говорить, на нас не смотреть, не обращать на нас внимания; мы смотрим на него, мы чувствуем нашу связь с ним, и эта связь может даже крепнуть, а он для этого

ничего не сделает, этого и не почувствует, будет держать себя с нами, как портрет.

Портретом человека знакомого никогда не бываешь доволен. Мне поэтому всегда жаль портретистов. От людей так редко требуют невозможного, а от портретистов — всегда. Изображая любое лицо, они обязаны перенести на портрет его отношение к окружающим, его симпатии и антипатии; они обязаны не только показать, каким они представляют себе человека, но также и то, каким его представил бы себе всякий другой. Меня не удивляет, когда такие художники постепенно озлобляются, становятся упрямы и ко всему равнодушны. Пусть так, но ведь именно из-за этого мы столь часто бываем лишены изображения милых и дорогих для нас людей.

Собранная архитектором коллекция оружия и древней утвари, лежавшей вместе с телом умершего в земле под могильным холмом и обломками скал, конечно, доказывает нам, как бесплодны старания человека оградить свою личность после смерти. И сколько противоречий в нас самих! Архитектор говорит, что он сам разрывал могильные холмы предков, и все же его по-прежнему занимают памятники для потомства.

К чему, однако, судить так строго? Разве все, что мы делаем, рассчитано на вечность? Не одеваемся ли мы утром для того, чтобы вечером раздеться? Не уезжаем ли для того, чтобы снова вернуться? И почему бы нам не желать покоиться подле наших близких хотя бы в течение одного столетия!

Когда видишь все эти ушедшие в землю, затоптанные богемольцами могильные плиты и даже церкви, обвалившиеся над гробницами, то жизнь после смерти представляется как бы второй жизнью, в которую мы вступаем, став изваянием или надгробной надписью, и в которой мы пребываем дольше, чем в настоящей человеческой жизни. Но и это изваяние, это второе бытие рано или поздно угаснет. Время помнит о своих правах не только над людьми, но и над памятниками.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Заниматься делом, знакомым лишь наполовину, так приятно, что не следовало бы бранить дилетанта, увлеченного искусством, которым он никогда не овладеет, или порицать художника, которому пришла охота переступить за пределы своего искусства в соседнюю область.

Такого снисходительного взгляда мы будем придерживаться, наблюдая за приготовлениями архитектора к росписи придела. Краски уже составлены, мерки сняты, эскизы закончены: от всяких притязаний на новизну он отказался; он придерживается своих контуров; вся его забота — получше распределить сидящие и парящие фигуры и искусно украсить ими поверхность стен.

Леса были поставлены, работа подвигалась вперед, а так как кое-что, достойное внимания, уже было выполнено, то он ничего не имел против посещения Шарлотты и Оттилии. Живые лики ангелов, их одеяния, развевающиеся на фоне голубого неба, радовали глаз; тихая кротость этих образов призывала душу сосредоточиться и оставляла впечатление необычайной нежности.

Женщины поднялись к нему на помост, и не успела Оттилия выказать свое удивление тем, что работа идет так размеренно, легко и спокойно, как в ней сразу пробудилось то, что было ею приобретено в годы учения; она схватила кисть, краски и, слушаясь указаний архитектора, четко и умело выписала одно из одеяний со всеми его складками.

Шарлотта, которая всегда была рада, если Оттилию что-нибудь займет и развлечет, не стала мешать и ушла, чтобы предаться своим мыслям и в одиночестве взвесить соображения и сомнения, которыми она ни с кем не могла поделиться.

Если люди заурядные, от будничных неурядиц впадающие в малодушное и лихорадочное смятение, вызывают у нас улыбку невольной жалости, то мы, напротив, с глубоким уважением смотрим на существо, в чью душу пали семена великой судьбы, но которое вынуждено ждать их всхода, не смея и не имея возможности ускорить развитие того добра или зла, счастья или горя, что должно возникнуть из них.

Эдуард через гонца, посланного Шарлоттой в его уединение, ответил ей ласково и участливо, но в тоне скорее сдержанном и серьезном, нежели откровенном и любовном. Вскоре затем он исчез, и супруга его не могла добиться никаких вестей о нем, пока случайно не встретила его имени в газете, где он был упомянут в числе тех, кто отличился в одном сражении. Теперь ей стало известно, какой путь он избрал; она узнала, что он остался невредим среди больших опасностей, но вместе с тем убедилась, что он будет искать опасностей еще больших, и могла тем самым с полной ясностью заключить, что его в любом смысле трудно будет удержать от крайних

решений. Она так и жила с этой неотступной заботой, тая ее про себя, и сколько она ни раздумывала о разных возможностях, ни одна из них не могла ее успокоить.

Между тем Оттилия, ничего не зная обо всем этом, чрезвычайно пристрастилась к своей работе и с легкостью получила от Шарлотты разрешение заниматься ею каждый день. Дело теперь быстро пошло вперед, и лазурный небосвод был вскоре населен достойными обитателями. Благодаря постоянному упражнению, Оттилия и архитектор, когда писали последние фигуры, достигли еще большей свободы исполнения; они заметно совершенствовались. В ликах же, которые архитектор писал один, стала постепенно обнаруживаться одна весьма своеобразная особенность: все они начали походить на Оттилию. На душу молодого человека, который еще не избрал себе образцом какое-либо лицо, виденное в жизни или на картине, близость красивой девушки должна была произвести впечатление столь сильное, что глаза и рука его трудились в полном согласии. Как бы то ни было, а один из ликов, написанных напоследок, удался в совершенстве, и казалось, что сама Оттилия смотрит вниз с небесной высоты.

Свод был готов; стены же решено было оставить без росписи и лишь покрыть светло-коричневой краской, чтобы лучше выделялись легкие колонны и искусные лепные украшения более темного цвета. Но одна мысль всегда порождает другую, и у них возникло еще и желание сплести гирлянду из цветов и плодов, которая должна была связать как бы воедино небо и землю. Тут Оттилия почувствовала себя совершенно в своей сфере. Сады являли ей прекраснейшие образцы, и, хотя в каждый из венков вложено было много труда, они завершили работу раньше, чем предполагалось.

Все в целом, однако, имело вид беспорядочный и незаконченный. Помосты были сдвинуты как попало, доски разбросаны, неровный пол еще более обезображен пролитыми красками. Архитектор попросил, чтобы дамы дали ему теперь неделю сроку и сами в течение этого времени не заходили в придел. Наконец в один прекрасный вечер он пригласил их обеих пожаловать туда; сам же испросил позволения не сопровождать их и тотчас же откланялся.

— Какой бы сюрприз он ни приготовил нам,— сказала Шарлотта, когда он удалился,— у меня сейчас нет охоты идти туда. Сходи одна и расскажи мне. У него, наверно, вышло что-нибудь очень удачное. Я этим наслажусь сперва в твоём описании, а потом взгляну и сама.

Оттилия, хорошо знавшая, что Шарлотта во многих случаях соблюдает осторожность, избегает всякого рода душевных потрясений и особенно оберегает себя от неожиданностей, тотчас же пошла, невольно ища взглядом архитектора, который, однако, не появлялся, — должно быть, прятался. Она вошла в отпертую церковь, уже отделанную, убранную и освященную. Тяжелая, окованная медью дверь придела легко распахнулась перед нею, и в этом знакомом помещении предстало неожиданное зрелище.

Сквозь единственное высокое окно падал строгий многокрасочный свет, ибо оно было искусно составлено из цветных стекол. Все в целом благодаря этому приобретало необычный колорит и настраивало душу на совсем особый лад. Красоту свода и стен еще дополнял рисунок пола, выложенного из кирпичей своеобразной формы, которые сочетались в красивый узор, скрепленный раствором гипса. И кирпичи и цветные стекла архитектор тайком приготовил заранее, так что собрать их удалось в короткий срок. Позаботился он и о местах для сидения. Среди старинных вещей, оказавшихся в церкви, нашлось несколько резных стульев изящной работы, которые теперь красиво разместились вдоль стен.

Оттилия радовалась, глядя на знакомые детали, представшие ей теперь в виде незнакомого целого. Она стояла, бродила взад и вперед, смотрела, вглядывалась; наконец она села на один из стульев, и когда оглянулась вокруг, ей вдруг почудилось, будто она живет и не живет, сознает и не сознает и что все это сейчас скроется от нее, да и она скроется от самой себя, и только когда окно, до сих пор ярко освещенное солнцем, потемнело, Оттилия очнулась и поспешила в замок.

Она не таила от себя, в какой знаменательный день ее поразило это неожиданное впечатление. То был канун дня рождения Эдуарда, который она, конечно, надеялась отпраздновать совсем иначе. Как все должно было быть разукрашено к этому празднику! А теперь осенняя роскошь сада осталась нетронутой. Подсолнечники по-прежнему обращали свои головки к небу, астры все так же кротко и скромно смотрели вдаль, а венки, сплетенные из них, послужили только моделями для украшения места, которое, если бы ему пришлось найти какое-либо применение, а не остаться простой прихотью художника, могло бы стать разве что общей усыпальницей.

При этом ей пришло на память, как шумно отпраздновал Эдуард день ее рождения, она вспомнила и о только что построенном доме, под кровлей которого они все надеялись про-

вести столько отрадных часов. Фейерверк, вспыхнув, вновь представился ее взору и слуху, и чем более одинокой она была, тем явственнее рисовался он в ее фантазии и тем глубже она ощущала свое одиночество. Она уже не опиралась на руку Эдуарда и не надеялась, что рука эта вновь станет для нее опорой.

### ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИ

Мне хочется записать одно из замечаний молодого художника: на примере как ремесленника, так и художника можно ясно увидеть, что человек менее всего властен присвоить себе собственно ему принадлежащее. Его творения покидают его, как птицы гнездо, в котором они были высижены.

Всего удивительнее в этом смысле судьба зодчего. Как часто он обращает все силы своего ума, своей страсти на то, чтобы построить здания, на доступ в которые сам не смеет и рассчитывать. Королевские чертоги обязаны ему своим величием, которым он сам никогда не насладится. В храмах он собственной рукой проводит грань, отделяющую его от святая святых; он не дерзает подняться на ступени, которые возвел для возвышающего дух торжества, подобно тому как золотых дел мастер лишь издали поклоняется дароносице, эмаль и драгоценные камни которой он сочетал воедино. Вместе с ключом от дворца строитель передаст богачу и все его удобства, весь его уют, которым сам нисколько не воспользуется. Не удаляется ли таким образом от художника и само искусство, если его творение, как сын, получивший собственный надел, теряет связь со своим отцом? И как должно было совершенствоваться искусство в пору, когда оно составляло общественное достояние и, следовательно, то, что принадлежало всем, принадлежало и художнику.

Одно из верований древних народов — торжественно-строгое и может показаться страшным. Предков своих они представляли себе сидящими на тронах в огромных пещерах и занятыми безмолвной беседой. Вновь прибывшего, если он был того достоин, они, привстав, приветствовали поклоном. Вчера, когда я сидела в приделе на резном стуле, а кругом стояло еще несколько таких же стульев, эта мысль показалась мне отрадной и утешительной. «Почему бы тебе не остаться здесь сидеть, — подумала я, — сидеть тихо и сосредоточенно, долго-долго, пока наконец не придут друзья, навстречу которым ты встанешь и, приветливо поклонившись, укажешь им их ме-



ста?» Цветные стекла превращают день в строгие сумерки, и кому-нибудь следовало бы позаботиться о неугасимой лампаде, чтобы и самая ночь не была здесь слишком темна.

В какое положение ни становишься, ты всегда представляешь себя зрячим. Мне кажется, сны человеку снятся только затем, чтобы он не переставал видеть. А ведь, может быть, когда-нибудь наш внутренний свет выступит из нас, так что нам и не надо будет другого.

Год кончается. Ветер носится над жнивьем, и нечем ему играть, и только красные ягоды на тех стройных деревьях словно хотят еще напомнить нам о чем-то радостном, подобно тому, как мерные удары цепов заставляют нас вспомнить, сколько питательного и живого таится в сжатом колосе.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

После всех этих событий, после всего, что внушило Оттилии сознание непрочности и бренности сущего, как больно должна была поразить ее весть, которую от нее уже нельзя было дольше скрывать, что Эдуард вверился изменчивому счастью войны. Ей пришли на ум все те печальные мысли, для которых теперь, к сожалению, имелись основания. Хорошо еще, что сознание человека вмещает лишь известную меру горя; то, что выходит за ее пределы, либо убивает его, либо оставляет равнодушным. Существуют положения, при которых страх и надежда сливаются воедино, друг друга взаимно уничтожают и растворяются в некоей смутной бесчувственности. Иначе как могли бы мы, зная, что дорогие нам существа где-то вдали подвергаются ежечасным опасностям, продолжать все ту же нашу привычную будничную жизнь?

Вот почему можно было подумать, будто добрый гений позаботился об Оттилии, когда эту тишину, в которую она, одинокая и ничем не занятая, уже было погрузилась, нарушило нашествие целой орды, доставив ей много хлопот, но вырвав ее из сосредоточенности и пробудив в ней сознание собственной силы.

Дочь Шарлотты Люциана, едва окончив пансион, вступила в большой свет, и не успела она в доме своей тетки окружить себя многочисленным обществом, как ее стремление к успеху и в самом деле принесло ей успех; один весьма богатый молодой человек почувствовал сильное желание назвать ее своею. Его крупное состояние давало ему право владеть всем, что

было лучшего вокруг, и теперь ему не доставало только красавицы жены, которая, вместе с другими сужденными ему благами, вызывала бы зависть всего света.

Это семейное дело причиняло сейчас Шарлотте множество забот, составляло предмет всех ее размышлений и переписки, кроме той, которая имела целью получить более точные известия об Эдуарде; из-за этого и Оттилия последнее время чаще, чем обычно, оставалась одна. Она, правда, знала о предстоящем приезде Люцианы, поэтому уже распорядилась в доме всем самым необходимым, но столь скоро она все-таки не ждала гостей. Предполагали еще списаться, условиться, точнее определить срок, как вдруг на замок и на Оттилию нагрянула эта буря.

Вот прибыли горничные и лакеи, фуры с сундуками и ящиками; уже казалось, что число господ в доме удвоилось или утроилось; но тут только появились сами гости — бабушка с Люцианой и несколькими ее приятельницами, жених со своей свитой. В передней громоздились сундуки, чемоданы и прочие дорожные принадлежности. Слуги с трудом разбирались во множестве коробок и футляров. Багаж таскали без конца. Тем временем пошел сильнейший дождь, что причинило еще больше беспокойства. Всю эту неистовую сумятицу Оттилия встретила спокойная и деятельная, ее бодрость и распорядительность проявились тут во всем блеске: она в короткий срок всех разместила и всех устроила. Каждому было отведено помещение, каждому предоставлены удобства, какие кому требовались, и всем казалось, будто их отлично обслуживают, так как никому не возбранялось самому себя обслуживать.

После крайне утомительного путешествия все были бы рады отдохнуть; жениху хотелось поближе познакомиться с будущей тещей и уверить ее в своей любви к Люциане, в своих добрых намерениях; но Люциане не терпелось. Вот наконец-то она могла осуществить свою мечту — сесть на коня. У жениха лошади были превосходные, — и всем тотчас же пришлось заняться верховой ездой. Ветер и дождь, непогода и буря — ничто не принималось в расчет: казалось, жизнь только на то и дана, чтобы мокнуть и снова сушиться. Приходило ли ей в голову отправиться пешком куда-нибудь, — она не задумывалась, так ли она одета, так ли обута; ей непременно надо было осматривать парк, о котором она так много слышала. Где не удавалось проехать, пробирались пешком. Скоро она все оглядела, обо всем успела высказать свое

суждение. При ее порывистости ей нелегко было возражать. Всем пришлось немало вытерпеть, но более всего горничным, которые не успевали стирать и гладить, распарывать и пришивать.

Едва она покончила с осмотром дома и окрестностей, как сочла своим долгом сделать визиты соседям. Так как и верхом и в экипажах ездили весьма быстро, то соседство оказалось достаточно обширным. На замок нахлынули ответные визиты, и чтобы гости не приезжали в отсутствие хозяев, вскоре пришлось назначить приемные дни.

В то время как Шарлотта со своей теткой и поверенным жениха занята была подготовкой условий предстоящего брака, а Оттилия с приданным ей штатом заботилась, чтобы, невзирая на такое множество народу, всего имелось вдоволь, ради чего подняли на ноги охотников и садовников, рыбаков и торговцев, Люциана носилась, словно ядро кометы, за которой тянется длинный хвост. Обычные способы развлекать гостей ей вскоре наскучили. Разве что только самых старших она еще оставляла в покое за карточным столом; кто сколько-нибудь способен был двигаться — а кого бы не вывела из неподвижности ее очаровательная настойчивость? — тот должен был участвовать если не в танцах, то в фантах, в штрафах и других забавных играх. И хотя все устраивалось так, что она неизменно оставалась в центре внимания, все же никто, особенно из числа мужчин, — что бы они собою ни представляли, — не оставался вовсе обойденным; ей даже удалось завоевать благоволение нескольких важных старичков, так как она выведала, что как раз на это время приходятся их именины или дни рождения, и торжественно их отпраздновала. Притом она обладала редким обаянием: все чувствовали себя польщенными ее вниманием, а каждый в отдельности считал, что именно он заслужил наибольшую благосклонность, — такому самообману поддался даже старейший из собравшегося общества.

Хотя она как будто и действовала с умыслом, завоевывая благосклонность мужчин, чем-либо замечательных, занимавших высокое положение, пользовавшихся почетом, известностью или значительных в каком-нибудь ином отношении, посягая на мудрость и рассудительность и даже благоразумие, заставляя служить своим неудержимым прихотям, но и молодежь не оставалась внакладе: для каждого наступал черед, приходил день и час, в который она успевала очаровать и приковать его к себе. Вскоре она обратила внимание и на

архитектора, который, однако, глядел так простодушно из-под густой шапки курчавых черных волос, так непринужденно и спокойно оставался в стороне, отвечая на все вопросы коротко и дельно, но, видимо, не проявляя склонности к большему сближению, что наконец она, движимая досадой и коварством, решила сделать его героем дня и тем завлечь в свою свиту.

Она недаром привезла с собой столько багажа: в ее расчеты входила бесконечная смена нарядов. Если ей доставляло удовольствие переодеваться по три-четыре раза в день, с утра до вечера сменяя одно платье другим, что столь принято в обществе, то время от времени она появлялась и в настоящих маскарадных костюмах, одетая то крестьянкой, то рыбачкой, то феей или цветочницей. Она даже не гнушалась наряжаться старухой, зная, что юное личико тем свежее будет выглядывать из-под капюшона, и действительность в самом деле так переплеталась с воображением, что, казалось, уж не морочит ли тебя русалка реки Заале.

Но больше всего она любила переодеваться для танцевальных пантомим, в которых исполняла различные характерные роли. Один из кавалеров ее свиты приноровился сопровождать ее движения несложной музыкой на фортепиано; стоило им перемолвиться двумя словами — и сразу же между ними устанавливалась полная гармония.

Однажды в перерыве шумного бала как бы невзначай, хотя на самом деле все было ею же заранее подготовлено, ее попросили исполнить одну из таких пантомим. Она показала смущенной, озадаченной, против обыкновения ее пришлось долго упрашивать. Долго она не могла решиться, предоставляла выбор другим, просила, как импровизатор, дать ей сюжет, пока наконец аккомпаниатор, с которым, очевидно, все было условлено заранее, не сел за рояль и не начал играть траурный марш, приглашая ее выступить в роли Артемизии, которую она так превосходно разучила. Она дала уговорить себя и, ненадолго отлучившись, вновь появилась размеренной поступью под нежно-печальные звуки похоронного марша в образе царственной вдовы, держа в руках погребальную урну. Вслед за ней несли большую черную доску и отточенный кусок мела, вставленный в золотой рейсфедер.

Один из ее поклонников и адъютантов, которому она что-то шепнула на ухо, тотчас подошел к молодому архитектору, с тем чтобы упросить или даже заставить как зодчего нарисовать гробницу Мавзола и таким образом принять уча-

стие в представлении уже не в качестве статиста, а настоящего актера. Как ни смущен был, казалось, архитектор,— ибо его узкая черная фигура современного штатского человека составляла причудливый контраст со всеми этими флерами, крепами, бахромой, стеклярусами, кистями и коронами,— но он тотчас же собрался с духом, несмотря на странный характер всего этого зрелища. Невозмутимый и серьезный, он подошел к черной доске, которую держали два пажа, и очень вдумчиво и точно изобразил гробницу, правда, более подходящую для лангобардского, нежели для карийского властителя, но столь прекрасную по пропорциям, столь строгую в частностях и с орнаментовкой столь остроумной, что все с удовольствием следили за ее возникновением и любовались ею, когда она была закончена.

За все это время архитектор, всецело поглощенный своей работой, почти ни разу не оглянулся на царицу. Когда он наконец поклонился ей, дав понять, что ее повеление исполнено, она указала ему на урну и выразила желание видеть ее изображенной на вершине мавзолея. Он исполнил и это, правда, неохотно, так как урна не соответствовала характеру всего замысла. Что же до Люцианы, то она с нетерпением ждала окончания, ибо ей вовсе не важно было получить от него достоверный рисунок. Если бы он лишь набросал нечто напоминающее надгробный памятник, а все остальное время занимался ею, это гораздо более отвечало бы ее целям и желаниям. Его поведение, напротив, приводило ее в крайнее замешательство: как она ни старалась разнообразить свою игру, то изображая скорбь, то отдавая распоряжения и указания, то восхищаясь мавзолеем, постепенно возникавшим на ее глазах, сколько она ни пыталась хоть как-нибудь вступить в соприкосновение с молодым человеком, принимаясь то и дело теревить его, он по-прежнему не поддавался, так что ей оставалось только, ища спасения в урне, прижимать ее к сердцу и подымать глаза к небу, и под конец она в этом затруднительном положении гораздо более походила на эфесскую вдову, нежели на карийскую царицу. Представление затянулось: пианист, обычно терпеливый, не знал уже, в какую тональность ему перейти. Он возблагодарил бога, увидев наконец урну на вершине пирамиды, и в ту минуту, когда царица собиралась выразить свою благодарность зодчему, невольно перешел на веселый мотив, вследствие чего пантомима утратила свой характер, но зато все общество развеселилось и тут же сразу разбилось на две группы: одни благодарили

Люциану, восторгались ее превосходной игрой, другие — архитектора, восхищаясь его искусным и изящным рисунком.

Особенно оживленно беседовал с архитектором жених.

— Я жалею,— сказал он,— что рисунок так недолговечен. Позвольте мне хотя бы взять его к себе в комнату и там побеседовать с вами о нем.

— Если это вам доставит удовольствие,— сказал архитектор,— то я могу вам показать тщательно исполненные рисунки таких же зданий и надгробий, а это лишь беглый и случайный эскиз.

Оттилия стояла неподалеку и подошла к ним.

— Не забудьте,— сказала она архитектору,— показать как-нибудь барону вашу коллекцию; он любитель искусства древностей; мне хотелось бы, чтобы вы ближе познакомились друг с другом.

Люциана тоже приблизилась к ним и спросила:

— О чем идет речь?

— О художественной коллекции,— отвечал барон,— которая принадлежит господину архитектору и которую он как-нибудь покажет нам.

— Пусть он сейчас же принесет ее! — воскликнула Люциана.— Не правда ли, вы принесете ее сейчас же,— вкрадчиво прибавила она, дружески взяв его за обе руки.

— Сейчас это, пожалуй, не совсем кстати,— заметил архитектор.

— Как? — повелительным тоном воскликнула Люциана.— Вы не хотите слушаться приказаний вашей царицы? — В просьбе ее теперь зазвучали дразнящие нотки.

— Не будьте упрямы! — вполголоса сказала ему Оттилия.

Архитектор удалился с поклоном, не выражавшим ни согласия, ни отказа.

Не успел он уйти, как Люциана уже гонялась по зале за левреткой.

— Ах! — воскликнула она, вдруг натолкнувшись на мать,— какое, право, несчастье! Я не взяла сюда своей обезьяны; мне не советовали ее брать, и я лишила себя этого удовольствия только ради удобства моих людей. Но я хочу ее выписать сюда. Кто-нибудь за ней может съездить. Я была бы счастлива видеть хотя бы ее портрет. Я непременно покажу его и уж ни за что с ним не расстанусь.

— Пожалуй, я могу тебя утешить,— сказала Шарлотта,— я велю принести для тебя из библиотеки целый том с изображением самых диковинных обезьян,

Люциана громко вскрикнула от радости, и фолиант был принесен. Вид этих человекоподобных и еще более очеловеченных художником отвратительных существ доставил Люциане величайшую радость. Но особенно приятно ей было отыскивать в каждом из этих зверей какое-нибудь сходство со своими знакомыми.

— Разве эта не похожа на дядю? — безжалостно восклицала она. — Эта — на галантерейного торговца М., эта — на пастора С., а эта — вылитый, как бишь его... В сущности, обезьяны — это настоящие Incroyables<sup>1</sup>, и просто непостижимо, почему их не принимают в самом лучшем обществе.

Говорила она это в самом лучшем обществе, но никто не обиделся на нее. Здесь все, очарованные ее прелестью, привыкли так много ей прощать, что под конец уже прощали и явное неприличие.

Оттилия тем временем разговаривала с женихом. Она ждала, что архитектор вернется со своей строгой, благородной коллекцией и избавит общество от обезьянщины. В надежде на это она продолжала беседовать с бароном и успела на многое обратить его внимание. Но архитектора все не было, а когда он наконец возвратился, то сразу же смешался с толпой гостей: он ничего не принес с собой и держался так, словно ни о чем и не было речи. Оттилия на какой-то миг была — как бы это выразить? — огорчена, расстроена, озадачена; ведь она обратилась к нему с ласковой просьбой, а жениху хотела доставить удовольствие в его духе, ибо она заметила, что, при всей своей любви к Люциане, он все же страдает от ее поведения.

Обезьяны должны были уступить место ужину. Начавшиеся после него игры, даже танцы, а потом — унылое сидение на месте, прерывавшееся попытками возродить угасшее веселье, длилось и на этот раз, как обычно, далеко за полночь, ибо Люциана уже привыкла к тому, что утром не могла встать из постели, а вечером — добраться до нее.

За это время в дневнике Оттилии реже встречаются упоминания о событиях, чаще зато — правила и изречения, касающиеся жизни и из жизни же почерпнутые. Но так как по большей части они не могли возникнуть из ее собственных размышлений, то, вероятно, кто-нибудь дал ей тетрадку, из которой она и выписала то, что было ей по душе. А кое-что, принадлежащее ей самой, можно узнать по красной нити.

---

<sup>1</sup> Щеголь времен Директории (*франц.*).

Мы потому так любим заглядывать в будущее, что надеемся нашими тайными желаниями обратить в свою пользу ту случайность, которая в нем заключена.

В большом обществе трудно удержаться от мысли: пусть бы случай, соединивший столько народу, привел сюда и наших друзей.

Как бы замкнуто ни жить, не успеешь оглянуться — и окажешься или чьим-нибудь должником, или заимодавцем.

Когда встречаешь человека, который обязан нам благодарностью, тотчас вспоминаешь об этом. А сколько раз мы можем встретить человека, которому сами обязаны тем же, и не подумаем об этом.

Высказываться — природная потребность; воспринимать же высказанное так, как оно нам преподносится, — это черта образованности.

В обществе никто не стал бы много говорить, если бы сознавал, как часто он неверно понимает слова других.

Чужие речи, должно быть, потому только так часто передаются неверно, что их неправильно понимают.

Кто долго говорит на людях и при этом не льстит слушателям, вызывает раздражение.

Всякое высказанное слово вызывает противоположную мысль.

Противоречие и лесть — плохая основа для беседы.

Самое приятное общество — то, среди членов которого царит не стесняющее их взаимное уважение.

Ни в чем так ясно не обнаруживается характер человека, как в том, что он находит смешным.

Смешное проистекает из нравственных контрастов, которые безобидным образом объединяются в чувственном восприятии.

Человек чувственный часто смеется там, где нечему смеяться. Что бы его ни возбуждало, его самодовольство всегда дает о себе знать.

Умник почти все находит смешным, умный — почти ничего.

Одного пожилого человека упрекали в том, что он все еще волочится за молодыми женщинами. «Это, — ответил он, — единственное средство омолодиться, а быть молодым всякому хочется».



Мы позволяем указывать нам на наши недостатки, мы подвергаемся наказаниям за них, мы многое терпеливо переносим ради них, но терпение изменяет нам, когда мы должны от них отказаться.

Иные недостатки необходимы для существования отдельной личности. Нам было бы неприятно, если бы наши старые друзья отказались от некоторых своих особенностей.

Когда кто-нибудь начинает поступать вопреки своим обычаям и привычкам, говорят: «Этот человек скоро умрет».

Какие недостатки нам следует сохранять, даже развивать в себе? Такие, которые скорее льстят другим, нежели оскорбляют их.

Страсти — это недостатки или достоинства, только доведенные до высшей степени.

Страсти наши — настоящие фениксы. Едва сгорит старый, как из пепла тотчас возникает новый.

Сильные страсти — это неизлечимые болезни. То, что могло бы их излечить, как раз и делает их опасными.

Страсть и усиливается и умеряется признанием. Ни в чем, быть может, середина не является столь желательной, как в признаниях и умолчаниях при беседах с близкими нам людьми.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Люциана по-прежнему вздымала вокруг себя вихрь светской жизни. Свита ее увеличивалась с каждым днем, отчасти потому, что многих соблазняли и привлекали ее затеи, отчасти же и потому, что многих она расположила в свою пользу услужливостью и готовностью помочь. Щедрой она была в высшей степени; благодаря привязанности бабушки и жениха в руки к ней сразу стеклось столько прекрасного и драгоценного, что она как будто ничего не считала своей собственностью и не знала цены вещам, накопившимся вокруг нее.

Так, например, она, ни минуты не колеблясь, сняла с себя дорогую шаль и накинула ее на женщину, которая оказалась ей одетой беднее других, и делала она это так резко и мило, что никто не мог отказаться от подарка. Кто-нибудь из ее свиты всегда имел при себе кошелек и должен был по ее поручению, куда бы они ни приезжали, справляться о самых старых и самых больных, с тем чтобы хоть на время облегчить их положение. Это создало ей по всей окрестности

превосходнейшую репутацию, которая, впрочем, потом причиняла ей неудобства, привлекая к ней слишком уж много докучливых бедняков.

Но ничто так не способствовало ее доброй славе, как исключительное внимание и постоянство, проявленные ею по отношению к одному несчастному молодому человеку, который, хотя и был красив лицом и хорошо сложен, упорно избегал общества только потому, что потерял правую руку, притом самым достойным образом — в сражении. Увечье это вызывало в нем такую раздражительность, его так сердила необходимость при всяком новом знакомстве отвечать на вопросы о своем ранении, что он предпочитал прятаться, предаваться чтению и другим подобным занятиям и раз навсегда решил не иметь дела с людьми.

Существование этого молсдого человека не укрылось от Люцианы. Ему пришлось появиться у нее — сперва в тесном кругу, потом в обществе более обширном, наконец — в самом многолюдном. С ним она была приветливее, чем с кем бы то ни было, но главное — настойчивой услужливостью ей удалось возбудить в нем гордость своей потерей, которую она всячески старалась сделать для него нечувствительной. За столом она всегда усаживала его рядом с собой, она нарезала ему кушанья, так что ему только оставалось пользоваться вилок. Если же место рядом с ней занимали люди, старшие годами или более знатные, то она и на другом конце стола окружала его своим вниманием и торопила лакеев оказывать ему те услуги, которых грозило лишить расстояние, разделяющее их обоих. Наконец она даже уговорила его писать левой рукой; свои опыты он должен был адресовать ей, и таким образом, вдали или вблизи, она всегда поддерживала с ним связь. Молодой человек сам не мог понять, что с ним творится, и с этой минуты для него, действительно, началась новая жизнь.

Казалось бы, такое поведение могло и не понравиться жениху, однако ж — ничуть не бывало. Эти старания он вменял ей в великую заслугу и не тревожился по этому поводу, тем более что ему было известно своеобразие ее характера, ограждавшее Люциану от упреков в предосудительных поступках. Она могла с каждым резвиться, сколько ей вздумается, каждый был в опасности, что она его заденет, начнет терзать или дразнить, но никто не позволил бы себе подобное обращение с ней самой, никто не решился бы прикоснуться к ней, ответить хотя бы малейшей вольностью на те вольно-

сти, какие она позволяла себе, и, таким образом, она держала других в границах самой строгой благопристойности, которые сама как будто переступала каждую минуту.

Вообще можно было подумать, что Люциана приняла за правило в равной мере возбуждать похвалы и порицания, привязанности и антипатии. Если она различным образом старалась расположить людей в свою пользу, то обычно тут же портила все дело своим беспощадным злоязычием. Куда бы она ни ездил по соседству, как бы радушно ее и ее свиту ни принимали в замках и поместьях, дело всегда кончалось тем, что на обратном пути она, в своей несдержанности, старалась показать, что во всех человеческих отношениях видит только смешную сторону. Тут были три брата, которых врасплох застигла старость, пока они любезно уступали друг другу, кому первому жениться; там — молоденькая маленькая женщина с высоким старым мужем или, наоборот, резвый маленький муж и жена — беспомощная великанша. В одном доме на каждом шагу она спотыкалась о ребенка; другой, напротив, казался ей пустым, хотя он был полон народу, — потому только, что там не было детей. Старых супругов скорее надо было похоронить, чтобы в доме опять мог раздаваться смех, тем более что законных наследников у них не было. Молодоженам следовало отправиться в путешествие, так как домашняя жизнь им не к лицу. С вещами она расправлялась так же, как с людьми, со зданиями — так же, как с домашней и столовой утварью. В особенности все украшавшее стены вызывало у нее насмешливые замечания. От стариннейшего гобелена до новейших бумажных обоев, от почтеннейшего фамильного портрета до легкомысленнейшей современной гравюры — все находилось под огнем ее насмешливых замечаний, так что приходилось только удивляться, как могло что-нибудь уцелеть на расстоянии пяти миль в окружности.

В этом стремлении все отрицать настоящей злобы, пожалуй, не было: в его основе лежало скорее самовлюбленное легкомыслие; но в ее отношении к Оттилии проявлялась действительно какая-то злость. На спокойный непрерывный труд милой девушки, который привлекал всеобщее внимание и похвалы, она смотрела с презрением, а когда речь зашла о том, сколько забот Оттилия посвятила садам и теплицам, Люциана не только стала выражать удивление, что не видно ни цветов, ни плодов, словно позабыв о том, что сейчас глубокая зима,

но с этих пор стала требовать столько зелени, веток и листьев для убранства комнат и стен, что Оттилия и садовник испытывали немалое огорчение, видя, как рушатся их надежды на будущий год, а может быть, даже на более длительное время.

Точно так же она не давала Оттилии спокойно заниматься хозяйством, которое последняя вела так умело. Оттилия должна была участвовать в увеселительных поездках и в катании на санях, должна была ездить на балы, затевавшиеся по соседству; должна была не бояться ни снега, ни мороза, ни жестоких ночных бурь — ведь не умирают же от них другие. Хрупкая девушка немало от этого страдала, но и Люциане не было от того никакого проку; хотя Оттилия одевалась всегда очень просто, но она была — или, по крайней мере, казалась мужчинам — самой красивой. Нежная привлекательная сила собирала вокруг нее всех мужчин — независимо от того, была ли она в какой-нибудь зале на первом или на последнем месте, и даже жених Люцианы часто разговаривал с ней, тем более что он нуждался в ее совете и содействии в одном занимавшем его деле.

Он ближе познакомился с архитектором, подолгу беседовал с ним на исторические темы в связи с его художественной коллекцией и после осмотра придела церкви оценил его талант. Барон был молод, богат; он тоже коллекционировал, собирался строить; любовь к искусству была в нем сильна, познания же — слабы; он решил, что в архитекторе нашел нужного ему человека — того, с чьей помощью он не раз сумеет достигнуть своей цели. Невесте он сказал о своем намерении, она одобрила его и была чрезвычайно довольна этим планом, скорее, однако, потому, что ей хотелось отвлечь молодого человека от Оттилии, — ибо ей казалось, будто она заметила в нем признаки склонности к ней, — чем из желания воспользоваться его талантом для исполнения своих замыслов. И хотя он не раз принимал деятельное участие в ее импровизированных празднествах и выказывал в том немалую изобретательность, она была уверена, что сама лучше разбирается во всем, а так как ее выдумки обычно были весьма тривиальны, то для их осуществления ловкий и умелый камердинер подходил в такой же степени, как и самый выдающийся художник. Дальше алтаря, на котором совершалось жертвоприношение, или венка, возлагавшегося на гипсовую или на живую голову, ее фантазия не поднималась, если она хотела польстить кому-нибудь, торжественно отмечая день рождения или иное памятное событие.

Когда жених стал расспрашивать Оттилию об архитекторе и его положении в доме, она могла сообщить о нем сведения самые положительные. Ей было известно, что Шарлотта и раньше уже хлопотала о месте для него, так как молодой человек, если бы не приехали гости, должен был удалиться сразу же по окончании работ в приделе, поскольку все постройки предложено было приостановить на зиму; поэтому было весьма желательно, чтобы новый меценат дал искусному художнику занятия и поощрил его талант.

Отношения Оттилии к архитектору были чисты и просты. Присутствие этого благожелательного и деятельного человека и развлекало и радовало ее, словно близость старшего брата. Ее чувства к нему оставались в спокойной и бесстрастной сфере родственности, ибо в сердце ее уже не хватало места ни для кого: оно до краев было наполнено любовью к Эдуарду, и только всепроникающее божество могло наравне с ним владеть этим сердцем.

Чем больше давала о себе знать зима, чем яростнее бушевали бури, чем непроходимее делались дороги, тем привлекательнее казалась возможность проводить становившиеся все более короткими дни в таком превосходном обществе. После кратких отливов поток гостей вновь заливал дом. Потянулись офицеры из отдаленных гарнизонов, образованные — к большой для себя пользе, неотесанные — к неудобству для собравшегося общества; не было недостатка и в штатских, а в один прекрасный день совершенно неожиданно приехали граф и баронесса.

С их появлением образовался уже настоящий двор. Мужчины знатные и солидные окружали графа, дамы воздавали должное баронессе. То, что они приехали вместе и были в таком веселом расположении духа, недолго вызывало удивление, ибо стало известно, что супруга графа скончалась и новый брак будет заключен, как только позволят приличия. Оттилия помнила первый их приезд, каждое слово, сказанное по поводу брака и развода, соединения и разобщения, надежд, ожиданий, лишений и отречения. Эти два человека, которые тогда ни на что не могли рассчитывать, были теперь так близки к желанному счастью, что невольный вздох вырвался из ее груди.

Люциана, услышав, что граф — любитель музыки, решила немедленно устроить концерт; она сама собиралась петь, аккомпанируя себе на гитаре. Намерение осуществилось. На гитаре она играла неплохо, голос у нее был приятный; что же

касается слов, то понять их было так же трудно, как всегда, когда немецкая красавица поет под аккомпанемент гитары. Все, однако, уверяли, что она пела с большим выражением, и наградили ее громкими рукоплесканиями. При этом ее постигла лишь одна забавная неудача. Среди гостей находился поэт, которому она хотела особенно польстить в надежде, что он посвятит ей какие-нибудь стихи; поэту в тот вечер она пела романсы главным образом на его слова. Он, как и все, был с нею учтив, но она ожидала большего. Она несколько раз намекала ему на это, но ничего не могла от него добиться и, наконец, в нетерпении подослала к нему одного из своих придворных, приказав выведать, не испытывает ли он восхищения от того, что слышал свои чудные стихи в таком чудном исполнении.

— Мои стихи? — с удивлением переспросил поэт и прибавил: — Простите, сударь, я не слышал ничего, кроме гласных, да и то не все. Тем не менее почитаю долгом выразить благодарность за столь любезное намерение.

Придворный промолчал. Поэт же попытался отделаться какими-то комплиментами. Тогда она недвусмысленно дала ему понять, что желала бы иметь от него стихи, сочиненные собственно для нее. Если бы это не было слишком нелюбезно, он готов был вручить ей азбуку, чтобы она сама сложила из нее любую хвалебную песнь на какую угодно мелодию. Дело, однако, не обошлось без обиды для нее. Вскоре она узнала, что к одной из любимых мелодий Оттилии он в тот самый вечер сочинил премилое стихотворение, звучавшее более чем любезно.

Люциана, как и все подобные ей люди, не различавшая, что ей идет и что не идет, захотела попытать счастья в декламации. Память у нее была хорошая, но читала она, по правде сказать, бездушно и хотя порывисто, но без подлинной страстности. Она декламировала баллады, рассказы и все, что обычно печатается в сборниках для декламаторов. К тому же она усвоила злополучную привычку сопровождать чтение жестами, следствием чего является столь неприятное смешение эпического и лирического элементов с драматическим.

Граф, как человек понимающий, быстро ознакомившись с этим обществом, его склонностями, пристрастиями и развлечениями, навел Люциану, к счастью или несчастью, на мысль об одном виде представлений, который весьма подходил к ее облику.

— Я вижу здесь, — сказал он, — столько прекрасных фигур, которым, наверно, нетрудно будет воспроизвести живописные позы и движения. Вы не пробовали передавать в лицах какие-нибудь известные, действительно существующие картины? Такое воспроизведение требует, правда, кропотливой подготовки, но зато оно бесконечно очаровательно.

Люциана быстро сообразила, что тут она будет всецело в своей стихии. Ее прекрасный рост, великолепная фигура, правильные и выразительные черты лица, светло-каштановые косы, стройная шея — все словно просилось на картину, а если бы она еще знала, что в неподвижности она красивее, чем в движении, когда в ее жестах нет-нет да мелькало что-то неграциозное, то она отдалась бы с еще большим рвением живой пластике.

Все принялись за поиски гравюр, воспроизводящих знаменитые картины. Выбор в первую очередь пал на «Велизария» Ван-Дейка. Высокий и прекрасно сложенный мужчина, уже немолодой, должен был изображать слепого полководца, архитектор — участливо остановившегося перед ним воина, па которого он в самом деле немного походил. Люциана с нарочитой скромностью взяла на себя роль молоденькой женщины, которая на заднем плане щедро отсчитывает милостыню из кошелька на ладонь, меж тем как старуха, по видимому, отговаривает ее от такого расточительства. В картине участвовала и еще одна женщина, уже протягивающая милостыню Велизарию.

Этой и другими картинами все общество занялось весьма основательно. Насчет того, как их ставить, граф дал кое-какие указания архитектору, который тотчас же озаботился устройством сцены и освещения. Многие уже было подготовлено, когда вдруг обнаружилось, что такая затея требует больших затрат и что в деревне, да еще среди зимы, невозможно достать многие необходимые вещи. Не терпя никаких задержек, Люциана чуть ли не весь свой гардероб дала изрезать на костюмы, достаточно прихотливо задуманные художником.

И вот вечер наступил; живые картины были исполнены перед многочисленными зрителями и заслужили всеобщее одобрение. Выразительная музыкальная прелюдия придала большую напряженность ожиданию. Спектакль открылся «Велизарием». Фигуры оказались так удачны, краски были подобраны так хорошо, освещение столь искусно, что, казалось, переносишься в другой мир, и только присутствие жи-

вой действительности вместо видимости возбуждало какое-то боязливое чувство.

Занавес опустился, но, по настоянию зрителей, поднимался вновь и вновь. Музыкальная интермедия заняла гостей, которых теперь собирались удивить зрелищем еще более возвышенным. То была известная картина Пуссена «Агасфер и Эсфирь». Тут Люциана уже больше позаботилась о себе. Играя царицу, упавшую без чувств на руки прислужниц, она показала себя во всем своем очаровании, разумно окружив себя, правда, миловидными и стройными девушками, из которых все же ни одна не могла соперничать с нею. Оттилия была отстранена от участия в этой картине, как и во всех прочих. Для роли царя, восседавшего, подобно Зевсу, на золотом престоле, Люциана выбрала самого осанистого и красивого мужчину из всей компании, так что и эта картина была представлена с неподражаемым совершенством.

Для третьей картины остановились на так называемом «Отеческом наставлении» Тербурга, — а кто не знает этой вещи по великолепной гравюре нашего Вилле? Вот, положив ногу на ногу, сидит благородный рыцарственный отец и, по видимому, старается усювестить дочь, стоящую перед ним. Ее великолепная фигура в белом атласном платье с пышными складками видна только сзади, но по всему заметно, что она сдерживает волнение. Увещание отца явно не носит грубого или обидного характера, о чем можно судить по его лицу и позе; что же до матери, то она как будто даже пытается скрыть легкое смущение, глядя в стакан с вином, которое собирается пригубить.

Здесь Люциане представился случай явиться в полном блеске. Ее косы, форма головы, шея и затылок были бесконечно прекрасны, стройная, тонкая талия, которая так мало заметна у женщин в современных платьях на античный лад, чрезвычайно удачно вырисовывалась благодаря старинному костюму; к тому же архитектор позаботился придать пышным складкам белого атласа самую искусную естественность, так что эта живая копия, без всякого сомнения, превзошла оригинал и вызвала всеобщий восторг. Повторения требовали без конца, при этом зрителями овладело вполне естественное желание взглянуть в лицо очаровательному существу, которым все уже досыта налюбовались со спины, так что какой-то нетерпеливый шутник, к вящему удовольствию всех гостей, громко выкрикнул слова, частенько пишущиеся



в конце страницы: «Tournez, s'il vous plaît!»<sup>1</sup> Исполнители, однако, слишком хорошо знали преимущества своего положения и слишком глубоко прониклись смыслом этого зрелища, чтобы уступить общему желанию. Пристыженная дочь спокойно продолжала стоять, не удостоив обернуться лицом к зрителям, отец по-прежнему сидел в наставительной позе, а мать не отводила глаз и носа от прозрачного стакана, в котором, хотя она как будто и пила из него, вино все не убавлялось. Стоит ли еще распространяться о последовавших затем мелких картинах, для которых выбраны были разные сцены нидерландских мастеров, изображавших харчевни и ярмарки?

Граф и баронесса уехали, обещав вернуться в первые же счастливые недели своего брачного союза, который ожидался в ближайшем будущем, и Шарлотта, выдержав два столь утомительных месяца, надеялась сбыть наконец и остальных гостей. Она не сомневалась, что дочь ее будет счастлива, когда пройдет опьянение молодости и невеста станет женой; жених же почитал себя счастливейшим человеком в мире. Несмотря на свое богатство и спокойный склад ума, он, казалось, необычайно гордился тем, что его будущая жена пленяет собою весь свет. Он настолько усвоил себе привычку все ставить в связь с нею и лишь через нее относить к себе, что ему бывало даже неприятно, если новый гость не посвящал ей сразу же всего своего внимания и, не помышляя о ее достоинствах, старался сойтись ближе с ним, как это часто делали люди постарше, умевшие ценить его добрые качества. Что до архитектора, то дело скоро было решено. Он должен был приехать к новому году и провести с ними новогодний карнавал в городе, где Люциана уже предвкушала величайшее удовольствие от повторения столь удачно поставленных живых картин, да и от тысячи других вещей, тем более что и бабушка и жених не считались с расходами, когда дело касалось ее развлечений.

Пришло время расставаться, но нельзя же было расстаться на обычный лад. Гости как-то раз довольно громко шутили, что зимние запасы Шарлотты скоро будут съедены, и тут кавалер, изображавший Велизария, человек достаточно богатый, давний почитатель Люцианы, необдуманно воскликнул, увлеченный ее прелестями: «Так давайте последуем польскому обычаю! Едемте ко мне — объедать меня, а по-

---

<sup>1</sup> Повернитесь, пожалуйста! (франц.)

том пойдем вкруговую». Сказано — сделано: Люциана согласилась. На другой день все было уложено, и стая перелетела в другое имение. Места там тоже было достаточно, но все было менее удобно, менее благоустроено. То и дело возникали различные неловкости, но они-то и веселили Люциану. Жизнь становилась все беспорядочней и суматошной. Псовые охоты по глубокому снегу сменялись другими, столь же неудобными и сложными затеями. Не только мужчины, но и женщины не смели устраняться от участия в них, и вся компания то верхом, то на саних, охотясь и шумя, кочевала из одного поместья в другое, пока, наконец, не оказалась поблизости от столицы, где вести и рассказы о том, как развлекаются при дворе и в городе, дали фантазии другое направление и втянули Люциану со всей ее свитой в иной жизненный круг.

### *ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ*

В свете каждого принимают за то, за что он себя выдает, но он непременно должен выдавать себя за что-нибудь. Человека неуживчивого терпят охотнее, чем ничтожного.

Обществу можно навязать все, что угодно, кроме того, что влечет за собою какие-либо последствия.

Мы узнаем людей не тогда, когда они к нам приходят; мы сами должны отправиться к ним, чтобы узнать, каковы они на самом деле.

Я нахожу почти естественным, что в наших гостях мы всегда осуждаем что-нибудь, и не успеют они уехать, как мы уже судим о них, и притом не слишком ласково, ибо мы, так сказать, имеем право мерить их своею меркой. Даже люди рассудительные и снисходительные редко удерживаются в подобных случаях от резкой критики.

Когда, напротив, побываешь у других и увидишь их в их собственном кругу, с их привычками, в неизбежных и естественных для них условиях, увидишь, как они воздействуют на окружающее или подчиняются ему, то лишь по неразумию или по злой воле можно признать смешными такие черты, которые во многих отношениях должны бы казаться достойными уважения.

Так называемое умение себя вести и добрые нравы — средство для достижения того, что иначе достижимо лишь путем насилия, да и то не всегда.

Общение с женщинами — стихия добрых нравов.

Как может характер человека, своеобразие его личности находиться в согласии с жизненным укладом? — Своеобразие личности и должно бы проявляться именно благодаря жизненному укладу. Значительного желает каждый, но из этого не должно проистекать неудобств.

Величайшими преимуществами как в жизни вообще, так и в свете пользуется просвещенный воин.

Грубый солдат занимается, по крайней мере, своим делом, а поскольку за силой обычно скрывается добродушие, то в случае необходимости и с ним можно ужиться.

Нет ничего несноснее, чем неотесанный штатский. От него можно бы требовать тонкости, так как он не имеет дела ни с чем грубым.

Когда живешь с людьми, обладающими тонким чувством приличия, то пугаешься за них всякий раз, когда происходит что-нибудь неуместное. Так я всегда страдаю за Шарлотту и вместе с Шарлоттой, когда кто-нибудь качается на стуле, чего она смертельно не любит.

Никто не входил бы с очками на носу в тесный дружеский кружок, если бы знал, что у нас, женщин, тотчас пропадает охота смотреть на него и разговаривать с ним.

Фамильярность там, где подобает почтительность, всегда смешна. Никто бы не стал, едва отвесив поклон, откладывать шляпу в сторону, если бы знал, как это смешно.

Нет ни одного внешнего знака учтивости, который не имел бы глубокого нравственного основания. Правильным воспитанием следовало бы признать то, которое учит этим знакам и вместе с тем объясняет их.

Поведение — зеркало, в котором каждый отражает себя.

Есть учтивость сердца; она сродни любви. Из нее проистекает наилучшая учтивость внешнего поведения.

Добровольная зависимость — лучшее из состояний, а как бы она была возможна без любви?

Мы никогда не бываем дальше от цели наших желаний, чем в ту минуту, когда воображаем, будто желанное достигнуто.

Верх рабства — не обладая свободой, считать себя свободным.

Стоит только объявить себя свободным, как тотчас же почувствуешь себя зависимым. Если же решишься объявить себя зависимым, почувствуешь себя свободным.

От чужих преимуществ нет иного спасения, кроме любви,

Ужасно видеть человека выдающегося, над которым потешаются глупцы.

Для лакея, говорят, не бывает героя. Но это потому, что лишь герой может признать героя. Лакей тоже, вероятно, умеет по достоинству ценить собрата.

Для посредственности нет лучшего утешения, чем то, что гений не бессмертен.

Величайшие люди всегда связаны со своим веком какою-нибудь слабостью.

Людей обычно считают более опасными, чем они есть на самом деле.

Глупцы и люди умные равно безвредны. Всего опаснее полуглупцы и полумудрецы.

Чтобы уклониться от света, нет более надежного средства, чем искусство, и нет более надежной связи с ним, чем искусство.

Даже в минуты величайшего счастья и величайшего горя мы нуждаемся в художнике.

Предмет искусства — трудное и доброе.

Видя, как трудное исполняется с легкостью, мы получаем наглядное представление о невозможном.

Трудности возрастают, чем ближе мы к цели,

Сеять не так трудно, как собирать жатву.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Шарлотта, которой гости причиняли огромное беспокойство, была вознаграждена тем, что вполне узнала за это время свою дочь, в чем ей немало помогло и ее знание света. Ей не впервые доводилось встречать столь своеобразный характер, хотя до сих пор она не видела ничего, доведенного до столь крайней степени. В то же время ей было известно по опыту, что под влиянием жизненных обстоятельств, различных событий, родительского примера такие люди в зрелом возрасте могут сделаться очень приятными и любезными, эгоизм их с годами ослабевает, а беспокойная жажда деятельности получает более определенное направление. С некоторыми чертами, на чужой взгляд, пожалуй, и неприятными, Шарлотта как мать мирилась тем охотнее, что родителям свойственно надеяться там, где посторонние желали бы уже воспользоваться плодами или, по крайней мере, не терпеть неприятностей.

Ей пришлось, однако, перенести странную и неожиданную неприятность уже после отъезда дочери, которая оставила по себе плохую славу, да еще вызванную не тем, что было предосудительного в ее поведении, а как раз тем, что в нем можно было признать похвальным.

Люциана словно поставила себе за правило быть не только веселой с веселыми, но и печальной с печальными, порою же, давая волю духу противоречия, старалась опечалить веселого и развеселить печального. Куда бы она ни приезжала, она расспрашивала о тех членах семьи, которые по болезни или слабости не могли выйти к гостям. Она навещала их, разыгрывала роль врача и навязывала им какое-нибудь сильно действующее средство из дорожной аптечки, которую всегда возила с собой в карете, а удача или неудача подобного лечения, как нетрудно себе представить, зависели от случая.

В этом роде благотворительности она была совершенно беспощадна и ничего не хотела слушать, ибо твердо была убеждена, что поступает превосходно. Но она потерпела неудачу при одной такой попытке лечить душевный недуг, и это обстоятельство доставило Шарлотте много забот, ибо оно не осталось без последствий и все заговорили о нем. Узнала об этом она только по отъезде Люцианы. Оттилия, как раз случившаяся тут, должна была дать ей подробный отчет.

Девушка из семьи, пользовавшейся почетом и уважением, имела несчастье стать виновницей смерти одного из младших своих братьев и не могла с тех пор ни утешиться, ни прийти в себя. Она не выходила из своей комнаты, занималась в тиши каким-нибудь делом и выносила даже присутствие родных, только когда они бывали у нее поодиночке, ибо если к ней приходило несколько человек одновременно, она начала подозревать их в том, что они переговариваются насчет ее состояния. С каждым же в отдельности она рассуждала вполне разумно и могла беседовать целыми часами.

Люциана прослышала о девушке и тотчас же решила про себя по приезде в этот дом совершить своего рода чудо и возвратить ее обществу. На этот раз она действовала осмотрительнее, чем обычно, сумела одна проникнуть к больной и музыкой завоевать ее доверие. Но под конец она совершила промах: желая непременно произвести эффект, она однажды вечером внезапно привела милую бледную девушку, которую считала уже достаточно к тому подготовленной, в шумное блестящее общество; может быть, эта попытка и удалась бы ей, если бы гости из любопытства и страха не повели себя

бестактно; сперва все обступили больную, потом отхлынули от нее, начали перешептываться, собираться в кучки, чем сбили ее с толку и разволновали. Чувствительная девушка не выдержала этого испытания и убежала с диким криком, словно спасаясь от страшного чудовища. Испуганные гости бросились в разные стороны, Оттилия же помогла отнести лишившуюся чувств девушку в ее комнату.

Людиана тем временем резко отчитала собравшихся, нимало не думая о том, что она сама была всему виною и, не смущаясь ни этой, ни другими неудачами, продолжала действовать и вести себя все так же.

Состояние больной с тех пор ухудшилось, болезнь усилилась настолько, что родители уже не могли держать бедную девушку дома и принуждены были поместить ее в больницу. Шарлотте ничего другого не оставалось, как постараться особенной чуткостью и внимательностью по отношению к этой семье хоть сколько-нибудь смягчить боль, причиненную ее дочерью. На Оттилию этот случай произвел глубокое впечатление; она тем более жалела бедную девушку, что убеждена была в возможности исцелить больную систематическим лечением, чего не скрыла и от Шарлотты.

Так как о неприятном вспоминают обычно больше, чем о приятном, то зашла речь и о маленьком недоразумении, смутившем Оттилию в тот вечер, когда архитектор не пожелал показать своей коллекции, хотя она дружески просила его об этом. Его отказ все еще был памятен ей — почему, она сама не понимала. Чувства ее, впрочем, были вполне естественны, ибо на просьбу девушки, подобной Оттилии, молодой человек, подобный архитектору, не должен был отвечать отказом. Однако, когда она при случае мягко упрекнула его, он привел достаточно веские оправдания.

— Если бы вы знали, — сказал он, — как грубо обращаются с драгоценнейшими произведениями искусства даже просвещенные люди, вы бы простили мне, что я не люблю показывать их публике. Никто не берет медаль за края: все ощупывают рукой тончайшую чеканку или чистейший фон, сжимают самые дивные экземпляры большим и указательным пальцами, словно так можно оценить художественную форму. Не подумав о том, что большой лист нужно брать обеими руками, они одной рукой хватают бесценную гравюру, незаменимый рисунок, как какой-нибудь политикан хватается газету и, смяв ее, заранее дает свое суждение о мировых событиях. Никто не думает о том, что если двадцать человек будут

так обращаться с произведением искусства, то двадцать первому уже мало что останется на долю.

— Не приходилось ли когда-нибудь и мне, — спросила Оттилия, — доставлять вам такое огорчение? Но испортила ли я, сама того не ведая, какое-нибудь из ваших сокровищ?

— Никогда! — воскликнул архитектор. — Никогда! Как бы это могло случиться? Ведь у вас во всем прирожденный такт!

— Неплохо было бы, — заметила Оттилия, — на всякий случай в книжке о благопристойных манерах вставить вслед за главами о том, как следует есть и пить в обществе, достаточно подробную главу о том, как нужно вести себя в музеях и при осмотре художественных собраний.

— О да, — отвечал архитектор, — и, конечно, зрители музеев и любители тогда охотнее показывали бы свои коллекции.

Оттилия давно уже простила его; но так как упрек ее он, видимо, воспринял слишком болезненно и все снова принимался уверять ее, что готов всем поделиться с друзьями, то она почувствовала, что ранила его нежную душу, и считала себя теперь его должницей. Поэтому на просьбу, с которой он обратился к ней в дальнейшем разговоре, она не могла ответить решительным отказом, хотя, тотчас же проверив свои чувства, она и не представляла себе, как исполнить его желание.

Дело заключалось в следующем. Его сильно задело то, что Люциана из зависти отстранила Оттилию от живых картин: он не мог также не заметить с сожалением, что Шарлотта, чувствуя недопомогание, лишь урывками присутствовала при этой блистательнейшей части программы развлечений; и вот ему не хотелось уезжать, прежде чем он не выразит свою благодарность, устроив в честь одной из них и для развлечения другой представление еще более прекрасное, чем предыдущее. Возможно, сюда присоединилось и другое тайное побуждение, им самим не осознанное: ему было так тяжело покинуть этот дом, эту семью, ему казалось невыносимым не видеть более глаз Оттилии, взглядом которых, спокойно и ласково обращенных на него, он только и жил последнее время.

Приближалось рождество, и ему неожиданно стало ясно, что живые картины с их человеческими фигурами происходят, в сущности, от так называемых граесере, от тех благочестивых зрелищ, которые в эти торжественные дни посвя-

щались божьей матери и младенцу, принимавшим в своем кажущемся ничтожестве поклонение сперва пастухов, а потом — волхвов.

Он с полной отчетливостью представил себе возможность такой картины. Найден был хорошенький здоровый мальчик; в пастухах и пастушках тоже не было недостатка; но без Оттилии ничего нельзя было сделать. В своем воображении молодой человек вознес ее до богоматери и знал, что если она откажется, то замысел его рухнет. Оттилия, немало озадаченная таким предложением, отослала его за разрешением к Шарлотте. Шарлотта охотно дала позволение и ласковыми доводами сумела победить робость Оттилии, не решавшейся взяться за священную роль. Архитектор трудился теперь день и ночь, чтобы все было готово к рождеству.

Трудился он день и ночь в буквальном смысле слова. Потребности его и так были скромны, а присутствие Оттилии составляло всю его отраду; когда он работал ради нее, был чем-нибудь занят для нее, казалось, он не нуждается ни в сне, ни в пище. К торжественному часу все было готово. Ему удалось составить и небольшой духовой оркестр, благозвучно исполнивший увертюру и настроивший зрителей на должный лад. Когда подняли занавес, Шарлотта была поражена. Картина, представившаяся ей, так часто воспроизводилась, что едва ли можно было ожидать новизны впечатлений. Но на этот раз действительность, занявшая место картины, имела особые преимущества. Освещение было скорее ночное, чем сумеречное, и все же во всей обстановке не было ни одной неотчетливой детали. Непревзойденную мысль, что весь свет должен исходить от младенца, архитектор сумел осуществить благодаря остроумному осветительному механизму, который был скрыт от зрителей затененными фигурами, стоявшими на первом плане, где по ним скользили только слабые лучи. Кругом стояли веселые девочки и мальчики, свежие лица которых были ярко освещены снизу. Были здесь и ангелы, но их сияние меркло перед сиянием божества, а эфирные тела их казались и плотными и тусклыми по сравнению с богочеловеком.

К счастью, ребенок заснул в самой очаровательной позе, и, таким образом, ничто не нарушало созерцания, когда взгляд зрителя останавливался на матери, а она бесконечно грациозным жестом приподымала покрывало, под которым таилось ее сокровище. Это мгновение как раз и было схвачено и закреплено в картине. Казалось, что обступивший ясли



народ физически ослеплен и потрясен душевно; все они как будто только что сделали движение, чтобы отвратить пораженные светом взоры, и с радостным любопытством вновь устремляли их на младенца, выказывая скорее удивление и восторг, нежели благоговейное почитание, хотя на некоторых старческих лицах были запечатлены и эти чувства.

Облик Оттилии, ее жест, выражение лица, взгляд превзошли все, что когда-либо изображал художник. Чуткий ценитель, увидев эту картину, испугался бы, что какое-нибудь движение может разрушить ее и что уже никогда в жизни ему не доведется увидеть ничего столь прекрасного. К сожалению, здесь не было никого, кто мог бы вполне насладиться этим впечатлением. Только архитектор, в роли высокого стройного пастуха, сбоку глядевший на коленопреклоненных, более всех любовался этой сценой, хотя и наблюдал ее с неудачного места. А кто опишет выражение лица новоявленной царицы небесной? Самое чистое смирение, очаровательнейшая скромность при сознании великой незаслуженной чести, непостижимо безмерного счастья — вот о чем говорили ее черты, в которых сказывались как ее собственные чувства, так и представления, сложившиеся у нее о роли, которую ей привелось исполнять.

Шарлотту радовала прекрасная картина, но самое сильное впечатление на нее произвел ребенок. Слезы текли у нее из глаз, столь живо она представила себе, что в скором времени будет держать на коленях такое же милое существо.

Занавес опустили — отчасти, чтобы дать отдохнуть исполнителям, отчасти же, чтобы произвести на сцене некоторые перемены. Художник поставил себе задачей превратить картину ночи и нищеты, показанную вначале, в картину дня и славы и, чтобы осветить сцену со всех сторон, приготовил огромное множество ламп и свечей, которые предполагалось зажечь в антракте.

Оттилию в ее полутеатральной позе до сих пор успокаивало то, что, кроме Шарлотты и немногих домохозяев, никто не видит этого благочестивого маскарада. Поэтому она была немало смущена, когда узнала во время антракта, что приехал какой-то гость, которого приветливо встретила Шарлотта. Кто он — ей не могли сказать. Она не стала допытываться, чтобы не задержать представления. Зажгли свечи, лампы, и бесконечное море света окружило ее. Поднявшийся занавес открыл зрителям поразительную картину: вся она

была сплошной свет и вместо исчезнувших теней оставались одни только краски, умелый подбор которых приятно смягчал яркость освещения. Бросив взгляд из-под длинных опущенных ресниц, Оттилия заметила какого-то мужчину, сидевшего подле Шарлотты. Лица она не рассмотрела, но ей показалось, что она слышит голос помощника начальницы пансиона. Странное чувство охватило ее. Сколько событий произошло с тех пор, как она перестала слышать голос этого достойного учителя! Молнией мелькнула в ее душе вереница радостей и горестей, пережитых ею, и заставила ее спросить себя: «Посмеешь ли ты во всем признаться ему и обо всем ему рассказать? И как ты недостойна явиться перед ним в этом святом обличье и как ему должно быть странно встретить тебя в маске, тебя, которую он всегда видел только простой и естественной!» С быстротой, которая ни с чем не сравнится, в ней заспорили чувство и рассудок. Сердце ее стеснилось, глаза наполнились слезами, в то же время она заставляла себя сохранять неподвижность, словно на картине; и как она обрадовалась, когда мальчик зашевелился и архитектор был принужден подать знак, чтобы занавес снова опустили.

Если ко всем переживаниям Оттилии в последние мгновения присоединилось еще и мучительное чувство невозможности поспешить навстречу чтимому ею другу, то теперь она была еще более смущена. Выйти ли ей к нему в этом чужом наряде и уборе? Переодеться ли ей? Подумав, она решила переодеться и постаралась за это время собраться с духом, успокоиться и вполне восстановить свое внутреннее равновесие к той минуте, когда наконец в привычном своем платье выйдет поздороваться с гостем.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Покидая своих покровительниц с самыми лучшими чувствами, архитектор был доволен хотя бы уже тем, что оставляет их в обществе почтенного учителя; однако, вспоминая, как они были добры к нему, он мучился при мысли, вполне естественной для такого скромного человека, что его так скоро, так хорошо, так совершенно заменит другой. До сих пор он все откладывал свой отъезд; но теперь его потянуло прочь отсюда, ибо он не хотел быть свидетелем того, с чем должен был примириться, удалившись из дома.

Большим утешением среди этих полупечальных чувств был для него подарок, на прощанье сделанный ему дамами, — жилет, который они в течение долгого времени вязали у него на глазах, возбуждая в нем безмолвную зависть к неведомому счастливцу, которому он предназначался. Такой дар — самый приятный для любящего и преданного человека, ибо, напоминая ему о неумолимом движении прелестных пальцев, он наводит его на лестную мысль, что при столь неустанном труде и сердце не оставалось безучастным.

Дамам предстояло теперь оказывать гостеприимство новому гостю, к которому они благоволили и который должен был хорошо чувствовать себя у них. У женщин есть свои неизменные внутренние интересы, и ничто на свете не в силах заставить их изменить им; зато в жизни светской они охотно и легко поддаются решающему влиянию мужчины, которым заняты в настоящую минуту; так, проявляя то неприступность, то восприимчивость, то твердость, то уступчивость, они, собственно, держат в своих руках власть, от которой в обществе цивилизованном не посмеет уклониться ни один мужчина.

Если архитектор, как бы по собственной воле и охоте, выказывал перед двумя подругами свои дарования ради их удовольствий, ради их самих, если все занятия и развлечения были задуманы в таком же духе и клонились к той же цели, то с приездом учителя в скором времени установился иной склад жизни. Главным его талантом было умение вести беседу о человеческих отношениях, ставя их в связь с воспитанием молодежи. Таким образом, возник весьма заметный контраст с прежним образом жизни, тем более чувствительный, что учитель не вполне одобрял то, чем здесь до сих пор исключительно занимались.

О живой картине, которая встретила его, он не упоминал. Но когда ему, не скрывая удовлетворения, показывали церковь, придел и все, к ним относящееся, он не мог не высказать своего мнения, своих взглядов.

— Что касается меня, — сказал он, — то мне это сближение, это смешение священного с чувственным отнюдь не по сердцу; мне не нравится, когда отводят, освящают и украшают особые помещения для того, чтобы именно там возбуждать и поддерживать в нас набожные чувства. Никакая обстановка, даже самая будничная, не должна нарушать в нас чувства божественного, которое может нам сопутствовать всюду и превратить в храм любое место. Я люблю, когда до-

машнее богослужение совершается в зале, где в обычное время обедают, встречают гостей, где забавляются играми и танцами. Высшее, совершеннейшее в человеке не имеет формы, и надо остерегаться, как бы не дать ему проявиться иначе, чем в форме благородного поступка.

Шарлотта, в общем уже знавшая образ его мыслей, за короткий срок познакомившись с ним еще ближе, сразу же предоставила ему соответствующее поле деятельности. Создав своих мальчиков-садовников, которым архитектор сделал смотр перед отъездом, она приказала им построиться в большой зале; одетые в чистые нарядные мундирчики, они своими уставными движениями и непринужденной живостью производили очень хорошее впечатление. Учитель подверг их испытанию в соответствии со своими правилами и очень скоро, путем разных вопросов, выяснил характер и способности каждого: менее чем за час он незаметным образом сумел многому научить детей и быть им полезным.

— Как это вам удастся? — спросила Шарлотта, когда мальчики ушли. — Я слушала очень внимательно; речь шла только о самых обыкновенных вещах, но я не знаю, как бы я сумела за такой короткий срок, при таком множестве вопросов и ответов, так последовательно всего этого коснуться.

— Быть может, — отвечал учитель, — следовало бы хранить секреты своего ремесла. Но я не хочу скрывать от вас весьма простую истину, благодаря которой можно достигнуть многого. Изберите тот или иной предмет, вопрос, понятие — называйте это, как хотите; все время имейте его в виду; уясните его себе во всех его частностях, и тогда вам будет легко из разговора с толпой детей узнать, какие сведения о нем у них уже имеются и что еще нужно развить в них, сообщить им. Пусть ответы на ваши вопросы будут несообразны, пусть они будут уводить в сторону, но если только вы новым вопросом вернете умы и души детей к исходной точке, если вы не дадите сбить себя с избранного пути, то в конце концов они будут знать, думать и понимать лишь то и лишь так, как этого хочет учитель. Самая большая его ошибка была бы — дать ученикам увлечь его в сторону, не суметь удержать их внимание на том предмете, который он сейчас разбирает. Попробуйте как-нибудь сами сделать такой опыт, и он покажется вам весьма занимательным.

— Вот это мило, — сказала Шарлотта. — Значит, хорошая педагогика — прямая противоположность хорошему тону.

В светском разговоре ни на чем не следует задерживаться, а в преподавании важнейший закон — бороться против рассеянности.

— Разнообразие без рассеянности — лучший девиз и для школы и для жизни, если бы только не было так трудно поддерживать это похвальное равновесие,— сказал учитель и собирався продолжать, но Шарлотта прервала его, чтобы еще раз посмотреть на мальчиков, которые как раз в эту минуту веселым шествием двигались через двор. Он выразил свое удовлетворение по поводу того, что мальчиков заставляют ходить в форме.

— Мужчины,— сказал он,— должны были бы с юности носить форму, ибо они должны привыкать действовать сообща, ощущать себя равными среди равных, повиноваться и работать во имя целого. К тому же всякая форма способствует развитию военного духа, равно как и выправке, подтянутости, а мальчики и так прирожденные солдаты: стоит лишь посмотреть, как они дерутся и играют в войну, как идут в атаку или на приступ.

— Зато вы не осудите меня,— промолвила Оттилия,— что я моих девочек одеваю не одинаково. Надеюсь, что когда я покажу вам их, пестрота красок будет вам приятна.

— Я это очень одобряю,— ответил он.— Женщины непременно должны одеваться разнообразно, каждая на свой вкус и лад, чтобы каждая училась распознавать, что ей особенно к лицу, что ей больше всего подходит. Но еще более важное основание для этого в том, что им предназначено проводить жизнь и действовать в одиночку.

— Это весьма парадоксальное утверждение,— возразила Шарлотта,— ведь мы никогда не бываем одни.

— О нет,— ответил учитель,— это именно так, если иметь в виду отношения женщины к другим женщинам. Взглянем на женщину в роли возлюбленной, невесты, жены, хозяйки и матери; она всегда стоит отдельно, она всегда одна и хочет быть одна. Так обстоит дело даже с самыми тщеславными. Каждая женщина по своей природе исключает другую, ибо от каждой из них требуют того, что составляет долг всего ее пола. У мужчин положение иное. Мужчине требуется мужчина; он создал бы второго мужчину, если бы того не было в природе; а женщина могла бы прожить века, даже и не подумав о том, чтобы создать себе подобную.

— Стоит только,— промолвила Шарлотта,— выразить истину в причудливой форме, и причудливое в конце концов

будет казаться истиной. Мы извлечем все лучшее из ваших замечаний, но все же, как женщины, будем держаться общества женщин и действовать с ними заодно, чтобы не дать мужчинам слишком больших преимуществ над нами. Не осуждайте же нас впредь за то, что мы еще живее будем злорадствовать, видя, что и мужчины не слишком-то ладят меж собою.

Опытный учитель весьма тщательно вник во все, что Оттилия делала со своими маленькими питомцами, и выразил ей свое безусловное одобрение.

— Вы, — сказал он, — совершенно правильно делаете, что готовите своих подчиненных лишь для простых, насущных дел. Опрятность пробуждает в детях радостное чувство собственного достоинства, и если их научили бодро и сознательно делать то, что они делают, — значит, главное достигнуто.

С большим удовлетворением он заметил, что здесь нет ничего, рассчитанного на показ, на внешний блеск, а, напротив, все имеет внутренний смысл и отвечает насущным потребностям.

— Как мало слов, — воскликнул он, — нужно было бы для того, чтобы выразить всю сущность воспитания, если бы только люди имели уши, чтобы слышать.

— Хотите попробовать со мной? — приветливо спросила Оттилия.

— С удовольствием, — ответил он, — но только вы меня не выдавайте. Из мальчиков должно воспитывать слуг, а из девочек — матерей, тогда везде все будет хорошо.

— Готовиться в матери, — возразила Оттилия, — на это еще женщины, пожалуй, согласятся, так как, даже не будучи матерями, они то и дело поневоле становятся няньками; но для того, чтобы стать слугами, наши молодые люди, конечно, слишком высокого мнения о себе, — ведь каждый из них считает себя призванным повелевать.

— Потому-то мы и скроем это от них, — сказал учитель. — Мы льстим себе, вступая в жизнь, но жизнь не льстит нам. Многие ли по доброй воле согласятся на то, к чему в конце концов будут принуждены? Оставим, однако, эти рассуждения, пока что к делу не относящиеся. Вам повезло в том, что вы сумели найти верные приемы обращения с вашими воспитанницами. Когда самые маленькие из ваших девочек возьмется с куклами и шивают для них какие-нибудь лоскутки, когда старшие сестры заботятся о младших и семья сама помогает себе и себя обслуживает — тогда следующий шаг в жизнь

уже не труден, и такая девушка найдет у мужа все то, что она оставила у родителей.

Однако в образованных сословиях задача куда сложнее. Нам приходится считаться с более высокими, нежными, утонченными отношениями, в особенности же — с общественными условиями. Потому-то в наших воспитанниках мы должны развивать и внешние качества; это необходимо и могло бы быть прекрасно, если бы всегда соблюдались известные границы, ибо, задаваясь целью воспитать детей для более широкого круга, их легко вовлечь в безграничное и упустить из виду то, чего властно требует их природа. В этом и заключается задача, которую воспитатели либо разрешают, либо не умеют разрешить.

Многие из тех знаний, коими мы наделяем наших учениц в пансионе, внушают мне страх, ибо опыт подсказывает, как мало они им пригодятся в дальнейшем. Едва только женщина становится хозяйкой или матерью, как все это забрасывается и предается забвению.

И все же, раз уж я посвятил себя этому делу, я не могу отказаться от скромной надежды, что когда-нибудь мне вместе с преданной помощницей удастся развить в моих воспитанницах именно то, что понадобится им, когда они перейдут к собственной самостоятельной деятельности, и я смогу сказать себе: в этом смысле их воспитание завершено. Правда, вслед за тем обычно начинается новое воспитание, необходимость которого вызывается если не нами самими, то условиями нашей жизни.

Каким правильным показалось Оттилии это замечание! Как сильно изменила ее за этот год страсть, которой она раньше и не предчувствовала! Каких только испытаний не видела она перед собой, заглядывая лишь в близкое, в самое близкое будущее!

Молодой человек не без умысла упомянул о помощнице, о жене, ибо при всей своей скромности не мог удержаться и хоть отдаленным образом не намекнуть на свои намерения, да к тому же некоторые обстоятельства и события побудили его воспользоваться этим посещением для того, чтобы приблизиться к своей цели.

Начальница пансиона была уже в преклонных годах, среди своих подчиненных она давно приискивала компаньона и наконец сделала своему помощнику, которому имела все основания доверять, предложение управлять пансионом вместе с нею, смотреть на него как на свой собственный и после ее

смерти вступить в полное владение им в качестве ее единственного наследника. Главное дело теперь заключалось, по-видимому, в том, чтобы ему найти единомыслящую супругу. Взору его и сердцу втайне рисовалась Оттилия; правда, его одолевали и некоторые сомнения, но теперь обстоятельства благоприятствовали ему больше, чем когда-либо. Люциана вышла из пансиона; Оттилия могла свободно в него вернуться; доносились, правда, какие-то слухи о ее отношениях с Эдуардом, но к этой вести, как часто бывает в подобных случаях, все относилось безразлично, а кроме того, это могло только ускорить возвращение Оттилии. Но он так и не принял бы никакого решения, не сделал бы ни одного шага, если бы приезд неожиданных гостей не послужил к тому толчком, — ведь появление людей значительных никогда и ни в каком кругу не может остаться без последствий.

Графу и баронессе часто приходилось слышать обращенные к ним вопросы о достоинстве различных пансионеров, ибо почти каждый человек озабочен воспитанием своих детей, и они давно собирались ознакомиться именно с этим учебным заведением, о котором говорилось так много хорошего, а теперь, в новом, своем положении, они могли вместе осуществить это давнее намерение. Но баронесса имела в виду и кое-что другое. Во время своего последнего пребывания у Шарлотты она подробно переговорила с ней обо всем, касавшемся Эдуарда и Оттилии, и всячески настаивала на удалении Оттилии, стараясь ободрить Шарлотту, все еще напуганную угрозами Эдуарда. Они искали разных выходов, а когда коснулись пансиона, то речь зашла о привязанности помощника к Оттилии, и баронессу это еще более укрепило в решении посетить пансион.

Она приезжает, знакомится с помощником начальницы, они осматривают заведение и беседуют об Оттилии. Сам граф охотно говорит о ней, так как ближе узнал ее при последнем посещении. Оттилия с ним сблизилась, он даже привлекал ее, ибо в содержательных беседах с ним она надеялась узнать и увидеть то, что до сих пор оставалось ей вовсе неизвестным. И если в общении с Эдуардом она забывала свет, то в присутствии графа свет делался для нее по-настоящему заманчивым. Всякое притяжение взаимно. Граф чувствовал к Оттилии такую привязанность, что готов был смотреть на нее, как на дочь. Тем самым она теперь во второй раз, и в еще большей степени, чем в первый, становилась баронессе поперек дороги. Кто знает, какие средства та пустила бы в ход против нее во



времена более пылкой страсти; теперь же ей было достаточно, выдав Оттилию замуж, сделать ее безвредной для замужних женщин.

Баронесса незаметно, но ловко и умно навела помощника на мысль предпринять недолгую поездку в замок и постараться приблизить исполнение своих планов и желаний, которых он от нее не утаил.

С полного согласия начальницы он отправился в путь, питая в душе самые лучшие надежды. Он знал, что Оттилия к нему расположена, и если их разделяет разность сословий, то при современном образе мыслей она легко могла бы сгладиться. Да и баронесса ясно дала ему понять, что Оттилия — по-прежнему бедная девушка. Родство с богатым домом, по ее словам, никому не приносит пользы, ибо совесть не позволяет человеку лишить сколько-нибудь значительной суммы тех, пусть давно богатых, людей, которые в силу близкого родства имеют большее право на наследство. И, разумеется, достойно удивления, что люди так редко пользуются великим преимуществом распорядиться после смерти своим достоянием на благо любимых ими и, очевидно, из уважения к традициям отдают предпочтение тем, кому имущество завещателя перешло бы и в том случае, если бы он не выразил своей воли.

В дороге он уже ощущал Оттилию равной себе. Радужный прием усилил его надежды. Правда, он нашел, что Оттилия менее откровенна, чем раньше; но ведь она стала и более взрослой, более образованной и, если угодно, более общительной, чем прежде. Его как друга познакомили со всем, что тесно соприкасалось с его деятельностью. Однако всякий раз, когда он хотел ближе подойти к своей цели, его удерживала какая-то внутренняя робость.

Но Шарлотта однажды сама подстрекнула его, сказав в присутствии Оттилии:

— Что ж, вы теперь осмотрели примерно все, что подрастает вокруг меня. А как вы находите Оттилию? Вы ведь можете сказать это и при ней.

Учитель с большой провицательностью и рассудительностью заметил в ответ, что нашел в Оттилии существенную перемену к лучшему в смысле большей непринужденности обращения, большей общительности, большей широты взгляда на житейские дела, сказывающейся не столько в речах, сколько в поступках; но все же, по его мнению, ей было бы весьма полезно вернуться на некоторое время в пансион, где бы она основательно и прочно, в определенной последователь-

ности, усвоила то, чему свет учит нас лишь урывками и скорее сбивая с толку, чем принося удовлетворение, а порою и попросту слишком поздно. Он не станет об этом распространяться; Оттилия сама лучше знает, от каких связанных между собою уроков и занятий она была тогда оторвана.

Оттилия не могла этого отрицать; но в том, что она почувствовала при его словах, она бы никому не призналась, так как и сама едва ли могла разобраться во всем этом. Ничто в мире уже не казалось ей бессвязным, когда она думала о любимом, и она не понимала, о какой связности можно думать, когда его нет с нею.

Шарлотта ответила на предложение умно и дружелюбно. Она сказала, что обе они давно желали возвращения Оттилии в пансион. Однако все это время она не могла обойтись без милой своей подруги и помощницы, хотя в дальнейшем она уже не будет препятствовать Оттилии, если та не изменит своего желания вернуться туда, чтобы закончить свое образование.

Учитель с радостью встретил эти слова; Оттилия же ничего не смела возразить, хотя при одной мысли об этом ей становилось страшно. Шарлотта рассчитывала выиграть время; Эдуард, думалось ей, вернется домой, вернется к прежней жизни как счастливый отец, и тогда,— в этом она была убеждена,— все само уладится, да и судьба Оттилии будет так или иначе устроена.

После значительного разговора, заставляющего призадуматься всех его участников, обычно наступает молчание, своего рода замешательство. Оттилия и Шарлотта начали ходить по зале, учитель стал перелистывать какие-то книги, и тут ему попался фолиант, оставшийся на столе еще со времен Люцианы. Увидев, что там одни только обезьяны, он тотчас же его захлопнул. Но, видимо, это подало повод к разговору, следы которого мы находим в дневнике Оттилии.

### *ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ*

Как может человек заставить себя столь тщательно рисовать противных обезьян? Мы унижаем себя даже тем, что смотрим на них, как на животных; но, поддаваясь соблазну искать под этими личинами сходство со знакомыми людьми, мы и вправду ожесточаемся.

Человеку нужна какая-то доля извращенности, чтобы заниматься карикатурами и пародиями. Нашему доброму

наставнику я обязана тем, что меня не мучили естественной историей: я никак не могла бы сдружиться с червяками и жуками.

Нынче он признался мне, что испытывает то же самое. «Из природы, — сказал он, — нам следовало бы знакомиться только с тем, что непосредственно окружает нас. С деревьями, которые вокруг нас зеленеют, цветут, приносят плоды, с каждым кустом, мимо которого мы проходим, с каждой былинкой, через которую переступаем, мы находимся в действительной связи, они наши истинные соотечественники. Птицы, порхающие возле нас с ветки на ветку, поющие в листве над нами, принадлежат нам, разговаривают с нами с самого детства, и мы научаемся понимать их язык. Разве чуждое нам и вырванное из своей среды существо не производит на нас жуткого впечатления, которое сглаживается только вследствие привычки? Какую пеструю и шумную жизнь нужно вести для того, чтобы терпеть при себе обезьян, попугаев и арапов».

Порою, когда мной овладевало любопытство и хотелось увидеть подобные диковины, я испытывала зависть к путешественнику, который смотрит на эти чудеса в их живой вседневной связи с другими чудесами; но ведь и сам он становится при этом другим человеком. Безнаказанно никто не блуждает под пальмами, и образ мыслей, наверно, тоже изменяется в стране, где слоны и тигры — у себя дома.

Достоин уважения лишь тот естествоиспытатель, который даже самое чуждое, самое необычайное умеет описать и изобразить в местной обстановке, со всем его окружением, всякий раз в его подлинной стихии. Как бы мне хотелось хоть раз послушать, как рассказывает Гумбольдт!

Кабинет естественной истории может показаться нам чем-то вроде египетской гробницы, где набальзамированы и выставлены всякие идолы — животные и растения. Касте жрецов, может быть, и подобает заниматься всем этим в таинственной полутьме, но в преподавании не должно быть места подобным вещам, тем более что они легко могут вытеснить что-нибудь более близкое нам и более достойное внимания.

Учитель, умеющий пробудить в нас чувство на примере одного какого-нибудь доброго дела, одного прекрасного стихотворения, делает больше, нежели тот, кто знакомит нас с целой вереницей второстепенных созданий природы, описывая их вид и указывая их названия, ибо в итоге мы узнаем лишь то, что и так должно быть нам известно, а именно, что

человек есть совершеннейшее и единственное подобие образа божьего.

Пусть каждому будет предоставлена свобода заниматься тем, что привлекает его, что доставляет ему радость, что мнится ему полезным; но истинным предметом изучения для человечества всегда остается человек.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не много есть людей, которые умеют сосредоточиться на недавнем прошлом. Либо нас властно притягивает к себе настоящее, либо мы теряемся в давно прошедшем и стараемся, насколько это вообще возможно, вызвать к жизни и восстановить то, что уже полностью утрачено. Даже в знатных и богатых семьях, которые многим обязаны своим предкам, про деда обычно помнят больше, нежели про отца.

Таким размышлениям предавался наш учитель, гуляя по старому замковому саду в один из тех прекрасных дней, когда уходящая зима словно прикидывается весною, и он восхищался высокими липовыми аллеями и правильными посадками, относившимися еще ко временам Эдуардова отца. Разрослись они превосходно — так, как и должно было быть по замыслу насадившего их, и вот теперь, когда пришла пора по-настоящему любоваться ими и воздать должное их красоте, никто уже не говорил о них; сюда почти не ходили и все увеселения, все заботы перенесли в другое место, более открытое и просторное.

Вернувшись в замок, он поделился этими мыслями с Шарлоттой, которая благосклонно выслушала его.

— Жизнь увлекает нас за собой, — заметила она, — а мы думаем, будто действуем самостоятельно, будто сами выбираем свои занятия, свои удовольствия; если же внимательнее присмотреться, то, конечно, мы лишь вынуждены вместе с другими выполнять планы нашего времени, подчиняться его склонностям.

— Разумеется, — сказал учитель, — и кто же устоит против течения в окружающей его среде? Время движется вперед, а с ним — взгляды, мнения, предубеждения и вкусы. Если молодость сына приходится на время такого перелома, то можно быть уверенным, что у него не будет ничего общего с отцом. Если отец жил в такой период, когда людям нравилось приобретать, закреплять собственность за собой, ставить

всему границы и тесные пределы и, удалившись от света, наслаждаться своим достоянием, то сын будет стремиться к широте, к возможности поделиться, распространить и раскрыть то, что было замкнуто.

— Целые эпохи, — заметила Шарлотта, — напоминают этого отца и этого сына, которых вы изобразили. Мы едва можем представить себе те времена, когда любой город должен был иметь свои стены и рвы, когда любую дворянскую усадьбу строили где-нибудь на болоте и даже в самый ничтожный замок попасть можно было только через подъемный мост. Теперь даже крупные города сносят свои валы, рвы засыпаются и вокруг замков владетельных князей, города нынче — только большие поселения, и когда, путешествуя, видишь все это, можно подумать, что утвердился всеобщий мир и мы накануне золотого века. Никому не покажется уютным сад, если он не походит на открытую местность; ничто не должно напоминать о чем-либо искусственном, насильственном, мы хотим дышать свободно, полной грудью. Допускаете ли вы, мой друг, что из этого состояния можно перейти в другое, вернуться к прежнему?

— Почему бы и нет? — возразил учитель. — Во всяком состоянии, и в стесненном и в вольном, есть свои трудности. Большое состояние предполагает изобилие и ведет к расточительности. Давайте остановимся на вашем примере, достаточно наглядном. Как только появляется нужда, возникает опять и самоограничение. Люди, которым приходится извлекать пользу из своей земли, снова обносят оградой сады, чтобы не лишиться их плодов. Так мало-помалу возникает и новый взгляд на вещи. Житейская польза вновь берет верх, и даже многоимущий в конце концов считает необходимым из всего извлекать пользу. Поверьте мне, легко может случиться, что ваш сын забросит новый парк и удалится за суровые стены под высокие липы своего деда.

Шарлотта в душе была рада услышать, что ей пророчат сына, и поэтому простила наставнику несколько нелюбезное предсказание той участи, которая может со временем постигнуть ее милый парк. И она вполне дружелюбно ответила:

— Мы оба еще не так стары и потому сами не переживали подобных противоречий; но если мысленно вернуться к ранней юности, вспомнить жалобы стариков, слышанные тогда, принять к тому же в соображение судьбу целых стран и городов, то против вашего замечания нечего будет возразить. Но разве ничего нельзя поделать с таким положением вещей,

разве нельзя привести к согласию отца с сыном, родителей с детьми? Вы так мило пророчите мне сына, — неужели же ему непременно суждено быть в разладе со своим отцом, суждено разрушить то, что строили его родители, а не завершить и совершенствовать, продолжая в том же духе?

— На это есть разумное средство, — ответил учитель, — но люди редко прибегают к нему. Пусть отец сделает сына со-владельцем, даст ему возможность строить и насаждать вместе с ним, пусть позволит ему, так же как и себе, некоторые безвредные прихоти. Одна деятельность может сплестись с другой, но нельзя сшить их, как два куска. Молодая ветвь легко и просто привьется к старому стволу, зрелый же сучок не срастается с ним.

Учитель был рад, что теперь, незадолго до отъезда, он случайно сказал Шарлотте нечто приятное и тем самым снова и еще больше расположил ее в свою пользу. Уже давно пора было ему возвращаться домой, но он не решался уехать, куда не убедился, что на окончательный ответ по поводу Оттилии он не может надеяться до разрешения Шарлотты от бремени. Покорившись обстоятельствам и возлагая надежды на будущее, он вернулся к начальнице.

Приближалось время родов Шарлотты. Она почти целые дни не выходила из своих комнат. Женщины, собиравшиеся вокруг нее, составляли ее тесный круг. Оттилия занималась хозяйством, почти не соображая, что делает. Она, правда, полностью покорила судьбе, хотела и дальше служить Шарлотте, ее ребенку, Эдуарду, но не представляла себе, как это будет возможно. От полного смятения ее спасало только то, что дни ее были заняты всевозможными хлопотами.

У Шарлотты благополучно родился сын, и все женщины уверяли, что он — вылитый отец. Только Оттилия не могла в душе согласиться с этим, когда поздравляла роженицу и желала счастья ребенку. Шарлотта еще и прежде, занимаясь приготовлениями к свадьбе дочери, болезненно чувствовала отсутствие мужа; теперь и при рождении сына не было отца; не он должен был решить, какое дать ему имя.

Первый из друзей, явившихся с поздравлениями, был Митлер, поручивший своим лазутчикам тотчас же известить его об этом событии. Он прибыл немедленно и притом в весьма благодушном расположении. Он едва мог скрыть в присутствии Оттилии свое торжество, Шарлотте же высказал его громко и оказался именно тем, кто призван был рассеять все заботы и устранить все временные затруднения. Крестины

решено было не откладывать. Старый пастор, одной ногой стоявший уже в могиле, должен был своим благословением соединить прошедшее с будущим; мальчика решили назвать Отто: он и не мог носить другого имени, кроме имени отца и друга.

Понадобилась вся решительность и настойчивость этого человека, чтобы устранить тысячи возражений, колебаний, задержек, советов премудрых и мудреных, нерешительность, противоречия, сомнения, а ведь в подобных обстоятельствах из всякого преодоленного затруднения обычно тотчас возникает новое, и когда хочешь со всеми сохранить добрые отношения, непременно случается кого-нибудь обидеть.

Все оповещения и родственные уведомления взял на себя Митлер; они должны были быть немедленно же написаны, ибо сам он придавал огромное значение тому, чтобы о счастье, которое он считал столь великим для этой семьи, стало известно всем, не исключая людей зложелательных и злоречивых. И действительно, недавняя любовная драма не ускользнула от внимания публики, которая и без того обычно убеждена, что все происходит лишь затем, чтобы ей было о чем посудачить.

Обряд крещения предполагалось обставить достойно, но скромно и не затягивать его. Решено было, что восприемниками будут Оттилия и Митлер. Старый пастор, поддерживаемый церковным служителем, приблизился медленным шагом. Молитва была прочтена, ребенка положили на руки Оттилии, она нежно взглянула на него и испугалась взгляда его открытых глаз, ибо ей почудилось, что она смотрит в собственные свои глаза, да и всякого поразило бы такое совпадение. Митлер, приняв ребенка, тоже был озадачен — во всем его облике ему бросилось в глаза сходство с капитаном, столь разительное, какого ему еще никогда не приходилось встречать.

Слабость доброго старого священника не позволила ему ознаменовать обряд крещения чем-либо, кроме обычной литургии. Зато Митлеру под впечатлением происходящего припомнилось, как он сам когда-то совершал богослужение, да и вообще ему свойственно было в любом случае жизни представлять себе, что бы и как бы он по поводу него сказал. На этот раз ему тем труднее было удержаться, что тесный кружок, среди которого он находился, состоял только из друзей. Поэтому к концу обряда он преспокойно занял место пастора и в жизнерадостной проповеди стал излагать свое мнение об обязанностях восприемника и свои надежды, тем более рас-

пространяясь о них, что на довольном лице Шарлотты он, казалось, читал одобрение.

Бодрому оратору было и невдомек, что старый пастор охотно бы присел, но еще менее он думал о том, что вот-вот накличет и горшую беду, ибо, тщательно обрисовав отношение каждого из присутствующих к младенцу и при этом подвергнув немалому испытанию выдержку Оттилии, он под конец обратился к старцу со следующими словами:

— А вы, господин пастор, теперь можете сказать вместе с Симеоном: ныне отпущаеши, владыко, раба твоего с миром, ибо очи мои узрели спасителя дома сего.

Он уже собирался блистательно заключить свою речь, как вдруг заметил, что старик, которому он протягивал ребенка, сперва как будто и наклонился над ним, но потом неожиданно откинулся назад. Его едва успели подхватить, усадили в кресло, поспешили на помощь, — но поздно, он был уже мертв.

Увидеть и осознать в таком непосредственном соседстве рождение и смерть, гроб и колыбель, охватить это страшное противоречие не только силой воображения, но и просто взглядом — для всех присутствующих было тяжелым испытанием, тем более что все случилось так неожиданно. Одна только Оттилия с какой-то завистью смотрела на усопшего, лицо которого все еще сохраняло ласковое, приветливое выражение. Жизнь ее души была убита — зачем же тело продолжало существовать?

Если нерадостные события дня не раз уже наводили ее на размышления о бренности, о разлуке, об утрате, то в утешение ей ночью даны были дивные сны, уверявшие ее в том, что ее любимый жив, укреплявшие и возрождавшие силу жизни в ней самой. Когда же она по вечерам лежала в постели, витая между явью и сном, в сладостном полузабытьи, ей чудилось, будто перед нею светлое, озаренное мягкими лучами пространство. Она совершенно ясно различала Эдуарда, но только одетого не так, как обычно, а в военных доспехах, всякий раз в иной позе, вполне, однако, естественной и нисколько не фантастической: он то стоял, то шел, то лежал, то сидел на коне. Этот образ, вырисовываясь в мельчайших подробностях, двигался перед ее глазами без малейшего усилия с ее стороны — ей не приходилось напрягать ни волю, ни фантазию. Порою она видела его окруженным какой-то массой, по большей части движущейся и более темной, чем освещенный фон; она едва различала силуэты, которые казались



ей то людьми, то лошадьми, то деревьями или горами. Обычно она засыпала среди этих видений, а когда просыпалась поутру после спокойно проведенной ночи, то чувствовала себя более бодрой, умиротворенной, ибо знала твердо, что Эдуард еще жив, что между ними все та же тесная неизменная связь.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наступила весна, более поздняя, но зато более дружная и радостная, чем обычно. В саду Оттилия увидела плоды своих забот: все вовремя дало ростки, зазеленело и зацвело; то, что было подготовлено в благоустроенных оранжереях и на грядках парников, тотчас поспешило навстречу природе, и все, чем еще оставалось заняться и распорядиться, уже не означало труд, полный надежд на будущее, но сразу же приносило радостное удовлетворение.

Ей приходилось, однако, утешать садовника, так как из-за сумасбродства Люцианы среди горшечных растений образовалось немало пробелов, а местами нарушилась симметрия древесных крон. Она старалась ободрить его и уверить, что все это скоро восстановится, но он слишком глубоко чувствовал, слишком ясно понимал свое дело, чтобы такие доводы могли утешить его. Подобно тому как садовника не должны отвлекать никакие посторонние увлечения и наклонности, так не должно нарушаться и спокойное развитие, в котором нуждается растение, чтобы достигнуть совершенства длительного или мимолетного. Растение — как упрямый человек, от которого всего можно добиться, если уметь обращаться с ним. Мирный взгляд, спокойная последовательность во всем, что надо делать в каждое время года, в каждый час, — вот что требуется от садовника, пожалуй, в большей мере, чем от кого бы то ни было.

Этими качествами добрый старик обладал в высокой степени, потому и Оттилии так приятно было трудиться вместе с ним; правда, талант свой он уже с некоторых пор не мог проявлять достаточно спокойно. Хотя он в совершенстве знал все, что касалось плодоводства и огородничества, хотя он умел удовлетворить всем требованиям садоводства в старинном вкусе, — ведь одному всегда больше удается одно, а другому другое, — хотя в уходе за оранжерейными растениями, в выгонке луковичных цветов, гвоздик и примул он мог бы поспорить с самой природой, все же новейшие декоративные де-

ревья и модные цветы оставались ему до некоторой степени незнакомыми, а беспредельное поле ботаники, открывшееся перед ним, и жужжавшие здесь чужеземные названия внушали ему даже какую-то робость и досаду. Растения, которые с прошлого года начали выписывать его господу, он считал бесполезной тратой средств и расточительностью; не раз он видел, как засыхали эти дорогие цветы, и не больно ладил с торговцами по садовой части, которые, как ему казалось, нечестно относились к нему.

Поэтому после целого ряда опытов он составил себе особый план, который Оттилия тем охотнее поддерживала, что он был, в сущности, рассчитан на возвращение Эдуарда, чье отсутствие как в этом, так и во многих других случаях, с каждым днем давало себя знать все болезненнее.

Чем глубже растения пускали корни, чем больше они давали побегов, тем сильнее и Оттилия чувствовала себя привязанной к этим местам. Ровно год назад она появилась здесь как существо постороннее, ничем не примечательное. Как много за это время она приобрела, но как много — увы! — она за это же время и утратила! Она никогда не была так богата и никогда не была так бедна. Ощущение богатства и бедности мгновенно сменялись в ней и переплетались так тесно, что единственным спасением для нее были хозяйственные заботы, которым она предавалась с живым участием, более того — со страстью.

Как легко себе представить, она больше всего заботилась о том, что особенно любил Эдуард, и почему бы ей было не надеяться, что вскоре вернется он сам и что заботливое внимание, проявленное ею к отсутствующему, вызовет его благодарность?

Но она старалась еще и по-иному быть ему полезной. Она взяла на себя почти целиком заботы о ребенке, и ей тем естественнее было заняться непосредственным уходом за ним, что решено было не брать для него кормилицы, а питать его молоком, разбавленным водою. Он должен был в то прекрасное время года пользоваться свежим воздухом, и она брала его на руки сама и носила спящего, еще ничего не сознающего, среди распустившихся и распускающихся цветов, которые так радостно должны были улыбаться его детству, среди молодых кустарников и растений, словно предназначенных расти вместе с ним. Осматриваясь вокруг, она невольно думала о том, в каком богатстве рожден этот ребенок, ибо почти все, что мог окинуть взор, со временем должно было принадле-

жать ему. Как хотелось, чтобы он и вырос на глазах у своего отца, своей матери и оправдал радостно возрожденный союз между ними.

Оттилия сознавала все это столь отчетливо, что будущее становилось для нее действительностью и о себе она совершенно забывала. Под этим ясным небом, под этими яркими солнечными лучами ей вдруг как-то сразу сделалось ясно, что ее любовь может стать совершенной, только став бескорыстной, и временами ей даже казалось, что она уже достигла такой высоты. Она желала только блага своему другу, она считала себя в силах отказаться от него, даже никогда не видеться с ним, лишь бы знать, что он счастлив. Но одно она твердо решила: никогда не принадлежать другому.

В замке позаботились о том, чтобы осень не уступила роскошью весне. Все так называемые летники, все, что продолжает цвести осенью и дерзко развивается наперекор холодам, было посеяно в изобилии, и астрам всевозможных сортов предстояло раскинуться звездным покровом на поверхности земли.

### *ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ*

Мы заносим в наши дневники удачную мысль, где-нибудь прочитанную, или нечто примечательное, рассказанное при нас. Но если бы мы в то же время не жалели труда и выбирали из писем наших друзей любопытные замечания, своеобразные суждения, брошенные мимоходом остроумные слова, мы бы очень обогащались. Письма сохраняют, чтобы никогда их больше не перечитывать: в конце концов их уничтожают из осторожности, и так безвозвратно исчезает самое прекрасное, самое непосредственное дыхание жизни для нас и для других. Я решила избежать этого упущения.

Опять повторяется сначала сказка каждого года. Теперь мы, слава богу, читаем самую приятную ее главу. Фиалки и ландыши — как бы эпитафии и виньетки к ней. Мы всегда радуемся, раскрывая ее в книге жизни.

Мы браним нищих, особенно же несовершеннолетних, когда они на улицах просят милостыни. Но разве мы не замечаем, что они сразу находят себе дело, как только есть чем заняться? Едва успеет природа раскрыть свои благодатные сокровища, а дети уже тут как тут и принимаются за какую-нибудь работу; никто из них уже не нищенствует, каждый протягивает тебе букет; он собрал его, пока ты еще

спал, и просящий смотрит на тебя так же приветливо, как и его приношение. Никто не кажется жалок, если хоть отчасти чувствует себя вправе требовать.

И почему это год бывает порою таким коротким, а порою таким долгим, почему он кажется таким коротким, а в воспоминаниях — такой долгий? Так было с минувшим годом, и нигде я так остро не чувствую, как в саду, насколько тесно переплетаются преходящее и долговечное. И все же не бывает ничего столь мимолетного, что не оставило бы чего-либо подобного себе.

Мы миримся и с зимою. Все кажется просторнее, когда деревья стоят перед нами призрачные и прозрачные. Они — ничто, но ничего и не заслоняют от нас. А стоит только появиться почкам и бутонам, как нам уже не терпится — скорее бы все покрылось листвою, пейзаж ожил бы, а дерево приняло отчетливый образ.

Все совершенное в своем роде должно стать выше своего рода, оно должно стать чем-то другим, несравнимым. В иных звуках соловей еще остается птицей, потом он подымается над своим классом и, кажется, хочет показать всем пернатым, что значит по-настоящему петь.

Жизнь без любви, вдали от любимого — не более как *comédie à tiroirs*<sup>1</sup>, плохая пьеса с выдвижными ящиками. Выдвигаешь один ящик за другим, задвигаешь и спешешь перейти к следующему. Все хорошее и значительное, что еще попадаетея здесь, едва связано одно с другим. Всякий раз надобно начинать сызнова, а всякий раз хотелось бы и кончить.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Что до Шарлотты, то она бодрa и здорова. Она радуется на крепкого мальчика, который одним своим видом многое обещает и ежечасно занимает ее взор и душу. Благодаря ему она по-новому вступает в связь с миром и со своими владениями; прежняя деятельность пробуждается в ней; куда она ни взглянет, она видит, как много сделано в минувшем году, и радуется созданному. Вдохновленная каким-то особым чувством, она с Оттилией и ребенком подымается к дерновой

---

<sup>1</sup> Буквально: комедия выдвижных ящиков (*франц.*), то есть пьеса, в которой сцены друг с другом не связаны,

хижине, кладет дитя на столик, словно на домашний алтарь, и, видя два пустых сиденья, вспоминает о прошлом, и новая надежда зарождается в ее сердце — для нее и для От依лии.

Молодые девушки порой скромно оглядываются на того или другого юношу, втайне спрашивая себя, хотели бы они выйти за него замуж, но тот, кто должен заботиться о судьбе дочери или питомицы, окидывает взглядом более широкий круг. Так было сейчас и с Шарлоттой, которой брак От依лии с капитаном не казался невозможным, — ведь сживали они когда-то рядом в этой хижине. Ей не осталось неизвестным и то, что виды на выгодную женитьбу для него исчезли.

Шарлотта поднималась по дорожке, От依лия несла ребенка за ней. Шарлотта предалась разнообразным думам. Бывает кораблекрушение и на суше; скорее оправиться после него, восстановить свои силы — прекрасно и достойно хвалы. Ведь вся жизнь основана на выигрышах и потерях. Кто не строил планов и не наталкивался на препятствия! Как часто выбираешь одну дорогу, а потом отклоняешься от нее! Как часто мы отвлекаемся от твердо намеченной цели, чтобы достичь другой, высшей! У путешественника, к величайшей его досаде, в дороге ломается колесо, но вследствие этой докучной случайности он завязывает приятнейшие знакомства, отношения, оказывающие влияние на всю его жизнь. Судьба исполняет наши желания, но на свой лад, чтобы дать нам многим больше того, что мы пожелали.

Занятая такими или сходными размышлениями, Шарлотта поднялась до нового здания на вершине, где и нашла полное им подтверждение, ибо окрестности оказались гораздо красивее, чем можно было вообразить. Все чужеродное, мелкое было удалено, и то прекрасное, чем пейзаж был обязан природе и что создало время, выступило во всей своей чистоте и бросалось в глаза; кругом зеленели молодые посадки, предназначавшиеся для заполнения кое-каких пустот и для создания живописной связи между отдельными частями местности.

Самый дом был уже почти пригоден для жилья; вид из окон, особенно из верхних комнат, поражал чрезвычайным разнообразием. Чем дальше вы смотрели, тем больше прекрасного открывалось вам. Какие эффекты должны здесь были возникать в зависимости от времени дня, от лунного или солнечного освещения! Очень хотелось остаться здесь; и в Шарлотте быстро проснулось желание снова строить и со-

зидать — теперь, когда она видела, что вся черновая работа уже сделана. Потребовались еще только столяр, обойщик, маляр, обходившийся трафаретом да легкой позолотой, и в скором времени здание было закончено. Вскоре были оборудованы погреб и кухня, ибо на таком расстоянии от замка все необходимое надо было иметь под рукой. Обе женщины с ребенком поселились теперь наверху, и из этого местопребывания, как из нового центра, им открылся ряд новых путей для прогулок. Здесь, на высоте, при чудесной погоде они наслаждались чистым вольным воздухом.

Любимой прогулкой Оттилии, в одиночестве или с ребенком, был спуск к тому месту, где оставляли привязанной одну из лодок, предназначенных для переправы через озеро. Порою она развлекалась катаньем по воде, но одна, без ребенка, так как Шарлотта за него беспокоилась. Оттилия не пропускала ни одного дня, чтобы не зайти в замковый сад к садовнику и принять дружеское участие в его заботах о множестве саженцев, которые теперь все были выставлены на свежий воздух.

В это прекрасное время года Шарлотте пришлось весьма кстати приезд одного англичанина, который познакомился с Эдуардом в путешествии, позднее несколько раз встречался с ним и теперь пожелал осмотреть прекрасный парк, так как слышал о нем столько хорошего. Он привез рекомендательное письмо от графа, а сам представил Шарлотте в качестве своего спутника молчаливого, но очень любезного человека. То в обществе Шарлотты и Оттилии, то с садовником и егерями, часто со своим спутником, а порою и в одиночестве он бродил по окрестностям, и из его замечаний можно было усмотреть, что он любитель и знаток таких парков, да и сам, наверно, не раз занимался их устройством. Несмотря на свой пожилой возраст, он весело принимал участие во всем, что может украсить жизнь и сделать ее более содержательной.

В его обществе женщины стали по-настоящему наслаждаться всем, что их окружало. Его опытный глаз со всею свежестью воспринимал каждое впечатление, и созданное здесь тем более доставляло ему удовольствие, что этой местности он раньше не знал и едва был в состоянии различить то, что здесь было сделано человеком, от того, что создала сама природа.

Можно сказать, что благодаря его замечаниям парк словно рос и обогащался. Он уже сейчас указал на то, что обе-

щают дать со временем новые, подрастающие посадки. От него не ускользнуло ни одно место, где можно было оттенить или заново вызвать какой-либо живописный эффект. Тут он отмечал ручеек, который, если его расчистить, мог бы стать украшением поросшего кустарником участка, там — грот, из которого, если его расширить, получился бы желанный приют отдохновения; стоило только срубить несколько деревьев, как открылся бы вид на великолепную группу скал. Он поздравлял хозяев с тем, что им еще есть над чем потрудиться, и уговаривал не торопиться с этим, а приберечь удовольствие творить и устраиваться на будущие годы.

Он никому не был в тягость, а в остальное время, не занятое прогулками и разговорами, большую часть дня занимался тем, что с помощью переносной камеры-обскуры снимал живописные виды парка и перерисовывал их, собирая, таким образом, в своих путешествиях богатые плоды для себя и для других. Это он делал уже несколько лет во всех чем-либо примечательных местностях и составил себе таким способом приятную и преинтересную коллекцию. Он показал дамам целый портфель, который возил с собой, и развлек их как самими рисунками, так и объяснениями к ним. Им было отрадно, что, не выходя из своего уединения, они с таким удобством могут странствовать по всему свету и смотреть на проносящиеся перед ними побережья и гавани, моря и реки, города, замки и многие другие местности, знакомые из истории.

При этом для каждой из них привлекательно было разное: для Шарлотты представляли общий интерес исторические достопримечательности; внимание же Отилии останавливали главным образом те местности, о которых любил рассказывать Эдуард, где он охотно бывал, куда часто возвращался, ибо у каждого человека бывает пристрастие к тем или иным — близким или отдаленным — местам, которые его притягивают, волнуют, становятся ему особенно дорогими по воспоминаниям о первом впечатлении, или вследствие определенных обстоятельств, или по привычке, наиболее отвечая его склонностям.

Она поэтому спросила лорда, где ему нравится больше всего и где бы он поселился, если бы ему был предложен выбор. Он не затруднился указать на целый ряд живописных мест и с тем особым акцентом, что отличал его французскую речь, с удовольствием и не торопясь поведал о том, отчего они ему особенно дороги и памяты.

А на вопрос, где теперь его обычное местопребывание и куда ему всего приятнее возвращаться, он, нисколько не колеблясь, дал следующий неожиданный для дам ответ:

— Я теперь привык чувствовать себя везде как дома и в конце концов нахожу как нельзя более удобным, чтобы другие для меня строили, насаждали и занимались домашним хозяйством. В мои собственные владения меня не тянет — отчасти по причинам политическим, но больше потому, что сын мой, для которого я, в сущности, трудился и устраивал, надеясь все это передать ему и в то же время насладиться всем этим вместе с ним, ко всему совершенно равнодушен и теперь отправился в Индию с намерением, как и многие другие, шире пользоваться жизнью, а то и промотать ее. Конечно, мы делаем слишком много затрат на приготовления к жизни. Вместо того чтобы с самого же начала удовлетвориться умеренными благами, мы все больше стремимся к широте, создавая себе тем самым все большие неудобства. Кто наслаждается теперь моими строениями, моим парком, моими садами? Не я, даже не мои родные, а какие-то приезжие, любопытные, беспокойные путешественники. Даже и при больших средствах мы всегда только наполовину чувствуем себя дома, особенно в деревне, где нам недостает многого, к чему мы привыкли в городе. Нет под рукой любимой книги, не захватили с собой как раз того, что нам сейчас нужнее. Мы все время устраиваемся на домашний лад только затем, чтобы снова уехать, и если мы это делаем не по воле или прихоти, то нас принуждают к тому обстоятельства, страсти, случайности, необходимость и мало ли что еще...

Лорд и не подозревал, как глубоко задели его слова обеих слушательниц. Да и разве не подвергается такой опасности тот, кто высказывает хотя бы самое общее суждение даже в кругу людей, обстоятельства которых ему хорошо известны! Для Шарлотты такие случайные уколы, даже от руки людей доброжелательных и благомыслящих, не были новы, к тому же жизнь так отчетливо представлялась ее очам, что она не испытывала особенной боли, когда кто-нибудь необдуманно и неосторожно заставлял ее бросить взгляд на то или иное безрадостное зрелище. Оттилию же, которая в своей еще полусознательной юности больше предчувствовала, чем видела, которая могла, вернее, должна была отвращать свои взоры от того, чего ей не хотелось и не полагалось видеть, — Оттилию эти искренние речи повергли в ужасное состояние; словно кто-то могучим взмахом разорвал утешительный



покров, и ей представилось, что все делавшееся до сих пор для дома и угодий, для сада, парка и всей окрестности, было совершенно напрасно, ибо тот, кому все это принадлежит, этим не пользуется; он, как нынешний гость, вытеснен из дому самыми близкими и родными людьми и принужден скитаться по свету, подвергаясь к тому же величайшим опасностям. Она привыкла слушать и молчать, но на этот раз она была во власти мучительнейшего переживания, которое скорее усиливали, чем смягчали, все дальнейшие речи гостя, продолжавшего говорить, как всегда, остроумно, оригинально и обдуманно.

— Теперь, как мне кажется,— продолжал он,— я нахожусь на правильном пути, потому что все время рассматриваю себя как путешественника, который от многого отказывается, чтобы многим насладиться. Я привык к переменам, более того — они стали для меня потребностью, подобно тому как в опере мы вечно ждем новых декораций именно потому, что их и без того много. Я знаю, чего могу ждать от самой лучшей и самой плохой гостиницы; как бы она ни была хороша или плоха, я нигде не нахожу того, к чему привык, и в конце концов оказывается, что это одно и то же — полностью зависеть от необходимой привычки или полностью же от произвольной случайности. Теперь я, по крайней мере, могу не раздражаться из-за того, что какую-нибудь вещь потеряли или положили не на место, что моя постоянная комната непригодна для жилья и ее нужно приводить в порядок, что разбили мою любимую чашку и мне потом долгое время неприятно пить из другой. От всего этого я теперь избавлен, и если загорается дом, где я остановился, то мои слуги спокойно укладывают вещи, и мы уезжаем со двора и из города. И при всех этих выгодах, если в точности расчесть, оказывается, что за год я истратил не более, чем истратил бы дома.

Слушая эти слова, Оттилия все время видела перед собой Эдуарда; как, терпя лишения и тяготы, он так же блуждает теперь по неизведанным дорогам, как с опасностью для жизни он ночует под открытым небом и среди стольких превратностей и непрерывного риска приучает себя жить без родины и без друзей, отбрасывая все, лишь бы ничего не терять. К счастью, общество на некоторое время разошлось. Оттилия могла выплакаться наедине. Никогда скорбь, тяжкая и гнетущая, так не мучила ее, как эта ясность, которую она еще более стремилась прояснить: ведь так обычно и бывает, что

мы начинаем сами мучить себя, раз только что-нибудь нас мучит.

Положение Эдуарда представлялось ей таким плачевным, таким жалким, что она решила во что бы то ни стало сделать все для возвращения его к Шарлотте, скрыть где-нибудь в уединении и безмолвии свою скорбь и свою любовь и заглушить их, отдавшись какой-либо деятельности.

Между тем спутник лорда, человек спокойный, разумный и в высшей степени наблюдательный, заметил промах, допущенный в разговоре, и указал своему другу на сходство положений. Тот ничего не знал об обстоятельствах семьи Эдуарда, тогда как его спутник, которого в путешествиях, собственно, ничто так не занимало, как подобные необычные случаи, возникающие на почве естественных или искусственных отношений, вызванных столкновением закона и произвола, рассудка и разума, страсти и предубеждения, успел и раньше,— более же подробно за время своего пребывания в этом доме,— ознакомиться со всем, что здесь произошло и что происходило.

Лорду было очень жаль, но он не смутился.

— Чтобы никогда не попадать в такое положение в обществе, надо было бы всегда молчать; ведь не только серьезные мысли, но и самые пошлые суждения могут столь же резким образом задеть присутствующих. Постараемся,— сказал он,— заглядить это нынче вечером и воздержимся от всяких разговоров на общие темы. Расскажите-ка дамам какой-нибудь занимательный и поучительный анекдот, какую-нибудь историю из числа тех, которыми вы во время нашего путешествия обогатили вашу память и ваш портфель.

Однако, несмотря на лучшие намерения, приедем и на сей раз не удалось развлечь приятельниц невинной беседой. Ибо спутник лорда, возбудив их внимание и самое живое участие целым рядом необычайных, поучительных, веселых, трогательных и страшных историй, решил заключить рассказом о происшествии, правда, необычайном, но мирном, сам не подозревая, как оно близко сердцу его слушательниц.

## СОСЕДСКИЕ ДЕТИ

### Новелла

Двое детей из двух живших по соседству почтенных семейств, мальчик и девочка, по своему возрасту вполне подходили для того, чтобы впоследствии стать мужем и женой;

в надежде на такое будущее они воспитывались вместе, и родители уже радовались предстоящему браку. Но весьма скоро обнаружилось, что вряд ли это намерение осуществится: между этими двумя превосходными натурами стала проявляться какая-то странная вражда. Быть может, они были слишком во всем похожи — оба сосредоточенные в самих себе, точно знающие, чего хотят, твердые в своих решениях; каждый в отдельности они пользовались любовью и уважением своих сверстников, но, бывая вместе, всегда оказывались соперниками; каждый создал сам для себя и разрушал созданное другим, не соревнуясь в стремлении к *общей* цели, а всегда борясь за *один* и тот же предмет; обычно добронравные и любезные, они питали только злобу и даже ненависть друг к другу.

Эти странные отношения дали себя знать еще в пору детских игр и обострялись с годами. По примеру мальчиков, которые играют в войну и, разделившись на два лагеря, вступают друг с другом в сражение, упрямая и смелая девочка стала во главе одного из отрядов и сражалась против другого с такой отвагой и таким ожесточением, что обратила бы его в позорное бегство, если б ее всегдашний соперник не держался весьма мужественно и в конце концов не обезоружил свою соперницу и не взял ее в плен. Но тут она защищалась с таким упорством, что он, опасаясь за свои глаза и в то же время боясь ее поранить, должен был сорвать с себя шелковый шейный платок и связать ей руки за спиной.

Этого она никогда не могла ему простить и в дальнейшем предпринимала столь коварные попытки навредить мальчику, что родители, уже давно обратившие внимание на столь необычное страстное ожесточение, сговорившись, решили разлучить эти два враждебные друг другу существа и отказаться от светлых надежд.

Мальчик, попав в новую среду, вскоре показал себя с наилучшей стороны. Всякое учение шло ему впрок. Покровители и собственная склонность предопределили его к военной карьере. Всюду, где бы он ни находился, его любили и уважали. Одаренный превосходными качествами, он, казалось, мог действовать только на благо, на радость другим и, ясно сам того не сознавая, был весьма счастлив, что избавился от единственного соперника, данного ему природой.

В девочке же сразу произошла резкая перемена. С годами благодаря воспитанию и, что всего важнее, повинаясь какому-то внутреннему чувству она отошла от буйных игр, кото-

рым до тех пор предавалась вместе с мальчиками. Вообще ей словно чего-то недоставало, вокруг нее не было ничего, достойного ее ненависти, но любви ее еще никто не заслужил.

Молодой человек, постарше ее бывшего соперника-соседа, родовитый, богатый и с положением в обществе, всеми любимый, пользовавшийся любовью и особым благоволением женщин, почувствовал к ней непреодолимое влечение. Первый раз в жизни за нею ухаживал друг, влюбленный, поклонник. Предпочтение, какое он оказывал ей перед другими, которые были и старше и образованнее ее, блистали ярче и могли притязать на большее, ей чрезвычайно льстило. Его постоянная внимательность, чуждая всякой назойливости, его преданность и готовность оказать поддержку в разных неприятных обстоятельствах, его желание видеть ее своей женой, высказанное родителям, правда, в виде скромной надежды на будущее, ибо она была еще так молода,— все это расположило ее к нему, а привычка и внешняя сторона их отношений, отныне получивших признание света, тоже сделали свое. Ее так часто называли невестой, что наконец и она стала видеть в себе невесту, а потому, когда она обменялась кольцом с человеком, который так давно уже считался ее женихом, ни она, ни кто бы то ни был другой не думали, что их любовь еще нуждается в испытании.

Спокойное течение вещей не было ускорено даже и помолвкой. Обе стороны предоставили всему идти своим чередом; они радовались совместной жизни, и было решено насладиться этой дивной порой, как весной, как началом жизни более строгой, предстоящей в будущем.

Между тем отсутствовавший юноша с успехом завершил свое образование, достиг заслуженной ступени на своем жизненном поприще и приехал в отпуск навестить родных. Случилось само собою, что он снова хотя и естественным, но странным образом оказался на пути своей прекрасной соседки. В последнее время она жила только дружелюбными, семейственными чувствами, как подобает невесте, и в согласии со всем ее окружающим считала себя счастливой и в известном смысле была счастлива. Но вот впервые после долгого перерыва снова что-то стало ей поперек дороги. Это «что-то» не было ей ненавистно, она уже стала неспособна ненавидеть; более того, детская ненависть, которая, в сущности, была не чем иным, как смутным признанием внутренних достоинств соперника, перешла теперь в радостное изумление, в веселое любованье, в любознательную откровенность, в сбл-

жение, наполовину вольное, наполовину невольное и все же неизбежное, причем все это было взаимно. Долгое отсутствие давало повод для долгих бесед. Даже их детское неразумие служило теперь, когда они поумнели, предметом шуточных воспоминаний; казалось, они хотели загладить былую задорную ненависть хотя бы дружелюбным и внимательным общением, как будто ожесточенное взаимное непонимание в прошлом требовало отныне столь же решительного взаимного признания.

Что до него, то он ни в чем не преступал должных пределов благоразумия. Его положение, знакомства, честолюбие, виды на будущее занимали его настолько, что дружеское расположение очаровательной невесты он принимал с благодарностью и удовольствием как некое добавление ко всему остальному, не видя в этом ничего необычайного и не имея намерения отнимать ее у жениха, с которым у него к тому же были наилучшие отношения.

Совсем иное творилось в ее душе. Она словно пробудилась от сна. Борьба ее с юным соседом была первой ее страстью, и эта упорная борьба была не чем иным, как упорной, как бы прирожденной любовью, только принявшей видимость неприязни. Да и теперь, в воспоминаниях, ей казалось, будто она всегда его любила. Ее злые затеи того времени, когда она держала оружие в руках, вызывали у нее улыбку; она уверяла себя, что испытала приятнейшее чувство, когда он ее обезоружил, а все, что она предпринимала ему во зло и во вред, представлялось ей теперь лишь невинным средством привлечь его внимание. Она кляла тягучую дремотную привычку, по вине которой ее женихом мог стать человек столь незначительный; она изменилась, изменилась вдвойне, изменилась и в настоящем и в прошлом — в зависимости от того, как на это посмотреть.

Если бы кто-нибудь мог разобраться в ее чувствах, которые она таила в себе, приобщиться к ним, то он бы не осудил ее, ибо жених и вправду не выдерживал сравнения с соседом, стоило их увидеть друг возле друга. Если первому нельзя было отказать в известном доверии, то второму можно было верить вполне; если первого хотелось иметь собеседником, то во втором вы были бы рады увидеть товарища; а стоило подумать о каком-нибудь труднейшем испытании, об обстоятельствах чрезвычайных, то в первом можно было бы слегка усомниться, тогда как второй внушал несомненную уверенность. Женщины обладают особым природным чутьем,

которым угадывают подобные различия, и для развития его в себе находят и основания, и частые поводы.

Чем дольше прекрасная невеста питала в тайнике своей души подобные чувства, чем реже постороннему представлялся повод сказать ей что-нибудь в пользу жениха, выразить то, на что, казалось, наводили, чего требовали обстоятельства и долг, к чему, как будто бесповоротно, взывала непреложная необходимость, тем больше сердце красавицы подчинялось только этой исключительной страсти; в то время как, с одной стороны, ее неразрешимыми узами связывали отношения светские и семейные, жених и данное ему слово, то, с другой, честолюбивый юноша вовсе не делал тайны из своих мыслей, планов и намерений, держал себя с ней как преданный, но даже не слишком нежный брат и уже заводил речь о своем близком отъезде, — в ней словно вновь проснулся дух ее детских лет, со всем своим коварством и ожесточением, и теперь, на более высокой жизненной ступени, он готовился, негодуя, проявить себя более действенным, и даже пагубным, образом. Она решила умереть, чтобы наказать некогда ненавистного, а теперь так страстно любимого человека за его безучастность и, раз уж ей не придется обладать им, навеки запечатлеться в его воображении, в его раскаянии. Она хотела, чтобы ее мертвый лик неотступно стоял перед ним, чтобы он упрекал себя в том, что не понял, не распознал, не оценил ее чувств.

Этот страшный бред всюду преследовал ее. Она всячески скрывала его, и, хотя другие ей удивлялись, все же никто не был настолько проникателен и умен, чтобы распознать истинную причину ее смятения.

Тем временем друзья, родственники, знакомые изошрялись в устройстве всякого рода празднеств. Не проходило дня, чтобы не было затеяно что-нибудь новое и неожиданное. В окрестностях не оставалось почти ни одного живописного местечка, которое не было бы украшено для приема многочисленных веселых гостей. И наш юноша перед своим отъездом тоже решил не отстать от других и пригласил молодую чету с близкими родственниками на увеселительную поездку по реке. Гости поднялись на большое красивое, богато украшенное судно, одну из тех яхт, где имеется небольшая зала и несколько кают, что делает возможным пользоваться и на воде удобствами суши.

Яхта под звуки музыки неслась по широкой реке; общество скрылось от дневной жары в каюты, развлекаясь салонными и азартными играми. Молодой хозяин, никогда не умевший

сидеть без дела, сел за руль, сменив старого кормчего, который тут же заснул подле него, и бодрствующему требовалась теперь вся его осмотрительность, так как он приближался к месту, где русло реки было сжато двумя островами, берега которых плоские и покрытые галькой, то с одной, то с другой стороны врезались в воду и делали фарватер опасным. Заботливый и зоркий рулевой чуть не поддался соблазну разбудить кормчего, но понадеялся на себя и направил судно к узкому проливу. В это мгновение на палубе появилась его прекрасная противница с венком на голове. Она сняла его и бросила рулевому.

— Возьми себе на память! — крикнула она.

— Не мешай мне, — крикнул он ей в ответ, подхватывая венок. — Мне нужны сейчас все мои силы, все мое внимание.

— Я больше не помешаю тебе, — крикнула та. — Ты меня больше не увидишь! — с этими словами она поспешила на носовую часть яхты и бросилась в воду. Раздались голоса: «Спасите! спасите! она тонет!» Он был в страшнейшем замешательстве. От шума просыпается старый кормчий, хочет схватить руль, а молодой — передать его; но не успели они поменяться местами, как судно садится на мель; и в то же мгновение юноша, скинув верхнее платье, кидается в воду и плывет вслед за прекрасной своей противницей.

Вода — стихия, дружелюбная для того, кто с нею знаком и умеет с ней обращаться. Она понесла его, искусный пловец оставался ее господином. Вскоре он достиг красавицу, увлекаемую потоком; он схватил ее, поднял над водою и поплыл; их быстро уносило вперед, пока острова и камни не остались далеко позади и река вновь не приняла своего плавного широкого течения. Только тут он пришел в себя, опомнился после первого потрясения, заставившего его действовать чисто машинально, ни в чем не давая себе отчета; подняв голову над водою, он огляделся и поплыл, насколько хватало сил, к плоскому, поросшему кустарником берегу, который легко и удобно вдавался в реку. Здесь он положил на землю свою прекрасную ношу, но она, казалось, уже не дышала. Юноша был в отчаянии, но тут в глаза ему бросилась тропинка, убегавшая в кустарник. Снова взвалив на себя дорогую ношу, он вскоре заметил уединенную хижину, к которой и направился. Там оказались добрые люди — молодая супружеская чета. В беде, в несчастье люди быстро находят нужные слова. Все, что он догадался потребовать, было ему предложено. Живо развели яркий огонь, постлали на ложе шерстяные одеяла, принесли

шубы, меха и все, что было теплое. Стремление спасти взяло верх над всеми иными соображениями. Не было упущено ничего, чтобы вернуть к жизни прекрасное, полуокаменевшее нагое тело. Это удалось. Она открыла глаза, увидела друга, обвила его шею своими дивными руками. Долго она его не выпускала; слезы потоком хлынули из ее глаз и довершили выздоровление.

— Неужели, — воскликнула она, — ты покинешь меня теперь, когда я тебя нашла?

— Никогда! — воскликнул он. — Никогда!

И, сам уже не зная, ни что он говорит, ни что он делает, прибавил:

— Но только береги себя, береги, подумай о себе — ради себя самой и ради меня.

Теперь она подумала о себе и только тут заметила, в каком она виде. Стыдиться своего любимого, своего спасителя она не могла, но она рада была отпустить его, чтобы он позаботился о себе: ведь на нем все было мокрое.

Молодые муж и жена, посоветовавшись друг с другом, предложили юноше и красавице свои свадебные наряды, висевшие тут же в достаточной сохранности, чтобы с ног до головы одеть молодую пару. Скоро оба искателя приключений были не только одеты, но и разряжены. Вид у них был очаровательный, и когда они, снова сойдясь вместе, с восхищением взглянули друг на друга, то в порыве неудержимой страсти, но все же и улыбаясь своему маскараду, устремились друг другу в объятия. Пыл молодости и одушевление любви в несколько минут восстановили их силы; недоставало только музыки, чтобы они пустились танцевать.

Перенестись из воды на сушу, от смерти к жизни, из семейного круга в лесную глушь, от отчаяния к блаженству, от равнодушия к любви, к страсти, перенестись в мгновение ока — голова не в состоянии была все это вместить, она готова была разорваться на части или помутиться. Чтобы вынести такую неожиданность, на помощь должно прийти сердце.

Всецело поглощенные друг другом, они лишь спустя некоторое время подумали о том, какой страх, какую тревогу должны были испытывать оставленные ими спутники, да и сами они едва могли без тревоги, без страха подумать о том, как они снова встретятся с ними.

— Бежать ли? Скрыться ли? — спросил юноша.

— Останемся вместе, — сказала она, бросаясь ему на шею.

Крестьянин, узнавший от них о корабле, севшем на мель,



поспешил без дальнейших расспросов к берегу. Яхта уже благополучно плыла по реке; снять ее с мели стоило великого труда. Плыли наудачу, в надежде найти потерянных. Портому, когда крестьянин знаками и криками привлек к себе внимание плывущих, указав им на место, где удобно было пристать, и продолжал кричать и подавать знаки, судно повернуло к берегу. Но что за зрелище ожидало их, когда они причалили! Родители помолвленных первыми устремились на берег; любящий жених едва не лишился рассудка. Не успели узнать, что милые дети спасены, как они уже сами вышли из кустов в странном своем наряде. Их не узнали, пока они не подошли совсем близко.

— Кого мы видим? — воскликнули матери.

— Что мы видим? — воскликнули отцы.

Спасенные упали перед ними на колени.

— Вы видите детей ваших, — воскликнули они, — единую чету!

— Простите нас! — воскликнула девушка.

— Дайте нам ваше благословение! — воскликнул юноша.

— Благословите нас! — воскликнули оба среди всеобщего изумленного безмолвия.

— Благословите! — раздалось в третий раз, и кто бы посмел отказать им в благословении!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рассказчик сделал паузу или, вернее, уже закончил повествование, когда заметил, что Шарлотта чрезвычайно взволнована; она даже встала и, извинившись, вышла из комнаты. Повесть эта была ей знакома. Описанный случай в самом деле произошел между капитаном и девушкой, его соседкой, правда, не совсем так, как это рассказал англичанин, но в главных своих чертах события не были искажены и только в частности несколько развиты и приукрашены, как обычно бывает с подобными историями, сперва прошедшими через уста толпы, а потом через фантазию рассказчика, одаренного вкусом и остроумием. В конце концов все оказывается и так и не так, как оно было.

Оттилия по просьбе обоих гостей последовала за Шарлоттой, и тогда лорд, в свою очередь, заметил, что, пожалуй, и на этот раз был допущен какой-то промах и рассказано, очевидно, нечто знакомое хозяевам или близко задевшее их.

— Надо нам остерегаться, — прибавил он, — как бы не сделать еще что-нибудь худшее. Мы, кажется, принесли мало радости хозяйкам в благодарность за все то доброе и приятное, что видели здесь; надо нам найти приличный повод, чтобы скорее распрощаться.

— Признаюсь, — ответил его спутник, — меня здесь удерживает одно обстоятельство, не выяснив которого подробнее, мне бы не хотелось уезжать из этого дома. Вчера, когда мы шли по парку с камерой-обскурой, вы, милорд, были слишком заняты выбором живописного места и не заметили, что происходит рядом. Вы свернули в сторону от главной аллеи, чтобы пройти к одному мало посещаемому месту близ озера, откуда открывался прелестный вид на противоположный берег. Оттилия, которая была с нами, не решилась идти дальше и попросила переехать с ней туда на лодке. Я согласился и любовался ловкостью прекрасной лодчицы. Я заверил ее, что после Швейцарии, где очаровательнейшие девушки тоже заступают место перевозчика, мне уже не случилось с таким удовольствием качаться на волнах, но я все же не мог удержаться и спросил, почему она не захотела идти боковой дорожкой, а в ее нежелании и вправду заметна была какая-то робость и тревога.

— Если вы надо мной не будет смеяться, — вполне дружелюбно ответила она, — то я постараюсь вам кое-что сказать по этому поводу, хотя и для меня здесь есть какая-то тайна. Всякий раз, как я ступала на эту боковую дорожку, меня охватывал необыкновенный трепет, которого я больше нигде не испытывала и который не умею себе объяснить. Вот почему я избегаю подвергаться этому ощущению, тем более что вслед за тем у меня начинается боль в левом виске, от которой я вообще иногда страдаю.

Мы причалили, Оттилия занялась разговором с вами, а я тем временем осмотрел место, которое она мне издала отчетливо указала. И каково было мое удивление, когда я там обнаружил весьма явные признаки каменного угля, убедившие меня в том, что, если бы здесь произвели изыскания, в земле можно было бы найти богатые залежи.

Прошу прощения, милорд, я вижу — вы улыбаетесь, и прекрасно знаю, что вы, как мудрый человек и друг, лишь снисходите к тому страстному вниманию, с которым я отношусь к этим вещам, возбуждающим в вас одно недоверие, но для меня невозможно уехать отсюда, пока я не произведу над этой милой девушкой опыт с качанием маятника...

Не бывало случая, чтобы лорд, когда речь касалась этого предмета, не повторял своих контраргументов, которые спутник его выслушивал скромно и терпеливо, оставаясь, однако, при собственном мнении и предрешенных намерениях. Он, в свою очередь, утверждал, что если подобные опыты удаются не над каждым, нет все же основания от них отказываться; напротив, тем серьезнее и основательнее следует изучить это дело, ибо здесь, наверно, должны обнаружиться ныне еще скрытые от нас всевозможные отношения и формы сродства между веществами неорганическими, между ними и веществами органическими и, наконец, этих последних между собою.

Он уже разложил свой набор золотых колец, кусков железного колчедана и других металлов, всегда находившихся при нем в изящной шкатулке, и начал в виде пробы опускать над одними металлами другие, подвешенные на нитке. При этом он сказал:

— Ничего не имею против злорадства, которое читаю на вашем лице, милорд, злорадства по поводу того, что у меня и ради меня ничто не приходит в движение. Но то, что я делаю, это только предлог. Когда вернутся дамы, им будет любопытно, каким странным делом мы тут заняты.

Женщины вернулись. Шарлотта сразу же сообразила, что это такое.

— Я об этих вещах кое-что слышала, — сказала она, — но никогда не видала их действия. Раз уж все у вас наготове, позвольте попробовать, не удастся ли мне.

Она взяла нитку в руку; к опыту она отнеслась с полной серьезностью и нить держала твердо, без всякого волнения, но ни малейшего колебания не было заметно. Очередь была за Оттилией. Она еще спокойнее, непринужденнее, безотчетнее держала маятник над металлами, лежавшими на столе. Но в тот же миг маятник словно подхватило мощным вихрем, и он в зависимости от того, что клали на стол, стал вертеться то в одну, то в другую сторону, чертя то круги, то эллипсы или же начиная раскачиваться по прямой линии, отвечая всем ожиданиям гостя, даже превосходя все, что можно было ожидать.

Сам лорд был слегка озадачен, спутник же его был так доволен и увлечен, что ему все было мало и он не переставал требовать продолжения и видоизменения опытов. Оттилия любезно исполняла его желания, пока в конце концов ласково его не попросила уволить ее, так как у нее снова начинается головная боль. Он же, изумленный, даже восхищенный,

с воодушевлением стал уверять ее, что совершенно вылечит ее, если она доверится его врачеванию. После короткого колебания Шарлотта, поняв, что именно подразумевается, отклонила предложение, сделанное с благим намерением, ибо не хотела вблизи себя допускать нечто такое, против чего всегда таила боязливое предубеждение.

Гости уехали, и хотя они таким странным образом задели чувства хозяек, все же оставили по себе желание встретиться с ними когда-нибудь еще раз. Шарлотта пользовалась теперь хорошей погодой, чтобы отдать визиты по соседству, и никак не могла с этим кончить, так как все кругом,— кто с подлинным участием, кто просто в силу привычки,— до сих пор проявляли к ней особое внимание. Дома она оживала при виде ребенка, и, право же, нельзя было его не любить, о нем не заботиться. Он казался каким-то чудесным существом, чудо-ребенком, восхищая взгляд и ростом, и пропорциональным сложением, и силой, и здоровьем; что же больше всего поражало в нем, то было двойное сходство, которое все более в нем развивалось. Чертами лица и формами тела ребенок все более напоминал капитана, глаза же его все труднее было отличить от глаз Оттилии.

Под влиянием этого необычайного сродства и еще более, быть может, благодаря прекрасному чувству, врожденному женщине, которая окружает нежной любовью ребенка любимого человека, даже если он родился от другой, Оттилия заменяла мать подрастающему младенцу, или, вернее, была для него второй матерью. Если Шарлотта уходила, то Оттилия оставалась одна с ребенком и нянькой. Нанни, ревнуя ее к мальчику, на которого ее госпожа словно перенесла всю свою любовь, с недавних пор покинула ее и вернулась к своим родителям. Оттилия по-прежнему выносила ребенка на свежий воздух и совершала прогулки все более далекие. Она брала и рожок с молоком, чтобы в нужное время покормить дитя. При этом она обычно не забывала взять какую-нибудь книгу и, гуляя с ребенком на руках и занятая в то же время чтением, казалась прелестной Пенсерзой.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Главная цель похода была достигнута, и Эдуард, украшенный орденами, с почетом был уволен от службы. Он немедленно уехал в свое небольшое имение, где застал подробные

известия о своих, за которыми велел установить зоркое, незаметное для них наблюдение. Тихое пристанище встретило его приветливо, так как, пока он отсутствовал, многое по его указанию было здесь изменено, исправлено и усовершенствовано, и если в усадьбе и вокруг нее не доставало простора, то это возмещалось внутренним порядком и удобствами.

Эдуард, которого более быстрое течение жизни приучило и к большей решительности, счел нужным теперь осуществить то, что успел уже достаточно обдумать. Первым делом он пригласил к себе майора. Встреча была радостной. Дружба молодости, как и кровное родство, имеют то великое преимущество, что ни ошибки, ни недоразумения, какого бы свойства они ни были, никогда не могут повредить им, оказаться непоправимыми, и прежние отношения через некоторое время вновь восстанавливаются.

Эдуард, радостно встретив друга, расспросил его прежде всего о его делах и услышал от него, как благосклонно, в полном соответствии с его желаниями, отнеслось к нему счастье. Потом Эдуард дружески, полушутя спросил, не предвидится ли и нежный союз. Майор тоном весьма серьезным ответил на это отрицательно.

— Я не могу и не считаю себя вправе скрытничать,— продолжал Эдуард,— я должен тотчас поделиться с тобой моими мыслями и намерениями. Ты знаешь, как страстно я люблю Оттилию, и, наверно, давно угадал, что только из-за нее я бросился в пламя войны. Не стану отрицать, что я желал избавиться от жизни, которая без нее не имела для меня смысла, но вместе с тем должен тебе признаться, что никогда не отчаивался вполне. Счастье с нею было так прекрасно, так желанно, что я не в силах был совершенно отказаться от него. Столько утешительных предчувствий, столько ясных предзнаменований укрепляли во мне веру, безумную мечту, что Оттилия может стать моею. Бокал с нашим вензелем брошен был в воздух, когда закладывали дом, и не разбился вдребезги, а был подхвачен на лету, и опять находится в моих руках. «Так пусть же я сам,— воскликнул я однажды после того, как провел в этом тихом приюте столько часов, полных сомнения,— пусть я сам, вместо этого бокала, стану знамением того, возможен ли наш союз или нет. Пойду и буду искать смерти, но не как безумец, а как человек, надеющийся жить. Оттилия же пусть будет наградой, за которую я сражаюсь; ее я надеюсь добиться, завоевать за каждым боевым строем, в каждой траншее, в каждой осажденной крепости.

Я буду творить чудеса, желая остаться невредимым, стремясь завсезать Оттилию, а не потерять ее». Такие чувства указывали мне путь, они помогали мне среди всех опасностей, но теперь я чувствую себя как человек, который достиг своей цели, преодолел все препятствия, уже ничто не преграждает мне дорогу. Оттилия моя, и все, что отделяет эту мысль от ее воплощения, для меня не существует.

— Ты одним росчерком пера, — возразил майор, — уничтожаешь все, что можно и должно бы тебе возразить, и тем не менее приходится повторять эти возражения. Вспомнить о твоих отношениях к жене во всем истинном их значении — это я предоставляю тебе самому: однако твой долг и перед ней, и перед самим собой — не забывать об этом. Но стоит мне только вспомнить, что судьбою вам дарован сын, и я чувствую себя обязанным сказать тебе, что вы навеки принадлежите друг другу, что ради этого существа вы обязаны жить вместе, чтобы вместе заботиться о его воспитании, о его будущем благополучии.

— Со стороны родителей, — возразил Эдуард, — это одно лишь самообольщение — воображать, будто их существование столь необходимо для их детей. Все живое находит пищу и поддержку, и если сын, рано лишившись отца, не может пользоваться в молодости разными удобствами и преимуществами, то, пожалуй, он от этого только выигрывает; он быстрее созревает для жизни в свете, ибо раньше понимает, что надо сообразоваться с другими, а этому, рано или поздно, мы все должны научиться. Но здесь об этом не приходится и говорить; мы достаточно богаты, чтобы обеспечить нескольких детей, а сыпать столько благ на голову одного человека — вовсе не долг наш, да это и не было бы благодеянием.

Когда майор попытался несколькими словами напомнить о достоинствах Шарлотты и ее неизменных, испытанных отношениях с Эдуардом, тот с горячностью перебил его:

— Мы поступили глупо, и это я слишком хорошо сознаю. Тот, кто, уже достигнув известного возраста, хочет осуществить желания и надежды молодости, всегда обманывает себя, ибо у каждого десятилетия в жизни человека — свое счастье, свои надежды и планы. Горе человеку, которого обстоятельства или собственное заблуждение побуждают хвататься за прошлое или будущее! Мы сделали глупость — так неужели же на всю жизнь? Неужели мы должны из-за каких-то шепетильных сомнений отказать себе в том, чего нам не запрещают нравы нашего времени? Как часто человек отрекается от

своих намерений и поступков, так неужели же не сделать этого именно тут, когда речь идет о целом, а не о частном, не о том или ином условии, а обо всей совокупности жизни!

Майор не преминул столь же искусно, сколь и решительно указать Эдуарду на многообразные нити, связывающие его с женой, с обеими семьями, со светом, с его владениями, по ему не удалось вызвать в нем никакого участия.

— Все это, мой друг, — ответил Эдуард, — своим мельканием задевало мне душу; и в разгаре сражения, когда земля дрожала от несмолкающего грохота, когда пули жужжали и свистели вокруг меня и направо и налево падали мои товарищи, когда подо мной была ранена лошадь, на голове прострелена шляпа, все это всплывало передо мной и ночью при тихом свете костра, под небом, усеянном звездами. Все, чем я связан с людьми, возникало перед моим духовным взором; все это я передумал, перечувствовал, со всем этим я уже свыкался, от всего этого отрешался по многу раз, но теперь это, как видно, навсегда.

Могу ли скрыть от тебя, что в такие мгновения и ты вставал передо мной, и ты был прочно со мною связан, — да мы и связаны друг с другом с давнишних пор! Если я оказался в долгу перед тобою, то теперь могу вернуть его тебе с лихвою; если ты остался мне должен, то теперь ты имеешь возможность со мною рассчитаться. Я знаю, ты любишь Шарлотту, и она того заслуживает; я знаю, она к тебе равнодушна, да и как бы она не оценила твои достоинства! Прими ее из моих рук! Дай мне Оттилию — и мы тогда счастливейшие люди на земле.

— Именно потому, что ты хочешь подкупить меня такими бесценными дарами, — возразил майор, — я должен быть тем более строг и осмотрителен. Твое предложение, перед которым я почтительно склоняюсь, не облегчает дела, а скорее затрудняет его. Речь идет не только о тебе, но и обо мне, не только о судьбе, но и добром имени, о чести двух людей, доселе безупречных, которые, решаясь на поступок столь удивительный, чтобы не назвать его иначе, подвергают себя опасности явиться в глазах общества в весьма странном свете.

— Именно то, что мы были так безупречны, — возразил Эдуард, — дает нам право дать когда-нибудь повод и к упрекам. Тот, кто всей жизнью доказал, что он человек почтенный, делает почтенным и такой поступок, который, если бы его совершил другой, показался бы двусмысленным. Что до меня, то после недавних испытаний, которым я себя подверг,

после трудных и опасных дел, которые совершил ради других, я чувствую себя вправе кое-что сделать и для себя. Что до тебя и Шарлотты, то предоставим вашу судьбу на волю будущего; меня же ни ты, ни кто другой не удержит от задуманного мною. Тому, кто мне протянет руку помощи, и я окажу всемерную помощь; если же меня предоставят самому себе или даже будут мне противодействовать, то я решусь на крайние меры, что бы из того ни вышло.

Майор считал своим долгом как можно дольше сопротивляться намерениям Эдуарда и применил против своего друга довольно хитрый маневр; для вида согласившись уступить ему, он заговорил о формальных и деловых подробностях, связанных с предполагаемым разводом и браками. А тут, как выяснилось, предстояло так много неприятного, сложного, неудобного, что Эдуард пришел в самое дурное расположение духа.

— Вижу, — воскликнул он наконец, — не только у врагов, но и у друзей надо приступом брать то, чего желаешь; от того, что я хочу, что мне необходимо, от этого я ни за что не отрекусь; я овладею им, и, уж конечно, скоро и решительно. Подобные отношения, я это знаю, нельзя ни уничтожить, ни создать иначе, как многое опрокинув, сдвинув с места все, что хочет оставаться в неподвижности. Размышлениями здесь делу не поможешь; для рассудка все права равны: на поднимающуюся чашу весов всегда можно положить противовес. Решайся же, мой друг, действовать ради меня и себя, ради меня и себя распутать, развязать и вновь связать все это. Пусть другие соображения тебя не останавливают; свету мы и так уже дали повод говорить о нас, он еще раз о нас поговорит, потом забудет, как забывает обо всем, что не ново, и позволит нам действовать по нашему разумению, не принимая в нас более участия.

Майору не оставалось иного выхода, как уступить Эдуарду, который смотрел на это дело как на нечто заранее и заведомо решенное, обсуждал в деталях, как все устроить, и говорил о будущем весело, даже шутливо.

Потом он снова стал серьезен и, призадумавшись, продолжал:

— Было бы преступным самообманом, если б мы тешились надеждой и ожидали, что все уладится само собой, что нами руководить и нам благоприятствовать будет случай. Так мы не спасем себя, не восстановим нашего спокойствия, да и как бы я мог найти себе утешение, раз я сам поневоле



оказался во всем виноват! Ведь своей настойчивостью я убедил Шарлотту пригласить тебя к нам, да и Оттилия появилась у нас лишь вследствие этой перемены в нашем доме. Мы уже не властны над тем, что отсюда проистекло, но в нашей власти все это обезвредить, обратить обстоятельства нам во благо. Твое дело — отворачиваться от тех прекрасных и радостных видов на будущее, которые я для нас всех открываю, твоё дело — навязывать мне и всем нам унылое самоотречение, поскольку ты считаешь его возможным, поскольку оно возможно вообще; но разве и в случае, если бы мы решили вернуться в прежнее состояние, нам не пришлось бы переносить всякие неприятности, неудобства, испытывать постоянную досаду и ничего хорошего, ничего отрадного из этого произойти не могло бы? Разве радовало бы тебя то блестящее положение, в котором ты сейчас находишься, если б ты не мог посещать меня, жить со мною? А ведь после того, что произошло, это все-таки было бы мучительно. Мы же с Шарлоттой, при всем нашем богатстве, оказались бы в печальном положении. И если ты вместе со светом легкомысленно считаешь, что годы и расстояние притуляют подобные чувства, изглаживают впечатления, врезавшиеся так глубоко, то дело здесь идет именно о тех годах, которые надо было бы прожить не в горе и в лишениях, а в радости и довольстве. И, наконец, самое важное: если внешние обстоятельства и наши душевные свойства еще могут нам позволить держаться выжидательно, то что станет с Оттилией, которой пришлось бы покинуть наш дом, лишиться в обществе нашей поддержки, влачить жалкое, плачевное существование среди проклятого холодного света! Укажи мне такое положение, при котором Оттилия могла бы быть счастлива без меня, без нас,— это будет довод более сильный, чем все остальные, довод, который если и не заставит меня согласиться с ним уступить ему, все же будет мною с готовностью рассмотрен и взвешен.

Решить эту задачу было не так-то легко; друг, по крайней мере, не нашел удовлетворительного ответа, и ему ничего не оставалось иного, как еще раз внушить Эдуарду, насколько серьезно, рискованно и даже в некотором смысле опасно положение дел, и что следует, по крайней мере, основательнейшим образом обдумать, как к нему приступить. Эдуард согласился, однако лишь при условии, что друг не покинет его прежде, чем они не придут к единодушному решению, не сделают первых шагов.

Даже вполне чужие и друг к другу равнодушные люди, прожив вместе некоторое время, предаются в конце концов взаимным душевным излияниям, и между ними неизбежно возникает известная близость. Тем более естественно, что между нашими друзьями, после того как они прожили вместе некоторое время в ежедневном и ежечасном общении, тайн уже не оставалось. Они оживляли в памяти былые годы, и майор не скрыл, что Шарлотта предназначала Эдуарду Оттилию, когда он вернулся из путешествия, и предполагала впоследствии выдать за него эту милую девушку. Эдуард, который был в восторге и в смятении от этого открытия, со своей стороны без стеснения говорил о взаимной симпатии Шарлотты и майора, изображая ее в самых ярких красках именно потому, что это было для него удобно и желательно.

Ни полностью отрицать ее, ни полностью в ней признаться майор не мог; но Эдуард тем решительнее, тем бесповоротнее укреплялся в своем мнении. Все представлялось ему как нечто не только возможное, но уже и осуществившееся. Всем участникам оставалось лишь дать согласие на то, чего они все желали; развода, конечно, удастся добиться; вскоре за этим последует брак, и Эдуард уедет с Оттилией в путешествие.

Среди отрадных образов, какие создает наша фантазия, нет, быть может, ничего прелестнее, чем те, которые рисуют себе двое любящих, молодая супружеская чета, собираясь насладиться своей совместной жизнью во всей ее свежести и новизне среди нового, свежего для них мира, испытать и укрепить свой длительный союз в смене многообразных впечатлений. Между тем майор и Шарлотта, пользуясь неограниченными полномочиями, должны были по праву и справедливости распорядиться всем, что касается поместий, имущества и разных земных благ и все устроить ко всеобщему удовольствию. Но вот на что особенно рассчитывал Эдуард, на чем он как будто более всего настаивал: поскольку ребенок останется при матери, воспитывать мальчика должен майор, развивая его способности в соответствии со своими взглядами. Недаром ему при крещении дали их общее имя Отто.

В уме Эдуарда все это сложилось так прочно, что, спеша приступить к исполнению своих намерений, он уже не желал ждать ни одного дня. На пути к поместью они приехали в

маленький городок, где у Эдуарда был свой дом, в котором он предполагал остановиться, чтобы выждать там возвращения майора. Однако он не мог пересилить себя и остаться в городе и решил еще немного проводить своего друга. Они были верхами и, увлеченные важным разговором, проехали вместе и дальше.

Вдруг они увидели вдали на холме новый дом, красные кирпичи которого впервые блеснули перед их глазами. Эдуардом овладевает страстное, непреодолимое желание: все должно быть решено сегодня же вечером. Сам он укроется в деревне, совсем поблизости; майор же со всей настойчивостью изложит дело Шарлотте, застанет ее врасплох и неожиданно предложения заставит ее свободно и откровенно высказать свои чувства. Ибо Эдуард, который свои желания приписывал и ей, не допускал мысли, что он не идет навстречу ее горячим желаниям, и надеялся так скоро получить ее согласие потому, что сам ни с чем иным не мог быть согласен.

Он уже видел счастливый исход, радовался ему и, чтобы скорее получить желанную весть в своей засаде, уговорился с майором, что согласие будет возведено несколькими пушечными выстрелами или же, если тем временем наступит ночь, будет выпущено несколько ракет.

Майор поскакал в замок. Шарлотту он не застал; ему сказали, что теперь она живет в новом здании, в настоящее же время уехала с визитом к соседям и, вероятно, не так скоро вернется домой. Он возвратился в гостиницу, где оставил свою лошадь.

Тем временем Эдуард, влекомый непреодолимым нетерпением, покинул свое убежище и прокрался в парк глухими тропинками, знакомыми лишь охотникам и рыбакам; с наступлением вечера он оказался в кустарнике возле озера, зеркальную гладь которого впервые видел столь широкой и чистой.

Оттилия в этот вечер гуляла близ озера. Она несла ребенка и, по своему обыкновению, читала во время ходьбы. Так она дошла до дубов, что у пристани. Мальчик уснул; она села, положила его подле себя и продолжала читать. Книга была одна из тех, которые притягивают к себе нежную душу и уже не отпускают ее. Она утратила представление о времени и часе и забыла, что ей предстоит еще далекий обратный путь к новому дому; она сидела, поглощенная книгой, погруженная в себя, такая очаровательная, что деревья и кусты

кругом, казалось, должны бы были ожить и прозреть, чтобы любоваться ею, радоваться за нее. И вот красноватый луч заходящего солнца упал на нее сзади, позолотив ей щеку и плечо.

В парке было пусто, в окрестностях безлюдно, и Эдуард, которому удалось так далеко пробраться незамеченным, шел все дальше. Вот он выходит из кустарника около самых дубов, видит Оттилию, она — его; он бросается к ней, падает к ее ногам. Сперва они молчат, стараясь овладеть собою, потом он в немногих словах объясняет, как и зачем он здесь. Он послал майора к Шарлотте, судьба их обоих решается, может быть, в это мгновение. Он никогда не сомневался в ее любви, она, конечно, не сомневалась в нем. Он просит ее согласия. Она колеблется, он заклинает ее: хочет воспользоваться своим прежним правом и заключить ее в объятия: она показывает ему на ребенка.

Эдуард видит его и поражается.

— Великий боже! — восклицает он. — Если бы я имел повод сомневаться в моей жене, в моем друге, это дитя служило бы страшной уликой против них. Разве это не черты майора? Такого сходства я не видел никогда.

— О нет! — отвечала Оттилия. — Все говорят, что он похож на меня.

— Возможно ли? — спросил Эдуард, и в это самое мгновение ребенок открыл глаза, большие, черные, пронзительные глаза, глубокие и ласковые. Мальчик таким осмысленным, взглядом смотрел на мир; он, казалось, уже знал тех, кто стоял перед ним. Эдуард кинулся на землю подле ребенка, потом склонил колени перед Оттилией.

— Да, это ты! — воскликнул он. — Эти глаза — твои! Но позволь мне глядеть в глаза только тебе. Ах! Дай мне набросить покров на тот злополучный час, что дал жизнь этому существу. Неужели мне смущать твою чистую душу злосчастною мыслью, что муж и жена, во взаимном отчуждении, могут, прижимая друг друга к сердцу, осквернить своими страстными желаниями союз, освященный законом? Или нет: раз уж до этого дошло, раз моя связь с Шарлоттой должна быть расторгнута, раз ты будешь моею, почему бы мне этого не сказать! Почему не произнести мне жестокие слова: это дитя родилось от двойного прелюбодеяния! Оно отделяет меня от жены и ее от меня, вместо того чтобы связывать нас. Так пусть же оно свидетельствует против меня, пусть эти чудесные глаза говорят твоим, что я в объятиях другой при-

надлежал тебе, а ты, Оттилия, почувствуй всей душой, что эту ошибку, это преступление я могу искупить только в твоих объятиях! Что это! — воскликнул он, вскакивая с места: выстрел, только что раздавшийся, он принял за знак, который должен был подать майор. Но то стрелял охотник в горах, где-то поблизости. Другого выстрела не последовало; Эдуарда томило нетерпение.

Только теперь Оттилия заметила, что солнце уже склонилось за горы. Последний его отблеск еще сверкнул в окнах дома на холме.

— Уходи, Эдуард! — воскликнула Оттилия. — Мы так долго были лишены друг друга, так долго терпели. Вспомни о нашем долге перед Шарлоттой. Она должна решить нашу судьбу, не будем же предвосхищать ее. Я твоя, если она согласна; если же нет, я должна от тебя отказаться. Если ты думаешь, что все решится так скоро, то будем ждать. Возвращайся же в деревню, где майор тебя ждет. Мало ли что может произойти, — вдруг потребуются объяснение? И мыслимо ли, чтобы грубый пушечный выстрел возвестил успех его переговоров? Быть может, он ищет тебя в эту самую минуту. Шарлотту он не застал, я это знаю; он, пожалуй, отправился ей навстречу, так как было известно, куда она поехала. Возможно столько случайностей! Оставь меня! Теперь она должна вернуться. Она ждет меня и мальчика там, наверну.

Оттилия торопилась, говоря это. В уме она перебирала все возможности. Она была счастлива вблизи Эдуарда, но чувствовала, что теперь должна удалить его.

— Умоляю, заклинаю тебя, мой любимый, — воскликнула она, — возвращайся к себе и жди майора!

— Повинуюсь твоим приказаниям! — воскликнул Эдуард, бросив на нее полный страсти взгляд, а потом крепко сжав ее в объятиях. Она обвила его своими руками и нежно прижала к груди. Надежда падучей звездой блеснула над их головами. Им чудилось, им мечталось, что они принадлежат друг другу; они впервые решительно, свободно обменялись поцелуем и расстались с усилием над собою, с болью в душе.

Солнце зашло, и уже смеркалось, а от озера веяло сыростью. Оттилия стояла смущенная, взволнованная; она взглянула на дальний дом, и ей показалось, что она видит на балконе белое платье Шарлотты. Кружный путь вдоль озера был далек; она знала нетерпение, с которым Шарлотта всегда ждала сына. На том берегу, прямо против себя, она видит платаны, и только водное пространство отделяет ее от дорож-

ки, которая тотчас же приведет к дому. И мыслями и взглядом она уже там. Опасение, не позволявшее ей довериться волнам вместе с ребенком, исчезает в этой тревоге. Она спешит к лодке, не чувствует, что сердце ее бьется, что ноги дрожат, что ей грозит обморок.

Она прыгает в лодку, хватается весло и отталкивается от берега. Ей приходится сделать усилие, оттолкнуться во второй раз; лодка покачнулась и пошла по воде. Лево́й рукой обхватив ребенка и в ней же держа книгу, а в правой весло, она тоже покачнулась и упала в лодке. Она роняет весло в одну сторону, а когда делает попытку подняться, ребенок и книга падают в воду за другой борт лодки. Она успевает схватить ребенка за его одежду, но неудобное положение мешает ей самой привстать. Свободной правой руки недостаточно, чтобы ей повернуться, подняться; наконец это ей удается, она вынимает ребенка из воды, но глаза его закрыты, он перестал дышать.

Она совершенно опомнилась в тот же миг, но тем ужаснее ее горе. Лодка уже почти на середине озера, весло уплыло, на берегу она не видит ни души, да и чем бы ей это помогло! От всех оторванная, она скользит по лону неприступной вероломной стихии.

Она ищет помощи у самой себя. Ей так часто приходилось слышать о спасении утопающих. Она помнит то, что видела вечером в день своего рождения. Она раздевает ребенка и обтирает его своим кисейным платьем. Она разрывает на себе одежду и впервые обнажает грудь перед лицом открытого неба; впервые она прижимает к чистой нагой груди живое существо, — увы! — уже не живое. Холодное тело несчастного создания леденит ее грудь до глубины сердца. Слезы без конца льются из ее глаз и сообщают окоченевшему обманчивую теплоту и видимость жизни. Она не оставляет своих усилий, заворачивает его в свою шаль, гладит, прижимает, дышит на него, плачет, целует, думая всем этим заменить средства помощи, которых она лишена в своем одиночестве.

Все напрасно! Ребенок не движется у нее на руках, не движется лодка на поверхности озера; но прекрасная душа Оттилии и здесь не оставляет ее без помощи. Она обращается к небу. Стоя в лодке, она опускается на колени и обеими руками подымает окоченевшего ребенка над своей невинной грудью, которая белизной и — увы! — холодностью напоминает мрамор. Подняв к небу влажный взор, она взывает о

помощи, ожидая ее оттуда, где нежное сердце надеется найти всю безмерность блага, когда кругом иссякло все.

И не напрасно она обращается к звездам, которые поодиночке уже начинают мерцать. Подымается легкий ветерок и гонит лодку к платанам.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Она спешит к новому дому, зовет лекаря, передает ему ребенка. Тот, не теряя присутствия духа, испытывает привычные средства, применяя их одно за другим к этому нежному мертвому телу. Оттилия во всем помогает ему; она все приносит, подает, хлопочет, но словно блуждая в ином мире, ибо величайшее несчастье, как и величайшее счастье, изменяет облик всех предметов, и только когда после всех попыток этот славный человек качает головой и на ее вопросы, проникнутые надеждой, сперва молчит, а потом тихо произносит «нет», она покидает спальню Шарлотты, где все это происходило, и, едва достигнув гостиной, в полном изнеможении падает, не дойдя до дивана, лицом на ковер.

В эту минуту слышали, как подъехала Шарлотта. Лекарь настоятельно просит всех окружающих остаться здесь, сам он хочет выйти ей навстречу, подготовить ее, но она уже входит в комнату. Она видит Оттилию, лежащую на полу, а одна из горничных бросается навстречу ей с криком и плачем. Тут входит лекарь, и она сразу узнает все. Но неужели она сразу откажется от всякой надежды! Этот опытный, искусный и умный лекарь просит ее об одном — не смотреть на ребенка; он же удалется, чтобы обмануть ее новыми попытками оживить его. Она села на диван, Оттилия все еще лежит на полу, но уже склонив свою прекрасную голову на колени подруги. Сострадательный врач то приходит, то уходит; заботы его как будто направлены на ребенка, на самом же деле он заботится о женщинах. Так наступает полночь, мертвая тишина становится все глубже. Шарлотта более не скрывает от себя, что ребенка не вернуть к жизни; она хочет его видеть. Опрятно завернутого в теплые шерстяные одеяла, его положили в корзину, которую и ставят рядом с ней на диване; видно только личико: вот он лежит, спокойный и прекрасный.

Весть о несчастье вскоре взволновала и деревню, а там донеслась до гостиницы. Майор поднялся на холм по знакомым дорожкам; он обошел вокруг дома и, остановив одного

из слуг, бежавшего за чем-то в пристройку, получил от него более подробные сведения и велел вызвать лекаря. Тот вышел, удивленный появлением своего прежнего покровителя, рассказал ему о положении и взялся подготовить Шарлотту к свиданию с ним. Он вернулся в дом, начал разговор издали, переводя воображение Шарлотты с одного предмета на другой, пока наконец не напомнил ей о друге, о его неизменном участии, о его близости по духу, по образу мыслей, которая тут же вскоре оказалась и близостью в прямом смысле. Словом, она узнала, что друг желает ее видеть.

Майор вошел; Шарлотта встретила его скорбной улыбкой. Он стоял перед нею. Она приподняла зеленое шелковое одеяло, которым был прикрыт труп, и при тусклом свете свечи он не без тайного содрогания увидел свое застывшее подобие. Шарлотта указала ему на стул, и так они молча, друг против друга, просидели всю ночь. Оттилия все еще спокойно лежала на коленях у Шарлотты, она тихо дышала — спала или казалась спящей.

Забрезжило утро, свеча погасла, Шарлотта и ее друг словно пробудились от тяжелого сна. Она посмотрела на майора и спокойным тоном спросила:

— Объясните мне, друг мой, какими судьбами вы явились сюда, чтобы принять участие в этой печальной сцене?

— Сейчас, — отвечал майор голосом таким же тихим, каким она задала вопрос, словно они не хотели разбудить Оттилию, — сейчас не время и не место прибегать к умолчаниям, делать вступления и лишь постепенно переходить к сущности дела. Несчастье, в котором я вас застаю, так ужасно, что важный повод, по которому я приехал к вам, теряет перед ним все свое значение.

И он вполне спокойно и просто признался ей, в чем цель его миссии, как ее представляет себе Эдуард, и что значит его приезд, который был продиктован и свободной его волей, и собственным его интересом. То и другое он изложил с величайшей почтительностью, но в то же время и с полной откровенностью; Шарлотта слушала его спокойно, не выражая ни удивления, ни досады.

Когда майор кончил, Шарлотта ответила ему так тихо, что ему пришлось придвинуть свой стул, чтобы слышать ее слова:

— В таком положении, как сейчас, я еще не была никогда, но в случаях сколько-нибудь похожих я всегда себя спрашивала: что будет завтра? Я прекрасно чувствую, что



сейчас в моих руках судьба нескольких человек, и то, что я должна сделать, не вызывает у меня ни малейшего сомнения, и я сейчас же это скажу. Да, я согласна на развод. Мне следовало раньше на него решиться; своей нерешительностью, своим сопротивлением я убила ребенка. Есть вещи, на которых судьба настаивает упорно. Напрасно преграждают ей дорогу разум и добродетель, долг и все, что есть в мире святого; должно случиться то, что она считает правильным, что нам не кажется правильным, но в конце концов она добивается своего, что бы мы ни затевали.

Ах, что я говорю! Судьба хочет снова привести в исполнение мое же собственное намерение, мое желание, наперекор которому я совершила свой необдуманный шаг. Разве Оттилия и Эдуард не казались мне самой подходящей парой? Разве я не пыталась их сблизить? Разве сами вы, мой друг, не знали об этом плане? Так почему же я не умела отличить мужское упрямство от истинной любви? Почему отдала ему руку, если я, оставаясь ему другом, могла сделать счастливым и его, и другую женщину? Взгляните только на эту несчастную, что дремлет здесь! Я трепещу той минуты, когда от сна, похожего на смерть, она вернется к действительности. Как ей жить, как ей утешиться, если у нее нет надежды своей любовью вернуть ему то, что она у него отняла, явившись орудием в руках необычайной случайности? А она все может ему возратить,— так сильно, так страстно она его любит. Если любовь все может вытерпеть, то тем более она может все возратить. Обо мне же теперь нечего и думать.

Уходите незаметно, дорогой майор! Скажите Эдуарду, что я согласна на развод, что вести это дело я предоставляю ему, вам, Митлеру, что мое будущее положение меня несколько не заботит и я спокойна за него во всех отношениях. Я подпишу любую бумагу; которую мне принесут,— пусть только не требуют от меня, чтобы я тоже что-то делала, обдумывала, обсуждала.

Майор встал. Она протянула ему руку над головой Оттилии. Он прижал эту милую руку к своим губам.

— А я? На что надеяться мне? — прошептал он совсем тихо.

— Ответ пусть будет еще за мною,— промолвила Шарлотта.— Мы не виноваты и не заслужили несчастья, но и не заслужили того, чтобы жить счастливо вместе.

Майор удалился, всей душой сострадав Шарлотте, но не будучи в силах жалеть о бедном умершем ребенке. Эта

жертва казалась ему неизбежной для их общего счастья. Ему представлялась Оттилия с собственным младенцем на руках, вернувшая Эдуарду все, что у него отняла; ему представилось, как и сам он будет держать на коленях сына, который с большим правом, чем умершее дитя, будет напоминать его всеми своими чертами.

Эти радостные надежды и образы встали перед его душой, когда он на обратном пути в гостиницу встретил Эдуарда, который всю ночь прождал его под открытым небом, тщетно надеясь, что огненный сигнал или пушечный гром возвестят ему о счастливом исходе. Он уже знал о несчастье и, тоже не жалея о бедном существе, видел в этом случае, хотя и не хотел бы в том себе признаться, вмешательство судьбы, сразу устранявшее все препятствия на пути к его счастью. Поэтому майору, который сообщил ему о решении жены, нетрудно было убедить его вернуться в деревню, а потом и в городок, чтобы там обсудить дело и предпринять первые шаги.

Шарлотта, после того как ее оставил майор, лишь несколько минут просидела, погруженная в свои мысли: Оттилия встала, устремив на подругу взгляд своих больших глаз. Сперва она подняла голову с ее колен, потом поднялась с пола и встала перед Шарлоттой.

— Уже во второй раз, — так начала девушка, и в тоне, которым она говорила, было неотразимое очарование, — во второй раз со мной случается то же самое. Ты как-то говорила мне, что в человеческой жизни повторяется порою то же самое и при одинаковых обстоятельствах. Теперь я вижу, как это правильно, и должна сделать тебе одно признание. Как-то раз, вскоре после смерти моей матери, я, тогда еще маленькая девочка, придвинула мою скамеечку к тебе; ты сидела на диване, как сейчас; моя голова лежала у тебя на коленях, я не спала, но и не бодрствовала, я полудремала. Я слышала все, что происходило вокруг меня, особенно же отчетливо все разговоры, но я не в силах была пошевелиться, что-нибудь сказать; даже если бы я хотела, я не могла бы дать понять, что нахожусь в полном сознании. Ты в тот раз разговаривала обо мне с одной подругой; ты жалела обо мне, бедной сироте, что осталась на свете одна; ты говорила о том, в каком зависимом положении я буду находиться и как плохо мне придется, если надо мной не воссияет некая счастливая звезда. Я верно и точно, быть может, слишком точно, запомнила то, чего ты, казалось, желала для меня, чего от меня требовала. По моим тогдашним скудным понятиям я составила себе из всего этого

законы поведения; по ним я долго жила, с ними считалась во всем, что делала, в то время когда ты любила меня, заботилась обо мне, когда взяла меня в свой дом, да еще и некоторое время спустя.

Но я сошла с моего пути, я нарушила мои законы и даже перестала их сознавать; и вот после этого страшного события ты снова открываешь мне глаза на мое положение, которое много плачевнее, чем тогда. Лежа у тебя на коленях, полуокаменев, я вдруг как бы из иного мира вновь слышу над собой твой тихий голос; я слышу и узнаю, что должна думать о себе; мне страшно самой себя, но так же, как и в тот раз, я в этом сне, похожем на смерть, увидела для себя новый путь.

Как и тогда, я приняла решение, а что я решила, ты сейчас узнаешь. Никогда не буду я принадлежать Эдуарду! Бог страшным образом раскрыл мне глаза на мое преступление. Я хочу его искупить, и пусть никто не пытается удержать меня! Ты, дорогая моя, милая моя, посчитайся с этим. Верни майора, напиши ему, чтобы он не предпринимал никаких шагов. Как я томила, что не могла ни двинуться, ни пошевелиться, когда он уходил. Мне хотелось подняться, закричать; ты не должна была отпускать его с такими кощунственными надеждами...

Шарлотта и видела и чувствовала, в каком состоянии находится Оттилия, но она надеялась, что время и увещания окажут на нее свое действие. Однако, когда она попробовала заговорить о будущем, о надежде, о том, что и горе смягчается, Оттилия с жаром воскликнула:

— Нет! Не пытайтесь меня поколебать, не пытайтесь меня обмануть! В тот миг, когда я узнаю, что ты согласилась на развод, я в том же озере искуплю мою вину, мое преступление.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Если в счастливую и мирную пору совместной жизни родные, друзья, домочадцы даже больше, чем это нужно, толкуют о том, что вокруг них происходит или должно произойти, по многу раз сообщают друг другу о своих намерениях, начинаниях, занятиях, и, хоть прямо и не советуясь, все же как бы постоянно совещаются обо всех житейских делах, то, напротив, в обстоятельствах чрезвычайных, где, казалось бы,

человек более всего нуждается в чьей-либо помощи и поддержке, каждый сосредоточивается в самом себе, стремится действовать самостоятельно, поступать по-своему и, скрывая средства, какими он пользуется, делает общим достоянием лишь исход, лишь достигнутую цель, лишь конечный результат.

В жизни обеих подруг после стольких необычайных и печальных событий наступило задумчиво-строгое затишье, и они бережно и ласково заботились друг о друге. Шарлотта велела незаметно перенести гробик в придел церкви. Там покоился младенец, первая жертва зловещего рока.

Шарлотта, насколько то было в ее силах, вернулась к жизненным заботам, и Оттилия была первой, кто нуждался в ее поддержке. На нее она обратила все свое внимание, но не давала ей этого заметить. Она знала, с какой силой эта дивная девушка любит Эдуарда; мало-помалу она выяснила, как протекала сцена, предшествовавшая несчастью, и узнала все ее подробности частью от самой Оттилии, частью из писем майора.

Оттилия, со своей стороны, значительно облегчала Шарлотте повседневную жизнь. Она была откровенна, даже разговорчива и только никогда не говорила о настоящем или о недавнем прошлом. Она все умела замечать, всегда была наблюдательна и много знала, — теперь все это обнаружилось. Она занимала и развлекала Шарлотту, еще лелеявшую тайную надежду соединить эту милую ей чету.

Но не таково было состояние Оттилии. Тайну своего жизненного пути она открыла подруге; она отрешилась теперь от давней своей скованности, от привычки к подчинению. Благодаря своему раскаянию, благодаря своей решимости она чувствовала себя освобожденной и от бремени своей вины, своей несчастной судьбы. Ей уже не требовалось усилия над собой; она в глубине сердца простила себя только под условием полного самоотречения, и это условие было для нее нерушимо навечно.

Так прошло некоторое время. Шарлотта чувствовала, что дом, и парк, и озеро, и группы скал и деревьев ежедневно оживляют в них обеих лишь скорбные воспоминания. Что им надо переменить место — было ясно. Но как это сделать, решить было нелегко.

Остаться ли им обоим вместе? Первоначальное желание Эдуарда как будто требовало этого, к этому вынуждали его письма, его угрозы. Но как было не признать, что, несмотря

на всю их добрую волю, все их благоразумие, все их усилия, им обоим было мучительно жить друг подле друга. В разговоре они многого избегали касаться. Порою хотелось понять что-нибудь лишь наполовину, но чаще какое-нибудь выражение истолковывалось ложно, — если не рассудком, то чувством. Обе боялись причинить друг другу боль, но эта-то боязнь прежде всего и была ранима и ранила сама.

Но если решиться на перемену места и вместе с тем хотя бы на краткую разлуку, то как тут не встать старому вопросу, куда отправить Оттилию? То знатное и богатое семейство, о котором была уже речь, по-прежнему искало для единственной наследницы, подающей такие надежды, занимательных и одаренных подруг. Еще во время последнего пребывания, а потом и в письмах баронесса предлагала Шарлотте послать туда Оттилию; теперь Шарлотта снова заговорила об этом с Оттилией. Но та решительно отказалась ехать туда, где она бы встретилась с тем, что принято называть большим светом.

— Чтобы мне не показаться тупой или упрямой, — промолвила она, — позвольте мне, дорогая тетя, сказать то, о чем при других обстоятельствах я считала бы нужным умолчать... Человек исключительно несчастный, даже если он ни в чем и не повинен, отмечен страшной печатью. Во всех, кто его видит, кто его замечает, его присутствие возбуждает какой-то ужас. Любою словно подмечает в нем следы страшного бремени, которое на него легло; любому человеку и жутко и любопытно. Так дом или город, где совершилось чудовищное деяние, внушает боязнь всякому, кто входит в него. Там и дневной свет не так ярок, и звезды словно теряют свой блеск.

До каких пределов, — впрочем, быть может, извинительных, — доходят по отношению к таким несчастным нескромность людей, их глупая назойливость и бестолковое добродушие! Простите мне, что я так говорю, но нельзя и поверить, сколько я выстрадала с той бедной девушкой, которую Люциана привела из дальних комнат, куда она забилась, обласкала ее и с лучшими намерениями хотела приохотить к играм и танцам. Когда бедное дитя, все более и более мучаясь, бросилось наконец бежать и лишилось чувств, я же подхватила ее на руки, а все гости в страхе и возбуждении с таким любопытством смотрели на несчастную, я, право, не думала, что и мне предстоит сходная участь; мое сочувствие к ней, искреннее и страстное, живо во мне и посейчас. Теперь я свое

сострадание могу обратить на себя и должна остеречься, как бы и мне не попасть в подобное положение.

— Но ты, милое дитя,— возразила Шарлотта,— нигде не сможешь укрыться от людских взоров. У нас нет монастырей, где раньше находили себе пристанище чувства, подобные твоим.

— Уединение — не пристанище, дорогая тетя,— отвечала Оттилия.— Самое лучшее пристанище там, где мы можем быть деятельными. Никакие покаяния, никакие лишения не спасут нас от зловещего рока, если он решился преследовать нас. Свет противен мне и страшен, если, ничем не занятая, я должна быть выставлена ему напоказ. Но за работой, радостной для меня, неутомимо исполняя мой долг, я выдержу взоры всякого человека, потому что взора божьего могу не бояться.

— Или я очень ошибаюсь,— сказала Шарлотта,— или тебя влечет вернуться в твой пансион.

— Да,— отвечала Оттилия,— не стану это отрицать; мне счастливым кажется тот, кто призван воспитывать других обычным путем, в то время как сам прошел необычайнейший. Разве мы не знаем из истории, что людям, которые после великих нравственных потрясений удалялись в пустыню, все не удавалось укрыться, как они надеялись, найти себе там приют. Их снова призывали в мир, чтобы наставлять заблудших на путь истинный. А кто мог бы успешнее это сделать, как не они, уже посвященные в тайны жизненных заблуждений! Их призывали на помощь несчастным, и никто не был бы в силах оказывать лучшую помощь, как те, кого уже не могли постичь земные беды.

— Ты избираешь необычное призвание,— ответила Шарлотта.— Я не буду тебе мешать; пусть будет так, хотя бы, как я надеюсь, и на короткое время.

— Как я благодарна вам,— сказала Оттилия,— что вы позволяете мне сделать эту попытку, этот опыт. Если я не слишком обольщаюсь, это должно мне удасться. Я буду вспоминать о том, скольким испытаниям я там подвергалась и как малы, как ничтожны они были в сравнении с теми, которые мне пришлось перенести впоследствии. Как весело я буду смотреть на смущение юных питомиц, улыбаться их детским горестям и нежной рукой выводить их из маленьких заблуждений. Счастливый не создан управлять счастливыми; человеку свойственно тем больше требовать и от себя и от других, чем больше ему дается. Лишь несчастный, оправившийся

после потрясения, может в себе и в других развить сознание того, что и умеренными благами надо уметь наслаждаться.

— Позволь мне,— сказала после некоторого раздумья Шарлотта,— сделать только одно возражение против твоего плана, самое существенное, на мой взгляд. Тебе известны мысли твоего доброго наставника, умного и скромного. Вступив на путь, который ты избрала, ты будешь с каждым днем становиться для него дороже и необходимее. Если ему, судя по его чувствам, уже и сейчас трудно жить без тебя, то в дальнейшем, раз привыкнув к твоей помощи, он без тебя совсем не сможет заниматься своим делом. Ты будешь сперва помогать ему в его деятельности, чтобы она потом сделалась для него источником страдания.

— Судьба обошлась со мной немилостиво,— отвечала Оттилия,— и тот, кто меня любит, может быть, и не должен ждать для себя ничего лучшего. Этот друг так добр и умен, что в нем, надеюсь, разовьется столь же чистое чувство ко мне; он будет видеть во мне существо, отмеченное печатью провидения, существо, способное, быть может, и от себя и от других отвратить злое бедствие, но только благодаря тому, что оно посвятило себя тому святому, незримо нас окружающему, которое одно может оградить нас от грозных и враждебных сил...

Все, что милая девушка выразила с таким сердечным чувством, Шарлотта решила глубоко обдумать. Она всячески, хоть и самым осторожным образом, пыталась выведать, осуществимо ли сближение Оттилии с Эдуардом, однако и самое незаметное упоминание, самое слабое обнадеживание, малейшее подозрение, по-видимому, до глубины души задевало Оттилию; а однажды, когда это казалось неизбежным, она сказала об этом с полной ясностью.

— Если,— ответила ей Шарлотта,— твое решение отказаться от Эдуарда так твердо и неизменно, то остерегайся лишь одной опасности — свидания с ним. Вдали от любимого мы тем лучше владем собою, чем глубже к нему наше чувство; тогда мы таим в себе всю силу страсти, которая раньше обращалась вовне. Но как быстро, как мгновенно рассеивается наше заблуждение, когда человек, без которого, как нам казалось, мы могли жить, вдруг снова встает перед нами, и жить без него мы уже не можем. Делай же теперь то, что считаешь самым уместным при нынешнем своем состоянии; проверь себя, лучше даже измени свое нынешнее решение, но

только совершенно свободно, только так, как скажет твое сердце. Не допускай, чтобы случайность или неожиданность снова втянули тебя в прежнее положение; тогда в твоей душе воцарится невыносимый разлад. Как я уже сказала, прежде нежели ты сделаешь этот шаг, прежде нежели ты уедешь от меня и начнешь новую жизнь, которая приведет тебя бог весть на какие пути, подумай еще раз, в самом ли деле ты можешь навсегда отказаться от Эдуарда. Но если ты решишься на это, дай мне слово, что ты не вступишь с ним ни в какие сношения, даже в разговор, хотя бы он и отыскал тебя, хотя бы стал добиваться с тобою встречи.

Оттилия, ни на миг не задумавшись, дала Шарлотте обещание, которое она уже раньше дала самой себе.

Но и теперь еще душу Шарлотты смущала угроза Эдуарда, что он готов отказаться от Оттилии лишь до той поры, пока она не разлучится с Шарлоттой. С тех пор, правда, обстоятельства так изменились, произошло столько событий, что слова эти, вырвавшиеся тогда под влиянием минуты, можно было бы считать утратившими всякое значение для дальнейшего, но все же она не хотела ни решиться на что бы то ни было, ни тем менее что-либо предпринять, если бы это могло хоть самым отдаленным образом его оскорбить, и Митлеру пришлось взять на себя задачу выведать мысли Эдуарда на этот счет.

После смерти ребенка Митлер часто, хоть и очень ненадолго, заезжал к Шарлотте. Несчастье сильно на него подействовало, и воссоединение супругов представлялось ему теперь маловероятным, но, по самому складу своего характера продолжая надеяться и добиваться, он теперь радовался про себя решению, принятому Оттилией. Он верил в целительную силу времени, все еще думая снова сблизить супругов, а на эти страстные порывы смотрел лишь как на испытания супружеской любви и верности.

Шарлотта сразу же, как только Оттилия впервые сказала о своем решении, написала майору, настоятельно прося его повлиять на Эдуарда, чтобы тот не предпринимал новых шагов и держался спокойно, выжидая, не восстановится ли душевное равновесие милой девушки. Сообщала она все необходимое и о дальнейших новостях и намерениях, и, спору нет, на Митлера возложено было трудное поручение подготовить Эдуарда к тому, что положение изменилось. Митлер же, хорошо зная, что мы легче миримся с переменами, уже совершившимися, чем даем согласие на перемены, еще предстоя-



щие, убедил Шарлотту, что всего лучше тотчас же отправить Оттилию в пансион.

Поэтому, как только он уехал, начались приготовления к дороге. Оттилия стала укладываться, и Шарлотта заметила, что та не собирается взять с собою ни сундучок, ни что бы то ни было из вещей, в нем находящихся. Она промолчала, предоставляя девушке делать, что ей угодно. Приближался день отъезда. Карета Шарлотты должна была в первый день отвезти Оттилию до знакомого ночлега, а на второй — до пансиона; Нанни ее сопровождала с тем, чтобы остаться при ней в служанках. Пылкая девочка тотчас после смерти ребенка вернулась к Оттилии и по-прежнему всем своим существом, всей душой была привязана к ней; развлекая разговорами любимую госпожу, она как будто стремилась загладить происшедшее и всецело посвятить себя ей. Она была вне себя от счастья, что едет с нею и увидит новые места, так как до тех пор ни разу еще не уезжала со своей родины. Она тут же понеслась из замка в деревню рассказать о своей радости родителям и родственникам и заодно с ними попрощаться. К несчастью, она попутно забежала в комнату, где лежали больные корью, и, конечно, тут же заразилась. Путешествие не хотели откладывать. Оттилия сама на этом настаивала; она уже ездила этой дорогой и знала хозяев гостиницы, где собиралась остановиться; вез ее кучер Шарлотты, опасаться было нечего.

Шарлотта не возражала; мысленно и она спешила уже прочь из этих мест и хотела только приготовить для Эдуарда те комнаты замка, где жила Оттилия, и привести их в точно такой же вид, какой они имели до приезда капитана. Надежда возродить былое счастье нет-нет да и вспыхивает в человеке, а Шарлотта имела право питать такую надежду, да и сами обстоятельства ее на это наталкивали.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Митлер, прибывший для переговоров с Эдуардом, застал его в одиночестве. Облокотившись на стол, Эдуард правой рукой поддерживал голову. Он, видимо, очень страдал.

— Вас опять мучает головная боль? — спросил Митлер.

— Да, она мучает меня, — ответил Эдуард, — но я не в силах сетовать на нее: она мне напоминает об Оттилии. Может быть, — думается мне, — и она сейчас страдает, склонив голо-

ву на левую руку, и, верно, даже сильнее, чем я. Да почему бы мне и не терпеть эту боль, как она? Эти страдания для меня целительны, скажу больше — желанны; ибо так мне тем ярче, тем отчетливее и живее представляется ее терпение, а вместе с ним и другие ее добродетели; только в страдании мы по-настоящему и познаем те великие качества, которые необходимы, чтобы переносить его.

Митлер, увидев, что друг его настолько смирился перед судьбой, немедленно приступил к порученному делу, которое, однако, изложил постепенно, в исторической последовательности, начав с того, какая мысль возникла у Шарлотты и Оттилии, рассказал, как она мало-помалу созрела в намерение. Эдуард почти не делал замечаний. Из немногих слов, сказанных им, по-видимому, явствовало, что он все предоставляет на их усмотрение, мучившая его в это время боль как будто сделала его безразличным ко всему остальному.

Но едва он остался один, как вскочил и стал ходить по комнате. Он больше не чувствовал своей боли, он весь был поглощен другим. Воображение влюбленного разыгралось еще во время рассказа Митлера. Он увидел Оттилию, одну или все равно что одну, на хорошо знакомой дороге, в привычной для него гостинице, в комнатах которой ему так часто случалось бывать; он думал, соображал, или, вернее, ничего не думал, ничего не соображал, а только страстно желал. Он должен был увидеться, поговорить с нею. Зачем, почему, что из этого должно было произойти, об этом он не думал. Он не пересиливал себя, он отдался течению.

Камердинер, посвященный в его намерения, немедленно выведал день и час отъезда Оттилии. Настало утро; Эдуард, никем не сопровождаемый, верхом поспешил туда, где должна была остановиться Оттилия. Он прибыл более чем заблаговременно; хозяйка, удивленная его внезапным приездом, радостно встретила его, — она была ему обязана большой семейной радостью: Эдуард выхлопотал знак отличия ее сыну-солдату, проявившему в бою большую храбрость; он сделал известным его подвиг, которому был единственным свидетелем, и сообщил о нем самому полководцу, преодолев препятствия, чинимые некоторыми недоброжелателями. Она не знала, чем угодить ему. Она поспешила по возможности прибратъ в туалетной комнате, служившей, впрочем, и гардеробной и кладовой, но он объявил ей о предстоящем приезде одной дамы, которая остановится тут, а для себя просил наскоро приготовить комнатку сзади, выходящую в кори-

дор. Хозяйке все это показалось таинственным, но ей было приятно услужить благодетелю, проявившему столь большой интерес к приготовлениям и принявшему в них самое деятельное участие. А он! С какими чувствами провел он время, тянувшееся так долго, до наступления вечера! Он оглядывал комнату, в которой должен был увидеть Оттилию; во всей своей необычной простоте она представлялась ему райской сенью. Чего только он не передумал, — поразить ли ему Оттилию неожиданностью или лучше предупредить ее? Это последнее решение в конце концов и восторжествовало: он сел и стал писать. Вот листок, который она должна была получить.

### ЭДУАРД — ОТТИЛИИ

В то время как ты, моя любимая, будешь читать это письмо, я буду близко от тебя. Не пугайся, не приходи в ужас; тебе нечего меня бояться. Я не стану вторгаться к тебе. Ты увидишь меня, только когда сама на то решишься.

Но прежде обдумай хорошенько и твое и мое положение. Как благодарен я тебе, что ты еще не сделала решительного шага; впрочем, и тот, который ты предприняла, достаточно серьезен. Не делай же его! Здесь, на этом необычном распутье, подумай еще раз: можешь ли ты быть моей? Хочешь ли ты быть моей? О, ты бы всем оказала великое благодеяние, а мне — безмерное!

Позволь же мне снова увидеть тебя, с радостью увидеть тебя. Позволь мне самому задать сладостный вопрос и услышать ответ из сладостных уст твоих. Приди на грудь мою, Оттилия, сюда, где ты уже покоилась не раз и где всегда твое место!

Пока он писал, его охватило такое чувство, будто вожделеннейшая мечта его близка к исполнению, будто вот-вот она станет явью. «Она войдет в эту дверь, она прочтет это письмо, она, чей образ я так мечтал увидеть, здесь будет вправду стоять передо мною, как бывало раньше. Будет ли она та же, что и прежде? Не изменились ли ее облик и ее чувства?» Он все еще держал перо в руке, хотел написать то, что думал, но во двор въехала карета. Он, торопясь, приписал: «Я слышу, как ты подъехала. Прощай на один миг!»

Он сложил письмо, надписал; запечатывать было уже поздно. Он бросился в комнатку, откуда был выход в коридор,

и вдруг вспомнил, что оставил на столе часы с печатью. Оттилия не должна была сразу же увидеть их; он бросился назад и благополучно успел их унести. Из передней уже доносились шаги хозяйки, которая шла проводить приезжую в ее комнату. Он поспешил к себе, но дверь в комнатку захлопнул. Он давеча второпях уронил торчавший в ней ключ, который теперь лежал внутри, за дверью; замок зашелкнулся, и Эдуард стоял, прикованный к месту. Он с силой нажимал на дверь — она не подавалась. О, как бы он хотел проскользнуть в щель, словно бесплотный дух! Но тщетно! Он прильнул лицом к дверному косяку. Оттилия вошла, хозяйка же, увидев Эдуарда, удалилась. Он уже не мог укрыться от Оттилии. Он повернулся к ней, и вот любящие вновь таким странным образом оказались лицом к лицу. Она спокойно и серьезно смотрела на него, не делая ни одного шага ни вперед, ни назад, а когда он хотел подойти к ней, на несколько шагов отступила к столу. Он тоже отступил.

— Оттилия, — воскликнул он тогда, — позволь мне прервать это страшное молчание! Неужели мы тени, стоящие друг против друга? Но прежде всего выслушай меня! Ты лишь случайно застала меня здесь. Возле тебя лежит письмо, которое должно было тебя предупредить. Прочитай его, прошу тебя, прочитай! И тогда реши, что найдешь возможным.

Она взглянула на письмо и после недолгого раздумья взяла его, развернула и прочла. Выражение ее лица не изменилось, пока она читала; затем она тихонько отложила письмо в сторону, подняла руки над головой, сложила ладони и, прижав их к груди, чуть-чуть наклонила вперед, бросив на просящего такой взгляд, что он не мог не отказаться от всякого требования, всякого желанья. Этот жест растерзал его сердце. Он не мог вынести вида, позы Оттилии. Казалось, она падет на колени, если он будет настаивать. В отчаянии он бросился из комнаты и послал к Оттилии хозяйку, чтобы не оставлять ее одну.

Он ходил по передней взад и вперед. Настала ночь, в комнате была тишина. Наконец вышла хозяйка и достала упавший ключ. Добрая женщина была взволнована, смущена, она не знала, что ей делать. Собираясь уходить, она протянула ключ Эдуарду, но он не согласился его принять. Она оставила свечу и удалилась.

Эдуард в глубочайшей тоске припал к порогу комнаты, где была Оттилия, и оросил его слезами. Вряд ли когда-нибудь

двое любящих проводили более горестную ночь в столь близком соседстве.

Рассвело; кучер торопился ехать, хозяйка отперла комнату и вошла в нее. Она увидела, что Оттилия спит, не раздевшись, вернулась назад и кивнула Эдуарду, участливо ему улыбнувшись. Оба вошли к спящей, но и это зрелище было для Эдуарда нестерпимым. Хозяйка не решалась разбудить покоящуюся девушку и села против нее. Наконец Оттилия открыла свои прекрасные глаза и поднялась с постели. От завтрака она отказывается, и в это время к ней входит Эдуард. Он настойчиво просит ее сказать хоть слово, объявить свою волю; он клянется, что подчинится ее воле во всем; но она молчит. Он ласково и настойчиво еще раз спрашивает ее, хочет ли она принадлежать ему. Как очаровательно, потупив взор, она качает головой в знак отказа! Он спрашивает ее, хочет ли она ехать в пансион. Она равнодушно делает знак отрицания. Когда же он спрашивает, не будет ли ему позволено отвезти ее назад, к Шарлотте, она в знак согласия решительно кивает головой. Он спешит к окну дать приказания кучеру, но она с быстротой молнии бросается вон из комнаты, спускается с лестницы и садится в карету. Кучер везет ее назад, к замку; Эдуард на некотором расстоянии следует верхом за каретой.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Как удивилась Шарлотта, когда увидела Оттилию, въехавшую во двор замка, и тотчас вслед за нею примчавшегося верхом Эдуарда. Она поспешила к дверям: Оттилия выходит из кареты и приближается к ней с Эдуардом. В страстном порыве она с силой хватает супругов за руки, соединяет их и убегает к себе в комнату. Эдуард бросается к Шарлотте на шею, обливаясь слезами; он ничего не может объяснить, просит быть терпеливой с ним, позаботиться об Оттилии, помочь ей. Шарлотта спешит в комнату к Оттилии и вздрагивает, войдя в нее; все вынесено — одни только голые стены. Комната стала просторной и неудобной. Все вещи уже успели убрать, оставили посередине комнаты только сундучок, не зная, где найти ему место. Оттилия лежит на полу, положив голову и руки на сундучок. Шарлотта хлопочет над ней, спрашивает, что произошло, и не получает ответа.

Она оставляет при ней свою горничную, принесшую завтрак, и спешит к Эдуарду. Она находит его в зале, но и от

него ничего не может добиться. Он бросается перед ней на колени, омывает слезами ее руки и убегает в свою комнату; когда она спешит ему вслед, навстречу ей попадается его камердинер, который сообщает ей все, что было ему известно. Остальное она мысленно дополняет сама и тотчас же решительно принимается за то, чего требует настоящая минута. Комната Оттилии немедленно приводится в порядок. Свои покои Эдуард нашел такими, какими он их оставил, — до последнего клочка бумаги.

И вот все трое — под одним кровом, но Оттилия продолжает молчать, а Эдуард только и в силах просить жену хранить терпение, которого ему, очевидно, уже недостает. Шарлотта шлет гонцов к Митлеру и майору; первого не застают, второй приезжает. Ему-то Эдуард и изливает душу, признается во всем — до малейшей подробности; так Шарлотта узнает обо всем, что случилось, что столь резко изменило положение вещей и внесло смуту в их души.

Ласково и любовно говорит она со своим мужем, прося его только об одном, — чтобы он покуда оставил девушку в покое. Эдуард сознает все достоинства, всю любовь, все благоразумие своей жены, но страсть владеет им всецело. Шарлотта обнадеживает его, обещает дать согласие на развод. Он не верит; он так болен, что вслед за надеждой его покидает и вера; он настаивает, чтобы Шарлотта обещала свою руку майору, впадает в безумную раздражительность. Стараясь смягчить и успокоить его сердце, Шарлотта исполняет и это требование. Она обещает майору свою руку, лишь только Оттилия решится на брак с Эдуардом, однако ставит непременно условием, чтобы сперва мужчины отправились вместе путешествовать. Майору дано от его двора поручение за границу. Эдуард обещает сопутствовать ему. Начинаются приготовления, и все слегка успокаиваются, так как теперь, по крайней мере, хоть что-то делается.

Между тем все замечают, что Оттилия почти ничего не ест и не пьет, по-прежнему храня упорное молчание. На нее пытаются действовать убеждением, она приходит в тревожное состояние, и попытку бросают. Ведь почти всем нам свойственна такая слабость: мы и для блага человека не захотим его мучить. Шарлотта перебрала в уме все средства и наконец напала на мысль пригласить из пансиона помощника начальницы, который имел на Оттилию сильное влияние; узнав, что она не приедет, он написал ей участливое письмо, оставшееся, однако, без ответа.

Чтобы не поразить Оттилию возможностью его приезда, об этом плане заводят речь в ее присутствии. Она, видимо, не соглашается и впадает в раздумье; но вот в ней как будто созревает решение, она спешит к себе в комнату и еще до наступления вечера шлет собравшимся такую записку:

### ОТТИЛИЯ — ДРУЗЬЯМ

К чему, мои дорогие, прямо высказывать то, что само собой разумеется? Я сошла с моего пути и больше мне на него не вернуться. Какой-то демон, захвативший власть надо мною, будет чинить мне внешние преграды, даже если я в душе найду примирение с собой.

Мое намерение отказаться от Эдуарда, удалиться от него было честно. Я надеялась, что больше не встречу с ним. Случилось иначе: он сам, против воли своей, предстал передо мной. Мое обещание не вступать с ним в переговоры я, быть может, поняла и истолковала слишком дословно. Чувство и совесть в ту минуту внушили мне молчать, я была нема в присутствии друга, а теперь мне не о чем говорить. Строгий монашеский обет, тяжелый и мучительный для того, кто дал бы его сознательно и обдуманно, я дала случайно, под давлением чувства. Позвольте же мне соблюдать его до тех пор, пока сердце мне это повелевает. Не призывайте никого в посредники! Не настаивайте, чтобы я говорила, чтобы я ела и пила больше, чем для меня необходимо. Помогите мне своей снисходительностью, своим терпением пережить это время. Я молода, а в молодости исцеление приходит порой внезапно. Терпите меня в вашем кругу, порадуйте вашей любовью, просветите вашими беседами, но душу мою предоставьте мне самой.

Путешествие обоих друзей, к которому так долго готовились, не состоялось, потому что отложено было заграничное поручение майора — так кстати для Эдуарда! Снова взбодраженный письмом Оттилии, вновь ободренный ее словами, полными утешения и надежды, приняв теперь решение ждать и дождаться, он вдруг объявил, что не уедет.

— Как безрассудно, — воскликнул он, — преднамеренно и преждевременно отбрасывать самое важное, самое необходимое, то, что еще возможно сохранить, хотя бы тебе и грозила утрата! И зачем? Лишь затем, что человек хочет казаться свободным в своих желаниях, в своем выборе. Так и я, одер-

жимый этим глупым самопением, нередко на несколько часов, даже на несколько дней ускорял свой отъезд и расставался с друзьями, лишь бы только не стать в зависимость от последнего неизбежного срока. Но нет, на сей раз я останусь. Да и почему бы мне удаляться? Разве она уже не отдалена от меня? Мне и в голову не приходит взять ее за руку, прижать к моей груди; я даже не решаюсь об этом и думать, страшусь самой мысли. Она не ушла от меня, она вознеслась надо мною.

И он остался: он этого хотел, он не мог иначе. И вправду, было ни с чем не сравнимо то сладкое чувство, какое он испытывал, находясь близ нее. Да и она продолжала испытывать то же чувство, была не в силах отказаться от этой блаженной необходимости. Как прежде, они оказывали друг на друга неопишное, почти магически-притягательное действие. Они жили под одной кровлей, и часто, даже не думая друг о друге, занятые иными делами, отвлекаемые обществом, они неизменно друг к другу приближались. Находились ли они в одной и той же зале, как уже стояли или сидели рядом. Только самая непосредственная близость успокаивала их, но зато успокаивала совершенно, и этой близости им было довольно; не нужно было им ни взгляда, ни слова, ни жеста, ни прикосновения, а лишь одно — быть вместе. И тогда это были уже не два человека, а один человек, в бессознательно полном блаженстве, довольный и собою и целым светом. И если одного из них что-то удерживало в одном конце дома, другой мало-помалу невольно к нему приближался. Жизнь была для них загадкой, решение которой они находили только вместе.

Оттилия была весела и спокойна, так что на ее счет можно было не тревожиться. Она редко удалялась от общества; настаивала лишь на том, чтобы еду ей подавали отдельно. И только Нанни прислуживала ей.

То, что обычно случается с каждым человеком, повторяется чаще, чем принято думать, ибо все это определено его природой. Характер, индивидуальность, склонности, направление развития, место, обстановка и привычки образуют в совокупности целое, в которое каждый человек погружен, как в некую стихию или атмосферу, где ему только и удобно и хорошо. И, таким образом, по прошествии многих лет мы, к нашему удивлению, находим, что те самые люди, на изменчивость которых слышится столько жалоб, не изменились, да и не поддаются изменениям после стольких внешних и внутренних воздействий.



Так и в повседневной совместной жизни наших друзей почти все двигалось по старой колее. Оттилия по-прежнему, хотя и храня молчание, выказывала свою предупредительность, всегда старалась сделать приятное; как прежде, вели себя и остальные. Тем самым весь домашний кружок являл как бы видимость прежней жизни, и было простительно самообольщение, будто все осталось по-старому.

Осенние дни, своей продолжительностью равные весенним, заставляли друзей возвращаться домой в те же часы, что и весной. Плоды и цветы, составляющие украшение этого времени года, позволяли думать, будто это осень после той первой весны; время, которое протекло с тех пор, словно позабылось. Ведь цвели те самые цветы, что были тогда посеяны; зрели плоды на тех деревьях, что тогда стояли в цвету.

Время от времени приезжал майор; часто показывался и Митлер. Общество собиралось постоянно, почти каждый вечер. Эдуард обычно читал вслух, и еще с большей выразительностью, с большим чувством, с большим совершенством и даже, если угодно, с большей живостью, чем прежде. Казалось, будто он своей веселостью, силой своего чувства хочет пробудить Оттилию от оцепенения, положить конец ее молчанию. Он, как и прежде, садился так, чтобы она могла смотреть ему в книгу, и даже приходил в беспокойство, делался рассеян, если она не смотрела в нее, если он не был уверен, что она следит взглядом за его словами.

Все печальные и тяжелые чувства той промежуточной поры рассеялись. Никто ни на кого не обижался: всякая горечь и раздражительность исчезли. Майор аккомпанировал на скрипке игре Шарлотты на фортепьяно, а флейта Эдуарда, как и прежде, гармонически сливалась с инструментом Оттилии. Близился и день рождения Эдуарда, который в прошлом году так и не довелось отпраздновать. Теперь его предполагалось отметить без всякой торжественности, запросто, в дружеском кругу. Таково на словах было общее, отчасти высказанное, отчасти молчаливое, соглашение. Но по мере того, как приближался этот день, во всем поведении, во всем облике Оттилии все более проступала какая-то праздничность, которая ранее скорее чувствовалась, чем замечалась. В саду она, по-видимому, часто осматривала цветы; садовнику она указала беречь все сорта летников и особенно долго останавливалась около астр, которые в этом году цвели в необычайном изобилии.

Всего существеннее, однако, было то обстоятельство, не ускользнувшее от пристального взгляда друзей, что Оттилия, впервые разобрав свой сундучок, довольно многое отложила, что-то выкроила и приготовила все необходимое для одного, но совершенно полного наряда. Когда же с помощью Нанни она опять уложила остальное на место, ей с этим едва удалось справиться — так туго был набит сундучок, несмотря на то, что часть вещей из него вынули. Жадная молодая служанка не могла на все это досыта насмотреться, тем более что здесь хранились и мелкие принадлежности туалета: башмаки, чулки, подвязки, перчатки, — словом, всякая всячина. Она попросила Оттилию подарить ей что-нибудь из этих вещей. Оттилия отказала, но тотчас же выдвинула один из ящиков комода, а выбирать предоставила самой девушке, которая поспешно и бестолково чего-то нахватала и сразу же убежала прочь со своей добычей, чтобы рассказать о таком счастье и все показать домочадцам.

В конце концов Оттилии удалось все уложить; тогда она открыла потайное отделение, устроенное в крышке. Там она прятала записки и письма Эдуарда, засушенные цветы — память о прежних прогулках, прядь волос возлюбленного и разное другое. Теперь она прибавила еще одну вещь — портрет отца — и заперла сундучок, ключик от которого опять надела на золотую цепочку, висевшую у нее на груди.

В сердцах друзей меж тем зашевелились надежды. Шарлотта была убеждена, что Оттилия снова заговорит в день Эдуардова рождения, ибо все это время она чем-то потихоньку занималась, проявляя какую-то радостную удовлетворенность собою и улыбаясь улыбкой, скользящей по лицу человека, который втайне готовит своим близким что-то приятное и хорошее. Никто не знал, что Оттилия часами пребывает в страшном изнеможении, лишь силою духа преодолевая его на время, когда она показывается в обществе.

Митлер появлялся теперь чаще и на более долгий срок, чем обычно. Этот упрямый человек прекрасно знал, что бывает определенная минута, когда только и можно ковать железо. Молчание Оттилии и ее отказ он истолковывал по-своему. Для развода до сих пор не предпринималось ни одного шага; судьбу доброй девушки он надеялся устроить каким-

либудь иным благоприятным образом; он прислушивался к мнениям, уступал, делал намеки и вел себя в своем роде довольно умно.

И только всякий раз, как ему представлялся повод высказывать суждения о предметах, которым он придавал особое значение, он был не в силах справиться с собою. Он много жил в одиночестве, в обществе же других привык действовать и лишь этим выражал свое к ним отношение. Но стоило ему разразиться речью в кругу друзей, и она — как мы в том не раз убеждались — текла без удержу, рая или исцеляя, принося пользу или вред, смотря по случаю.

Вечером, накануне дня рождения, Шарлотта и майор сидели в ожидании Эдуарда, который уехал куда-то верхом; Митлер ходил по комнате взад и вперед; Оттилия оставалась у себя, рассматривая наряд, приготовленный к завтрашнему дню, и давала указания служанке, прекрасно ее понимавшей и ловко выполнявшей все ее безмолвные распоряжения.

Митлер как раз затронул одну из излюбленных своих тем. Он любил утверждать, что при воспитании детей и управлении народами нет ничего более неуклюжего и варварского, как запреты, как законы и предписания, что-либо воспрепятствующие.

— Человек от природы деятелен, — говорил он, — и если ему умело приказать, он сразу же принимается за дело и исполняет его. Что касается меня, то я в моем кругу предпочитаю терпеть ошибки и пороки до тех пор, пока не смогу указать на добродетель, им противоположную, нежели устранять недостаток, не заменяя его ничем положительным. Человек, если только может, рад делать полезное, целесообразное; он делает это, лишь бы что-нибудь делать, и раздумывает об этом не больше, чем о глупых проделках, которые затевает от праздности и скуки.

До чего же мне всякий раз бывает досадно, когда приходится слышать, как заставляют детей заучивать десять заповедей. Четвертая — еще вполне сносная и благоразумная: «Чти отца твоего и мать твою». Если дети хорошенько ее зарубят на носу, то потом целый день могут упражняться в ее применении. Но вот пятая заповедь — ну что тут скажешь? «Не убий!» Словно найдется человек, у которого будет хоть малейшая охота убить другого. Люди ненавидят, негодуют, поступают опрометчиво, и вследствие всего этого, да и многого другого, может случиться, что кто-нибудь кого-нибудь и убьет. Но разве не варварство — запрещать детям смертоубийство?

Если бы говорили: «Заботься о жизни ближнего своего, удаляй все, что может быть для него пагубно, спасай его даже с опасностью для самого себя, а если ты причинишь ему вред, считай, что повредил самому себе», — вот это были бы заповеди, какие подобают просвещенным и разумным народам, хотя на уроках катехизиса, когда спрашивается: «Как сие надо понимать?» — им едва находится место.

И вот, наконец, шестая заповедь, — она, по-моему, просто отвратительна! Как? Возбуждать и предвосхищать опасными тайнами любопытство детей, направлять их раздраженную фантазию на диковинные картины и образы, которые с силой наталкивают на то, что как раз и пытаешься удалить. Куда лучше было бы предоставить какому-нибудь тайному судилищу карать по своему произволу за такие дела, чем позволять болтать о них перед лицом церкви и прихода.

В это время вошла Оттилия.

— «Не прелюбы сотвори», — продолжал Митлер, — как это грубо, как неприлично. Разве не лучше было бы сказать: «Ты должен свято чтить брачный союз; когда ты видишь любящих супругов, ты должен радоваться на них и разделять их счастье, как ты разделяешь радость солнечного дня. Если в отношениях между ними что-нибудь помрачится, ты должен стараться, чтобы они вновь прояснились; ты должен стараться умиловить, смягчить супругов, дать им ясно осознать взаимные их выгоды и высоким бескорытием способствовать благу ближних, заставляя их почувствовать, какое счастье истекает из всякой обязанности, а особенно из той, что неразрывно соединяет мужа и жену».

Шарлотта сидела как на углях, и положение тем более казалось ей тревожным, что Митлер, как она была убеждена, не соображал, где и что он говорит, но прежде, нежели ей удалось его перебить, она увидела, что Оттилия, изменяясь в лице, вышла из комнаты.

— От седьмой заповеди вы нас, надеюсь, избавите, — с деланной улыбкой сказала Шарлотта.

— От всех остальных, — ответил Митлер, — если мне удастся спасти ту, на которой основаны все остальные.

Вдруг со страшным воплем вбежала Нанни:

— Она умирает! Барышня умирает! Скорей! Скорей!

Когда Оттилия, шатаясь, вернулась в свою комнату, убор, приготовленный к завтрашнему дню, был разложен на нескольких стульях, и девочка, любясь им и переходя от предмета к предмету, весело воскликнула:

— Посмотрите, дорогая барышня, вот подвенечный наряд, который так и просится, чтобы вы его надели!

Оттилия, услышав эти слова, опустилась на диван. Нанни видит, как госпожа ее бледнеет и щепенеет; она бежит к Шарлотте. Входят в комнату; общий друг лекарь тоже спешит сюда; ему кажется, что это — только приступ слабости. Он велит принести крепкого бульона; Оттилия с отвращением отказывается от него, с нею делаются чуть ли не судороги, когда чашку подносят ей ко рту. Это заставляет его тотчас же задать строгий вопрос: что Оттилия сегодня ела? Служанка запинается; он повторяет вопрос; девочка признается, что Оттилия не ела ничего.

Ему кажется, что Нанни что-то уж слишком смущена. Он вталкивает ее в соседнюю комнату, Шарлотта идет за ними, девочка бросается на колени и признается, что Оттилия уже давно почти ничего не ест. Вместо Оттилии она, по ее требованию, съедала кушанья; молчала же потому, что боялась послушаться немых просьб и угроз своей госпожи, да и потому еще, в простоте своей прибавила она, что все это было такое вкусное.

Вошли майор и Митлер; Шарлотту они застали в хлопотах вместе с врачом. Оттилия, бледная, небесно-прекрасная, сидела в углу дивана и, казалось, была в полном сознании. Ее уговаривают прилечь: она не соглашается, но делает знак, чтобы поднесли сундучок. Она ставит на него ноги и остается в удобной полулежачей позе. Она словно прощается, жесты ее выражают нежнейшую привязанность ко всем окружающим, любовь, благодарность, мольбу о прощении и сердечное «прости».

Эдуард, сойдя с коня, узнает о случившемся, бросается в ее комнату, падает перед ней на колени и, схватив ее руку, омывает ее немymi слезами. Он долго остается так. Наконец он восклицает:

— Неужели мне больше не услышать твоего голоса? Неужели ты для меня не вернешься к жизни, чтобы сказать хоть одно слово? Пусть, пусть будет так! Я последую за тобой; там мы найдем иные слова.

Она с силой сжимает ему руку, она смотрит на него взглядом, полным жизни и любви, и, глубоко вздохнув, после немого, дивно трогательного движения губ произносит с усиленным, полным нездешней нежности:

— Обещай мне, что ты будешь жить!

— Обещаю! — восклицает он, но она уже не слышит его ответа: она мертва.

После ночи, проведенной в слезах, на долю Шарлотты выпала работа о погребении дорогих останков. Ей помогали майор и Митлер. Состояние Эдуарда было самое плачевное. Едва опомнившись от пароксизма отчаяния и немного придя в себя, он начал настаивать на том, чтобы Оттилию не уносили из замка, чтобы о ней продолжали заботиться, ухаживали за ней, обращались с ней, как с живой, ибо она не умерла, не могла умереть. Волю его исполнили, воздержавшись, по крайней мере, от того, что он запретил. Видеть ее он не порывался.

Но прибавился еще новый повод для опасения, новая работа появилась у друзей. Нанни, которую врач выбрал для всею резкостью, угрозами заставил признаться, а потом осыпал упреками, убежала. После долгих поисков ее нашли: она, казалось, лишилась рассудка. Родители взяли ее к себе. Даже самое ласковое обращение не действовало на нее, ее пришлось запереть, потому что она грозилась снова убежать.

Эдуарда постепенно удалось вывести из состояния отчаяния, близкого к безумию, но на его же несчастье: теперь он уверился, убедился, что погибло счастье его жизни. Ему решились сказать, что, если отнести тело Оттилии в придел, она все еще будет оставаться среди живых и найдет пристанище тихое и приветливое. Получить на это его согласие было нелегко; он уступил наконец под тем условием, что ее вынесут туда в открытом гробу, накроют в усыпальнице стеклянной крышкой и затеплят возле нее неугасимую лампаду, — на этом он смирился.

Дивное тело покойницы одели в тот самый наряд, который она сама себе приготовила; голову ее украсили венком из астр, таинственно мерцавших, как печальное созвездие. Чтобы украсить гроб, церковь, придел, все сады лишили их убранства. Они теперь стояли опустошенные — словно зима, коснувшись клумб, уничтожила всю их радость. Было раннее утро, когда Оттилию вынесли из замка в открытом гробу, и всходившее солнце еще раз покрыло румянцем ее небесный лик. Провожающие теснились вокруг, никто не хотел оказаться впереди или отстать, каждый хотел быть подле нее, каждый хотел в последний раз насладиться ее присутствием. Мальчики, мужчины, женщины — никто не оставался бесчувствен, Девочки были безутешны, всего больше ощущая утрату.

Нанни не было. Ее удержали дома, вернее — скрыли от нее день и час погребения. Ее сторожили в родительском доме, в каморке, которая выходила в сад. Однако, услышав колокольный звон, она мигом сообразила, что сейчас происходит, а когда женщина, сторожившая ее, поддавалась любопытству и пошла взглянуть на процессию, она выбралась через окно в коридор и оттуда, найдя все двери запертыми, — на чердак.

Процессия как раз двигалась через деревню по чисто убранной, усыпанной листьями дороге. Внизу Нанни отчетливо увидела свою госпожу — отчетливее, полнее, еще более прекрасной, чем она казалась тем, кто шел за гробом. Неземная, как бы паря над грядями облаков или над гребнями волн, она словно кивнула своей служанке, и та в полном смятении покачнулась, голова у нее закружилась, и Нанни полетела вниз.

Толпа со страшным воплем расступилась во все стороны. Среди толкотни и сутолоки носильщикам пришлось поставить гроб наземь. Девочка лежала почти рядом; все тело ее, казалось, было разбито. Ее подняли и — была ли то случайность или воля промысла — положили вплотную к телу покойной; чудилось даже, что она сама последним усилием воли хочет дотянуться до любимой госпожи. Но едва только ее дрожащие руки, ее слабеющие пальцы дотронулись до платья Оттилии, до сложенных на груди рук, как девочка вскочила, вся распрямилась, обратила взор к небу, потом пала перед гробом на колени и в благоговейном восторге устремила глаза на свою госпожу.

Наконец она поднялась, словно охваченная вдохновением, и воскликнула в святом порыве радости:

— Да, она мне простила! То, чего ни один человек, чего я сама не могла себе простить, мне бог прощает ее взглядом, ее устами. Вот она опять лежит так тихо и безмятежно, но ведь вы видели, как она поднялась и, протянув руки, благословила меня, как она ласково на меня взглянула. Все вы слышали, вы все свидетели, как она мне сказала: «Ты прощена!» Я уже не стою среди вас, как убийца: она меня простила, бог меня простил, и теперь никто меня не попрекнет.

Толпа теснилась кругом; все были изумлены, все прислушивались, осматривались по сторонам, и никто не мог сказать, как же быть дальше.

— Несите же ее с миром! — сказала девочка. — Свое она исполнила и отстрадала, и больше ей нельзя жить среди нас.

Гроб понесли дальше, первой пошла за ним Нанни, и шествие достигло церкви и придела.

Здесь и поставили гроб От依ии, поместив его в просторный дубовый ларь; в головах стоял гробик ребенка, в ногах сундучок. Нашли и женщину которая должна была первое время сторожить покойницу, безмятежно лежавшую под своим стеклянным покровом. Но Нанни не хотела уступить эту обязанность другой; она хотела остаться одна, без всякой помощницы, и ревностно присматривать за лампадой, только что впервые зажженной. Она просила об этом с таким жаром, с таким упорством, что ей уступили, лишь бы предотвратить еще более тяжелое душевное расстройство, которого можно было опасаться.

Она недолго оставалась одна: как только наступила ночь, как только зыблющийся свет лампы, полностью вступив в свои права, бросил более яркий луч, отворилась дверь, и архитектор вошел в придел, стены которого с их благочестивой росписью предстали его глазам в этом мягком мерцании, такие старинные и таинственные, какими он их никогда не мог вообразить себе.

Нанни сидела сбоку от гроба. Она сразу узнала его и молча указала на мертвую госпожу. И вот он стал по другую сторону гроба, полный юношеской силы и красоты, весь уйдя в себя, неподвижный, сосредоточенный, опустив руки и горестно сжав ладони, склонив голову над уснувшей и устремив на нее свой взор.

Однажды он уже стоял вот так перед Велизарием. Невольно он принял ту же позу, и как естественна была она и теперь! Ведь и здесь лежало во прахе нечто бесценно благородное; если тогда в лице героя можно было оплакивать безвозвратно утраченные храбрость, ум, могущество, высокое положение и богатство, если тогда оказались не только не оцененными, но отвергнутыми, отринутыми качества, столь необходимые в решительные минуты для пользы народа, для пользы монарха, то теперь равнодушной рукой природы были уничтожены совсем иные скромные добродетели, лишь недавно взошедшие из ее плодоносных глубин, редкие, прекрасные, любви достойные добродетели, благостное влияние которых наш скудный мир воспринимает с радостью и наслаждением и об утрате которых всегда скорбит и тоскует.

Юноша молчал, молчала и девочка; когда же она увидела, что слезы не перестают литься из его глаз и он, казалось, растворяется в безысходной скорби, она заговорила с ним, и



слова ее были полны такой искренности и силы, такой благожелательной уверенности, что он, изумленный этой плавно льющейся речью, смог опять овладеть собою, и его прекрасная подруга представилась ему живой и деятельной, но уже в иной, более высокой сфере. Он осушил свои слезы, скорбь смягчилась; коленопреклоненный, простился он с Оттилией, потом сердечно пожал руку Нанни и в ту же ночь ускакал, так ни с кем и не повидавшись.

Лекарь, тайком от девушки, тоже провел эту ночь в церкви и утром, зайдя навестить Нанни, нашел ее веселой и бодрой. Он ожидал увидеть признаки душевного расстройства, думал, что она будет ему рассказывать о ночных беседах с Оттилией и других подобных явлениях; но она держалась вполне естественно, была спокойна и сохраняла полную ясность сознания. Она с величайшей точностью помнила прошлое и все обстоятельства настоящего, и ничто в ее речах не выходило за пределы правды и действительности, кроме случая во время погребения, рассказ о котором она часто и с большой охотой повторяла: как Оттилия приподнялась, благословила, простила ее и этим навеки ее успокоила.

Оттилия лежала все такая же прекрасная, напоминая скорее уснувшую, чем усопшую, и это привлекло многих посетителей. Жителям деревни и окрестностей хотелось еще раз увидеть ее, и каждый охотно выслушивал из уст самой Нанни ее невероятную повесть: одни — чтобы посмеяться, большинство — чтобы в ней усомниться, и лишь немногие — чтобы верить ей.

Всякая потребность, в действительном удовлетворении которой нам отказано, порождает веру. Нанни, разбившаяся на глазах у всех, исцелилась прикосновением к телу праведницы — так почему же не допустить, что подобное же счастье уготовано здесь и для других? Любящие матери стали, сначала тайком, приносить сюда своих детей, страдающих каким-нибудь недугом, и им казалось, что в их здоровье наступает внезапное улучшение. Доверие росло, и под конец не было старого и слабого, который не искал бы здесь для себя облегчения и утешения. Приток верующих все возрастал, и вскоре пришлось запирать придел, а в небогослужебные часы — и церковь.

Эдуард не решался посетить покойницу. Жизнь его тянулась день за днем, слезы, казалось, иссякли у него, он больше не способен был и страдать. С каждым днем он все меньше принимает участия в разговоре, все меньше ест и пьет, Неко-

торое утешение он словно находит в питье из бокала, оказавшегося для него, правда, неверным пророком. Он по-прежнему любит рассматривать вензель на нем, и его задумчиво-ясный взгляд словно говорит, что он и теперь еще надеется соединиться с любимой. Но подобно тому, как счастливцу благоприятствует малейшее обстоятельство и всякая случайность его окрыляет, так для несчастного ничтожнейшие мелочи становятся поводом к огорчению и соединяются ему на пагубу. И вот однажды, поднося к губам любимый бокал, Эдуард вдруг с ужасом его отставляет; бокал был тот и не тот; недоставало маленькой отметины. Зовут камердинера, и тот вынужден признаться, что подлинный бокал недавно разбился и его подменили таким же, тоже заказанным в дни молодости Эдуарда. Сердиться Эдуард не в силах; судьба его решена самой жизнью — так может ли его тронуть какой-то символ? И все же он глубоко подавлен. Питье ему стало противно; он как будто нарочно воздерживается от пищи, от разговора.

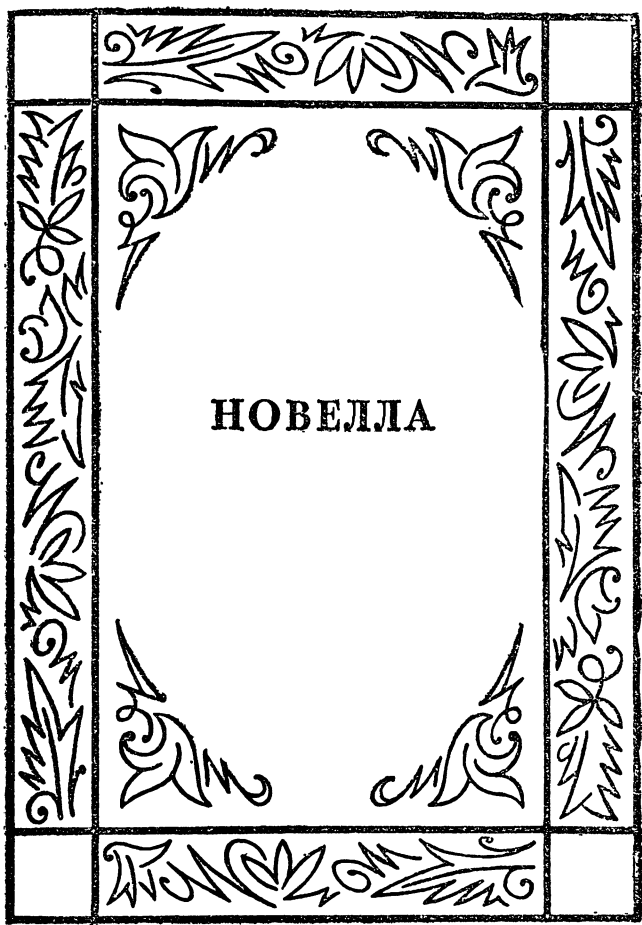
Но время от времени на него находит беспокойство. Он просит, чтобы ему дали поесть, он начинает разговаривать.

— Ах,— сказал он однажды майору, почти не отходившему от него,— как я несчастен, что все мои старания остаются только подражанием, только бесплодным усилием. Что для нее было блаженством, то для меня стало мукой, и все же ради того блаженства я принужден переносить и муку. Я должен идти за нею, идти ее путем; но меня удерживают моя природа и мое обещание. Какая страшная задача — подражать неподражаемому! Я чувствую, мой дорогой, для всего нужен талант, даже для мученичества...

Говорить ли еще о волнениях и заботах жены, друзей, врача, которые окружали Эдуарда в его безнадежном состоянии? Наконец его нашли мертвым. Митлер первый сделал это печальное открытие. Он позвал врача и, не теряя самообладания, подробно осмотрел все, что окружало покойного. Вбежала Шарлотта; у нее шевельнулось подозрение — не самоубийство ли это. Но врач и Митлер быстро сумели разубедить ее: первый — естественными соображениями, второй — нравственными; было ясно, что смерть застигла его внезапно. Воспользовавшись тишиной и одиночеством, Эдуард вынул из шкатулки и из бумажника все то, что до сих пор он так тщательно скрывал, все, что осталось ему от Оттилии: локон, цветы, сорванные в счастливые минуты, все записочки, полученные от нее, начиная с той, первой, которую его жена столь случайным и роковым образом ему когда-то пере-

дала. Не хотел же он выставить все это напоказ посторонним взглядам? Еще так недавно это сердце билось в нескончаемой тревоге, но вот и оно обрело нерушимый покой. Так как скончался он с мыслью о праведнице, то блаженной можно назвать и его кончину. Шарлотта отвела ему место подле Оттилии и запретила впредь кого бы то ни было хоронить в этом склепе. Под этим условием она сделала щедрые вклады в пользу церкви и школы, пастора и учителя.

Так покоятся вместе двое любящих. Тишина осеняет их гробницы, светлые родные лики ангелов смотрят на них с высоты сводов, и как радостен будет миг их пробуждения!



**НОВЕЛЛА**





Густой осенний туман с утра окутывал обширный двор княжеского замка, но сквозь его редящую завесу уже неясно различалась суета конных и пеших охотников. Торопливые сборы близстоящих были видны довольно отчетливо; кто отпущал, кто подтягивал стремяна, кто подавал ружье или патроны, кто пристегивал ягдташ, меж тем как собаки от нетерпения едва не валили с ног псаля, державшего их на своре. Изредка вскидывалась лошадь, норовистая по природе или прищипоренная ездоком, желавшим, даже в полумраке, покрасоваться перед другими. Приходилось, однако, ждать князя, долго прощавшегося с молодой супругой.

Лишь недавно вступившие в брак, они уже наслаждались счастливым единением душ. Оба характера живого и деятельного, старались вникнуть в склонности и помыслы друг друга. Отец князя еще дожил до счастливой уверенности, что все его ближайшие сотрудники проводят свои дни в усердной деятельности, в неустанных трудах и заботах и что никто из них не станет предаваться веселью, прежде чем не исполнит своего долга.

Насколько все это сбылось, можно было судить теперь, когда народ начал стекаться на оживленный торг, собственно, уже заслуживавший названия ярмарки. Накануне князь с княгиней проехали верхом среди наваленного грудями товара, и он обратил ее внимание на то, как бойко здесь торгуют жители гор с жителями равнины; так князь наглядно знакомил жену с производительностью принадлежащих ему земель,

Хотя сам князь проводил почти все эти дни со своими советниками за обсуждением неотложных дел и всего усерднее работал с министром финансов, права егермейстера тоже оставались в силе, и невозможно было устоять перед соблазном, когда тот предложил воспользоваться чудесной осенней погодой для выезда на охоту, которая не раз уже откладывалась, и устроить наконец долгожданный и редкий праздник для себя и для съехавшихся гостей.

Княгиня с неудовольствием осталась дома; но что поделаешь, охотники решили проникнуть высоко в горы и всполошить мирных обитателей тамошних лесов неожиданным воинственным набегом.

Прощаясь, князь посоветовал жене совершить прогулку верхом в сопровождении принца Фридриха, его дяди. «Я оставляю тебе,— сказал он,— еще и нашего Гонорио в качестве шталмейстера и камер-юнкера; он обо всем позаботится». С этими словами князь стал спускаться по лестнице, на ходу отдавая распоряжения статному молодому человеку; затем он ускакал со всеми гостями и свитой.

Княгиня, помахав платком супругу, пока тот еще находился во дворе замка, удалилась во внутренние покои, откуда открывался широкий вид на горы, вид тем более прекрасный, что замок стоял высоко над рекой, а потому куда бы ни обратился взор, всюду ему встречались разнообразные, величественные ландшафты. Она подошла к превосходному княжескому телескопу, наставленному еще накануне, когда собравшиеся, мирно беседуя, разглядывали поверх кустарников, гор и лесных вершин высокие руины древнего родового замка, четко вырисовывавшиеся при вечернем освещении; в эти часы огромные массивы света и тени давали наиболее ясное представление о величественном памятнике былых времен. Сегодня утром сквозь увеличительные стекла особенно яркой казалась осенняя окраска многообразных деревьев, в течение долгих лет свободно и беспрепятственно росших среди полуразрушенных стен. Молодая женщина опустила телескоп несколько ниже — в направлении пустынной каменистой равнины, по которой должна была промчаться охота; она терпеливо ждала этого мгновения и не обманулась в своих ожиданиях. Сквозь ясные и сильно увеличивающие стекла телескопа ее заблестевшие глаза отчетливо разглядели князя и обер-шталмейстера; она даже не удержалась, чтобы еще раз не помахать им платком, заметив, или, вернее, угадав, что они на мгновение придержали лошадей и оглянулись на ее окна.

Но здесь доложили о дядюшке, принце Фридрихе, который и не замедлил войти в сопровождении придворного художника, державшего в руках большую папку.

— Любезная племянница,— произнес этот бодрый пожилой господин,— мы принесли вам виды старого замка; они запечатлены с разных сторон, дабы наглядно показать, как эта могучая твердыня веками сопротивлялась воздействию времени и погоды и как все-таки местами подалась, а кое-где и вовсе рухнули ее стены. Мы уже кое-что предприняли, стараясь сделать доступнее эти дебри, а большего и не требуется, чтобы привести в изумление и восторг любого путника, любого из наших гостей.

Раскладывая перед нею отдельные листы, принц продолжал:

— Здесь, у конца хода, прорытого под крепостными стенами, перед нами вдруг вырастает скала, одна из самых неприступных во всей этой горной цепи; ее венчает башня, но кто отважится сказать, где здесь кончается природа и начинается искусство, рукомесло. Подальше, в стороне, видны стены, примыкающие к башне, и укрепления, которые уступами окружают ее. Хотя правильнее было бы сказать, что эти древние вершины окружает лес. Вот уже полтора века не раздавался здесь стук топора, и повсюду разрослись исполинские деревья; подступы к стенам преграждают стволы и корни высоких кленов, корявых дубов и стройных пихт, так что нам пришлось долго ломать голову над возможностью проложить здесь хотя бы самые извилистые тропинки. Взгляните, как превосходно сумел наш художник уловить все характерное, как отчетливо воссоздал он на бумаге разнопородность стволов и корней, сплетающихся среди камней, или могучих суков, пробившихся сквозь расселины. Эта неповторимая чаща — единственное, случайно уцелевшее место, где еще виден след суровой борьбы между давно почившими людьми и вечно живой, неустанно творящей природой.

Вынув из папки другой лист, принц продолжал:

— А что вы скажете о дворе, доступ к которому преградили развалины надвратной башни? С незапамятных времен не ступала по нему нога человека. Мы решили проникнуть во двор сбоку, проломили стену, взорвали некоторые своды и таким образом проложили удобный, хотя и потайной ход. Расчищать двор изнутри не было надобности, так как он расположен на скалистом плато, которое выровняла сама природа; впрочем, исполинские деревья и здесь умудрились пустить



корни. Они росли медленно, но упорно, и ветви их проникли в галереи, где некогда расхаживали рыцари; через двери и окна они вторглись даже в сводчатые залы, и мы не собираемся изгонять их оттуда; раз они стали здесь господами, так пусть ими и остаются. Разметая многолетний настил сухих листьев, мы открыли столь удивительно ровную, естественную поверхность, что подобной, пожалуй, не сыщется нигде в мире.

Есть там и еще нечто весьма примечательное, в чем стоит убедиться собственными глазами. На ступенях, ведущих в главную башню, некогда пустил корни клен. Поднимаясь наверх, чтобы насладиться необъятными просторами, открывающимися с ее зубцов, мы с трудом протиснулись мимо него. Но, и взобравшись туда, все еще оставались в тени его ветвей. Ибо клен и есть то самое дерево, которое на удивление людям высоко вздымается над всей округой.

Итак, давайте от души поблагодарим нашего любезного художника, сумевшего запечатлеть это на бумаге так, что кажется, будто мы все видим собственными глазами. Он тратил на работу лучшие часы дня и лучшие дни времен года, неделями живя среди этого мира. Там мы постарались устроить премилое жилье для него и для сторожа, которого отрядили ему в помощники. Вы не поверите, дорогая, сколь прекрасные виды открываются оттуда на всю округу, на двор и стены замка. Теперь, когда рисунки уже ясны и отчетливы, ему будет удобнее закончить их здесь, внизу. Этими картинами мы украсим садовый павильон, чтобы каждый, кто восхищается нашими по линейке разбитыми цветниками, беседками и тенистыми аллеями, почувствовал бы желанье уединиться там, наверху, созерцая рядом со старым, неподвижным, неподатливым также и новое — гибкое, влекущее, победоносное!

Вошел Гонорио и доложил, что лошади поданы; княгиня, оборотясь к дядюшке, сказала:

— Давайте поедем туда, наверх, чтобы я могла полюбоваться в действительности тем, что вы мне сейчас показали. Я слышу об этой затее с тех пор, как живу здесь, но лишь теперь мне захотелось своими глазами увидеть то, что, по рассказам, мне казалось немислимым, да и сейчас, на рисунке, все еще кажется неправдоподобным.

— Повремените, моя милая, — возразил принц, — вы видите здесь то, чем все это может стать и станет; сейчас еще многое только в зачатке. Искусство должно достигнуть совершенства, чтобы не устыдиться природы,

— Ну, так поедemте наверх, хотя бы до подножия горы: мне сегодня очень хочется вволю насладиться простором.

— Как вам будет угодно, — отвечал принц.

— И поедemте через город, — продолжала молодая женщина, — через рыночную площадь, которая из-за бесчисленного множества лавок и балаганов походит теперь не то на маленький город, не то на военный лагерь. Кажется, там сосредоточены и выставлены напоказ все потребности и занятия жителей нашего княжества; вдумчивый наблюдатель видит все, что потребляет, а также, что производит человек, временами даже начинает казаться, что деньги никому не нужны, ибо любая сделка может быть совершена путем обмена. Да так оно, собственно, и есть. После того как князь вчера навел меня на эти мысли, мне приятно сознавать, что у нас, на рубеже гор и равнины, столь очевидны нужды и потребности жителей того и другого края. Во что только горцы не превращают дерево своих лесов, чего только не изготавливают из железа; жители же равнины встречают их товарами столь разнообразными, что иногда не поймешь, из чего они сделаны и для чего предназначены.

— Я знаю, — отвечал принц, — мой племянник всему этому уделяет сугубое внимание. Теперь, осенью, конечно, важнее приобретать, чем сбывать; ведь осенние запасы являются основой как общегосударственного, так и самого мелкого домашнего хозяйства. Не гневайтесь на меня, любезнейшая, но я очень неохотно езжу по ярмарке; на каждом шагу тебя останавливают, задерживают, да к тому же мне всякий раз представляется ужасное бедствие, навеки выжженное в моем воображении: я снова вижу, как гибнут в огне груды товаров и прочего добра... Я и сам едва...

— Не стоит упускать лучших часов, — перебила его княгиня: достойный старик уже не раз повергал ее в трепет подробнейшим описанием этого бедствия. Когда-то давно, путешествуя, он остановился в лучшей гостинице на площади, где как раз шумела ярмарка. Очень усталый, он лег в постель, а ночью в ужасе проснулся от криков и пламени, уже бившегося о стены дома.

Княгиня торопливо вскочила на свою любимую лошадь и вместо того, чтобы, выехав через задние ворота, направить ее вверх, двинулась через передние под гору, увлекая за собою поневоле покорного спутника. Ибо кто поступил бы удовольствием ехать подле нее, кто бы с радостью не последовал

за ней? Ведь и Гонорио добровольно отказался от давно вожделенной охоты, чтобы, оставшись дома, служить только ей одной.

По ярмарочной площади, как и следовало ожидать, они ехали медленно, шагом; но прелестная всадница оживляла любую задержку веселыми, остроумными замечаниями.

— Я все твержу вчерашний урок, — говорила она, — раз уж нам приходится испытывать свое терпение.

И вправду, толпа так плотно обступила их, что они с трудом продвигались вперед. Народ любовался юной княгиней; улыбки на многих лицах говорили о том, как им приятно, что первая дама страны в то же время самая красивая и привлекательная.

Вмешавшись в толпу, стояли здесь горцы, обитатели мирных хижин, затерянных среди скал, ельника и сосняка, и жители равнины, что явились сюда, оставив свои холмы, нивы и луга, а также ремесленники из маленьких городков и прочий люд. Окинув их внимательным взглядом, княгиня заметила своему спутнику, что все здесь, кто бы они ни были, израсходовали на свои платья больше, чем надобно, сукна, полотна и лент на отделку. Видно, для того чтобы понравиться друг другу, и женщины и мужчины хотят выглядеть как можно более пышно и солидно.

— Не будем порицать их за это, — отвечал дядюшка, — на что бы человек ни тратил свои избытки, ему это доставляет радость, особенно же приятно украсить себя, одеться понаряднее.

Княгиня молча кивнула ему в знак согласия. Так они мало-помалу выбрались из толчеи на окраину города, где позади палаток и лавок виднелся большой дощатый балаган. Не успели они его заметить, как до их ушей донесся грозный рев. Видимо, настал час кормления выставленных там напоказ диких зверей. Все заглушало могучее рыканье льва — глас лесов и пустынь. Лошади шарахнулись, у всадников невольно мелькнула мысль о том, как страшно возвещает о себе царь пустыни здесь, среди мирных хлопот и трудов цивилизованного мира. Когда они поравнялись с балаганом, им бросились в глаза огромные пестрые картины, на которых ярчайшими красками были намалеваны заморские звери с целью внушить мирному обывателю непреодолимое желание взглянуть на них. Огромный свирепый тигр прыгал на мавра, готовясь растерзать его; лев стоял поодаль, величавый и важный, словно не находя себе достойной добычи; другие диковинные пестрые

звери рядом с этими исполинами уже не привлекали особого внимания.

— На обратном пути, — сказала княгиня, — мы сойдем здесь и полюбуемся на редких гостей.

— Удивительно, — вставил принц, — что страшное всегда возбуждает человека. Там, в балагане, тигр спокойно лежит в своей клетке, а здесь его заставляют бросаться на мавра, чтобы мы думали, будто и в этих стенах увидим такого же свирепого хищника. Неужели мало в мире убийств, пожаров, гибели и разрушений? А ведь странствующие певцы на каждом углу поют о них. Видно, добрым людям падо сперва испытать немалый страх, чтобы потом почувствовать радость и усладу спокойной жизни.

Если в душах наших всадников еще оставалось какое-то жуткое чувство, вызванное этими устрашающими картинами, оно медленно развеялось, как только они, миновав городские ворота, очутились среди прекрасной и радостной природы. Дорога шла сперва вдоль реки; поток, сначала узкий и могущий нести лишь утлые лодки, в дальнейшем ширился и, сохраняя все то же наименование, орошал уже иные страны. Медленно поднимаясь в гору, они проезжали мимо заботливо выращенных парков и фруктовых садов. Немного далее их взорам открылись возделанные поля — благоденствующий край. Но вот наших путников стали привечать сначала редкий кустарник, а затем и лесные кущи; прелестнейшие виды, куда ни глянь, освежали и радовали их взор. Бархатистые луга, растилавшиеся у подножия горы, лишь недавно скошенные во второй раз, орошались веселым и обильным потоком, низвергавшимся с горной вершины. Дальше дорога вела к более высокому и открытому месту, которого всадники достигли после довольно крутого подъема. Но и оттуда возвышавшийся над скалами и верхушками деревьев старый замок — цель их паломничества — открылся им еще только вдаль, за перелесками. А позади, — ибо, добравшись сюда, невозможно было не оглянуться, — сквозь ветви высоких деревьев виднелись слева — княжеский дворец, освещенный лучами утреннего солнца, и красиво застроенная верхняя часть города, слегка замутненная дымом, справа — нижний город, река с ее извилами, луга, мельницы и плодородная долина.

Вдосталь налюбовавшись этим видом, или, вернее, как это часто бывает при созерцании природы с такой высоты, лишь теперь ощутив желание увидеть еще более дальние, еще менее ограниченные горизонты, они въехали на широкое каменистое

глато, откуда могучие руины предстали перед ними, подобные увенчанному зеленью пику. Глубоко внизу, у его подножия, росло несколько старых раскидистых деревьев. Продолжая продвигаться вперед, они приблизились к замку с самой крутой и неприступной стороны. Здесь испокон веков высились могучие скалы, не подверженные переменам, стойкие и неколебимые; глыбы, отколовшиеся от них, лежали мощными пластами или хаотично громоздились друг на друга, казалось, преграждая подступ даже храбрейшему. Но кручи и стремнины, видимо, всегда манят молодость; брать приступом, завоевывать, покорять — наслаждение для юных сил. Княгиня склонялась совершить эту попытку, Гонорио всегда был готов следовать за нею, не возражал и принц-дядюшка, опасаясь прослыть немощным старцем. Лошадей решено было оставить внизу под деревьями, а самим взбираться до того места, где выступ могучей скалы образовывал естественную площадку. Вид, открывавшийся оттуда, был, собственно, почти уже видом с птичьего полета и тешил взор своей живописностью.

Солнце, близившееся к зениту, все заливало ясным светом: княжеский дворец с его флигелями, куполами и башнями выглядел отсюда еще величественнее; верхний город простирался во всю длину, под ним виднелся нижний, а в подзорную трубу можно было различить даже лавки на базарной площади. Гонорио, по обыкновению, не преминул захватить с собой этот полезный инструмент. Они разглядывали в него реку вверх и вниз по течению, пересеченную местность — гористую по одну сторону площадки и слегка пологую, всю в волнистых холмах, плодородную долину — по другую, и далее бесчисленное множество селений — ибо уже давно вошло в обычай, стоя здесь, заводить спор о том, сколько их отсюда можно увидеть.

Над бескрайними далями простиралась та ясная тишина, которая царит в полдень, когда, как говаривали древние, пан уснул и вся природа затаила дыханье, боясь разбудить его.

— Уже не в первый раз, — сказала княгиня, — я замечаю, что при таком широком кругозоре природа кажется столь мирной и светлой, словно нигде не происходит ничего дурного. Но стоит только вернуться в обитель человека, и всегда надо с чем-то бороться, спорить, что-то сглаживать и примирять.

Гонорио, тем временем разглядывавший город в подзорную трубу, воскликнул:

— Смотрите! Смотрите! На ярмарке занимается пожар!

Они обернулись и заметили небольшие клубы дыма; пламя растворялось в дневном свете. «Огонь распространяется!» — восклицали они, передавая трубу из рук в руки; впрочем, зоркая княгиня видела бедствие и невооруженным глазом. Время от времени уже вспыхивало алое пламя, клубами взвивался дым.

— Надо возвращаться, — сказал принц. — Как это печально. Я всегда боялся во второй раз пережить такое несчастье.

Когда они сошли вниз и направились к лошадям, княгиня предложила старику:

— Скачите вперед и возьмите с собой конюха, а мне оставьте Гонорио, мы тотчас последуем за вами.

Дядюшка понял, сколь разумно, более того — необходимо было принять это предложение, и двинулся вниз так быстро, как то позволял каменистый голый склон.

Когда княгиня села на лошадь, Гонорио обратился к ней:

— Прошу вас, ваша светлость, поезжайте медленно! Все противопожарные приспособления как во дворце, так и в городе находятся в полном порядке; этот случай, пусть неожиданный и чрезвычайный, не вызовет смятения. А быстрая езда по мелким камням и низкой траве небезопасна; все равно, покуда мы доберемся, огонь будет уже потушен.

Княгиня ему не поверила; она видела, что дым становится все гуще, ей даже почудилось, что где-то блеснула молния и послышался удар грома. В воображении молодой женщины разом возникли, к несчастью, слишком глубоко воспринятые, страшные картины из рассказов почтенного дядюшки о некогда им пережитом пожаре на ярмарке.

И правда, ужасен был этот случай, когда в ночную пору на большой и тесной ярмарке огонь стал охватывать одну лавку за другой, прежде чем спавшие в этих непрочных строениях люди успели очнуться от глубокого сна; неожиданное и негаданное, это бедствие на всю жизнь оставило в душе воспоминание и боязливое чаяние повторного несчастья. Принц, едва успевший смежить глаза, подбежал к окну и увидел площадь, всю озаренную зловещим светом, и перекрестные языки пламени, справа и слева рвавшиеся навстречу тучам. Дома на базарной площади, освещенные заревом, казалось, уже тлеют и вот-вот, вспыхнув, рассыплются в прах; внизу огонь бушевал неудержимо: скрипели доски, трещала дранка, куски холста

взлетали вверх; оставшиеся от них страшные лоскутья с рваными, еще пылающими концами носились в воздухе, словно злые духи в своей стихии, они непрестанно меняли образ и в неистовом плясе пожирали друг друга, чтобы тотчас же вновь возникнуть из жара и пламени. Но вот уже люди, пронзительно крича, бросились спасать первое, что попадалось им под руку; слуги и работники вместе с хозяевами пытались уволочь уже охваченные пламенем тюки, сорвать остатки товаров с горящих прилавков и запаковать их в ящики, которые в конце концов все же оставляли на добычу торопливому пламени. Стоило кому-нибудь взмолиться, чтобы огонь хоть на мгновение утих и дал ему опомниться, как с воем налетающее пламя уже охватывало все его добро. Часть площади пылала и накалялась, другая — еще была погружена в ночную тьму. Упорные и сильные волей люди яростно боролись с не менее яростным врагом. Перед внутренним взором княгини, к несчастью, вновь возникла вся эта бешеная сумятица; светлый утренний воздух как бы омрачился, луга и лес приняли странный, жуткий вид.

Очутившись в мирной долине, они не обратили внимания на ее освежающую прохладу и едва успели отъехать на несколько шагов от весело журчащего ключа, здесь, в долине, разливавшегося вольным ручьем, как княгиня внизу, в кустарнике, заметила диковинного зверя, в котором тотчас же признала тигра; он изготовился к прыжку, точь-в-точь как тот, намалеванный на стене балагана. Когда к мерещившимся ей страшным картинам присоединилась еще и эта, она совсем растерялась.

— Спасайтесь, княгиня! Спасайтесь! — вскричал Гонорио.

Она повернула лошадь по направлению к крутому откосу, с которого они только что съехали. А юноша ринулся навстречу зверю, выхватил пистолет и выстрелил, когда счел расстояние достаточно близким. К несчастью, он промахнулся, тигр отпрянул, лошадь шарахнулась, и разъяренный зверь беспрепятственно продолжал свой путь в гору по следу княгини. Она гнала лошадь что есть силы вверх по каменистой круче, не думая о том, что благородное животное, непривычное к такому напряжению, не выдержит. Непрестанно понукаемая испуганной всадницей, лошадь споткнулась об осыпавшийся грунт раз, другой и, наконец, обессилев, пала наземь. Молодая женщина решительно и ловко соскочила с седла; лошадь поднялась, но тигр уже приближался, правда не особенно быстро. Неровная почва и острые камни задерживали его натиск,

и только то, что Гонорио по пятам гнался за ним, видимо, подстрекало и раздражало его. Тигр и всадник одновременно достигли того места, где княгиня стояла подле лошади; Гонорио пригнулся, выстрелил и на этот раз попал прямо в голову хищнику; тот немедленно рухнул. Только теперь, когда он лежал распростертый во всю длину, можно было разглядеть ту устрашающую мощь, от которой ныне осталась одна лишь телесная оболочка. Гонорио спрыгнул с лошади, уперся коленями в зверя; сдерживая его последние содрогания, он правой рукой занес над ним охотничий нож. Юноша был прекрасен, движения его стремительны; таким видела его княгиня во время игр с копьём или кольцами. Так же точно попадал он тогда на всем скаку в голову турка, насаженную на кол, в лоб под тюрбаном, или, мчась на коне, поднимал с земли голову мавра. Он был весьма искусен во всех этих упражнениях. И как же ему это сейчас пригодилось!

— Кончайте его,— сказала княгиня,— я боюсь, что он поранит вас своими когтями.

— Прошу прощения,— отвечал юноша,— ему уже не встать, а я не хочу портить шкуру, которая зимой будет украшать ваши сани.

— Не кошунствуйте,— прервала его княгиня,— все, что есть благочестивого в глубине наших сердец, пробуждается в такие минуты.

— Я никогда не был благочестивее, чем сейчас,— воскликнул Гонорио.— Оттого я и думаю о радости: эта шкура дорога мне лишь потому, что будет сопровождать вас в ваших увеселениях.

— Она бы всегда напоминала мне эти страшные мгновения,— возразила молодая женщина.

— Простите,— отвечал юноша, и щеки его запылали,— это все-таки более невинный трофей, чем оружие поверженного врага, которое торжественно проносят перед победителем.

— Глядя на нее, я всегда буду помнить вашу отвагу, вашу ловкость. Я думаю, не стоит и говорить о том, что вы всю жизнь можете рассчитывать на милость князя и на мою благодарность! Но встаньте! Он уже мертв, надо подумать, как быть дальше. Встаньте же!

— Раз я уже преклонил колена, что во всякое другое время было бы мне запрещено, то дозвоьте же еще попросить вас о том снисхождении, той милости, которые мне обещаны. Я уже неоднократно обращался к вашему августейше-



му супругу с просьбой об отпуске, о разрешении предпринять далекое путешествие. Тот, кто имеет счастье сидеть за вашим столом, кому дарована честь занимать ваших гостей, тот должен повидать мир. Путешественники стекаются к вам со всех сторон, и когда речь заходит о каком-нибудь городе, о какой-нибудь значительной точке в другой части света, к вашему покорному слуге каждый раз обращаются с вопросом, бывал ли он там. Никто не верит в разум человека, не видевшего всего этого собственными глазами; иногда мне просто кажется, что образование мы получаем не для себя, а для других.

— Встаньте,— повторила княгиня,— мне не очень приятно желать и просить того, что противоречит убеждениям моего мужа; но если я не ошибаюсь, причина, по которой он доселе удерживал вас, вскоре отпадет. Он намеревался дать вам возможность достичь зрелости и самостоятельности, приличествующих дворянину, для того чтобы с честью, не меньшей, чем здесь, при дворе, служить ему и в чужих краях; теперь, я думаю, ваш поступок будет наилучшей рекомендацией, какую только может получить юноша, вступающий в свет.

Княгиня не успела заметить, что вместо юношеской радости его лицо омрачила какая-то печаль, так же как он не успел дать волю своему чувству, ибо в гору торопливо всходила женщина вместе с мальчиком, которого она вела за руку, направляясь прямо к вышеописанной группе. Гонорио тотчас же вскочил на ноги, а женщина, рыдая и крича, бросилась на труп тигра. По этому поступку, равно как и по ее опрятной, но слишком пестрой и необычной одежде, они сразу догадались, что она хозяйка и прислужница распростертого здесь зверя. Черноглазый и чернокудрый мальчик, не выпуская из рук флейты, плача, хотя и не столь горько, как его мать, и тоже, видимо, глубоко взволнованный, опустился рядом с ней на колени.

За страстными изъятиями горя этой несчастной женщины время от времени следовал поток слов, прерывистый и бурный, как ручей, струящийся по порогам. Ее первобытная речь, короткая и отрывистая, звучала трогательно-проникновенно; попытка воспроизвести ее на нашем языке была бы тщетной, но приблизительный смысл этих слов мы все же стараемся передать:

— Они убили тебя, бедняга! Убили безо всякой нужды! Ручной, смиренный, ты бы охотно прилег и подождал нас! Лапы

у тебя болели и в когтях уже не было силы! Горячее солнце больше не укрепляло их! Ты был самым прекрасным из своей породы! Ну, кто не любовался тобою, когда ты вытягивался во сне, а теперь ты лежишь мертвый и уже никогда не поднимешься! Когда ты, просыпаясь при первом свете дня, раскрывал пасть и высовывал свой алый язык, казалось, ты улыбаешься нам, а потом ты, пусть рыча, но ведь и ласкаясь, брал пищу из рук женщины, из рук ребенка! Как долго мы сопровождали тебя в твоих странствиях! Как долго ты радовал и кормил нас! Да, да, лютые звери нас питали, могучие хищники ласкались к нам! Никогда уже этого не будет! Горе мне, горе!

Она еще продолжала причитать, когда над средней вершиной горы возле старого замка появилась кавалькада, в которой вскоре можно было узнать княжескую охоту; сам князь скакал впереди. Охотясь далеко в горах, они заметили пожар и, словно в неистовой погоне за зверем, понеслись через доли и ущелья напрямиком на полыхавшее пламя. Вихрем взлетев на кремнистую прогалину, они остановились как вкопанные, заметив странную группу, которая с необычайной четкостью вырисовывалась на пустынном плоскогорье.

Первое мгновенье встречи прошло в немом молчании, затем в немногих словах объяснилось то, что было непонятно с первого взгляда. Князь стоял, пораженный странным, неслыханным происшествием; вокруг него толпились всадники и подоспевшие вслед за ними пешие охотники. Впрочем, никто не пребывал в нерешительности; князь отдавал распоряжения, приказывал. Но вот толпа вдруг раздвинулась, пропуская рослого человека в одежде, такой же пестрой и необычной, как та, что была на женщине и ребенке. Теперь уже все семейство предалось горю и отчаянию. Однако мужчина овладел собою и, стоя на почтительном расстоянии от князя, проговорил:

— Сейчас не время сетовать! Ах, господин мой и могучий охотник, лев тоже вырвался на свободу и бродит где-то здесь, в горах! Умилосердитесь, пощадите его! Не то он погибнет такой же смертью, как вот это доброе создание.

— Лев вырвался на свободу? — переспросил князь. — И ты напал на его след?

— Да, господин мой! Какой-то крестьянин там, внизу, который, спасаясь от него, вскарабкался на дерево, хотя это и незачем было делать, указал мне ту тропку налево; но я, увидав множество всадников, свернул с дороги, чтобы узнать, что здесь такое, и попросить о помощи.

— Итак, — решил князь, — охота направится в эту сторону. Зарядите ружья и осторожно приступайте к делу. Не беда, если вы загоните его глубоко в лес. Но все-таки, любезный, нам вряд ли удастся пощадить твоего зверя. Как же это вы их упустили?

— Когда вспыхнул пожар, — отвечал тот, — мы не суетились и все время были настороже. Огонь распространялся быстро, но вдали от нас; у нас было довольно воды, чтобы отстоять себя, но тут взлетел на воздух пороховой погреб, горящие головни стало перебрасывать к нам и через нас; мы слишком поторопились, и вот теперь — мы глубоко несчастные люди.

Князь еще продолжал отдавать распоряжения, как вдруг все замерли, увидев человека, торопливо сбежавшего вниз из старого замка. Вскоре в нем уже можно было узнать сторожа, того самого, что охранял мастерскую художника, жил в ней и присматривал за рабочими. Добежав и едва отдышавшись, он в немногих словах поведал следующее: наверху за самой высокой из стен, у подножия столетнего бука, на солнцепеке спокойно разлегся лев. Сторож добавил с досадой:

— И как это меня угораздило отдать в чистку свое ружье! Будь оно при мне, льву бы уже не подняться! Подумать только, что шкура досталась бы мне! Я бы всю жизнь хвалился ею...

Князь, которому его военный опыт и здесь пришел на помощь, ибо он уже не раз находился в положении, когда со всех сторон надвигаются неотвратимые беды, спросил:

— Можете ли вы поручиться, что лев, если мы его пощадим, не причинит зла моим подданным?

— Эта женщина и этот ребенок, — поспешно отвечал отец, — укротят его, и он будет смиренно дожидаться, покуда я доставлю наверх железную клетку, в которой мы и свезем его обратно; так он никому не причинит вреда и сам останется невредимым.

Мальчик во время этого разговора потихоньку пробовал свой инструмент, в былые времена называвшийся сладкозвучной нежной свирелью. Это была короткая флейта, из которой всякий, кто умел с нею обращаться, мог извлекать прелестнейшие звуки. Князь между тем расспрашивал сторожа, каким образом лев пробрался наверх. Тот отвечал:

— Через подземелье. Долгое время замурованное с обеих сторон, оно в старину было единственным ходом в замок,

единственным останется и впредь. Те две тропинки, которые вели наверх, мы так перерыли, что отныне никто уже не сможет проникнуть сюда иначе, как через этот узенький ход к заколдованному замку, ибо в таковой было угодно превратить его принцу Фридриху.

Князь ненадолго задумался, поглядывая на мальчика, по-прежнему тихоюшко наигрывавшего на флейте, и затем обратился к Гонорио:

— Ты сегодня немало совершил, доведи же начатое до конца. Вы займете узкую тропинку и будете держать ружья наизготовке, но помните; стрелять лишь тогда, когда не будет другой возможности отогнать зверя. На всякий случай разведите огонь, чтобы отпугнуть его, если ему вздумается отправиться вниз. За остальное отвечают эти люди.

Гонорио поспешно отправился выполнять приказ.

Мальчик продолжал наигрывать свою мелодию. Собственно, это свободное чередование звуков даже нельзя было назвать мелодией; потому-то оно, вероятно, так и трогало сердце. Все стояли, зачарованные ритмом этих странных звуков, когда отец вдруг заговорил со сдержанным одушевлением:

— Господь даровал князю мудрость и познание, что все твари божии умудрены на свой лад. Посмотрите на скалу: она стоит крепкая, неподвижная, упорно сопротивляясь и непогоде, и палящему солнцу, столетние деревья венчают ее вершину, и в этой короне она озирает дали. Но если часть ее отколется, скала уже не будет тем, чем была. Она разобьется, и множество кусков усеют собою этот склон. Но и там не останутся обломки, они мигом скатятся вниз, ручей подхватит их и понесет к реке. Не ослушливые, не упрямо угловатые, вет, гладкие и круглые, они быстро пройдут свой путь из реки в реку и наконец попадут в океан, на поверхности которого бродят полчища великанов, а в глубинах копошатся карлики. Но кто осмелится воздать хвалу господину, если звезды славят его из века в век? И зачем всматриваться в дали? Взгляните сюда, на пчелу. Уже поздняя осень, а она ретиво собирает мед и строит свой дом по всем правилам, как опытный зодчий. Взгляните на муравья. Он знает свой путь и не собьется с него; он мастерит себе жилье из былинки, из крохотных комочков земли и сосновых игл, высоко возводит его вверх и перекрывает сводом. Но он трудился напрасно, конь ударил

копытом и в прах разнес все строение. Смотрите! Он топчет балки муравьиного дома, разбрасывает доски, нетерпеливо фыркает, не зная устали; ибо господь сделал коня товарищем ветра и спутником бури затем, чтобы мужа он мчал, куда стремится его воля, а женщину — куда ее влечет желание. Но в пальмовой роще главенствует лев! Величавой поступью шествует он по пустыне. Там он дарит над всем зверьем, и ничто не противится ему. Только человек знает, как укротить льва: самая грозная из всех тварей благоговейно склоняется пред образом и подобием божьим, по которому сотворены и ангелы, что служат господу и его слугам. Ибо и в львиной яме не утратился Даниил: в твердости, в уповании пребывал он, и львиный рык не мешал его благочестивым напевам.

Эту речь, произнесенную с неподдельным одушевлением, мальчик время от времени сопровождал прелестными звуками; когда же отец умолк, он стал напевать чистым, звонким голосом с необычайной выразительностью; отец взял флейту у него из рук и заиграл ему в унисон, мальчик пел:

Из пещеры в этой яме  
Слышен мне пророка глас;  
Сходят ангелы с дарами,  
Страшно ль добрым в этот час?  
Лев и львица снова, снова  
Жмутся, льнут к нему тепло;  
Пенье узника святого  
Их в тенета завлекло.

Отец все сопровождал пение звуками флейты; мать время от времени вступала, вторя сыну.

Но особенно хватало за сердце то, что мальчик переставлял и варьировал стихи этой строфы, не сообщая им какого-либо нового смысла, но повышая их выразительность тем чувством, которое он в них вкладывал.

Ангел сходит снова, снова...  
О, как сладки песни веры,  
Как отрадевает горний глас!  
Среди ям, среди пещеры  
Страшно ль детям в этот час?  
Звуки пения святого  
Далеко отгонят зло;  
Сходит ангел снова, снова,  
Избавленье с ним пришло.

Тут все трое с силою и воодушевлением начали:

Над землей творца десница,  
И его над морем взор;  
Агнцем стали лев и львица,  
И отхлынул волн напор.  
Меч застыл, сверкая, в битве  
Верь, надейся вновь и вновь:  
Чудодейственно в молитве  
Открывается любовь.

Все притихли, внимательно вслушиваясь, и только когда песня отзвучала, стало очевидным ее умиротворяющее воздействие; каждый был растроган по-своему.

Князь, словно только сейчас осознавший беду, недавно ему грозившую, взглянул на жену; та прислонилась к нему, прикрыв глаза вышитым платочком. С какой радостью приняла она облегчение от гнета, который еще несколько минут назад теснил ее юное сердце. Воодарилась полнейшая тишина; казалось, все опасности были забыты: пожар там, внизу, а наверху предстоявшее пробуждение уснувшего льва.

Знаком приказав привести лошадей, князь первый внес движение в застывшую группу, затем он обратился к женщине:

— Итак, вы полагаете, что вашей песней, песней этого ребенка и звуками флейты вам удастся укротить сбежавшего льва и затем невредимым и безвредным загнать его обратно в клетку?

Они стали подтверждать свое обещание клятвами и заверениями; сторож был отпущен с ними в качестве проводника. Князь ускакал в сопровождении нескольких охотников; княгиня медленно последовала за ними с остальной свитой, а мать и сын вместе со сторожем, который уже успел раздобыть себе ружье, начали взбираться вверх по крутому склону.

У подземного входа, ведущего к замку, они столкнулись с охотниками, носившими хворост, чтобы на всякий случай развести большой костер.

— В этом нет нужды, — сказала женщина, — и без этого все обойдется благополучно.

Немного подальше они увидели Гонорио с двустволкой в руках, занявшего свой пост на одной из развалин и готового встретить любую опасность. Он едва заметил подошедших и

продолжал сидеть, казалось, погруженный в глубокое раздумье; его рассеянный взор блуждал по сторонам. Женщина обратилась к нему с просьбой не зажигать костра, но он, видимо, не слышал ее слов; она продолжала говорить и наконец воскликнула:

— Прекрасный юноша, ты убил моего тигра — я не кляню тебя; пощади моего льва — и я тебя благословлю.

Гонорио смотрел прямо перед собой, туда, где солнце, совершив свой путь, клонилось к западу.

— Ты смотришь на запад, — воскликнула женщина, — и это хорошо; там найдется много дела; торопись же, не мешкай, ты все одолеешь. Но сначала одолей самого себя.

На эти слова он чуть улыбнулся, женщина пошла дальше вверх, но несколько раз оглянулась: красноватые лучи заходящего солнца освещали его лицо; никогда, подумалось ей, не видела она более прекрасного юноши.

— Если ваш мальчик, как вы уверяете, — обратился к ней сторож, игрой на флейте и пением может завлечь и усмирить льва, то мы управимся очень легко. Страшный зверь залег как раз у тех сводов, через которые мы проложили ход в замковый двор; главные ворота погребены под обломками. Когда ребенок заманит его во двор, мне будет нетрудно завалить отверстие, а мальчик, если в этом будет надобность, ускользнет от зверя по винтовой лестнице, которую заметит в углу. Мы спрячемся, но я стану так, чтобы моя пуля в любую минуту могла прийти на помощь ребенку.

— Зачем все эти хлопоты? Господь и искусство, благочестие и удача придут нам на помощь.

— Пусть так, — отвечал сторож, — но я помню свой долг. Сначала я проведу вас, правда, по трудной дороге, на стены как раз насупротив того входа, о котором я говорил; оттуда мальчик спустится, можно сказать, на самую арену и вслед за собою заманит усмирленного зверя.

Так все и было; сторож и мать спрятались и сверху смотрели, как мальчик, спустившись по винтовой лесенке, появился на светлом пространстве двора и тут же исчез в темном отверстии, откуда тотчас же понеслись звуки его флейты. Мало-помалу они стихали и наконец вовсе умолкли. Наступила зловещая тишина; у старого, привыкшего к опасностям охотника стеснило грудь от этого необычного приключения. «Лучше бы уж мне самому пойти навстречу чудовищу», —

мелькнуло у него в голове. Но мать, склонив голову и не выказывая ни малейшего волнения, прислушивалась, и страх ни разу не омрачил ее лицо.

Наконец вновь послышались звуки флейты, мальчик вышел из подземелья со счастливыми сияющими глазами: лев шел за ним медленной, затрудненной поступью. Порою он явно хотел улечься, но мальчик вел его между покрытыми еще не опавшей яркой листвой деревьями и наконец, словно просветленный последними лучами солнца, пробившимися сквозь развалины стен, опустился на землю и вновь запел свою умиротворяющую песню, от повторения которой и мы не сумеем воздержаться:

Из пещеры в этой яме  
Слышен мне пророка глас;  
Сходят ангелы с дарами,  
Страшно ль добрым в этот час?  
Лев и львица снова, снова  
Жмутся, льнут к нему тепло:  
Пенье узника святого  
Их в тенета завлекло.

Между тем лев улегся вплотную около ребенка и положил ему на колени свою тяжелую правую лапу. Мальчик, не прерывая пения, ласково поглаживал ее и вдруг заметил большой шип между когтями. Он осторожно извлек его, улыбаясь, снял с себя пестрый шелковый платок и перевязал страшную лапу хидника. Мать в радости простерла к нему руки и, возможно, начала бы по привычке вслух выражать свое одобрение и хлопать в ладоши, если бы сторож сурово не одернул ее, напоминая, что опасность еще не миновала.

Вслед за краткой прелюдией вновь торжественно полилась песня:

Над землей творца десница,  
И его над морем взор;  
Агнцем станут лев и львица,  
И отхлынет волн напор.  
Меч застыл, сверкая, в битве,  
Верь, надейся вновь и вновь:  
Чудодейственно в молитве  
Открывается любовь.

И если мыслимо себе представить, что черты лютого зверя — властителя лесов, царя звериного царства, могут изобразить дружелюбие, благодарное довольство, то здесь это было именно так. И правда, словно просветленный, мальчик казался героем и победоносцем, а лев, пусть не побежденный, ибо



скрытая сила еще оставалась в нем, был вновь укрощен, вновь доступен голосу миролюбия. Ребенок продолжал играть на флейте и петь, на свой лад сплетая строки и добавляя к ним новые:

Чистый ангел зачастую  
В добрых детях говорит,  
Укрощает волю злую,  
Дело светлое творит.  
Околдуют и привяжут  
Звуки песни неземной,  
И у детских ножек ляжет,  
Зачарован, царь лесной.



**КОММЕНТАРИИ**



---

В этом томе собраны романы и рассказы, представляющие все этапы творчества Гете — мастера повествовательной прозы, от поры его бурной юности, так называемого периода «Бури и натиска», до последних лет его литературной деятельности.

## СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА

Роман в письмах «Страдания юного Вертера» — второе относительно крупное произведение молодого Гете, которое принесло ему всемирную славу.

Столь бурный, столь мгновенно-массовый литературный успех никогда уже не выпадал на долю великого поэта. Казалось, читатели всех стран только и ждали выхода в свет книги, вместившей, вопреки своим малым размерам, все беды и смутные чаяния страждущего человечества. Французский перевод нашумевшего немецкого романа попал в 1786 году в руки семнадцатилетнего Наполеона Бонапарта и тут же стал настольной книгой угрюмого мечтателя, грезившего о великих воинских подвигах.

Двадцать два года спустя, во время Эрфуртского свидания Наполеона с русским самодержцем Александром I, могущественный император французов возымел желание встретиться с автором «Вертера». Памятная аудиенция состоялась 2 октября 1808 года. «Voilà un homme!» — Вот это человек! — так встретил Наполеон прославленного поэта. — Сколько вам лет? Шестьдесят? Вы прекрасно сохранились», Император не поспешил на любезности, Семь

раз, так утверждал он, им был прочитан знаменитый роман; не разлучался он с ним и во время Египетского похода. Воздав должное целому ряду особенно нравившихся ему страниц, Наполеон походя позволил себе и одно критическое замечание: почему-де романист мотивировал самоубийство героя не только несчастной любовью, но и уязвленным честолюбием? «Это ненатурально! Этим вы снижаете веру читателя в исключительность его великой страсти. Почему вы так поступили?» Не оспаривая упрека императора, Гете заметил, что писатель, быть может, заслуживает снисхождения, если он с помощью такого приема, пусть даже неправомерного, добивается эффекта, иными средствами недостижимого. Наполеон, видимо, удовлетворился полученным ответом. Быть может, император невольно припомнил и признал, что тогда, за долго до Тулона, до 13 вандемьера, до Аркольского моста — этих первых фанфар, возвещавших начало триумфального шествия «нового Цезаря», — он и сам едва ли бы так увлекся романом, в котором все сводилось бы только к трагической развязке истории одной несчастной любви и ничто не призывало к борьбе с пагубным феодально-юридическим укладом, мешавшим свободному материальному и моральному развитию новых людей, нового класса, новой эры в истории человечества. Именно тесное сцепление разнородных причин, обусловивших гибель Вертера, личных и общественных обстоятельств и отозвалось так широко в сердцах немецких и иноземных читателей.

«Страдания юного Вертера» вышли в свет в 1774 году, за пятнадцать лет до начала французской буржуазной революции. В политически отсталой, феодально-раздробленной Германии о каких-либо социальных переменах можно было разве только грезить. Как ни нелепо-анахронична сравнительно с другими — централизованными — европейскими государствами была тогдашняя Германия (или Священная Римская империя германской нации, как она неоправданно пышно продолжала называться), как ни номинально-призрачна была возглавлявшая ее верховная власть, — ее феодально рассредоточенный полицейски-бюрократический строй еще не утратил относительной прочности. Хотя бы по той причине, что в стране, говоря образным языком Энгельса, «не было той силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений». Бюргерство, раздробленное, как и всё в этой державе, на множество больших и малых самостоятельных или полусамостоятельных княжеств, еще не сложилось в дееспособную политическую величину, сплоченную единством национально-классовых интересов. То же приходится сказать и о городском плебействе, и о подъяремных крепостных хлебопашцах.

То, что «Страдания юного Вертера» читались во всех городах и весях его родины, что бессчетные пиратствующие книготорговцы, не спросив автора, перепечатывали его роман небывальными тиражами, Гете нисколько не удивляло. Поражало его другое: то, что «Вертером» в не меньшей мере были увлечены и французы, — «а что им до наших бед и страданий!». Ведь еще в бытность свою страсбургским студентом Гете успел понаслышаться в «полуфранцузском Эльзасе» самых радужных разговоров о предстоящих переменах. Ходили благоприятнейшие слухи о якобы просвещенных взглядах наследника престола. Все уповали, что «существующие порядки» умрут чуть ли не в день и час, когда перестанет биться старое сердце Людовика XV.

Пятнадцать лет сопутствовал «Вертер» читателям до того, как разразилась великая революция, сокрушившая дворянскую монархию во Франции. Ни при одной из предшествовавших ей буржуазных революций, ни в Нидерландах в XVI, ни в Англии в XVII, ни даже в Северной Америке в XVIII столетии не произошло столь коренной ломки устаревших учреждений и порядков, какую осуществила французская революция на исходе позапрошлого века, знаменуя четкий водораздел между феодальной эрой и буржуазно-капиталистической.

Но примечательно, что знаменитый немецкий роман не утратил своей популярности и после того, как этот «водораздел» стал непреложной явью. Старый уклад поверженной французской монархии, если не всюду в Европе, то достоверно во Франции, отошел в безвозвратное прошлое, но горечь жизни, отвращение к жизни, к ее несовершенствам, не разлучилась с земной юдолью, неотрывно сопутствовала людям, наделенным более ранимым сердцем, и в новоявленную эру. «Пресловутая «эпоха Вертера», если как следует в нее всмотреться, обусловлена не столько общим развитием мировой культуры, сколько частным развитием отдельного человека, прирожденное свободолюбие которого было выпущено приноравливаться к ограничивающим формам устаревшего мира. Несбыточность счастья, насильственная прерванность деятельности, неудовлетворенное желание нельзя назвать недугом определенного времени, а скорее недугом отдельного лица. И как было бы грустно, не будь в жизни каждого человека поры, когда ему кажется, будто «Вертер» написан только для него одного», — сказал Гете Эккерману 2 января 1824 года.

Не в разрез с ранее высказанным утверждением, что-де чрезвычайный успех «Вертера» был вызван тем, что «юный мир сам подкопался под свои устои», а, напротив, в дальнейшее его развитие, Гете говорил (в частности, в письме от 3 декабря 1812 г., об-

рашенном к другу Цельтеру по случаю постигшего его большого горя — самоубийства сына), что современность с ее «нешуточным безумием» и «нестерпимым внешним гнетом» может всегда и на любом этапе исторического бытия пробудить в юном, незащищенном сердце «волю к смерти». «Я мог бы написать нового «Вертера», от которого у людей волосы станут дыбом пуше, чем при чтении первого». Гете, мужественно приивший мир со всеми его невзгодами и радостями, всегда помнил, каких усилий ему стоило преодоление «неприятя мира» как в «эпоху Вертера», так — увы! — и позднее.

И отсюда — совсем особое отношение создателя «Вертера» к своему раннему творению. Из прочих своих сочинений Гете нередко читал по просьбе друзей и почитателей отдельные отрывки, но никогда не из «Вертера»; да и сам только дважды перечитывал его. Первый раз — в восьмидесятых годах позапрошлого века, когда он, говоря его словами, «повторно вернул «Вертера» в материнское чрево для вторичного его рождения» (так в письме к Кнебелю от 21 ноября 1882 г.). Только в 1886 году окончательный текст романа был раз и навсегда установлен. К тому же времени относятся и знаменательные слова писателя к его подруге, госпоже Шарлотте фон Штейн: «Я исправляю Вертера и нахожу, что автор сделал глупость, не застрелившись по окончании этой вещи».

Вторично (и в последний раз) поэт соприкоснулся со своим юношеским романом в 1823 году, в горестный год заката его последней любви и светлых надежд увенчать его страстное влечение законным браком.

И надо же было, чтобы как раз теперь, летом 1823 года, из Лейпцига подоспело предложение книгоиздательства Вейланда, пятьдесят лет назад осуществившего первоиздание знаменитого романа! Наследники старика Вейланда просили господина тайного советника украсить эту книгу новым предисловием. Гете дал на то свое согласие. Но предисловие не было написано: рана, нанесенная тяжелой утратой, еще не зарубцевалась. Автор предпослал юбилейному изданию стихотворение, обращенное к Вертеру не как к вымышленному герою, а как к своему alter ego, в котором имеются такие строки:

Тебе уйти, мне — жить на долю пало,  
Покинув мир, ты потерял так мало.

Нет, Гете недаром остерегался всю свою жизнь перечитывать «Вертера». По его утверждению, высказанному все в той же беседе с Эккерманом, на которую мы уже ссылались, этот роман «сплошь

усели зажигательными бомбами». Читая его, «становится как-то не по себе и невольно пробуждается страх, что ты вновь подпадешь под власть патологической силы, некогда его породившей».

Трагической почвой, вскормившей «Страдания юного Вертера», был Вецлар, резиденция имперского суда, куда Гете прибыл в мае 1772 года по желанию отца, мечтавшего о блестящей юридической карьере сына. Записавшись адвокатом-практиком при имперском суде, Гете не заглядывал в здание судебной палаты. Тем усерднее он посещал дом амтмана (то есть управляющего обширной экономией Тевтонского ордена), куда его влекло пылкое чувство к Шарлотте, старшей дочери хозяина, невесте секретаря ганноверского посольства Иоганна Кристиана Кестнера, с которым Гете поддерживал доброприятельские отношения. 11 сентября того же 1772 года Гете, внезапно и ни с кем не простившись, покидает Вецлар, приняв решение вырваться из двусмысленной ситуации, в которой он очутился. Искренний друг Кестнера, он увлекся его невестой, и та не осталась к нему равнодушной. Это знает каждый из трех,— отчетливее всех, пожалуй, трезвый и умный Кестнер, уже готовый верпуть Шарлотте данное ею слово. Но Гете, хотя и влюбленный, хотя и безумствующий, уклоняется от великодушной жертвы друга, которая и от него, Гете, потребовала бы ответной жертвы — отказа от абсолютной свободы, без которой он, бурный гений, не представлял себе своей только что начинавшей развертываться литературной деятельности — своей борьбы с убогой немецкой действительностью. С нею не мирился какой бы то ни было покой, какая бы то ни было устроенность жизни. Горечь разлуки с прелестной девушкой, страдания юного Гете были неподдельны. И не подлежит сомнению, что мысль о самоубийстве порою казалась молодому поэту единственным выходом из трагического сплетения разнородных чувств и тяжелых сомнений. Так или иначе, но Гете разрубил этот туго затянувшийся узел. «Он ушел, Кестнер! Когда вы получите эти строки, так знайте, что он ушел...— так писал Гете в ночь перед его бегством из Вецлара.— Теперь я один и вправе плакать. Оставляю вас счастливыми, но не перестану жить в ваших сердцах».

Не знаю, не содержится ли в последней строчке записки намек на то, что он «литературно отчитается» перед друзьями в своих вецларских переживаниях.

«Вертер»,— говорил Гете в старости,— это тоже такое создание, которое я, подобно пеликану, вскормил кровью собственного сердца». Все это так, конечно, но еще не дает оснований видеть в



«Вертере» всего лишь главу автобиографии, произвольно снабженную трагической развязкой — самоубийством вымышленного героя. Нет, Гете ни в малой мере не Вертер, сколько бы автор ни наделял героя своими душевно-духовными качествами, в том числе и собственным лирическим даром. Иные письма Вертера (не говоря уже о замечательных «его» переводах из Оссиана) даже метрически сходятся с вдохновенными «большими гимнами» Гете. Не стирает разности между писателем и героем романа и то, что «Страдания юного Вертера» так густо насыщены эпизодами и настроениями, взятыми из самой жизни, как она сложилась в период пребывания Гете в Вейларе; попали в текст романа и подлинные письма поэта, почти не измененные... Весь этот «автобиографический материал», более обильно представленный в «Вертере», чем в других произведениях Гете, все же оставался только материалом, органически вошедшим в конструкцию художественно-объективного романа. Иначе говоря, «Вертер» — свободный поэтический вымысел, а не бескрылое воссоздание фактов, не подчиненных единому идейно-художественному замыслу.

Но, не являясь автобиографией Гете, «Страдания юного Вертера» с тем большим основанием могут быть названы характерной, типической «историей его современника». Общность автора и его героя сводится прежде всего к тому, что и тот и другой — сыны дореволюционной Европы XVIII века, оба в равной мере втянуты в бурный круговорот новой мыслительности, порвавшей с традиционными представлениями, владевшими людским сознанием на протяжении средневековья вплоть до позднего барокко. Эта борьба с обветшалыми традициями мышления и чувствования охватила самые различные области духовной культуры. Все тогда подвергалось сомнению и пересмотру.

Гете долго носился с мыслью литературно откликнуться на все, что он переживал в Вейларе. Мы вправе предполагать, что он говорит об этом уже в письме (вероятно, от июля 1773 г.), адресованном Кестнеру: «...если счастье улыбнется, вы вскоре получите нечто в другой манере (чем «Гец»).— *Н. В.*) Я обрабатываю мою ситуацию в драму наперекор богу и людям». Но драма не была написана. Гете предпочел прибегнуть к форме романа в письмах. Автор «Вертера» связывал начало работы над романом с моментом, получения известия о самоубийстве Иерусалема, знакомого ему еще по Лейпцигу и Вейлару. Сюжет, по-видимому, в общих чертах сложился именно тогда. Но за писание романа Гете взялся только 1 февраля 1774 года. Написан был «Вертер» чрезвычайно быстро. Весной того же года он был уже закончен. «Я... вдохнул в начатую вещь весь пыл моей души, не делая различия между вымыслом и

действительностью. Я... сконцентрировал все, что относилось к моему замыслу, пересмотрев под этим углом недавнюю мою жизнь». Из жизни, из своего расширившегося опыта Гете почерпнул иные черты. Так он присвоил голубоглазой Шарлотте черные глаза Максимилианы Бретано, рожденной фон Ларош, с которой он поддерживал во Франкфурте любовно-дружеские отношения; так привнес в образ Альберта непривлекательные черты грубого супруга Максимилианы. Принеся весь эпизод с деревенским парнем, убившим своего соперника, взятый из уголовной хроники Дармштадта (в первой редакции романа он отсутствует).

Письма Вертера состоят не из одних горестных сетований. Из собственной потребности и идя навстречу пожеланиям Вильгельма, иные его письма носят «исторический» (мы бы сказали — повествовательный, порою даже бытописательский) характер. Так возникли прелестные сцены, разыгрывавшиеся в доме старого амтмана. Или остросатирическое изображение спесивой аристократической знати в начале второй части романа.

«Страдания юного Вертера», как сказано, роман в письмах, жанр, характерный для литературы XVIII века. Но в то время, как в романах Ричардсона, Руссо и второстепенных их современников общая повествовательная нить плетется целым рядом корреспондентов и письмо одного персонажа продолжает письмо другого, в «Вертере» все написано одной рукою, рукою заглавного героя (за вычетом приписки «издателя»). Это сообщает роману сугубую лиричность и монологичность, и это же дает возможность романисту шаг за шагом следовать за нарастанием душевной драмы злосчастного юноши.

«Вертер» — один из замечательнейших романов о любви, в котором любовная тема без остатка сливается с темой «горечи жизни», с неприятием существующего немецкого общества. Этот типичный для немецкой действительности роман-трагедия был написан Гете с такой потрясающей силой, что он не мог не отозваться в сердцах всех людей предреволюционной Европы XVIII века.

Стр. 10. *Мелузина* — полуженщина-полурыба, персонаж из французской сказки, сложившийся еще в средние века и из Франции перекочевавший в Германию и в скандинавские страны. Сказка о Мелузине упоминается Гете в «Поэзии и правде». Позднее он назвал «Новой Мелузиной» одну из вставных новелл в «Годах страстивий Вильгельма Мейстера».

*...я живо представил себе патриархальную жизнь и т. д.* — Имеется в виду библейское предание о сватовстве прадеда Исаака (Книга Бытия, гл. 24).

Стр. 12. *Батте Шарль* (1713—1780) — французский эстетик, автор «Рассуждений о изящной литературе и ее основах» (1747, 1750); *Вуд Роберт* (1716—1771) — шотландский археолог. Немецкий перевод его «Очерка о самобытном даровании и творчестве Гомера», сделанный Михаэлисом, вышел во Франкфурте анонимно в 1773 г.; Гете рецензировал его в журнале «Франкфуртские ученые записки» за 1773 г.; *Де-Пиль Роже* (1635—1709) — французский художник и искусствовед; *Винкельман Иоганн Иоахим* (1717—1768) — археолог и искусствовед; основной его труд — «История искусства древности». Гете написал о нем статью «Винкельман» (1805); *Зульцер Иоганн Георг* (1720—1779) — немецкий эстетик; первая часть его «Общей теории изящных искусств» вышла в 1771 г. Гете написал о ней критическую статью в том же франкфуртском журнале со всей несдержанностью «бурного гения». Впоследствии он отзывался о Зульцере благосклоннее; *Гейме Христиан Готлиб* (1729—1812) — известный геттингенский филолог, историк античной литературы.

Стр. 13. *...когда наблюдаю, какими тесными пределами ограничена деятельность человека* и т. д. — В этом письме от 22 мая Вертер впервые высказывает мысль о самоубийстве, о добровольном выходе из этих ограничивающих человека тесных пределов.

Стр. 21. *Мисс Дженни* — героиня романа французской писательницы Марии-Жанны Риккони «История мисс Дженни Гленфильд»; в 1764 г. переведенный на немецкий язык Геллиусом, пользовался большим успехом в Германии.

«*Векфилдский священник*» — знаменитый роман ирландского писателя Оливера Голдсмита (1728—1774), в немецком переводе с восторгом и увлечением читавшийся по всем городам и весям. Гете познакомился с этим романом, будучи страсбургским студентом, читал его сам и слышал в превосходном чтении Гердера.

Стр. 22. *...призналась, что до страсти любит танцевать немецкий вальс.* — На балах того времени танцевали старинный французский менуэт, англез и немецкий «вальс с подскоками», вытесненный позднее плавным и размеренным английским вальсом.

Стр. 24. *... и произнесла: «Клопшток!»* — Лотта, конечно, имела в виду великолепную оду Клопштока «Весеннее празднество», и Вертер сразу о том догадался. Общее понимание искусства свидетельствовало о родстве душ Шарлотты и Вертера при первой же встрече.

Стр. 26. *Пенелопа* — супруга Одиссея (см. песнь XX «Одиссеи» Гомера).

Стр. 29. *Лафатер Иоганн Каспар* (1741—1801) — викарный пастор, известный религиозный писатель. Гете в молодости дружил

с ним, восхищался его проповедями и был заинтересован его научно несостоятельным учением, «физиогномикой», пытающимся постигнуть сущность и отдельные свойства человека по особенностям его внешнего обличья. Гете восторженно отзывался о книге Лафатера «Проповеди о пророке Ионе» в «Франкфуртских ученых записках» за 1773 г. Лафатер был убежденным сторонником иррационализма и даже верил в «чудеса» шарлатана Калиостро. Впоследствии пути Гете и Лафатера резко разошлись.

Стр. 32. *Оссиан* — имя легендарного слепого барда, якобы жившего в III в., которому шотландский поэт Джеймс Макферсон (1736—1796) приписывал свои сочинения, выдавая их за переводы найденных им древних гэльских подлинников. Впрочем, как позднее установили, в основу его поэтических произведений были и вправду положены древнегэльские тексты, но сильно измененные и дополненные Макферсоном. Песни Оссиана имели громадный успех на всем Европейском континенте. Макферсон, при всем его ярко выраженном поэтическом таланте, был расчетливым литератором, сознательно привнесшим в свои переводы-обработки настроения современной ему английской так называемой «кладбищенской поэзии» (Эварда Юнга, Томаса Грея и др.). Вскоре после страсбургской встречи с Гердером Гете перевел целый ряд больших и малых песен Оссиана. В «Страданиях юного Вертера» автор «пристроил» эти переводы своему герою. Примечательно, что ради Оссиана, певца смерти, Вертер изменяет Гомеру, певцу жизни, которому он поклонялся до того, как его любовь приняла трагический оборот.

Стр. 34. *Болонский камень* (вернее, болонский). — О нем подробнее в избранных местах из «Итальянского путешествия» (письмо из Болоньи от 20 октября 1786 г.); см. т. 9 наст. изд.

Стр. 46. *Гомер в ветштейновском издании*. — Гомер, вышедший в амстердамском издательстве И.-Г. Ветштейна, в карманном формате; Эрнести Иоганн Август (1707—1781) — выдающийся ученый, профессор классической филологии в Лейпциге, издавший пятитомное собрание сочинений Гомера с параллельным латинским текстом.

Стр. 58. *...из коронационной поры Франца I...* — Коронация Франца I (1708—1765) состоялась во Франкфурте-на-Майне в 1745 г.

Стр. 68. *Кенникот* Бенъямин (1718—1783) — английский богослов и известный гебраист; *Землер* Иоганн Соломон (1725—1791) и *Мизаэлис* Давид Михаэль (1717—1791) — видные немецкие богословы.

Стр. 73. *...поэта древности...* — Имеется в виду Оссиан, а никак не Гомер, ибо поэтом-страдальцем был шотландский бард, последний из каледонских богатырей,

Стр. 101. *Священник и Левит* и т. д.— Евангелие от Луки, гл. 10, с. 31—38.

Стр. 102. *«Эмилия Галотти»* — знаменитая трагедия Лессинга, его «бюргерская *Виргиния*», как он называл ее, намекая на прообраз Одоардо Галотти — плебея Люция *Виргиния*, который, подобно Одоардо, прикончил кияжалом свою дочь, а не посягнувшего на ее честь патриция Аппия *Клавдия*. Этим Люций хотел сказать, что спастись от бесчестья можно только ценою смерти. Но именно это безмолвное обвинение надменной и развратной знати и вдохновило римских плебеев на победоносное восстание. Таким же безмолвным призывом к восстанию кончает и Лессинг свою «бюргерскую *Виргинию*». И ту же мысль проводит Гете в финале своего романа, символически положив на стол «мятежного мученика» — «открытую *«Эмилию Галотти»*».

## ПИСЬМА ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

### Часть первая

Гете не раз просили друзья и мечтающие о наживе книготорговцы написать «другого Геца», даже целую серию рыцарских драм, предлагая немалый аванс. Тем более надеялись читатели и издатели, что Гете обогатит немецкую литературу новыми романами «в манере *«Вертера»*. Заговаривали о том же и некоторые французские почитатели «немецкого романиста». Гете смотрел на каждое крупное произведение, вышедшее из-под его пера, как на очередной этап своей духовной биографии (или «единой исповеди», как он выражался), а потому неизменно отвечал отказом на подобные просьбы и предложения. Но с «другим *Вертером*» дело обстояло сложнее. Натиск был слишком велик. «Не дай бог мне попасть в такой переплет, что было бы впору писать второго *«Вертера»*,— писал он из Женевы своей подруге госпоже фон Штейн. И тут у него мелькнула мысль написать вещь из жизни *Вертера* до его встречи с *Лоттой* в той же эпистолярной манере, которая была знакома читателям по знаменитому роману. Нельзя сказать, чтобы этот замысел был удачен, да он и не был осуществлен. Читатель любит «сочувствовать» герою повествования, угадывать, как сложится его жизнь, а судьба *Вертера*, его конец были — увы! — слишком известны всей читающей Европе.

Первые напечатаны были «Письма из Швейцарии» в 1808 году в томе XI Собрания сочинений Гете в первом издании книготорговца Котта, непосредственно после включенных в этот том «Стра-

даний юного Вертера». Следуя этой традиции, так поступаем и мы, не зная точно, в какой степени мы тем самым нарушаем хронологическую последовательность расположения произведений писателя, входящих в том 6 настоящего издания.

Когда были написаны эти «Письма из Швейцарии», увидевшие свет только в 1808 году, и притом в «двух частях», мы не знаем. Вторая их часть состоит из подлинных писем Гете, посланных друзьям из Швейцарии во время второго его путешествия по этой стране осенью 1779 года. Сохранилось письмо Гете к Шиллеру, в то время редактору журнала «Оры», от 12 февраля 1796 года, посланное вместе с рукописью, о которой автор отзывался как об «очень субъективном путешествии», тогда сплошь состоявшей из нескольких обработанных подлинных писем 1779 года. «Судите сами,— так пишет он Шиллеру,— насколько эта рукопись годится для журнала. Может быть, она и сойдет, если к письмам присочинить какую-нибудь душещипательную сказку». Такой сказкой, видимо, и являлась первая часть (вернее бы, «частица») «Писем из Швейцарии». Действительно ли она была приписана позднее или попросту взята из старых бумаг, то есть из набросков задуманного «Путешествия Вертера»? Две записи в дневнике Гете от 18 и 19 февраля 1796 года, в которых сказано: «Начал диктовать Вертерово путешествие»,— не разъясняют вопроса: диктовал ли он исправленные черновики «Путешествия» или же приступил к сочинению нового произведения из прошлой жизни героя «Страдавший юного Вертера». В «Орах» были напечатаны подлинные письма Гете (теперь составлявшие вторую часть «Писем из Швейцарии», а «душещипательная сказка» (точнее, фрагмент из нее) была опущена. Надо сказать, что эти две части сильно разнятся друг от друга и единого целого не образуют. В том 6 настоящего издания включен только перевод первой части «Писем» (фрагмент задуманного «Путешествия Вертера»). В этом фрагменте перед читателем вновь предстает образ Вертера, «одаренного чистым восприятием и пытливым умом», как о нем отзывался Гете в уже приводившемся нами (в комментариях к «Страданиям юного Вертера») письме к Шенборну.

Любопытно, имелось ли в «старых бумагах» 1779 года замечательное рассуждение: «Как? Швейцарцы свободны?.. На чем только не проведешь человека!» — до слов: «Они, мол, некогда отвоевали себе свободу и остались свободными»,— или Гете привнес его в 1796 году, уже под впечатлением Первой французской буржуазной революции 1789 года? На этот вопрос при полном отсутствии документальных источников «Писем из Швейцарии» едва ли возможно ответить.

Летом 1794 года состоялось столь богатое последствиями сближение Гете с Шиллером. Приняв на себя обязанности редактора журнала «Оры», финансировавшегося книгопродавцем Котта, Шиллер пригласил сотрудничать во вновь созданном журнале первого поэта Германии, давшего на то свое согласие. Шиллеру очень хотелось открыть «Оры» «Годами учения Вильгельма Мейстера», над которыми Гете тогда трудился. Первые книги «Мейстера» были уже закончены, последующие еще только в работе. Но Гете не мог пойти навстречу пожеланию Шиллера, так как был связан условиями договора с издателем Унгером, согласно которым он обязался предоставить издательству роман, до того нигде не печатавшийся. Поэтому он ограничился обещанием представить в журнал короткий рассказ, а потом и целую серию рассказов, охваченных общей «рамой», по примеру «Декамерона» Боккаччо. Внести большой вклад в журнал Шиллера Гете не мог при своей занятости, не только трудясь над «Вильгельмом Мейстером», но и параллельно готовя к печати «Трактат о цвете» и свои остеологические открытия. А теперь приходилось работать еще и над целой серией новелл. Правда, автор «Разговоров» называл их «легким послеобеденным десертом», радуясь тому, что он принял решение, заметно облегчающее его труд: не сочинять сюжеты всех своих новелл, а частично почерпать таковые, как то делал и Боккаччо, из мемуаров и французского сборника XV века «Сто новых новелл», а также записывать иные новеллы со слов своих знакомых (мы имеем в виду рассказ о певице Антонелли и другой — о явлении духа, как бы служащий ему продолжением). Только одну новеллу из шести Гете сочинил сам — рассказ о проступке Фердинандо и искуплении им своей вины. Сочинена Гете и прихотливая «Сказка», которой писатель заканчивает «Разговоры», а также «рама», объединяющая всю серию рассказов в единое целое. С истинным блеском и реалистической наглядностью, четкими выразительными линиями воссозданы образы действующих лиц — баронессы, «старика», то есть умного, светского аббата, а также других членов и домочадцев баронского семейства. Все, что происходит в уцелевшей усадьбе аристократических немецких переселенцев, проникнуто тревожной атмосферой Французской революции, заметно сгустившейся из-за политического разномыслия среди кровных родственников, собравшихся под одной крышей. Гете великолепно воссоздает «местный колорит» и самим качеством изложения, непринужденностью разговорного языка, плавным стилем рассказчиков и отточенными диалогами, перемежающимися монологами

участников этих «новеллистических сеансов». «Старик», то есть духовник баронского семейства, искусно повышает уровень поучительности от новеллы к новелле и завершает череду новелл, насыщенных духом гуманного либерализма, фантастической «Сказкой», сплетенной из очаровательных волшебных несурязид, проникнутых ненавязчивой, но все же приметной нравственной идеей: все земные трудности разрешимы, если все живое, как бы ни было фантастично сказочное обличье персонажей, будет оказывать по-настоящему помощь всем и каждому.

Мы вправе смотреть на «Разговоры немецких беженцев» как на значительный вклад в немецкую литературу. До их обнаружения в Германии не знали воздушного изящества короткой новеллы и волшебной фантастики художественной «искусственной сказки» (весьма отличной от простодушно-народной). Гете открыл для немцев эти два новых жанра, смело и вместе с тем бережно пересадив их с французской и итальянской почвы на почву отечественную. Поколение романтиков и позднейших немецких писателей — от Тика и Клейста до Шторма, Эбнер-Эшенбах и др. — пошли по этим двум путям, проложенным Гете.

В «Разговорах немецких беженцев» Гете показывает мир немецкого дворянства и его прямую реакцию на великие французские события с той же объективностью, с какою он живописует в «Германе и Доротее» мир провинциального немецкого бюргерства эпохи Великой французской революции. Об идеях и социальных проблемах, поставленных перед человечеством французской революцией, писатель более развернуто высказывается в «Годах странствий Вильгельма Мейстера».

Стр. 121. *В те злосчастные дни...* — Имеется в виду вторжение революционной французской армии генерала Кюстина. *Через слабо защищенное место границы* — в районе города Ландау.

Стр. 147. *Къайа* — береговая улица в Неаполе.

Стр. 152. *Маршал де Бассомпьер* Франсуа (1579—1646) — автор мемуаров, впервые обнаруженных в Кельне в 1665—1692 гг.

Стр. 156. *Сказка о прекрасной Мелузине*. — См. коммент. к «Страданиям юного Вертера» (с. 465).

## ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО

В предисловии к «Поэзии и правде» Гете отчетливо противопоставляет «стремительному бурному началу» его литературной деятельности медленную работу над позднейшими своими произведениями, такими, как «Ифигения», как «Тассо», «Эгмонт» или



«Вильгельм Мейстер», на создание которых были потрачены годы, если не десятилетия. Претерпел жанровое преобразование и роман «Избирательное сродство», первоначально задуманный как краткая вставная новелла, какими так густо насыщены «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Работая над ними с большими перерывами, Гете помечает в записи от 11 апреля 1808 года: «Схематизировала ряд маленьких рассказов, особенно усердно «Избирательное сродство»...» Судьба «Избирательного сродства» оказалась сложной. Краткая новелла вскоре стала разрастаться: «Содержание ее было слишком значительным, слишком захватывало меня, чтобы можно было от него так легко отделаться». Летом того же 1808 года, проведенным в Карлсбаде, Гете не только «обдумывал и прикидывал», а уже начал диктовать первые страницы романа. Мы читаем в его дневнике от 22 июля: «План «Избирательного сродства» доведен до конца, начали вырисовываться первые наброски текста». Через месяц, 28 августа, в день рождения поэта, новая запись: «Опять принялся за «Избирательное сродство», обдумал его со всех сторон». Но по возвращении Гете в Веймар наступает долгий перерыв, вызванный неотложными делами. Только в начале апреля следующего года возобновляется прерванная работа, и 18-го числа того же месяца Гете читает то ли восемь, то ли девять первых глав романа на вечере у герцогини Луизы. С тех пор работа над «Избирательным сродством» не прерывается, и уже в конце июля сдается в набор главный массив еще не копченного произведения. «... если мы в августе и в сентябре хорошо поработаем, есть надежда со всем управиться»,— пишет он жене из Иены. И оттуда же оповещает друга Рейнхольда (уроженца Германии и видного французского дипломата при Наполеоне и после реставрации Бурбонов): «Больше семи недель сижу здесь взаперти и, как беременная женщина, желаю только одного: чтобы ребенок явился на свет, а там будь что будет. Новорожденный представится вам предположительно в середине октября. Примите его ласково». И вправду, 16 октября 1809 года «Избирательное сродство» полностью напечатано. В таком быстром темпе Гете работал только в стремительную пору своей юности— так увлекла его работа над этим произведением.

Роман «Избирательное сродство» не так-то легко поддается истолкованию. Перед нами зримый, «вешний» мир: люди, природа, привольная или тронутая рукою искусного садовника, интерьеры, архитектура зданий, воздвигнутых или только воздвигаемых в поместье богатого барона, три пруда, превращенные в большое озеро,— все это выписано с наглядной четкостью, характерной для произведений Гете, созданных в эпоху его классицизма. Психология действующих лиц, их поступки, мысли, убеждения по-челове-

чески понятны, но вместе с тем покрыты «воздушной фатой, легкой и все же непроницаемой», как сказано Гете в письме к Целтеру от 26 августа 1809 года. Спор о том, реалистичен или же символистичен смысл и стиль «Избирательного сродства», завязался еще при жизни писателя и продолжается по сю пору, не приводя к окончательному решению. Не потому ли, что неправомерно само противопоставление, положенное в основу этой дискуссии, — сомнительная альтернатива реалистичности либо символистичности стилистики романа?

Речь здесь, собственно, должна была бы идти об отправной точке самого замысла данного произведения и о соответствующем его сути стилистическом осуществлении такового. Ни в одном из прочих своих художественных произведений Гете не соприкасается так тесно с воззрениями Спинозы, как именно в «Избирательном сродстве». Согласно Спинозе, психология и этика строго детерминистичны. Люди только мнят, будто они обладают свободой, но их свобода иллюзорна и состоит разве в том, как разъясняет философ, «что они, вполне сознавая свои желания, не знают причин, какими они обусловлены». Человек — часть природы, или даже лишь «частица» ее, как предпочитал выражаться Спиноза, в силу чего человек связан с бесконечной «совокупностью причин», направляемых законами, хотя и точными и определенными, но нам неизвестными, чуждыми нашей природе и нашей власти над природой.

Эта-то неразрывная сопряженность человека с совокупностью неведомых ему причин и следствий является предпосылкой всего, что совершается в романе Гете, в котором каждое слово, каждый поступок действующих лиц наделяется как бы двойной смысловой нагрузкой: житейски-реалистическим и вместе с тем знаменательно-символическим смыслом, не осознаваемым ни персонажами романа, ни — поначалу — даже его читателями, подкупленными плавным, классически прозрачным слогом повествования. Вот почему Гете советовал не ограничиваться однократным прочтением сложно задуманного и не менее сложно построенного произведения, а перечитывать его повторно («до трех раз», как сказано автором) и с внимательным учетом того, как походя употребленное слово, походя упомянутый поступок или даже тот или иной эпизод романа приобретают новый знаменательный смысл по мере развертывания сюжета. Только при таком «чтении, как труд и творчество» (В. Асмус) можно сполна оценить, как искусно Гете приводит в движение сложный механизм, формирующий трагические судьбы четырех людей, поставленных в центр повествования: Оттилии и Эдуарда, Шарлотты и капитана,

Название романа — «Избирательное сродство», как известно, повторяет латинское заглавие трактата выдающегося шведского химика Торбера Бергмана «De attractionibus electivis», в немецком переводе вышедшего в 1782 году. В этом научном сочинении, как явствует из разговора между обитателями замка (ч. I, гл. 4), речь идет о взаимном притяжении и отталкивании «неодушевленных элементов», о воссоединении сродственных элементов и, напротив, о невозможности их соединения никакими механическими исхищрениями — смешиванием, растиранием, взбалтыванием. Наиболее примечательны случаи, когда какой-либо элемент, дотоле связанный с другим, порывает свою былую связь и вступает в новую с элементом, еще более сродственным ему. Наблюдая подобные явления, мы и впрямь «готовы приписывать этим элементам своего рода волевые устремления и свободное избрание, почему я и нахожу технический термин «избирательное сродство» вполне оправданным... Надо самому... участливо наблюдать, как эти бездушные элементы... ищут, настигают, поглощают, поедают и вслед за тем... вновь возникают в обновленной неожиданной форме. Лишь тогда начинаешь верить, что они, чего доброго, и в самом деле обладают смыслом и рассудком, поскольку мы замечаем, что наших чувств едва хватает для наблюдения над ними, а наш разум не в силах в полной мере постичь их», — так заключает капитан свой краткий пересказ оригинальной теории шведского ученого.

И все же такую антропологизацию (очеловечивание) химико-физиологических процессов бездушных элементов едва ли можно считать правомерной. При полном признании единосущности законов, управляющих Вселенной, общими как для нравственных, так и для физических явлений, необходимо учитывать, что эти законы действуют по-разному «в мире неразумной природы» и в качественно отличном от него человеческом обществе. В мире неразумной природы условный научный термин «избирательное сродство» едва ли не полностью совпадает с понятием естественной необходимости. Иначе обстоит с миром человеческой культуры, человеческим обществом. И здесь человек подвластен сокрушительной мощи природы, тем более если она предстает перед ним в прельстительном облике великой любви, всепоглощающей страсти. Но человек может по-разному отнестись к ее призыву: с полной готовностью, бездумно и безвольно подчиниться ее стихийной власти или же пытаться воспротивиться ей — по причинам морального порядка, в силу доводов неподкупной совести.

Большая любовь — всегда переворот, ломка всего, беспощадное обновление души и жизни. Ее поистине великая сила в том и заключается, что с ее приходом внезапно исчезает деление на «мое»

и «твое» при полном удержании *меня* и *тебя* — вещь сама по себе, казалось бы, невысказанная, творимая только любовью. Никакие решения разума и нравственной воли, против нее направленные здесь, почти, как правило, бессильны: они отменяются уже в самый момент их принятия под натиском возобладавшего чувства, не допуская над собою никакого насилия. Но в то же время — уж такова диалектика истинно большой любви — она не соглашается ставить себя вне нравственного закона — из уважения к своей чистоте. Обрести счастье такой ценой для возвышенной чистой любви оскорбительно и невыносимо.

В этом трагедия конфликта между *вечным правом любви* и *земным* (относительным и условным, как все земное) *правом* узаконенного брачного союза. Этот трагический мотив получил свое классическое отображение и истолкование в «Избирательном сродстве» Гете.

Стр. 319. *Благородный грек* — Гомер:

Стр. 329. *Брактеады* — средневековые серебряные монеты, отчеканенные лишь на одной стороне; они имели распространенное хождение главным образом в Германии. *Двусторонние монеты* — тоже германские монеты, отчеканенные с обеих сторон.

Стр. 330. *Красная нить* — нить, вплетенная в морские канаты; в фигуральном значении это слово впервые встречается у Гете в данном месте романа; впоследствии оно получило широкое распространение в немецком, а также в русском языках.

*Воссоединиться с близкими своими...* — библеизм, означающий «умереть, быть похороненным в родовой усыпальнице».

Стр. 339. *Артемизия* — царица Кари (IV в.). После смерти мужа, Мавзола, она ежедневно примешивала к своему питью щепотку праха своего супруга и воздвигла ему пышный надгробный памятник, признававшийся «одним из семи чудес света» (отсюда слово «мавзолей»).

Стр. 340. *Эфесская вдова* (иначе: матрона Эфесская) — намек на рассказ из «Сатирикона» Петрония о женщине, отдавшей на могиле мужа воину, охранявшему прах ее супруга.

Стр. 342. *Incroyables* — название французских щеголей времен Директории.

Стр. 350. *Ван-Дейк* (1599—1641) — выдающийся фламандский живописец; картина, о которой здесь говорится, находится в собрании герцога Девонширского; Гете знал ее по гравюре.

Стр. 351. *Пуссен* Никола (1594—1665) — известный французский художник.

*Тербург* (собственно Герард Терборх, 1617—1681) — голландский художник, мастер жанровой живописи, *Вилле Йоганн Георг* (1715—1808) — немецкий гравер XVIII в., преимущественно живший в Париже.

Стр. 358. *Праесере* (лат. «ясли») — техническое обозначение живописи, изображающей рождение Христа.

Стр. 379. *Comédie à tiroir* (иначе *Comédie épisodique*) — комедия, построенная на чередовании сцен, лишенных крепкой органической связи между собой.

Стр. 395. *Пенсероза* — задумчивость (итал.).

Стр. 426. *Четвертая и пятая заповедь* по счету православной Библии — пятая и шестая.

Стр. 427. «*Как сие надо понимать?*» — Этими словами начинаются все толкования заповедей в Лютеровом катехизисе. *Шестая заповедь* по православной Библии — седьмая.

## Н О В Е Л Л А

Первоначальный замысел этого произведения относится к 1797 году, когда Гете хотел вслед за «Германом и Доротеей» написать другую поэму в гекзаметрах, под заглавием «Охота». Эта поэма, — «эпически-романтическая», как о ней отозвался Гете четверть века спустя, — по его замыслу, должна была отступить от одной канонизированной основы эпоса — принципа ретардации (то есть замедления действия отступлением): «Мой новый сюжет не включает в себе ни единого замедляющего момента; все идет с начала и до конца в прямой последовательности», — пишет он Шиллеру 22 апреля 1797 года. В обмене мнениями с Шиллером Гете приходит к решению писать поэму не гекзаметрами, как он думал первоначально, а рифмованной строфой, октавой или шестистрочной строфой, которой в 1823 году была написана «Мариенбадская элегия». Но задуманная поэма и в этом новом обличье не получалась. «Подождем, к какому берегу прибудет мою ладью добрый гений», — писал Гете Шиллеру 27 июня 1797 года. Работа над поэмой была приостановлена, и долгие годы в дневниках Гете ничего о ней не говорилось. Так проходят тридцать лет, и вдруг в октябре 1826 года Гете, листая старые рукописи, нападает на давно позабытый план некогда задуманной им поэмы. Поэт находит, что сюжет, изложенный в найденном плане, вполне подойдет для одной из прозаических вставных новелл, которыми изобилуют «Годы странствий Вильгельма Мейстера», тогда стоявшие в центре внимания Гете. Четырнадцать записей в дневнике писателя за один октябрь месяц 1826 года свидетельствуют об интенсивной работе

над вновь ожившим замыслом. Гете развивает и пополняет план 1797 года, положенный в основу прозаического варианта поэмы, которую автор называет то «Чудесной новеллой», то «Охотничьим рассказом», то просто «Новеллой», то (уже в следующем году), снова «Охотничьим рассказом» и опять «Новеллой». На этом последнем заглавии Гете останавливает свой выбор уже окончательно. Под таким заглавием она и была напечатана впервые весной 1828 года в томе XV третьего издания Собрания сочинений Гете, осуществлявшегося книготорговцем Котта. «Новелла» и в самом деле знаменует собой наиболее чистый образец новеллистического жанра — рассказа о «необыкновенном происшествии», в данном случае выписанном на фоне странно неподвижной природы, представляющей собою как бы подобие эффектной театральной декорации.

Форма «Новеллы» вполне отвечает ее содержанию; ее текст прост и доходчив, почему и не нуждается в каких-либо пояснениях.

*Н. Вильмонт*

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

|   |     |
|---|-----|
| СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА. <i>Перевод П. Касаткиной</i> . . . . .       | 7   |
| Книга первая . . . . .  | 8   |
| Книга вторая . . . . .  | 51  |
| От издателя к читателю . . . . .                                      | 77  |
| ПИСЬМА ИЗ ШВЕЙЦАРИИ. <i>Перевод А. Габричевского</i> . . . . .        | 105 |
| РАЗГОВОРЫ НЕМЕЦКИХ БЕЖЕНЦЕВ. <i>Перевод С. Шлапоберской</i> . . . . . | 121 |
| Сказка. <i>Перевод И. Тагариновой</i> . . . . .                       | 193 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО. <i>Перевод А. Федорова</i>                    |     |
| Часть первая , . . . .  | 223 |
| Часть вторая . . . . .  | 323 |
| НОВЕЛЛА. <i>Перевод Н. Ман</i> . . . . .                              | 437 |
| Комментарии <i>Н. Вильмонта</i> . . . . .                             | 459 |

**Гете Иоганн Вольфганг**

**Г 44**      **Собрание сочинений. В 10-ти томах. Т. 6. Романы и повести. Пер. с нем. Под общ. ред. А. Аникста и Н. Вильмонта. Комментар. Н. Вильмонта. М., «Худож. лит.», 1978.**

480 с.

В шестой том входят романы «Страдания юного Вертера», «Избирательное сродство» и небольшие произведения, как «Новелла», «Письма из Швейцарии» и др.

**Г 70304-425**  
**028(01)-78**      **подписное**

**И(Нсм)**



*Иоганн Вольфганг*  
*Гете*  
Собрание сочинений  
том 6

Редактор  
И. Солодунина  
Художественный редактор  
Л. Калитовская  
Технический редактор  
О. Ярославцева  
Корректоры  
О. Наренкова  
Д. Эткина  
ИБ № 964

Сдано в набор 24.08.77. Подписано к печати 16.05.78. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Елизаветинская». Печать высокая. 25,2 усл. печ. л. 27,064 уч.-изд. л. Тираж 200000 экз. Заказ 593. Цена 2 р. 60 к.

Издательство  
«Художественная литература»  
Москва, В-78, Ново-Басманная, 19

Полиграфический комбинат  
им. Я. Коласа  
Государственного комитета  
Совета Министров БССР  
по делам издательств, полиграфии  
и книжной торговли.  
Минск, Красная, 23